Исаак Бабель

том 4

собрание сочинений

Исаак Бабель
том 4
собрание сочинений

исаак
БАБЕЛЬ

Исаак

Бабель

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в четырех томах

Исаак

Бабель

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Письма
А. Н. Пирожкова. Семь лет с Бабелем

москва 2006

ББК 84Р7-4
Б12

Макет, оформление
Валерий Калныньш

Б12 **Бабель И. Э.**
Собрание сочинений. Т.4. — М.: Время, 2006. — 640 с.

ББК 84Р7-4

ISBN 5-9691-0153-2 (т. 4)
ISBN 5-9691-0154-0 (общий)

Письма

1. А. Г. СЛОНИМ

Пгр. 7.12.18 *7 декабря 1918 г., Петроград*

За время моего исчезновения la vie* мотала меня на многие лады, я приезжал, уезжал, был болен, призывался.

Я очутился в положении, когда стыдно было появляться на глаза, потом стало стыдно того, что не являлся. Это обычно.

Несмотря на тяжкие условия, я вывернулся из бед. Сегодня уезжаю в Ямбург открывать крестьянский университет, вернусь в будущую среду. Приду. Такую повинную голову всякий меч сечет.

В характере моем есть нестерпимая черта одержимости и нереального отношения к действительности. Это несмотря на некоторую житейскую приспособляемость. Отсюда мои вольные и невольные прегрешения. Это надо искоренить; со стороны «одержимость» имеет вид неуважения к людям. Господи, помилуй нас, Анна Григорьевна, простите бродячую и задумчивую душу. Вот — всё.

Я бос и неприкрыт. В записке, данной Сторицину, перечислены некоторые вещи. Пожалуйста, дайте ему их. Он перевезет их к себе на квартиру.

---

* Жизнь (*фр.*).

Я кланяюсь Льву Ильичу и Илюше. Защитите меня перед ними, Анна Григорьевна. Приду — не посмотрят. Грустно.

До свиданья. Скажем так — простить это значит понять.

Любящий Вас

И. Бабель

2. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ КАВАЛЕРИСТ»

11 сентября 1920 г.

Уважаемый т. Зданевич.

Беспрерывные бои последнего месяца выбили нас из колеи.

Живем в тяжкой обстановке — бесконечные переходы, наступления, отходы. От того, что называется культурной жизнью — отрезаны совершенно. Ни одной газеты за последний месяц не видали, что делается на белом свете — не знаем. Живем, как в лесу. Да оно, собственно, так и есть, по лесам и мыкаемся.

Доходят ли мои корреспонденции — неизвестно. При таких условиях руки опускаются. Среди бойцов, живущих в полном неведении того, что происходит — самые нелепые слухи. Вред от этого неисчислимый. Необходимо принять срочные меры к тому, чтобы самая многочисленная наша 6-я дивизия снабжалась нашей и иногородними газетами.

Лично для меня умоляю вас сделать следующее: отдайте распоряжение по экспедиции: 1) прислать мне комплект газеты минимум за 3 недели, прибавьте к ним все иногородние, какие есть, 2) присылать мне ежедневно не менее 5 эк-

земпляров нашей газеты, — по след[ующему] адресу: Штаб 6 дивизии, Воен[ному] корреспонденту К. Лютову. Сделать это совершенно необходимо для того, чтобы хоть кое-как меня ориентировать.

Как дела в редакции? Работа моя не могла протекать хоть сколько-нибудь правильно. Мы измучены вконец. За неделю, бывало, не урвешь получаса, чтобы написать несколько слов.

Надеюсь, что теперь можно будет внести в дело больше порядка.

Напишите мне о ваших предположениях, планах и требованиях, свяжите меня таким образом с внешним миром.

С товарищеским приветом

К. Лютов

3. И. Л. ЛИВШИЦУ

17 апреля 1923 г., Одесса

Исаакий. В конце зимы я вернулся в Одессу. Поездка в Турцию не выгорела из-за «семейных обстоятельств». Старики скрипели как несмазанные колеса. Надо было эти колеса подмазать.

Живу на Ришельевской. Работаю в меру сил, а сил мало. Здоровье мое плевое. Напечатал для денег в местных Известиях несколько пакостных отрывков, пакостных уже просто потому, что они отрывки.

Получил предложения об издании книги от Ингулова, Полянского, Нарбута. Решение всех этих дел я отложил до

осени. Осенью приеду в Москву. Летом хотел бы учинить какую-нибудь эскападу, удариться в бродяги. Не знаю, удастся ли. Я прилагаю старания.

Читаю московскую вашу литературу. Мне не ндравится. В Одессе совсем ничего нет. Я здесь рак на безрыбье.

Прежних моих знакомых я застал в весьма авантажном виде. Они подкормились, жены распухли, детки поправились, но все это сугубо провинциально. Этого раньше в Одессе не было, и этим она сейчас очень плоха — провинциализмом. Я по-прежнему стою в стороне и, как генерал Дитятин, отдаю честь проходящим.

О тебе я слышал, что ты не жалуешься, бога не гневишь. Напиши мне о деталях своего благополучия и в каких именно местах ты ешь хлеб твой.

Это письмо передадут тебе совершенно бесшабашные ребята — одесские поэты Гехт и Бондарин. Они без царя в голове, но не без дарования. Помоги им чем можешь.

Мери не оставила мысль о поездке в Москву. Если мне удастся схватить где-нибудь несколько тысяч сразу, я ее отправлю. Напиши мне по совести — думаешь ли ты, что она проживет там трудами рук своих? Возможно, что и Женя с ней приедет, хотя помыслы Евгении Борисовны больше тяготеют к Петербургу. Кажется, и ты собирался в Петербург. Эта мысль оставлена?

Кланяйся Люсе от бела лица до сырой земли.

Твой *И. Б.*

Од. 17.4.23

4. В. И. НАРБУТУ

17 апреля 1923 г., Одесса

Друг мой, Владимир Иванович.

Вот два бесшабашных парня. Я их люблю, поэтому и пишу им рекомендацию. Они нищи до крайности. Думаю, что могут сгодиться на что-нибудь. Рассмотри их орлиным своим оком.

Жду от тебя письма с душевным волнением и не дождусь. Если не напишешь, то я сам тебе напишу.

Твой *И. Бабель*

Од. 17.4.23

5. И. Л. ЛИВШИЦУ

24 сентября 1923 г., Одесса

Изя. Я привожу сейчас в порядок часть моих бумаг. Занятие это я надеюсь через неделю привести к благополучному окончанию. Числа 2-го октября выеду в Киев, там задержусь на один день для погрузки Евгении Борисовны и притащусь в Москву, вероятно, 5–6 октября. А там мы развернем дела, и я погружу вас в пучину треволнений, ибо слышал, что живете вы совершенно благополучно. И угадываете на бегах чуть ли не по девятнадцать заездов кряду. Этого со мной не бывает, — и с вами быть не должно.

Кланяйся Люсе от бела лица до сырой земли и с тем до свиданья.

Твой *И. Бабель*

Од. 24.9.23

6. В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ»

<Сентябрь — октябрь 1924 г., Москва>

В 1920 году я служил в 6-й дивизии I Конной армии. Начдивом 6-й был тогда т. Тимошенко. Я с восхищением наблюдал его героическую, боевую и революционную работу. Прекрасный, цельный, этот образ долго владел моим воображением, и когда я собрался писать воспоминания о польской кампании, я часто возвращался мыслью к любимому моему начдиву. Но в процессе работы над моими записками я скоро отказался от намерения придать им характер исторической достоверности и решил выразить мои мысли в художественной беллетристической форме. От первоначальных замыслов в моих очерках осталось только несколько подлинных фамилий. По непростительной моей рассеянности, я не удосужился их вымарать, и вот к величайшему моему огорчению — подлинные фамилии сохранились случайно и в очерке «Тимошенко и Мельников», помещенном в 3-й книге журнала «Красная новь» за 1924 г. Все дело тут в том, что материалы для этого номера я сдавал поздно, редакция и, главное, типография торопили меня чрезвычайно, и в спешке этой я упустил из виду необходимость переменить в чистовых первоначальные фамилии. Излишне говорить о том, что тов. Тимошенко не имеет ничего общего с персонажами из моего очерка. Это ясно для всех, кто сталкивался хотя бы однажды с бывшим начдивом 6-й, одним из самых мужественных и самоотверженных наших красных командиров.

И. Бабель

7. Д. А. ФУРМАНОВУ

6 декабря 1924 г., Сергиево

Уважаемый т. Фурманов.

Очередной припадок графомании держит меня в Сергиевском плену — вырваться никак не могу. Не сетуйте на меня за промедление с «Конармией». От промедления этого произойдет польза всем трем договаривающимся сторонам — т. е. Госиздату, рукописи, мне. Я рукопись все еще подправляю, кроме задичавших казаков, там появились и смертные люди, это меня радует. В следующий мой приезд в Москву зайду к вам, и мы обо всем подробно поговорим.

Искренне преданный *И. Бабель*

Сергиево, 6.12.24

8. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Киев, 22/IV–25 *22 апреля 1925 г., Киев*

Мой милый, чудный, любимый друг. У меня много дел в Киеве, потом надо будет ехать в Харьков. Если разъезды эти возьмут времени более, чем я предполагал, то в промежутке я приеду на несколько дней в Москву. Я должен это сделать потому, что в несчастливой здешней суете, в нищем, оборванном, отвратительном этом городе я совсем перестал верить в то, что Вы были когда-нибудь со мной. Я не могу не видеть Вас так долго.

Сегодня вечером или завтра — если Вы отступите от меня маленько — я напишу лучше и подробнее. Тамара, утеше-

ние мое на земле, пишите мне каждый день. Я чувствую, что заслужил это. Я думаю об Вас с отчаянием и любовью, от которых некуда бежать.

Ваш *И. Б.*

Адрес: Киев, гостин. «Красный Киев» (бывш. «Прага»), ул. Короленко, 36.

Дружочек Т. В., окажите мне услугу, позвоните в редакцию «Красной Нови» (т. 5-63-12), попросите к телефону Евгению Владимировну Муратову. Скажите ей от моего имени, что я с нетерпением жду корректуры, которую она обещала выслать мне в Киев. Корректуру эту немедленно по исправлении я отправлю в редакцию.

И. Б.

9. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

23 апреля 1925 г., Киев

Я был очень печален вчера и написал Вам судорожное дурное письмо. Отправивши его, я раскаялся и уехал на пароходике вниз по Днепру, верст за двадцать. Там в деревне я переночевал, выпил пива с предсельсовета и еще двумя мужиками и на рассвете вернулся в Киев. Здесь еще с одним военным человеком (Охотников, друг Мити Шмидта и мой) мы с утра наняли моторную лодку, катались полдня, пили, пели, гнались за розовыми днепровскими пароходами, чтобы покачаться в их безобидной волне, я ужасно хотел рассказать Охотникову чего-нибудь про Вас, сунуть контрабандой рассказ о случае с давнишними моими знакомыми, но,

к чести моей, ничего не сказал, вернулся домой в гостиницу и нашел здесь письмо от Вас, милый друг мой. События, заслуживающие упоминания, были вот еще какие: позавчерашний день я провел в Лукьяновской тюрьме с прокурором и следователем, они допрашивали двух мужиков, убивших какого-то Клименку, селькора здешней украинской газеты. Это было очень грустно и несправедливо, как всякий человеческий суд, но лучше и достойнее было мне сидеть с этими жалкими убившими мужиками, чем болтать позорный вздор где-нибудь в городе, в редакции; потом позавчера же у меня была счастливая встреча с давним моим товарищем Шишковским. Он авиатор и командует здесь в Киеве эскадрильей истребителей. Сейчас солнце, три часа, я напишу Вам, душа моя, письмо, и поеду за город к Ш., и буду летать с ним сегодня и, вероятно, каждый день. Я, кажется, говорил Вам, что бываю очень счастлив во время полета.

Семейную обстановку я застал здесь очень дурную. Больная старуха совсем безумна, она оглушила, замучила меня, но я верю в то, что мне удастся привести здесь все в порядок.

Я очень радуюсь эрдмановскому успеху, не думаю, чтобы пьеса его была хороша, но успех поощрит его, и он будет работать лучше. И о Правдухине Вы верно пишете. Кабы его не было, Лидия Николаевна жила бы несчастнее, но писала бы лучше. Не знаю, прав ли я. И о роли не тужите, роль эта ненатуральная, Вы бы фальшивили в ней, как и всякий другой человек, зачем это? В последние дни я много думаю об Вашем искусстве и моем и со всей страстью убеждаю себя в том, что мне душевно нужно на два года отказаться от моей профессии,

жизнь моя пошла бы лучше, и позже, через два года, я сделал бы то, что нужно мне и еще, может, некоторым людям.

Дружок мой, ко мне только что пришли гости, будь они прокляты. Я не могу больше писать, до свиданья, завтра напишу еще.

Я ушел из дому, где начался шум и суета, всегда сопровождающие меня, и здесь, на почте, мне хочется приписать несколько строк: с чувством невыразимого облегчения я прочитал в Вашем письме, что нервы Ваши улеглись маленько и Вы спите, по правде, я боялся за Вас, и вот теперь мне спокойнее стало жить на свете. Я приеду в Москву и увижу снова прояснившиеся Ваши глаза и милое круглое лицо, расцветшее после тяжких наших печалей, Вы будете веселы, и мне суждено еще порадоваться на Вас. А теперь пойдем летать. Дайте мне Вашу верную, прекрасную руку, до свиданья, голубушка моя Тамара!

Ваш любящий Вас всем сердцем *И. Бабель*

Киев 23.4.25

10. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

24 апреля 1925 г., Киев

Милый дружочек Каширина. Звонили ли Вы Муратовой? Позвоните, пожалуйста, еще. Корректура нужна мне до крайности. Они очень небрежные люди, и если их не теснить, они напечатают по невыправленной рукописи.

Напишите мне, как обстоят дела с поездкой, едете ли Вы с театром, выработан ли окончательный маршрут, какого

числа начнутся спектакли. Знать это важно. Я хотел бы согласовать мои планы с Лойтером (кажется, его фамилия Лойтер?). Позавчера летал на аэроплане, но недолго, 25 минут, п. ч. в школе авиационной происходили занятия в это время. Я с товарищем моим собираемся лететь верст за двести от Киева, если не удастся, поеду на пароходе в Черкассы, пробуду там дня два, это получше будет, чем влачиться здесь в пыли канцелярий. Получение загранични. паспорта в Киеве — трудная вещь. Здешний отдел управления запрашивает столицу, Харьков, равнодушнейшая эта столица разрешает с прохладцей и проч. и проч. Я изо всех сил постараюсь ускорить. Не браните меня за дурные письма или за отсутствие их. Я очень грустен в Киеве. Какая несправедливая жизнь, какие ненужные люди вокруг. Кабы я верил в бога, я сказал бы: боже, помоги укрепиться мне в моем отчаянии, помоги моей злобе, помоги уйти от разваливающихся этих семей, от местечковых этих редакций, от жалких прихлебателей искусства, отдай мне Каширину, боже, и пусти меня с ней по свету!.. Но бог высоко, Каширина далеко, и, такой печальный, я себе не нужен.

И. Б.

24.IV.25

11. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

25 апреля 1925 г., Киев

Я только что пришел в гостиницу, теперь 8 часов вечера, и мне передали Ваше письмо. Я зашел в гостиницу затем,

чтобы взять рукопись и отправиться с ней в клуб рабкоров, мне там надо читать сегодня. Но письмо Ваше показалось мне таким удивительным и душевным. Я хотел бы написать такое же, но не знаю, как это делается. О каком гитаристе Вы пишете, я ничего не понял, и о какой фотографии? Если у Вас есть карточка, сохраните ее, пожалуйста, для меня.

Я написал Вам три письма, прости меня, боже, за эти письма, но все же я отправил их, неужели Вы ничего не получили?

Вот больше не об чем писать. Погода здесь дурная. Тепло-то оно тепло, но дует ветер. Мелкий, злой ветер с песком, такие ветры бывают в нищих пыльных южных городах. Я много ходил сегодня по окраинам Киева, есть такая Татарка, это у черта на куличках, там один безногий парень, страстный любитель голубей, убил из-за голубиной охоты своего соседа, убил из обреза. Мне это показалось близко, я пошел на Татарку, там, по-моему, очень хорошо живут люди, т. е. грубо и страстно, простые люди. Я бродил среди их домиков и вспомнил — знаете об чем, друг мой, — я вспомнил, как мы ездили за город в туркестанский приют. Вы были очень хороши в тот день, красивей я никогда вас не видел, это был очень счастливый день.

Ну, до свиданья, милая далекая родная моя Тамара.

И. Б.

Это угнетающее делопроизводство. Милая моя, отродясь я не умел писать писем. Не сердитесь, не забывайте меня, выводите каракули, пишите мне каждый день, не уходите от

меня к чужим людям так надолго. Я сегодня чего-нибудь совершу и надумаю, когда мне ехать в Москву, и сообщу Вам.

И. Б.

25.4.25

12. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

27 апреля 1925 г., Киев

Каширочка, спится ли Вам? Мне не очень. Вчера я лег спать рано, в одиннадцатом часу, но на беду мою или на счастье разразилась гроза удивительной силы, молнии стояли от земли до неба минуты по две, дождь гремел, гнулся, чернея, как море, я вылез на подоконник, похерил сон и произнес длинную речь, обращенную к вам, Каширочка. Вы очень смеялись бы, дружочек, если бы услышали это бормотание, полное неумелых нежных слов. К часу гроза прошла и я принялся за злосчастный мой сценарий. Я сочиняю его на ходу, изо всех сил, времени у меня нет, но я это делаю для Вас, Вы ничего тут не поймете, но я делаю ужасную эту работу для Вас, поэтому я расшибусь, но кончу ее, и мне приятно бороться с нудной этой неприятной стихией, я чувствую тогда, что Вы со мной, и мне хочется победить. Но победить трудно, Каширочка, мозги не ночуют в моем теле, а днем их мучают пустяковыми делами. До обеда я шатаюсь по канцелярии. Я спасаю Лубенскую «нашу» усадьбу, я хлопочу об снижении арендной платы за «наш» дом, я отчаянно стучусь в Иностранный отдел Исполкома, — и к вечеру от меня остаются одни обмылки, в эти обмылки я вбиваю неунывающие

мозги и борюсь за существование, т. е. пишу сценарий. Мало я, черт бы меня побрал, ходил в синематографы, боюсь ошибиться.

Завтра занятия в госуд. учреждениях прерываются на три дня. Я уеду на это время в Богуслав, это замечательное евр<ейское> местечко верстах в полутораста от Киева, там, говорят, есть река необыкновенной красоты и водопад, а в десяти верстах от Богуслава деревня Медвин, достойная изучения. Я думаю так, — по возвращении из Богуслава можно будет определить приблизительно день отъезда моего в Харьков и Москву. Если между Харьковом и Москвой установлено уже летнее аэропланное сообщение, — я полечу на аэроплане. Боги, м<ожет> б<ыть>, воззрят на мои тяготы, и числа 7–8 мая я смогу вернуться в Москву.

Каширочка, не пишите мне больше в гостиницу. По возвращении из Богуслава я не остановлюсь в гостинице, а проеду, вероятно, прямо в Харьков. Напишите мне, пожалуйста, еще одно письмо в Киев, до востребования, главный почтамт, в день отъезда в Харьков я сообщу Вам харьковский мой адрес.

Затем — от «Красной Нови» ни слуху ни духу. Какие неверные люди. Я телеграфировал вчера в редакцию и завтра пошлю еще одну телеграмму. Пожалуйста, позвоните еще раз Муратовой и скажите ей от моего имени, что я протестую против напечатания рассказа с невыверенной рукописи и что если они не пришлют мне корректуры по указанному адресу в Киев, то я буду протестовать против этого в печати. Александр Константинович обещал мне дать воз-

можность прочитать корректуру трижды. Мне стыдно, что я отягощаю Вас этим делом, но, право, оно имеет для меня кое-какое значение.

У нас здесь не весна сегодня, а лето. Трава чудесно поднялась за три дня, цветет вишня, деревья в неописуемо нежной зеленой ароматической листве.

Больше не буду писать сегодня, п. ч. не хочу говорить о посторонних вещах и не хочу прощаться с Вами. Если проститься и писать в письме конец— тогда надо жить без Вас, а так продолжаешь все ту же грустную, но любовную, милую жизнь.

До свиданья, <солнышко — зачеркнуто> утешенье мое.

И. Б.

Я перечитал письмо и зачеркнул одно слово. Так, я думаю, пишут солдаты. Что делать...

К. 27.IV.25

13. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

30 апреля 1925 г., Киев

Я отменил поездку в Богуслав, я принес в жертву все водопады, потому что понял, что в Богуславе работать невозможно. Три-четыре дня пребывания в Богуславе значительно отодвинули бы отъезд в Москву. Человек по фамилии Морква, председатель богуславского райисполкома, один из мириада моих приятелей, человек хороший, передовой, но пьющий и общительный до крайности, приготовился везти в Богуслав вместе со мной горячительные

напитки в необъяснимом количестве и еще сумрачных хохлов, перепить которых, я понял, невозможно. Хохлы победили бы меня, я не сочинил бы ни одной строки для сценария и… и я уехал в поселок Ворзель под Киевом, где и сижу сейчас над кипой скучных бумаг, Каширочка. В Харьков мне не удастся выехать раньше 5 мая, в Москве предполагаю быть не позже десятого. Я ничего не знаю, едете ли Вы с театром, знать это ужасно важно, три дня от Вас нет писем, это очень грустно, милая, не оставляйте меня одного. Дни мои и ночи поджариваются на утомительных углях, как скучно жить без Вас, вчера ночью шальная мысль взбрела мне на ум, ревность, мысль эта разодрала меня надвое, но я раскаялся потом. Вот и вся жизнь. Она не такова, какой ей следует быть. Я думаю о Москве, жажду Москвы, и нынешние печальные дни отзванивают, как нерадивый звонарь: не следуйте моему примеру, Каширочка. Если я застану Вас веселой, нагулявшей румянец и потерянный вами пуд, — это будет мне радость. Как смешно я пишу, черт со мной, а с Вами бог, любовь моя.

И. Б.

Киев, 30/IV–25

От «Красной Нови» ни ответа ни привета. Придется послать им выправленную рукопись.

На это письмо можно ответить в Киев (Главн. почтамт, до востреб.), а потом я сообщу Вам харьковский адрес.

14. А. К. ВОРОНСКОМУ

2 мая 1925 г., Киев

Дорогой Александр Константинович. Я потерял надежду на получение корректуры. История эта огорчает меня. Посылаю проверенную рукопись. В нее внесены исправления по сравнению с первоначальным текстом. Печатать можно только по этому экземпляру. Удивляюсь образу действий технического персонала нашей редакции. Они обнаружили пренебрежение к элементарным авторским правам.

Сегодня выезжаю в Харьков. Через неделю приеду в Москву на короткий, вероятно, срок.

Ваш *И. Бабель*

Киев, 2/V–25

15. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

3/V–1925 г. *3 мая 1925 г., <Киев>*

Выезжаю Харьков

16. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

5/V–1925 г. *5 мая 1925 г., <Харьков>*

Приеду четверг

17. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

6/V–1925 г. *6 мая 1925 г., <Харьков>*

Выехал скорым

18. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

<8> мая 1925 г., <Москва>

Я приехал вчера в пятом часу и безуспешно разыскивал Вас до 11 ч. ночи. Приятельница ваша, актриса Ксения (фамилии не помню), сказала мне, что в местах, где Вы обычно бывали, т. е. в театре и в клубе, найти Вас невозможно. Поэтому я решился на дерзновенный шаг и посылаю записку. Когда мы с Вами увидимся, придете ли в Обухов или мы увидимся днем?

Б.

19. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<12 мая 1925 г., Москва>

<…> Зиму я провел худо, сейчас чувствую себя хорошо, очевидно, северная зима действует на меня губительно. Душевное состояние оставляет желать лучшего — меня, как и у всех людей моей профессии, угнетают специфические условия работы в Москве, то есть кипение в гнусной, профессиональной среде, лишенной искусства и свободы творчества, теперь, когда я хожу в генералах, это чувствуется сильнее, чем раньше. Заработки удовлетворительны <…>

И.

20. Д. А. ФУРМАНОВУ

26 мая 1925 г., <Сергиево>

Дорогой Дмитрий Андреевич,
письмо Ваше получил с опозданием, потому что уезжал в Ярославскую губернию к приятелю в деревню. Дня через три буду в Москве и замолю все мои грехи перед вами.

Ваш *И. Бабель*

26/V–25

21. И. В. ЕВДОКИМОВУ

28 мая 1925 г., Москва

Дорогой Иван Васильевич.

Направляю к вам тов. Михайловского Н. В., о котором мы с вами говорили по телефону. Он жаждет работы в области книжной графики. Воззрите на него ласковым оком, п[отому] ч[то] он этого заслуживает.

Ваш *И. Бабель*

М. 28/V–25

22. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

14 июня 1925 г., Сергиево

Милая Татушенька. В жизни моей по сравнению с прошлым, если не считать чувства пустоты и одиночества, вызванного Вашим отъездом, мало нового. Я приехал в Сергиево вчера, в субботу, и рассчитываю пробыть здесь долго.

Единственное дело, привязывающее меня к Москве — хлопоты о французской визе, — находится, по моему убеждению, в благополучном состоянии. А другое дело — получение от Вас писем; я буду ездить за ними два раза в неделю. Напоминаю адрес: 34 почтовое отделение, уг<ол> Пречистенки и Дурнова переулка, до востребования. В Москву до востребования лучше писать, чем в Сергиево, п. ч. сюда письма идут очень плохо. В пятницу, т. е. на следующий после Вашего отъезда день, я встретил Сережу Есенина, мы провели с ним весь день. Я вспоминаю эту встречу с умилением. Он вправду очень болен, но о болезни не хочет говорить, пьет горькую, пьет с необыкновенной жадностью, он совсем обезумел. Я не знаю, его конец близок ли, далек ли, но стихи он пишет теперь величественные, трогательные, гениальные. Одно из этих стихотворений я переписал и посылаю Вам. Не смейтесь надо мной за этот гимназический поступок, может быть, прощальная эта Сережина песня ударит Вас в сердце так же, как и меня. Я все хожу здесь по роще и шепчу ее. Ах любовь — калинушка... Нынче весь день работал с остервенением, теперь, когда я пишу Вам, идет второй час ночи, и так как я спал сегодня два часа после обеда, то можно посидеть до света. Сценарий, я почувствовал сегодня, поездку мою на Кавказ не задержит, в эту неделю я рассчитываю сочинить две трети, с третьей придется повозиться, п. ч. нужно добыть документы о гражданской войне этого периода, но и это не особенно трудно. Только бы проклятая виза не задержалась, тогда все можно будет скоро уладить. На кинофабрику я не хожу и не пойду до того вре-

мени, пока не буду иметь на руках какого-нибудь товара. Оттуда несутся вопли и проклятия по моему адресу. Теперь о Вас, душенька моя Таратута. Где Вы, что с Вами, как Вам живется? Мне надо об этом знать подробно. Я вспоминаю последний Ваш ужасный месяц, это не должно повторяться. На моей короткой памяти Вы разительно изменились и ослабели здоровьем. За что нам от Господа Бога такое испытание? Это я пишу к тому, что ежели Вы в Сочи не наберетесь духа, тела и прочих составных частей беспечального человеческого существования, то я очертя голову поступлю в партию и займусь рабкоровским движением или, что еще ужаснее, стану театральным реформатором, как Лойтер. И тогда Вам в жизни не останется никакого ходу. А то что же это такое — была король-баба, в нее, в король-бабу, на одном Разгуляе были влюблены три человека и все три с солидным положением, а в других окраинных местностях столицы еще двенадцать человек, и это не считая эпизодов вроде роты курсантов, трамвайных калек и ночных извозчиков. От имени многочисленных этих страдальцев я протестую, товарищ Таратута. Красная Армия, советские служащие, одинокие калеки и лица свободных профессий требуют, чтобы Вы снова стали король-баба, потому что какая же нам без Вас сласть в этой жизни, где идеологии стало больше, чем кислороду!..

До свидания, Татушенька, любимый друг. Не купайтесь подолгу, в слабом состоянии это вредно. Как чувствуют себя Зинаида Владимировна и Татьяна? Есть ли у вас постели, самовар, умывальник? Какую рыбу Вы едите, и жирны ли

бараны в нынешнем году? Вам надо спать 12 часов в день, а выспавшись, писать мне письма. Это будет достойное существование. Любящий Вас всем сердцем

И. Б.

Сергиево, 14/VI–25

23. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

16 июня 1925 г., Сергиево

Татушенька, как Вы поживаете? Понравилась ли Вам книга Алексея Толстого? Какая погода в Сочи? У нас беда. Дождь, холод, ветер, деревья шумят яростно. Иногда показывается плюгавое солнце и сейчас же застилается ливнем, мглою, как на сцене. Один только раз было солнце и дождь, летний, щедрый, горячий дождь, очень красиво.

Как Вы доехали до Сочи? Езда, небось, скучная. Море-то, наверное, оказало на Татьяну сильное впечатление. Заведите Татьяне собачку. Дети очень любят купать собак.

Мы с Воронским живем дружно. Он все пишет про литературу. Жена его потешное существо, сущее наказание для просвещенного коммуниста. Жена — еврейка, мещанка худшего толка, ссорится с прислугой, а прислуга на нее в союз, вот ведь ужасный какой пролетариат. Мать с утра забирается ко мне в комнату и представляет Воронскую в лицах, мы с Аннушкой помираем с хохоту, Аннушка от смеху икает, икает она с любовью и нестерпимо звучно. Еще новости: Иван Иваныч был вчера именинник; Шик, еврей-выкрест, живущий насупротив, рукоположен во священники, он сме-

нил полукафтанье на рясу и ходит во всамделишной рясе с клюкою; коз согнали с Козовой горки (Вы на этой горке были), бабы устроили бунт вчера, и к ним приходил представитель Исполкома. Кто победит — еще неизвестно.

Больше новостей нет. Я занят скучной работой и отвлекся от нее, чтобы напомнить Вам о себе. До свидания, душенька. Будьте толстая, веселая, глупая и не живите духовной жизнью.

Любящий Вас член союза Работпрос № 3929.

И. Б.

Сергиево, 16/VI–25

24. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

20 июня 1925 г., Сергиево

Таратуточка. Двое суток я предавался неумеренному отчаянию по поводу несчастного Вашего путешествия. На меня было жалко смотреть. Утешение я черпал единственно в том, что не был на вокзале во время Вашей посадки. Несомненно, я скончался бы с горькой улыбкой на руках чужих людей. Конечно, я кругом виноват, но, боже, что сталось с курортными вагонами? Я виноват, но тут замешана и власть. В прошлом году на Кавказе я перевидал множество курортных вагонов. В них царила роскошная гигиена и товарищеская спайка. Насчет спайки дело и в нынешнем году обстоит, очевидно, неплохо, но кто же разрушил гигиену? И куда девались уборные? Клянусь Вам, Каширочка, они были в прошлом году, по две на вагон, клянусь Вам!

Известие Ваше о дурной погоде не застало меня врасплох. У нас пятый день льет дождь, сыплет град, валит снег, изморозь покрывает землю по утрам, и глыбы льда выезжают из водосточных труб. Воронская, поставленная, наконец, лицом к лицу с беспощадной природой, объевреивается все более, на замызганном ее лице я читаю всю страдальческую историю великого нашего курчавого народа. Воронская считает, что я нахожусь с природой в договорных отношениях и что она кругом обманута. И только Воронский доволен. В Сергиеве никто не нарушает его права писать критические статьи. Но, по-моему, он злоупотребляет этим правом. Через проклятую эту погоду я простудился, чувствую себя плохо, ропщу, но сценарий все же пишу. Завтра, в субботу, из шести частей будут готовы четыре, а в воскресенье я поеду получать от Вас письма и читать сценарий Эйзенштейну. Если я написал чепуху — вот будет оказия!

Милый, чудный мой друг Каширочка. Теперь ночь, за стеной мелкий дождь ведет старушечий свой хлопотливый разговор, все спят, зеленый абажур на лампе призывает меня к труду, к терпению, к упорству, и, кабы Вы были здесь, в пустынной моей комнате, — я был бы счастлив. Ну да ладно. Не скучайте, Татушенька. Неужели погода таковая, что нельзя купаться? Глупая история. Напишите мне о Тане и Зин. Влад. Как Вы с ними устроились? Хорошие ли вам предоставлены комнаты? Сколько баранов вы съели?

Аннушка завтра едет в Москву, я передам ей это письмо, оно, я думаю, скорее дойдет, чем сергиевские. В воскресенье напишу Вам из Москвы.

Спокойной ночи, Татушенька.

Ваш *И. Б.*

Сергиево, 20/VI–25

25. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

25 июня 1925 г., Сергиево

Милый друг Татушенька. Письма Ваши из Сочи получил. Деньги (100 р.) высылаю сегодня или завтра. Стыдно, что так мало, но времена денежного изобилия для меня наступят позже, приблизительно дней через восемь. Тогда мы с Вами развернем дела. Прошу Вас, тратьте сколько надо. По-моему, тратить следует немножко больше, чем надо, п. ч. иначе какой толк в тратах?

Я рад, что Вам живется хорошо. У нас тоже наступила хорошая погода. Я три дня провел в Москве, в большой суете. Был у Эйзенштейна на даче, ночевал у него. Сценарий мой как будто выходит. Из шести частей я написал четыре, сегодня приступаю к пятой. Когда управлюсь с этим делом, тогда только для меня прояснятся дальнейшие перспективы.

Я написал Вам три или четыре письма, из них одно спешное. Как это могло случиться, что Вы их не получили? Письма из Сочи идут медленно.

Из милых посланий Ваших я заключаю, Татушенька, что Вы по-прежнему предаетесь размышлениям, в то время как

единственная цель теперешней Вашей жизни должна состоять в том, чтобы в каждый данный день весить на фунт больше, чем в предыдущий. Дитя, дочь, внучка моего сердца. Не думайте обо мне дурно, не приписывайте нам дурных качеств. И если Вам не лень будет, голубушка, молиться о моей душеньке, то делайте это по утрам по следующему рецепту: влейте в чашку двадцать пять яиц, прибавьте к ним сырого молока, сболтайте это с фунтом рыбьего жиру и проглотите на завтрак. А потом пейте кровь из баранов, высасывайте ее, я читал, что это очень полезно.

Я получил чудное душевное письмо от Горького. Надо ответить на него целым трактатом и поспеть до закрытия почты. Поэтому я прерываю до завтра свои излияния. Дайте мне прекрасную Вашу руку, Татушенька, до свидания, до завтра. Будьте веселы, как жеребенок на лугу, и не забывайте преданного Вашего друга.

И. Б.

Сергиево, 25/VI–25

Я пишу, лежа на земле в саду. Поэтому почерк выходит очень скверный.

26. А. М. ГОРЬКОМУ

25 июня 1925 г., Москва

Дорогой Алексей Максимович!

Спасибо за письмо. Оно рассеяло уныние, которому я был подвержен.

В начале нынешнего года — после полутарагодовой работы — я усомнился в моих писаниях. Я нашел в них вычуры и цветистость. Мне казалось, что для меня наступает дурное время. В Петербурге, в 1917 г., я понял, как велика моя неумелость, и ушел в люди. В людях я прожил шесть лет, и в 1923 вновь принялся за литературную работу. Меня мучила мысль о том, что я обманул Ваши ожидания. Но теперь Вы знаете, что я не обленился, не забросил писания, не забыл слов, сказанных Вами мне в первый раз в кабинете «Летописи», на Монетной улице. Я не забыл их, Алексей Максимович. Они помогают мне в минуты неверия. Изо всех сил я буду стараться писать проще, душевнее, искреннее, чем писал до сих пор. И если я буду ошибаться, то прошу Вас — не теряйте веры в меня.

В начале зимы собираюсь ехать за границу, может быть, увижу Вас. Вторую половину лета и осень проведу на Северном Кавказе. Я очень люблю этот край, и там у меня есть веселые, прекрасные товарищи.

Стихи Есенина (прелестные, лучшие из всех, какие сейчас пишутся в России) высылаются Вам, книга Огнева и № 6 альманаха «Круг» не вышли еще из печати.

Теперь просьба, — может быть, это и бестактная просьба… Жена моя, Евгения Борисовна Бабель, имеет непреодолимое желание уехать в Италию. Она учится живописи и хочет усовершенствоваться в своем искусстве. Вы помните Кудрявцева из «Новой жизни»? Он изучал испанский язык, у него было необыкновенной красоты издание

«Дон-Кихота» на испанском языке, книга эта принадлежала в прошедшие времена какому-то герцогу, Кудрявцев читал ее с упоением. Так вот жена моя хочет ехать в Пизу, Лукку и еще куда-то.

В здешнем итальянском посольстве ей сказали, что для скорейшего получения итальянской визы полезно сослаться на человека, живущего в Италии. По совету многих друзей я решился указать на Вас, больше не на кого. Если Вас запросят, не откажите, Алексей Максимович, ответить, что она человек тихий, для России бесполезный, для Италии безвредный. Извините, что затрудняю Вас.

С рассказом, посвященным Вам и напечатанным в предпоследнем № «Красной нови», вышло недоразумение. По причинам, от меня не зависящим, рассказ оборван на половине. Вторая половина появится в альманахе «Красная новь», выходящем на днях. Книжка будет Вам послана немедленно. Я очень огорчался, что с вещью, посвященной Вам, вышла глупая такая история.

Ваш, любящий Вас всем сердцем

И. Бабель

Москва, 25/VI–25

Мой адрес: Москва, Пречистенка, Обухов пер., 6, кв. 23.

27. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

29 июня 1925 г., Сергиево

Давно Вам не писал, Татушенька, и мне кажется, что я живу без Вас с незапамятных времен. В четверг приехала

гостья (приятельница из Петербурга) и пробыла два дня, а в субботу нагрянули три семьи — Вознесенские, Зозули и проч. Я измаялся. Пропащие четыре дня, даже Вам не мог написать. И это в то время, когда работать надо с возможной поспешностью. Я уже писал Вам, кажется, что три четверти сценария написал, а вот последняя четверть не клеится, да и не было времени над ней работать из-за гостей. Не клеится же окончание, потому что меня заставляют работать фальшиво, т. е. ни к селу ни к городу пристегивать идеологию, но я нынче утром напал, кажется, на счастливую мысль и, может быть, выйду из тягостного этого положения без морального урона.

Татушенька, по чистой совести говоря, жизнь течет не так, как следовало бы, т. е. все ставишь себе сроки, вот окончу одно, справлюсь с Францией, там поехать можно будет, и заживу... Спасаюсь только тем, что в мыслях стараюсь отказаться от суеты и скверны, ну да это занятие для философа, а философы дураки, вот тут и вертись... Пишу на почте, очень жарко, мухи и толчея; у почтовой барышни в окошечке завиты такие жалкие кудельки и на цыплячью грудку насыпано столько мела или пудры, что с этой барышней в самую бы пору поговорить о жизни, о ее и моей жизни, ну да она отвергнет, ей некогда.

Тату, завтра поеду в Москву получать от Вас письма, это мне радость. Пишите мне о себе все, что только возможно, пишите о том, что было на первое и что на второе и сколько было нынче градусов в тени. Мне все интересно и очень, друг мой, хочется бывать с Вами почаще. Деньги (сто р.) я

перевел вам телеграфно из Сергиева. До свиданья, любовь моя, до завтра.

Ваш *И. Б.*

Сергиево, 29/VI–25

28. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

3 июля 1925 г., Сергиево

Вчерашний день провел в Москве. Только и было хорошего в этом дне, что Ваши письма. Я читал их, перечитывал и, коли бы не стыд, прижимал бы их к сердцу. А все остальное было плохо: жара, дурное состояние здоровья, дурная семейная сцена и проч. и проч. От делов от этих еще и сегодня голова болит. К стыду моему, я все еще бьюсь над сценарием, над его окончанием. Гонорар мне положили порядочный, надо постараться сделать получше. Татушенька, как это ни ужасно, но точные планы мои и сроки выяснятся только через четыре-пять дней, т. е. после окончательного моего расчета с кинофабрикой. Я думаю, что в Одессу съездить придется. Если поездка в Одессу будет необходима или хотя бы возможна, тогда я вызову Вас туда — Вы помните наш уговор? Это будет очень хорошо, в Одессе и море есть, и Вы сможете поработать в злосчастном кино у Эйзенштейна. Он будет снимать там две картины, на стороне его рука владыка — т. е. и деньги, и договор. Напишите, получили ли Вы 100 р., высланные телеграфно. Прошу Вас, душа моя, осведомлять меня о состоянии Ваших скудных финансов. Для меня это радость — заботиться о Вас. Я стараюсь быть точным

и пишу два раза в неделю. Ни в каком случае не ездите в город больше одного-двух раз в неделю. Право, жалкие мои письма не заслуживают внимания. Кабы я еще умел писать не о делах, а то стоит ли делать шесть верст по жаре? Не стоит.

Меню Ваши я прочитал с захватывающим интересом, но не верю, что один человек может поглотить такое количество пищи, а ежели он может, то да будет он благословен во веки веков! Что касается меня, Татушенька, то я веду жизнь духовную (от чего Вас предостерегаю), я ем, как соловей, и скоро двух мертвых муравьев будет достаточно, чтобы насытить меня.

Больше происшествий никаких. Вчера я ехал на Ярославский вокзал в самом ординарнейшем из ординарных трамвайных вагонов, мне было грустно, и я раздумывал — что это такое? Потом впервые в жизни я испытал душевную усталость. Это началась старость, как Вы думаете, милая дама? И если это началась старость, то вот Вам и происшествие?..

Тату, поклонитесь фотографу, которому Вы задолжали шесть рублей, поцелуйте его в увядшие губы (или он грузин?) и заберите причитающиеся Вам карточки, из коих одну воздушной почтой пришлите мне, п. ч. я скучаю по Вас, как не могут скучать старики (не впал ли я в детство?), вот пишу эти дурацкие строчки и скучаю по Вас, как осиновый лист, и вспоминаю чудное Ваше лицо в хорошие ваши минуты! Кстати о лицах. По-прежнему ли Вы испещрены язвами, по-прежнему ли вздута Ваша губа, ободран Ваш подбородок

и растерзан Ваш курносый милый нос? Все это было моим уделом, но теперь, когда Вы любите грузинов и, можно сказать, ласкаете их, теперь, когда Вы слушаете по ночам шакалов, сидя на веранде с страстным Фрейманом (кстати, говорят, что Фрейман — это ничего не обозначающий псевдоним, а на самом деле он написал «Юрия Милославского»), теперь, конечно, Вы похожи на Шехерезаду, грузины в восторге, они угощают Вас бараньим шашлыком с луком и помидорами, и только я и мадам Фрейман орошаем подушки густо просоленными слезами. Вы правы, Тату, и я подписываюсь под Вашей философией, которая гласит: все граждане мучаются в их жизни, я гражданка, следовательно, и я должна мучиться в моей гражданской цивильной жизни и никакие улещивания и подвохи не отвратят меня от исполнения прямого моего долга, т. е. мучиться. На этом стою и с ефтого не сойду.

Последняя новость: умер Давыдов. Он был великий человек, Вы знаете, как я уважал его, умирая, он сделал последнее свое доброе дело: Я не могу передать Кашириной моего таланта, — сказал великий человек, умирая, — но я завещаю ей мой объем. Такова была последняя воля последнего классического актера. Осмельтесь ослушаться ее, и Вас выгонят из союза, из какового Вас уже выгнали, что обозначает гражданскую Вашу смерть и налагает на меня грустную необходимость прекратить с Вами знакомство, которое Вы, в Вашем положении мертвеца, физически и духовно не можете продолжать. Значит, и переписку прекращать пора. До свиданья, Таратуточка, милая дамочка, воздушная красавица, трибун моей жизни!..

Дайте на прощанье умопомрачительную Вашу лапку, и я поцелую Ваши седины и тысячи дьяволов в Вашем ребре.

И. Б.

Сергиево, 3/VII–25

29. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

10 июля 1925 г., Сергиево

Татушенька, только что получил Ваше письмо от 5 с/м. Оно очень меня встревожило. Что-то дурно Вы живете. Пишу на почте, п. ч. теперь 6 ч., а в $6^{1}/_{2}$ ч. почта закрывается, и я не смогу отправить Вам письма. Вокруг толчея, толкают под руку, и я не могу сказать то, что хочу. Я вчера читал целиком сценарий Эйзенштейну, он в притворном или искреннем восхищении — не знаю, — но во всяком случае все идет благополучно. Завтра буду сдавать работу дирекции, думаю, что в ближайшие дни (два-три дня) все закончу. Кроме этого на той же кинофабрике предвидится для меня захватывающего интереса работа — можете себе представить — фильма о лошадях по заказу Наркомзема. Я буду счастлив, если меня привлекут к этой работе. Я рассчитываю дня через четыре вылететь в Ростов, оттуда проеду в Сочи. Завтра или послезавтра напишу Вам обо всех этих делах спешное письмо, о выезде буду телеграфировать.

За последнее время я написал несколько писем, как это случилось, что Вы их не получили. Очень плохо, что Вы потеряли паспорт, теперь Вам, м<ожет> б<ыть>, писем совсем выдавать не будут. Дела с заграничным паспортом идут

благополучно, и даже есть основание рассчитывать на получение визы из Парижа, что в нынешнее время представляет большие, почти неодолимые трудности. В понедельник, 13-го, я рассчитываю, выяснится точный срок отъезда жены за границу.

Татушенька, стыдно хандрить. Будьте веселы, я думаю, что мы скоро увидимся. Друг мой, я прилагаю все усилия, чтобы вырваться отсюда. Вы знаете, мне живется здесь не сладко, я хочу бежать от литераторов, критиков, от всех этих опостылевших мне людей.

Душа моя, не надрывайте сердца, не пишите мне так жалостно, всей душой я хочу, чтобы Вам жилось счастливо.

Больше не буду писать сегодня. Два дня, проведенные в Москве, растрепали меня маленько. Ложусь я на рассвете, делов множество, все издательства как с цепи сорвались, да и мысли, к счастью, одолевают, а спать невозможно из-за духоты, очень я в Сергиеве привык к легкому воздуху и здесь увядаю.

До свиданья, Татушенька. Не смейте не быть веселой, лежите на солнце за себя и за меня, п. ч. без моря и солнца и без Вас мне по чистой совести очень скучно.

Ваш *И. Б.*

10/VII–25

30. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

12/VII–1925 г. *12 июля 1925 г., Сергиево*

Тату, завтра утром, вернее, сегодня утром поеду, наконец, в Москву устраивать мою судьбу. Только что (теперь

третий час утра) дописал проклятущий мой сценарий. Представьте, первые четыре части я обдумал и написал в семь дней, окрыленный этим успехом, я думал, что с последней третью справлюсь еще легче, но не тут-то было, только позавчера мне пришли на ум подходящие (подходящие ли?) мысли, и я за полтора дня откатал великое множество сцен. Я очень устал, Татушенька, мысли путаются, надо поспать маленько. Очень плохо то, что я не писал Вам так долго, но из-за оттяжек этих со сценарием я был в дурном расположении духа и не хотел писать Вам ничего грустного.

Переписка оконченной работы, чтение в разных инстанциях, проведение через репертуарный и всякие другие комитеты — возьмет, я думаю, несколько дней. После этого срока я смогу телеграфировать Вам точно, куда я выезжаю, — в Одессу или в Сочи. Если в Сочи, прямо-то до Ростова буду лететь на аэроплане. Кстати — напишите мне, как в Сочи обстоит вопрос с комнатами и проч. Я радуюсь тому, что завтра получу от Вас письма; до поезда осталось часов пять, на сон надежды мало, но все же попытаюсь. До свиданья, дружочек, ешьте как можно больше, ешьте гоголь-моголь.

Ваш *И. Б.*

Письмо это отправлю утром спешным в Москве.

31. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

16 июля 1925 г., Москва

По неотложным делам выезжаю Воронежскую губернию Хреновский конный завод Этом же районе находится

Эйзенштейн По приезде завод протелеграфирую подробно Прошу приехать Ждите телеграммы.

32. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

16 июля 1925 г., Москва

Сегодня я отправил Вам телеграмму, боюсь, что Вы ее вовремя не получите или, м<ожет> б<ыть>, телеграммы до востребования получаются не в том месте, где письма, поэтому шлю вдогонку письмо.

Мне *обязательно* нужно отправиться в Воронежскую губернию на Хреновский конский завод. Он расположен у ст. Хреновой, 70 верст от ст. Лиски. Ст. Лиски находится на большой дороге между Ростовом и Воронежем, от Ростова по направлению к Москве. Я был бы счастлив, если бы Вы приехали туда. Жилищные и всякие иные дела я постарался бы устроить. В Вашем письме говорится, что Вы можете оставить на некоторое время Татьяну и Зин. Вл. Я на этом и основался. В понедельник, т. е. на три дня позже меня, выезжает в Тамбовскую и Воронежскую губернию Эйзенштейн с техническим персоналом — для съемки натурных кадров 1905 года. Вашу поездку можно будет связать с этой экспедицией если не фактически (п. ч. актеры теперь Эйзенштейном никакие не принимаются), то номинально, Эйзенштейна я об этом предупрежу. Как только приеду на завод, я телеграфно опишу все, что там застал. Считаю, что Ваш приезд вполне осуществим, если же это предприятие окажется для Вас неподходящим, то протелеграфируйте мне в Хреновую (по

адресу, который я вам сообщу с завода), и мы придумаем другой выход. Деньги на поездку я вам вышлю.

Татушенька, я очень хочу Вас видеть, но если эта поездка представит для Вас какие-нибудь неудобства, то лучше взвалить тягость всяких предприятий на меня, я как-нибудь вывернусь. Хотя мне сейчас трудно приходится. Денег требуется такая уйма — родственники растаскивают меня с такой непостижимой быстротой, что надо работать без передышки; я думаю, что на заводе нам было бы хорошо, я работал бы и мы пошатались бы с Вами по прекрасным тамошним местам.

Поезд из Туапсе идет через Ростов, Харьков, а Лиски лежат на Воронежской линии, поэтому — если Вы решите ехать — то в Ростове и в Лисках Вам будут пересадки. Мы спишемся, и я смогу Вас встретить в Лисках или хотя бы в Ростове. Татушенька, извините за это сумбурное письмо, я пишу на фабрике, в кабинете Капчинского, здесь такая толчея, что ничего не сообразишь.

Ваши письма, милый мой друг, раздирают сердце. Я мечусь в лихорадке. Стараюсь поспеть во все места, но Тату, душа моя, раньше никак нельзя было выбраться. Не браните меня, плюньте на меня, наливайтесь жирком и весельем, как дрозд на ветке.

До свиданья, Татушечка, мы скоро увидимся. Спокойствие, — говорю я иногда себе, и это помогает. Спокойствие, Каширочка, мы не пропадем с Вами.

Ваш *И. Б.*

М. 16.VII–25

33. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

19/VII–1925 г. *19 июля 1925 г., Хреновая*

Жилищные условия сносные дорога тяжелая три пересадки Телеграфьте решение Хреновая Госконзавод мне

34. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

25/VII–1925 г. *25 июля 1925 г., Хреновая*
буфет первого класса

Прошу сообщить пассажирке Кашириной прибывающей из Ростова пассажирским № 9 двоеточие ввиду неимения поезда встретить Лисках не могу выезжайте Хреновую товарным.

Уполномоченный Газеты Правда Бабель

35. Д. А. ФУРМАНОВУ

21 августа 1925 г., Сергиево

Дорогой Дмитрий Андреевич.

Я справлялся на Госкинофабрике о судьбе Чапаева. Сейчас все усилия Госкино направлены на постановку юбилейной фильмы «1905 год». Съемки 5 года начались всего только неделю назад, а окончить эту махину надо к зиме. Поэтому Госкино, вернее Блиох, полагает, что заняться Чапаевым можно будет с весны 1926 года, когда станут доступны натурные съемки и проч. Сижу в Сергиеве, работаю,

тщусь ублажить жестокую вашу душеньку. Помоги мне, о муза!
Сергиево, 21/VIII–25

Ваш *И. Бабель*

36. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

28 августа 1925 г., Сергиево

Милая Татушенька. Я буду у Вас в воскресенье в 6–6$^1/_2$ ч. Иначе не выходит. Мама тоже выезжает в воскресенье. Я все думаю о Вас, и мне кажется, что мы и не расставались. Живите получше, голубушка моя Тамара, наберите целый короб новостей, не скучайте.

Ваш презренный

И. Бабель

С. 21/VIII–25

Хоть это глупо, а надо сказать: Вы мне снились в минувшую ночь, я видел во сне множество людей, состязавшихся в беге. Вы были среди них и бежали с развевающимися волосами и с лицом очень чудным. Что бы это значило, такой сон?

37. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

1 сентября 1925 г., Сергиево

Дорогая Тамара.

До среды я не окончу моих дел. В Москву приеду в четверг утром. Прошу Вас пожаловать на Пречистенку в четверг в 6 ч. вечера.

Денег от Вас не получил, но на получение оных уповаю. Будьте благословенны.

Ваш *И. Бабель*

Сергиево, 1/IX–25

38. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Сентябрь 1925 г., Сергиево

Приеду понедельник

39. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Сентябрь 1925 г., Москва

Милая Тамара,

Я зашел в театр, чтобы повидать Вас, но, к сожалению, сегодня нет репетиции. Очень грустно. Через час уезжаю в Сергиево — в понедельник буду ждать вас и выйду встречать к поезду, который прибывает в 2–3 часа дня. Пожалуйста, приезжайте — если не трудно будет, — а если невозможно приехать, то напишите мне в Сергиево.

Ваш любящий Вас *И. Б.*

Во вторник или в среду мне придется снова быть в Москве, п. ч. виза после многих хлопот получена, и Евг<ения> Б<орисовна> через несколько дней уезжает.

Писать очень неудобно, поэтому так плохо выходит.

40. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Сентябрь 1925 г., Москва

Милый друг Каширочка.

У меня есть пять минут для того, чтобы забежать в театр и оставить Вам эту записку. У меня множество дел сегодня. Я очень хочу Вас видеть, мне стало скучно жить без Вас.

Каширочка, позвоните мне завтра домой между 2–3 ч. дня по телеф. 2-56-44. Я буду сидеть дома и ждать вашего звонка. До Свиданья.

Ваш *И. Б.*

41. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

7 октября 1925 г., Москва

Милая Тамара.

Третий день безвыходно сижу дома. Завтра, надеюсь, окончу нудные мои дела с Грановским и Сабинским и тогда смогу поехать в Сергиево. О дне и часе моего отъезда я уведомлю Вас точно.

Чувствую себя хорошо, т. е. грустно, но не унываю, и меня печалит только то, что Вы дурно обо мне думаете. Я все готов сделать для того, чтобы этого не было, клянусь Вам.

Письмо это принесет Вам курьер Лившица. Если хотите, дайте ответ — пожалуйста. Лившиц передаст мне Ваше письмо.

До Свидания.

Ваш *И. Бабель.*

7/X–25

42. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Октябрь 1925 г., Москва

Милая Тамара. Завтра Вы получите от меня письмо с изложением всех наших дел. По великому моему скудоумию я считаю, что дела наши поправятся. Подтвердите получение этой записки и денег.

И. Б.

43. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

23 октября 1925 г., Москва.

Тамара. Я раздумал писать Вам длинные письма о наших делах. Мы лучше поговорим о них. Каждый вечер я буду теперь проводить на кинофабрике. Там в это время никого нет; тишина, тепло, одиночество. Сегодня или завтра Вы можете приехать туда к 8 часам вечера. Ответьте, когда Вы будете. Сообщение на Б. до Калужской площади. Жду вашей записки.

И. Б.

23/X–25

44. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Ноябрь 1925 г., Москва

Татушенька. Прошу Вас прийти ко мне завтра, в четверг, в 4 часа дня, не позже. Это необходимо. Поведение мое было преступно. Простите меня, я умоляю Вас об этом. Стыд терзает меня. Стыдно взглянуть на дневной свет. Вот второй

день, как я пытаюсь загладить следы злых, глупых моих дел. Я думаю, что нетрудно исправить то, что я наделал. В этом последнее мое утешение. Приходите завтра.

И. Б.

45. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

2 декабря 1925 г., Москва

Милая Тамара. Прошу Вас через подателя сего сообщить мне о состоянии Вашего здоровья. Собираетесь ли Вы выйти, или Вам надо отлежаться?

Я обещал Зинаиде Вл. зайти сегодня в 12 ч., но не могу этого сделать, п. ч. плохо себя чувствую — физически и душевно. Особенно удручает меня то, что я лишен возможности окончить гнусные мои работы, уже почти доведенные до конца. Здание, которое я в последние месяцы сооружал с таким трудом и отчаянием, рассыпается прахом.

В театре я был, там все обойдется благополучно. Деньги я передам Вам немедленно по получении. Думаю, что это произойдет сегодня или завтра.

Расписание ближайших дней складывается для меня след. образом: сегодня и в пятницу я буду занят весь день, завтра, в четверг, я буду свободен от 5 до 7 ч. вечера, в субботу буду свободен весь день. Сегодня в 6 ч. буду у Лившица, меня можно вызвать по телефону. Писать мне можно до востреб<ования> — 34 почт. отдел.

Ваш *И. Б.*

2/XII–25

46. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

5 декабря 1925 г., Москва.

Милая Тамара. Посылаю Вам сто рублей на первое обзаведение. Пожалуйста, придите сегодня на кинофабрику в девять часов вечера, *но никак не позже,* лучше между половиной девятого и девятью.

Ваш *И. Б.*

5/XII–25

Получение денег подтвердите.

47. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

18 декабря 1925 г., Москва

Милая Тамара. Исчезновение Ваше — поступок, м<ожет> б<ыть>, и правильный, мною заслуженный, но необыкновенно для меня тягостный. Если последнее это соображение может быть принято Вами во внимание, то ответьте, где, когда я могу Вас видеть. Жить так, не имея никакого с Вами сообщения, мне очень трудно.

Сегодня я буду в театре в $2^1/_2$ ч. Я условился с Лишиным (Треплева не было) устроить все ваши дела — театральные, профсоюзные и др.

В Цекубу мы опоздали. Есть возможность поселиться в Надеждине — прекрасной санатории. Для этого надо подвергнуться минутному медиц<инскому> осмотру в Объеди-

нении Московских санаторий на Кузнецком, остальное я сделаю все сам.

Деньги из Харькова я получил. Ответьте мне.

И. Б.

М. 18/XII–25

48. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

9 января 1926 г., Москва

Милая Тамара. И рад бы написать письмо, да некогда. Проканителился с посылкой, а теперь надо ее отправлять. Если валенки окажутся неподходящи, то сегодня вечером скажите мне об этом. Они куплены в Москоже, обещали переменить. Главное мое вам завещание — используйте как можно лучше ваше пребывание в «Узком». Мне приятно думать, что вы поправитесь там и отдохнете. Вы все говорили, что хотите сделать мне приятное. Вот это и будет самый радостный для меня подарок.

Нынче вечером поговорим. На будущей неделе приеду к Вам в гости. Будьте, душенька моя, веселы, счастливы, здоровы.

Ваш *И. Б.*

М. 9/I–26

49. И.В.ЕВДОКИМОВУ

16 января 1926 г., Москва

Дорогой Иван Васильевич.

Посылаю несколько глав «Конармии». Третий и последний присыл будет в начале будущей недели — тогда же я

сделаю разметку. Это без обману. У меня, Иван Васильевич, сейчас сложный переплет, и в узких пределах этого переплета я делаю все, что могу.

Таперича вот о чем — очень нужны деньги, нужны как... литератору. Обдумайте эту мою всеподданнейшую просьбу, я потом к концу дня позвоню Вам.

Пожалуйста, передайте Дмитрию Андреевичу прилагаемую книгу Кр[асной нови]. Остальные две книги я принесу вместе с окончанием «Конармии».

Ваш *И. Бабель*

М. 16/I–26

50. Д. А. ФУРМАНОВУ

М. 4/II–26 *4 февраля 1926 г., Москва*

Дорогой дядя Митяй.

Посылаю «Конармию» в исправленном виде. Я перенумеровал главы и изменил названия некоторых рассказов. Все твои указания принял к руководству и исполнению, изменения не коснулись только «Павличенки» и «Истории одной лошади». Мне не приходит в голову, чем можно заменить «обвиняемые» фразы. Хорошо бы оставить их в «первобытном состоянии». Уверяю тебя, Дмитрий Андреевич, никто за это к нам не придерется. Опасные места я выбросил даже сверх нормы, например, в «Чесниках» и проч. Затем, если это тебя не затруднит, передай Ивану Васильевичу мои пожелания касательно внешности книги. Мне очень нравится, как издан Сиверко. Был бы очень рад, если бы «Конармию»

удалось издать в небольшом формате, обязательно небольшом, шрифт пореже, поля побольше — и каждый рассказ с новой страницы.

Анне Никитичне мой искренний пламенный привет. Дай ей б.., не бог, а Маркс, поправиться поскорее, и тогда я поставлю к водке бочонок таких огурцов, каких она отроду не видывала.

Завтра и послезавтра позвоню о дальнейших моих делах и переездах.

Умиляюсь собственной честности, посылаю тебе книжицу Зощенко.

Твой *И. Бабель*

51. В. А. ДЫННИК

18 февраля 1926 г., Ленинград

Дорогая Валентина Александровна.

Жить в Петербурге хорошо, поэтому я пробуду здесь некоторое время. Очень прошу вас прислать мне статью по след[ующему] адресу: Ленинград, Басков пер., 13, кв. 27, Л. Утесову для меня. Пришлите спешной почтой, спешной же почтой я отошлю в издательство, это не отнимет лишнего времени. Торопитесь, прошу вас, а то как бы не вышло задержек, из которых самая досадная будет денежная.

Искренний привет Юрию Матвеевичу.

Преданный вам
И. Бабель

Ленинград, 18/II–26

52. Д. А. ФУРМАНОВУ

19 февраля 1926 г., Ленинград

Дорогой дядя Митяй.

Я уехал в Ленинград в гости к «бойцовскому» одному товарищу. Живется мне здесь хорошо, тихо, возвращаться в Москву пока не хочется. Я дней пять неутомимо вызванивал тебе по телефону, все попытки мои окончились крахом. Если не лень будет — черкни, как идет набор «Конармии», когда будет корректура?

Последние сведения, полученные мною о здоровье Анны Никитичны, были очень утешительны, как она себя чувствует? Низкий искренний ей привет.

Я в Ленинграде хочу поработать по-настоящему, чего и Вам, милостивый государь, от господа вседержителя желаю.

Любящий тебя *И. Бабель*

P. S. Живу я вроде как за городом, поэтому писать лучше по адресу: Ленинград, Басков пер., 13, кв. 27, Л. Утесову, для меня.

Ленинград, 19/II–26

53. А. С. ВОЗНЕСЕНСКОМУ

20 февраля 1926 г., Ленинград

Дорогой Александр Сергеевич.

Пишу Вам из Ленинграда (вернее, из окрестностей Ленинграда), куда я бежал, во-первых, по делам, во-вторых, от московской суеты. К ужасному моему сожалению, из наших

антреприз пока толку не вышло. Рукописи, сданные в «Землю и Фабрику», по мнению Нарбута, для библиотеки юмора не подходят, а «просто беллетристику» он боится печатать. Что же касается проспекта сценария, то не обессудьте, Александр Сергеевич, он не очень мне понравился. «Спешность исполнения» наложила на него печать.

В Москве я буду дней через десять, и мы предпримем тогда смертельные героические меры для добычи денег. Клянусь и обещаюсь.

Марии Андреевне огненный привет.

Ваш *И. Бабель*

Ленинград, 20/II–26

54. Ю. М. СОКОЛОВУ

3 марта 1926 г., Ленинград

Уважаемый Юрий Матвеевич.

Я написал Валентине Александровне два письма, но ответа не получил. Обстоятельство это наводит меня на тревожные размышления — не больна ли она? Задержка со статьей о Мопассане ставит меня в ужасное положение — у меня готовы для печати два тома, из которых первый должен открыться статьей В. А. о Мопассане. Я не могу отослать рукописей и не могу, следовательно, получить денег, которые мне чрезвычайно нужны. Очень прошу вас известить меня о причинах молчания В. А.; узнайте у нее, пожалуйста, в каком положении находится дело, и сообщите мне по адресу: Ленинград, Петрогр[адская] сторона, Большой просп. 106,

кв. 11. Очень буду вам обязан, если вы поможете мне в этом деле. Все сроки прошли, у меня нет никакого времени и, увы! никаких денег.

Готовый к услугам
И. Бабель

Ленинград, 3/III–26

55. Д. А. ФУРМАНОВУ

11 марта 1926 г., Ленинград

Дорогой Дмитрий Андреевич.

Не сочти за труд и сообщи мне, набирается ли «Конармия», и если набирается, то когда приблизительно будет корректура. Я хотел бы внести незначительные, правда, изменения, вот почему этот вопрос меня интересует. Сведения сии разрешается тебе изложить в одной строке, посему не ленись.

Нижайше кланяюсь Анне Никитичне, которая, думаю, в настоящую минуту бесшабашно катается на коньках, ну, скажем, на Патриаршиих прудах.

Твой *И. Бабель*

Ленинград, 11/III–26

56. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

27 марта 1926 г., Москва

Тату. Приехал сравнительно благополучно, сравнительно потому, что в вагоне целую ночь не мог уснуть, хотя ехать

было удобно. Вчера у меня был «кризис» — я валялся целый день в полном изнеможении, а сегодня приступил к делам. С 11 ч. до 11 ч. вечера был на кинофабрике, исправлял ужасный монтаж картины Капчинского (вот почему он слал телеграммы) и говорил о делах. Фонды мои неведомо по каким причинам на фабрике очень поднялись, они требуют, чтобы оба сценария ставились у них, режиссерские и проч. возможности у них богаче, чем у Вуфку, но денег нет. Завтра, в воскресенье, у меня будет решительный разговор с Капчинским, о результатах которого тебя уведомлю. С Зинаидой увижусь только завтра, переговорю с ней обо всем и о разговоре этом пошлю тебе полный отчет. Часы купил очень хорошие. В понедельник пошлю тебе по телеграфу 50 рублей, к вечеру ты эти деньги получишь. В понедельник же буду в одном домоуправлении, которое взяло дом на застройку. Домоуправление солидное, обещают квартиры к осени. Квартирные хлопоты начинаю завтра же с утра. Теперь первый час ночи и я очень устал. Следующее письмо будет подробным отчетом о достижениях моих или провалах. Всей силой моей души надеюсь, что ты ведешь себя разумно, жду от тебя подробных реляций с полным изложением всех событий и животных ощущений. Была ли ты у врача? На 50 рублей, которые я тебе пошлю, купи сукно для платья, а из следующей получки, которая не замедлит воспоследовать, заплатишь портнихе и прочее. Целую тебя, моя душа, прошло всего два дня, и вот ты уже кажешься мне чудной и доброй.

Твой *И. Б.*

Москва, 27/III–26

До меня доходят неясные слухи о том, что в Ростове застрелился Миша Глезер. Если это правда — то горе мое велико. Он был мне друг.

И. Б.

57. В. А. ДЫННИК

29 марта 1926 г., Москва

Дорогая Валентина Александровна. Я пытался вызвать вас по телефону, но это нелегкое дело. Попытаюсь еще сегодня вечером. На всякий случай с чувством громадного облегчения сообщаю вам, что статья передана уже в З[емлю] и Фабр[ику]. Возвращаю вам книгу и очень прошу вас вручить подательнице сего том, где есть Le mal d'André. Я его подержу у себя дня два, не более, и верну точно. Переведете ли вы — Верхом? Если да — то сделать это надо немедленно, п[отому] ч[то] дня через два, максимум, три я сдаю второй том — там все готово, мне осталось только перевести Le mal d'André. Все это я пишу, потому что в ближайшие дни не смогу выйти из дому вследствие «перегруженности работой». В Земле и Фабрике я буду только тогда, когда принесу 2 том Мопассана, п[отому] ч[то] стыд меня обуревает, из-за наших проволочек они потерпели ущерб, и теперь нужно иметь на руках продукт для того, чтобы замолить грех. Деньги у нас будут, значит, на этой неделе. Хорошо бы вам перевести — A cheval — мы бы тогда совсем честно исполнили наши обязательства. — Пламенный пролетарский привет Юрию Матвеевичу.

М. 29/III–26 Преданный вам *И. Бабель*

58. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

30 марта 1926 г., Москва

Татушенька. Письмо твое получил. С Зинаидой я виделся. Она, конечно, согласна на все комбинации. Думаю, что она сама тебе обо всем написала. На этой неделе у нее корректура, как только она освободится, она с Таней сейчас же выедет в Ленинград. Деньги я добуду. Квартиру ищу, кое-какие надежды есть, но, по правде сказать, слабые. Думаю, что к отъезду Зинаиды все выяснится. С делом этим надо спешить. Сценарий мой произвел на фабрике ошеломляющее впечатление — ты оказалась права. Вуфку они его не отдадут и прибегнут даже к давлению на меня сверху, если я эту комбинацию произведу. Одна беда — продавал я «Беню Крика» в прошлом году, теперь «цены» возросли вдвое больше и я занимаюсь теперь жульнической работой — требую повышения гонорара за проданную уже работу; надо надеяться, что некрасивая эта афера мне удастся. 50 рублей я тебе послал по телеграфу. Надеюсь, ты получила их вовремя. Сегодня буду в кинопечати, возьму у них удостоверение и пошлю тебе. Зинаида говорит, что для представления коменданту нужно только врачебное удостоверение о том, что ты больна и не можешь выехать из Ленинграда.

Почему бы тебе не взять такую записку у Риты? Это очень легко, и тебя не отпишут, а то на Зинаидину голову могут обрушиться громы раньше времени. Мы с Зинаидой пойдем сегодня на негритянскую оперетту. Немедленно сходи к доктору и немедленно же сообщи мне о том, что он тебе скажет.

Таня, оказывается, находится в вожделенном здравии, и Зинаида очень удивляется твоим страхам. Работы у меня впереди непочатый край — по состоянию моих мозгов я никак к этому не приспособлен, о чем и скорблю. Не скучай, душенька, развлекайся, гуляй, будем умнее и тверже. Как в Ленинграде насчет весны? Здесь вчера был прекрасный день. Целую милые твои руки и толстовский твой нос особенно.

Твой *И. Б.*

М. 30/III–26

59. И. В. ЕВДОКИМОВУ

30 марта 1926 г., Москва

Дорогой Иван Васильевич.

Посылаю просмотренную мной корректуру. «Надеюсь на Вас, дорогой товарищ из редакции», что книга будет иметь достойный вид, бумага будет белая и толстая, а шрифт черный и четкий. По сему поводу всепокорнейшая просьба — нельзя ли по исправлении представить мне в распоряжение еще одну корректуру. Я послал бы ее в Париж, где выходит французский перевод «Конармии». Передо мной печальный пример немецкого издания, где все перепутано, поэтому я бы хотел, чтобы французы сверили с выправленным текстом.

Ваш *И. Бабель*

М. 30/III–26

60. П. И. ЧАГИНУ

30 марта 1926 г., Москва

Дорогой Петр Иванович!

Вместо того, чтобы явиться к Вам в гости, я умчался по срочному вызову Госиздата в Москву. Но в гости я неукоснительно явлюсь недели через две — когда снова приеду в Ленинград.

Для успокоения Вашей редакторской души сообщаю, что материал в громадном изобилии вышлю в конце нынешней или в крайнем случае в начале будущей недели.

Истинно преданный Вам

И. Бабель

М. 30.03.26

61. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

31/III–1926 г. *31 марта 1926 г., Москва*

Милая Тамара. Плачевное твое письмо получил. Очень грустно. Если болезнь желудочная, то можно рассчитывать, что она скоро пройдет. Прошу тебя сообщать о здоровье как можно чаще — ведь это теперь самое главное.

Вчера были с Зинаидой на спектакле негритянской оперетты. Пляшут здорово, но и только. Остальное скучно.

Зинаида будет занята своей корректурой в четверг и пятницу. Рассчитывала, что в пятницу она сможет выехать с Таней в Петербург. Она тебе и денег привезет. Постарайся сшить себе «обмундирование».

В Харьков я, очевидно, ехать не должен. Госкино не хочет выпускать сценариев из своих рук. С деньгами, я думаю, уладится.

Все внимание мое поглощено поисками квартиры. Зинаида привезет тебе полный отчет — до ее отъезда все должно решиться.

О себе писать не стоит. Работать из-за тревоги, владеющей мною, не могу — значит, жизнь не ахти какая. Хлопочу об отъезде мамы за границу — это ужасно надоедливая, изнурительная работа, в особенности если принять во внимание старушечьи повадки. Авось справимся.

Итак, живи весело. От факта твоего, увы, недосягаемого веселья могли бы проистечь роскошные последствия — я бы заработал, младенец бы запрыгал, ты бы покрылась румянцем, Зинаида бы захохотала, Татьяна бы заиграла пуще прежнего. Можешь ты это совершить?

Посылаю тебе книжицу, изданную «Землей и Фабрикой». Я просмотрел уже корректуру «Конармии». Она выходит в апреле на русском и немецком яз<ыке>. Из Берлина получил мои «Одесские рассказы» на немец. яз. Превосходно издано. Скоро напишу еще. Будь весела! Можешь ты это совершить?

Твой *И. Б.*

62. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

1 апреля 1926 г., Москва

Милая Тамарочка. Письмо твое только что получил. Очень неприятна история со старухой. Завтра я наконец

вышлю тебе удостоверение. Если она будет приставать, я напишу ей отдельно с ссылкой на некоторые авторитеты. Это ее успокоит. Я никак не могу вспомнить, что ты просила меня сделать в театре Революции. Напиши мне по этому поводу немедленно и пришли, если нужно, союзную книжку. Дела с квартирой не так безнадежны, как думает Зинаида. Она у меня завтра будет, мы сможем определить, я думаю, день их отъезда. Деньги пришлю тебе с Зинаидой. Сценарий я отдал Госкино, все бы обстояло благополучно, если бы у них были деньги. Они, бедняги, соглашаются на все условия, но платить не могут. Вообще здесь в учреждениях совершенный денежный кризис, червонец очень упал, и я только что узнал грустную новость — за границу никаких денег не выпускают из-за падения курса червонца, и я не знаю, как мама сможет уехать и сможет ли она уехать. Вот, действительно, все шишки валятся. Призывать меня, душечка моя Тамара, к бодрости не надо — я здоров и бодр, чего и тебе желаю. Одно обстоятельство тяжко меня угнетает — полная невозможность работать, — нельзя сказать, как это грустно, не знаю, когда наступит для меня счастливое время и я смогу потрудиться. Завтра напишу тебе. Главным образом я занят теперь урегулированием взаимоотношений моих с Госкино и поисками квартиры. Отсутствие денег в учреждениях, конечно, неприятная подробность. Итак, до завтра, милый мой дружок.

Твой *И. Б.*

М. 1/IV–26

Со второго месяца надо перевести в домоуправлении плату на тебя. Не обращай внимания на старухины истерики, сделай это хладнокровно, мне это гораздо труднее сделать, потому что я погребен под «делами». Удостоверение будет от кинофабрики.

И. Б.

63. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

4 апреля 1926 г., Москва

Милая бабочка. Жалостное твое письмо получил и пролил над ним невидимую миру слезу любви, и умиления, и печали. Потом по твоему глупому примеру я начал пересчитывать людей, которым хуже, чем тебе (удивительное занятие!!!), и обнаружил целую кучу таких людей, легион. Поэтому, дитя моего сердца и милая баба, наливайся соками весны, как это тебе приличествует, и благоденствуй. Зинаида по моему предложению поехала осматривать дачу в Усове. Местность эту очень хвалят. У нее еще завтра, в понедельник, есть корректура, поэтому она не сможет выехать раньше вторника или среды. О выезде их мы тебе протелеграфируем. Малую толику денег привезет тебе Зинаида, и большую толику я пришлю тебе на этой же неделе с таким расчетом, чтобы хватило на обмундирование на две персоны и на прочие расходы, предвиденные и непредвиденные. Дача к 1 мая будет тебе приготовлена хорошая, есть также надежды на квартиру. Наливайся соками весны и благоденствуй. За то время,

что ты будешь в Петербурге, тебя навестят Зинаида с Таней, а попозже и я.

Лидии Николаевне и Валериану поклон до самой сырой земли.

Твой тиран
И. Б.

М. 4/IV–26

64. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

5 апреля 1926 г., Москва

Милая Тамара. Марья Потаповна обнаружила вчера у Зинаиды налеты в горле. Мы боимся, как бы у нее не образовалась ангина. Поэтому отъезд ее на короткое время приходится отложить. Может, оно и к лучшему, п. ч. Зинаида поможет мне найти дачу. Какая скверная жизнь. Квартир нет, дач нет, хлопотать надо обо всем, трудно, мучительно. Во всяком случае, отъезд Зинаиды и Тани отложен всего на несколько дней. Думаю, что никакой ангины у Зинаиды не будет, обойдется.

Посылаю тебе 80 р. Тебе, конечно, не следует возвращаться в Москву до приискания квартиры или дачи, во всяком случае. Траты твои в Ленинграде значения не имеют. Если здесь не найдем квартиры окончательно — тогда подумаем о Ленинграде? Узнавала ли ты о ленинградской ситуации в квартирном вопросе? Надо все-таки знать, как обстоят в этом отношении дела в Ленинграде. Бумаги из театра вышлем тебе. Обязательно сделай в союзе все, что надо.

Работать я совершенно не работаю, никакой возможности у меня для этого нет, вера в спасение оставляет меня. Человеческая жизнь штука не очень важная, носиться с ней не стоит, головой я превосходно это знаю, но эгоистическое сердце ужасно жалеет себя.

Теперь ночь, поздно, писать больше не могу, в следующий раз сочиню повеселее. А ты, голубушка, потерпи — Зинаида, и Таня, и я — мы все скоро с тобой увидимся.

Твой *И. Б.*

М. 5/IV–26

65. В. А. ДЫННИК

7 апреля 1926 г., Москва

Дорогая Валентина Александровна.

Письмо, перевод, конфекты, карикатуру — получил. Да благословит вас Маркс, а я сердечной вашей доброты не забуду. Если здоровье мне позволит — я завтра пойду в Землю и Фабрику (2 том Мопассана уже отослан), а оттуда к вам. А здоровье может мне не позволить, п[отому] ч[то] оно теперь очень худое. Стыдно сказать — я переутомлен, голова болит и клонит душу долу. Человек, когда он не работает, — обязан не есть, и, кроме того, ему очень грустно. Но грусть, как и молодость, безошибочно излечивается временем. Поэтому сегодня, в крайнем случае, завтра, до того, как придти к вам, я неукоснительно позвоню. — Юрию Матвеевичу привет от потрясенного сердца. Конфекты его я не съел, а завернул в тряпочку и положил воз-

ле сердца. Они согревают мое сердце и сами от него согреваются.

Ваш *И. Бабель*

М. 7/IV–26

66. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

8 апреля 1926 г., Москва

Милочка Таратута. Вчера мы с Зинаидой держали длительный совет. Мы пришли к заключению, что селиться надо в Петербурге, а не в Москве. Убедили нас в этом следующие обстоятельства: Зинаида сунулась искать дачу, дело это оказалось трудным, хлопотливым, дорогим, она сразу опустила руки, в отношении же квартирном нам якобы повезло. Какие-то научные работники, члены Цекубу, муж с женой, отстраивают себе квартиру во дворе Зачатьевского монастыря и оставляют три комнаты, занимаемые ими на Тверском бульваре. Квартиру, т. е. комнаты эти, я осматривал. По московским условиям они не плохи, хотя расположены в большой квартире, очень шумной, но это полбеды. Цена — четыре тысячи. Цифра эта произнесена была неуверенным голосом, может быть, уступили бы за три, а три тысячи по нынешним московским ценам — это совсем недорого. На комнаты эти у нынешних хозяев есть охранные грамоты от Цекубу, поэтому надо бы, чтобы и у последующих нанимателей были такие грамоты, я эти бумажки мог бы, конечно, достать. Но выяснилось, что вся эта операция протекает при яростном противодействии Домоуправления, что

отстраивающаяся квартира будет готова у них, по заявлению архитектора, в июне (читай: в июле — августе), что нужно произвести целый ряд подложных действий — вписать меня в пустой амбар Зачатьевского монастыря для того, чтобы потом можно было выставить нашу сделку как обмен; до вселения в эти комнаты я должен безотлучно быть в Москве для производства всех этих махинаций, и главное — надо отдать задаток, очень солидный, тысячи полторы-две, не имея никакой уверенности в том, что домоуправление не поступит по-своему. Я изложил этот случай так подробно потому, что изо всех встретившихся возможностей это самая лучшая и при отсутствии выхода нужно вцепиться в эти комнаты руками и ногами. Но стоит ли цепляться, ухлопать все без исключения деньги (не оставив даже запасного фонда для родов), закабалить себя? Тут подоспело еще одно обстоятельство: приятель мой Зорин, о котором я тебе, кажется, рассказывал, состоит заведующим строительным отделом ВСНХ; теперь он назначен еще директором Стандартстроя; он в изъятие всяких правил и с очень небольшой ежемесячной затратой гарантирует мне в будущем году отдельный, комфортабельный дом. Договор можно заключить в этом месяце. Изо всех предложений это, конечно, наилучшее. Оно не потребует никакого сверхсильного финансового напряжения. Я считаю, что до будущей осени надо жить в Петербурге (нынешнее лето можно провести в Царском, в Петергофе или у моря, будущее — в Крыму или на Кавказе), а осенью можно будет въехать в «собственный» дом. Комбинация эта до того проясняет мои горизонты, что даже

трудно поверить в то, что она может осуществиться. Итак, если ты согласна с моими доводами, то надо немедленно приняться за приискание квартиры и дачи. Зинаида оправилась и выедет, надо думать, в субботу обязательно, о выезде ее мы тебе протелеграфируем. Не знаю, может ли она помочь тебе в хлопотах. В конце будущей недели я постараюсь приехать на несколько дней. Зинаида привезет тебе деньги в достаточном количестве, ты сможешь дать задаток за дачу или квартиру. Дачу надо снять очень комфортабельную, тут все дело в лишних каких-нибудь пяти — десяти червонцах. Лучше всего снять в Царском или в Петергофе, не жалей на это денег. Дача должна быть с мебелью, в три-четыре комнаты, не меньше. Думаю, что если не поскупиться, то найти можно. Мебель для квартиры можно будет в случае надобности отправить из Сергиева, где она пылится и бездействует.

У меня ничего нового, «самочувствие» среднее, голова в тумане, работать я не больно гож, ну да поправится. Галоши получил, отправляю Варшавским благодарственное письмо.

Треплев добывает документы, завтра, надеюсь, отошлем их тебе. Ты должна их всемерно использовать, п. ч. при найме квартиры нужно быть во всеоружии документов.

У нас снова зима, намело снегу, метель и холод. От тебя несколько дней нет писем, это очень меня беспокоит; человек ты, душенька моя, неожиданный, и поэтому я трепещу. Писать надо чаще, успокой мою старость. Не огорчайся, что отъезд Зинаиды и Тани задержался, они приедут к тебе в

блистательном состоянии. Жду от тебя письма. До свиданья, милый, глупый, любимый мой друг.

Твой *И. Б.*

М. 8/IV–26

67. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

9 апреля 1926 г., Москва

Уважаемая Таратута. Только что (теперь 10 ч. утра) послал Сашу Ливщица за билетами для Зинаиды и Татьяны. Рассчитываю, что завтра, в субботу, они выедут. Сообщи мне, пожалуйста, немедленно, с какого числа по какое ты получала пособие из страхкассы. В театре нет об этом официальной справки, они выдадут бумажку на основании моих слов. Я говорил с Марией Потаповной и Зинаидой. Скрепя сердце они соглашаются на отъезд в Петербург, в особенности принимая во внимание предложение Зорина.

Меня убеждают в том, чтобы напечатать сценарий о Бене Крике. Ближайшие три-четыре дня будут у меня заняты приспособлением текста для печати. Изменения будут незначительны. Жду от тебя известий по поводу квартиры, дачи и прочего. Дачу надо снять обязательно и хорошую — это нам по средствам. Постараюсь послать с Зинаидой некоторое количество денег тебе и долг Сейфуллиной. На фабрике ждут субсидии, надо рассчитывать, что выплату они произведут аккуратно.

Сегодня у нас светит солнце, кабы поспать хорошенько, можно бы и поработать, но не спится, друг мой, и ничего

путного сообразить не могу. Все это придет, надо надеяться.

Желаю тебе веселья, благоденствия и веселья. Обойдись с Зинаидой вежливо, угости ее обедом в «Европейской», сходи с ней в Эрмитаж и в спальни Николая II, купи ей супную миску с царским гербом.

Твой *И. Б.*

М. 9/IV–26

68. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

11 апреля 1926 г., Москва

Милая Тамара. Получил твое письмо от 8/IV. Известие об аппендиците очень огорчило меня. Надо обязательно сходить еще к одному доктору — проверить это. Надеюсь, что Зинаида и Татьяна приехали благополучно. Походи с ними, покажи им всякие достопримечательности, да и сама кстати посмотри их.

Жду твоего сообщения о том, как мне распорядиться с финансами, сколько будет стоить дача и квартира? Нечего и говорить о том, что все надо устроить подешевле, но не в ущерб необходимым удобствам. Я еще не могу определить точно, когда приеду в Ленинград. Это выяснится в середине недели.

Пишу тебе сегодня — очень коротко, п. ч. голова болит. Я был сегодня на даче в Братовщине, но это не помогло. Угнетенное состояние духа и полная почти неработоспособность очень беспокоят меня, особенно в рассуждении заработков.

Вопрос с отъездом мамы повис в воздухе. По последнему декрету выезд за границу так затруднен, что рассчитывать на скорый отъезд нельзя.

Мне во что бы то ни стало надо здесь в течение нескольких дней потрудиться, а потом подумаем, что со мной делать. Гостям твоим поклон, а тебе тысяча поклонов.

Твой *И. Б.*

М. 11/IV–26

69. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

12 апреля 1926 г., Москва

Милая Татушенька. Приведение сценария в литературный вид я закончу завтра-послезавтра, после того, как выяснится его судьба, я смогу выехать в Ленинград. Дачу ты должна искать неукоснительно. Деньги за квартиру хорошо бы не давать, и если можно сделать это в Откомхозе, то я постараюсь это сделать. Во всяком случае, до моего приезда у тебя должны быть все сведения по этому вопросу. Конечно, лучше бы найти квартиру, уже отремонтированную. Думаю, что твои знакомые (Рита, Утесовы, Сейфуллина) могут помочь тебе в этом отношении. Я думаю, что из денег, привезенных тебе Зинаидой, ты можешь уделить несколько червонцев для задатка на дачу. В четверг я сообщу тебе приблизительный день отъезда моего в Петербург. Анкету Зинаиды я передал сегодня Лившицу, он постарается все сделать. Прости, что пишу так коротко, сухо, скучно. У меня без всякого перерыва болит голова, и даже письмо написать —

трудно. Марье Потаповне я завтра позвоню и пойду к ней. Следующее письмо постараюсь сочинить повразумительнее.

Твой дурак *И. Б.*

А скучать я по тебе скучаю.
М. 12/IV–26.

70. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

15 апреля 1926 г., Москва

Уважаемая Тамара. Спешное письмо от 13/IV я получил сегодня, 15, в 10 ч. утра. Как это случилось — не понимаю. Вина тут, я думаю, твоя. Ты, вероятно, отправила письмо из какого-нибудь почтового отделения позже установленного срока, или, м<ожет> б<ыть>, оно путешествовало в почтовом поезде. Послать цветы — это не составило бы для меня труда, очень жалею, что не вышло. О даче. 5 или 10 червонцев не составят большой разницы. Главное — дача д<олжна> б<ыть> комфортабельна, просторна, снабжена всем необходимым. Я не знаю петербургских дачных мест, выбери где получше и, главное, не канителься. Посвяти этому делу несколько дней и постарайся его закончить. Вопрос о квартире обсудим в Пб. День приезда определить еще не могу, во всяком случае, «визита» моего нужно ждать в течение ближайших дней. С маминым отъездом ничего еще не выяснено. Я хлопочу о предоставлении ей финансовых льгот. Если ничего не выйдет, тогда мы обсудим с тобой этот вопрос. Документы из театра пришлю обязательно завтра или

послезавтра. Ночью с ужасной тоской в душе «гулял» у Регининых на именинах, ночью не спал, и теперь я качаюсь от слабости. Состояние моих мозгов, состояние здоровья стали так плачевны, что надо серьезно подумать об отдыхе в соответствующей обстановке, иначе будет мне худо. По совести говоря, мне трудно писать письма, п. ч. нет сил собрать мозги к «одному знаменателю». Довольно хныкать. Авось поправимся. Завтра напишу еще. До свиданья, дружок.

Твой *И. Б.*

М. 15/IV–26

В каком состоянии твой гардероб? Купила ли ты себе что-нибудь? Что тебе надо? Что я могу привезти тебе из Москвы? Как твои денежные дела?

71. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

17 апреля 1926 г., Москва

Уважаемая красавица. В области кинематографии у нас масса новостей — переарестовали всех заправил производства с 1, с 3 фабрики, из Пролеткино и т. д. Сидит и Капчинский. Вот так история. Мы думаем, что их обвиняют в бесхозяйственности. Эта история ужасно осложнила мои дела. Мне следует куча денег — я не знаю, с кого их получать, когда их получать и проч. Поэтому приезд мой в Ленинград — вещь неопределенная. Я думаю, что срок смогу сообщить только через несколько дней. Дачу ищи неустанно. Кое-какие деньги на будущей неделе у меня будут, п. ч. Воронский принял к напечатанию в «Кр<асной> Нови» сценарий. Он

«потрясен» этим «произведением», но я-то знаю, что «потрясение» это проистекает от невежества и глупости. Все же деньги ему придется заплатить. Распиши мне совершенно точно, каковы твои денежные дела, сколько тебе нужно, хватит ли у тебя на задаток для дачи и проч. и проч. В отношении дачи надо проявить максимум энергии, ведь жить-то там придется долго, не штука — выбрать заезженное место, а штука — выбрать хорошее место. Извини за это письмо, столь деловое. Сейчас побегу по городу, как Добчинский и Бобчинский. Скучаю по тебе шибко. З. В. передай, что все поручения ее я выполнил. Справка от Страхкассы уже есть, Саша Лившиц пошел за удостоверениями в театр, если сегодня принесет — я перешлю тебе.

Твой *И. Б.*

М. 17/IV–26

72. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

19 апреля 1926 г., Москва

Уважаемая красавица средних лет. Спешное письмо получил. Весть о том, что ты из скудных своих достатков отдала долг Правдухину, привела меня в содрогание. Завтра вышлю тебе деньги по телеграфу, сколько — не знаю еще, сегодня поговорю о деньгах с Воронским.

Кинематографическая история все разрастается. В одной из превосходно обставленных московских санаторий отдыхают директора, бухгалтеры, режиссеры, администраторы, человек пятьдесят. Честных работников вроде меня

эта «история» убила. Вот тебе плоды упорной и добросовестной работы! Когда я получу деньги, от кого получу — ничего не известно, и даже то неизвестно, получу ли я деньги вообще. Без опасения впасть в преувеличение можно сказать, что мы с тобой «разорены». Хорошо еще, что небо подослало этого дурня Воронского, который будет печатать сценарий. Блистательный вид имел бы я теперь, если бы послушался совета некоторых умных людей и ляпал этот сценарий почем зря. Судорожно ищи дачу, с квартирой вопрос обстоит не так срочно. Упаси тебя Боже от Чуковских и Правдухиных в качестве соседей. Если нельзя за 300, найми за четыреста. Как далеко отстоит Луга от Ленинграда, сколько часов езды? Помни, что дача должна быть с мебелью, со всеми удобствами. Какую рассрочку в платежах допускают дачевладельцы, это очень важно знать. Я теперь ничего не могу сказать о своем приезде, знаю только, что приеду, но когда — никто не может сказать. Удивительные дела, совершающиеся в Москве, требуют моего присутствия здесь. Поэтому, милая моя душечка, надейся на себя, пожалуйста, постарайся, бабочка, устрой все, право, я сейчас в ужасном переплете. Когда Зинаида с Таней приедут в Москву? У нас два дня весна, хоть сегодня переезжай на дачу.

Вчера был у Евдокимова. Слухи о самоубийстве Миши Глезера подтвердились. Горе мое велико. Он был мне верный, непоколебимый друг с мужественной и нежной душой.

В письме твоем ты развела паническую главу о моих выпивках — за все время я всего только раза четыре вкусил вина, и это принесло пользу моему здоровью.

Итак, трудись, я теперь спутан независящими обстоятельствами, поэтому покажи твое умение. До свиданья, душа моя.

Твой *И. Б.*

М. 19/IV–26

73. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

21 апреля 1926 г., Москва

Достопочтенная Тамара. Вчера послал тебе по телеграфу 80 р. Пожалуйста, подтверди получение их. Воронский обещает выдать мне некоторое количество денег в четверг или в пятницу, тогда я пошлю тебе с таким расчетом, чтобы ты могла заплатить за дачу задаток и обзавестись необходимыми вещами. Посылаю тебе бумажки для союза. Помни, что все дела твои с союзом должны быть упорядочены. Это очень важно. История с «кинематографом» все тянется, конца ей не видно, боюсь, что денежки наши надолго плакали, не могу скрыть, что это обстоятельство приводит меня в дурное расположение духа. Для наших с тобой дел эта история действительно ни к чему.

Других новостей нет. Жду писем от тебя. Как ты себя чувствуешь? Что Зинаида, Таня? С нетерпением жду известий о подвигах твоих в дачном смысле. Пиши, глупое мое солнце, пиши почаще.

Твой *И. Б.*

М. 21/IV–26

74. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

21 апреля 1926 г., Москва

Милая Татушенька. Посылаю тебе удостоверение. Не поленись и постарайся все уладить. Ежели старуха не угомонится, я напишу ей более вразумительно, после моего отъезда они плату должны взыскивать только с тебя. В воскресенье напишу подробно. Это письмо отправляю с фабрики, здесь такой галдеж, что ничего не сообразишь.

Твой *И. Б.*

21/IV–26

75. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

22 апреля 1926 г., Москва

Уважаемый трибун. Огорчительное твое письмо получил. Единственная, правда, слабая надежда на то, что следующее письмо будет повеселее. Несчастья, падающие на тебя, бывают обыкновенно волнообразны — на каждое хорошее письмо приходится одно, а то и два плачевных. Будем думать, что волна и на этот раз не изменит себе, и приступим к делам. Если Луга отстоит от Ленинграда так далеко, то мысль о ней надо бросить. Я по-прежнему стою на том, что дачу надо снять хорошую и, прости меня, думаю, что это возможно. То, что цена высока, — это не так страшно, здесь важно, какую рассрочку в платежах допускают дачевладельцы; высокая плата, разложенная на несколько месяцев, не так уже страшна. Если ничего приличного в смысле дачном

нельзя найти, то не вспомнишь ли ты мою мысль о Петергофе или Царском? Это прелестные маленькие города, соединяющие, если память мне не изменяет, некоторую природу и комфорт. Советовать отсюда трудно, но мне кажется, что предпринять поиски в этом направлении стоит. Жду твоих известий по этому поводу.

Относительно Зинаиды и Тани я спрашивал без всякой задней мысли. Я нисколько не заинтересован в том, чтобы они приехали сюда, совсем напротив, конечно, лучше, если они пробудут с тобой как можно дольше.

Ты ничего не пишешь мне о том, получила ли ты высланные мною документы и деньги — 80 рублей. У меня есть основание предполагать, что в субботу, послезавтра, я вышлю тебе 300 рублей, после чего в денежных присылках наступит некоторый перерыв. Поэтому обдумай эти 300 рублей всесторонне, как бы их истратить поразумнее. Фраза моя о том, что мы «разорены», горькая, увы, истина, и надо, душа моя, надеяться, что нам придется туговато, ты-то живешь экономно, а на меня в этом смысле надежды плохи. Кинематограф подвел ужасно, в волнах ничего не видно, неприятность эта усугубляется тем, что дождаться какого-нибудь результата я должен, а работать в Москве при душевном моем настроении — не могу.

Весть о твоем нездоровьи очень печалит меня. С чего бы это, или так полагается, или, может, это аппендицит? Пожалуйста, сходи к доктору и немедленно сообщи мне, что он скажет. Письма твои, Тамарочка, очень смешные. Они до такой степени испещрены скобками, кавычками,

восклицательными знаками и многоточиями, что больше походят на детские рисунки, чем на произведение взрослого человека. Ну, да смотреть приятно!

Устрой свои дела в союзе. Хватит того, что у меня нет никаких документов. Будь гражданкой! Больше писать как будто не о чем. Низкий поклон твоим сожительницам. Татьяне обо мне труби поменьше, зачем ей знать о жалких дураках, успеется. Итак, как пишут в коммерческих письмах, — в ожидании приятных ваших заказов пребываю

Твой *И. Б.*

М. 22/IV–26

Если можешь, изложи мне, Татушенька, перспективы твоих расходов на ближайшие месяц — полтора. Мне это надо знать, чтобы построить какой-нибудь финансовый план, хотя пока в качестве строительного материала у меня есть один только песок...

76. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

26 апреля 1926 г., Москва

Уважаемая Каширина. Послал тебе сегодня 250 рубл. Трехсот послать не мог, не вышло. Отдай Правдухину 100 руб., на остальные живи, как Плюшкин, потому что, стыдно сказать, дела наши день ото дня идут все хуже. В довершение всех бед Главрепетком запретил постановку «Блуждающих звезд». Теперь выходит, что мне с фабрики ничего не получить, я ей должен кучу денег. Ничего в этом направлении предпринимать сейчас нельзя, место сие наболело, помолчим и подо-

ждем. Руководители сидят, очевидно, прочно, сегодня прошел слух, что назначат нового директора, может, что-нибудь в ближайшие дни разъяснится. Из всего этого следует с несомненностью, что деньги надо искать в других местах, а в каких, я еще не сообразил. Напиши мне, пожалуйста, какую рассрочку тебе дали в уплате за дачу? Есть ли там все «удобства». Из письма твоего заключаю, что сообщение с городом там очень неудобное, но если дача действительно хороша, то с этим можно примириться. О квартире пока помолчим, снять-то квартиру, конечно, беспременно надо, но сперва сообразим, как с деньгами. Спасибо за карточку. Вы все очень милые, но пока что красотой блещет одна только Татьяна. Раздумал ли Ник<олай> Вас<ильевич> уезжать из Москвы? Прочел начало новой повести Сейфуллиной. Она написана неизмеримо лучше прежних ее произведений, передай ей по этому поводу искренние душевные мои поздравления. Всеволод Иванов, тот был просто потрясен этой вещью, он не ждал от Л. Н. такой прыти, а я ждал, потому что сердце у нее все-таки исковерканное и горячее.

Какая погода в Петербурге? У нас после двух весенних дней и празднеств, связанных с наводнением, наступила пасмурная погода. Я очень тревожусь о Петербурге. Уж если паршивенькая Москва-река разлилась так величественно, то что же сочинит Нева? Как бы вас всех не вынесло в Северное море... Когда ты собираешься переезжать на дачу? Есть ли в этом строении печи? Видел ли кто-нибудь эту дачу собственными глазами или все красоты природы взяты из чужих слов? С тем — до свидания. Здоровьишко твое, очевидно,

худо, это тоже не прибавляет лазури к дымному нашему небу. Была ли ты у доктора? Обо всем напиши и будь весела со чадами твоими и домочадцами.

Твой *И. Б.*

М. 26/IV–26

77. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

30 апреля 1926 г., Москва

Уважаемый трибун. Пишу на почте, толкотня здесь предпасхальная, поэтому не взыщи за краткость и стиль. Я просил тебя сообщить о денежных делах, в этой части письмо твое невразумительно. Пожалуйста, голубушка моя, разъясни толком, сколько надо внести за дачу до переезда — сто или двести рублей, что это значит, — следующий взнос через месяц — в конце мая или июня? Затем о квартире: дела таковы, что сразу заплатить крупную сумму мы не можем, по частям же это вещь возможная; я писал тебе, кажется, что репетком запретил к постановке «Блуждающие звезды», в смысле финансовом это, м<ожет> б<ыть>, к лучшему, п<отому> ч<то> есть предложение переслать сценарий в Вуфку. Ради этого дела я и сижу здесь. Чтобы ответить тебе совершенно точно относительно квартирных дел, мне нужно знать сроки и числа. Потом, Тамарочка, не увлекайся величественными квартирами, — хозяйственные способности мои невелики, но я соображаю, что их ведь топить надо, помесячная плата за них, вероятно, дорога, да и ремонт такой квартиры — нелегкая вещь. Хорошо бы, если бы вся история

с квартирой не вышла за пределы 1000 рублей, неужели за эту цену нельзя подыскать помещения? 1000 рублей я пишу тоже наугад, но думаю, что эту сумму я при всяких обстоятельствах смогу добыть. Положение моих кинодел таково: полная безнадежность сменилась мутной неопределенностью, вот пока и все. Поэтому, Тамара, сообщи мне, каково твое финансовое положение в настоящий момент, и затем, если можешь, расписание на предбудущее время?

Мама вчера получила визу из Бельгии (вторичную). Конечно, для меня лучше всего, если она тихохонько будет проживать в Бельгии. Муж сестры получил, наконец, службу, благодарение небесам, они не нуждаются больше в моей помощи, и, конечно, мать лучше всего пристегнуть к ним, оседлым, тихим, сравнительно обеспеченным. Для меня это громадное облегчение. Беда заключается в необыкновенной трудности получения заграничного паспорта. Это (после «Блуждающих звезд») вторая причина сиденья моего в постылой Москве. В первые дни после праздника паспортные перспективы проясняются совершенно. Тогда у нас будет все определенно. Итак, вот что меня задерживает в Москве. Не буду говорить жалких слов, как мне тягостно, нудно, скучно, бессмысленно сидеть здесь, но по всем видимостям начатые дела надо кончать. В Петербурге я все-таки рассчитываю быть скоро, немедленно после того, как из Наркомфина и Моссовета мне дадут ответ о мамином паспорте. Посему, уважаемый трибун, на нахальный Ваш вопрос, увидимся ли мы, не может быть другого ответа, кроме как тот, что не увидимся мы только в том случае, если Вы падете под

грузом Вашей глупости. Письмо это ты получишь, вероятно, с большим опозданием — почта два дня работать не будет, — поэтому ответь на него спешным. Была ли ты у доктора, а если не была, то почему, злодейка? Приготовила ли ты весь снаряд для Пасхи? Поздравляю тебя, душенька, с праздником. Надеюсь, что я толково изложил все обстоятельства. Не скучай, Татушенька. Мы еще увидим небо в алмазах и даже пересчитаем эти алмазы в нашем кармане.

Твой *И. В.*

30/IV–26. Москва

78. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

6 мая 1926 г., Москва

Милая Татушенька. Письмо твое, не дуже веселое, очень все же обрадовало меня. От тебя так давно не было вестей. Поговорим о делах. В связи с запрещением «Блуждающих звезд» возникла возможность передачи их в Вуфку для постановки на Украине. Я сделал кое-какие шаги в этом направлении (это, увы! единственный наш денежный шанс) и жду ответа, думаю, что вопрос этот разрешится в ближайшие дни. Очень гнусно, что в Петербурге такая скверная погода. Здесь не лучше, после нескольких солнечных дней наступила форменная осень. На дачу надо, по-моему, переехать как можно скорее, но не раньше лета, конечно, а когда оно бывает в ваших северных краях, неизвестно, поэтому, я думаю, ты не ошибешься, если заплатишь старухе за две недели. Деньги, рублей сто, я вышлю тебе «при первой возможности», возможность эта представится,

надеюсь, скоро. Вчера я подал в Мосфинотдел прошение об освобождении маминого паспорта от сбора, который теперь установлен в 220 рублей, цифра грозная, будем надеяться, что я чего-нибудь добьюсь. Хозяйственные вещи я могу тебе прислать, и даже мебель; напиши, в чем ты нуждаешься.

Условия твои с хозяйкой дачи, по-моему, очень приемлемы. О деньгах, пожалуйста, не тревожься. Ты знаешь, что я этого пункта стараюсь из виду не упускать, тем более что в отношении денег я всегда настроен очень панически, т. е. думаю о каждой получке, что это последняя получка. Хорошенькая будет история, если моя паника превратится в действительность в тот момент, когда ты разрешишься двойняшками женского пола.

Зинаиде я писал, что с Лившицем все условлено. Я звонил ему только что, но не застал. Передай Зин. Вл., что беспокоиться ей не об чем, Лившиц обо всем предупрежден. Очень скучаю по тебе и хочу тебя видеть, вырваться мне в эти дни отсюда нельзя, будь они прокляты, нудные дела. Как только в «деловой» моей жизни наступит просвет, я протелеграфирую тебе и приеду. Образ жизни веду чрезвычайно уединенный, пытаюсь работать, часа по три-четыре в день расхаживаю по комнате, не знаю, правильные ли у меня мысли или нет.

Вот и все дела. О новостях сообщу немедленно. Будь весела, мой дружок. Болезни твои выходят от дурости, а дур много, ты не хвастайся и не становись в их ряды. До свиданья, душечка, будем рассчитывать — до скорого.

Твой *И. Б.*

М. 6/V–26

79. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

7 мая 1926 г., Москва

Уважаемая корреспондентка. Через полчаса после отправления спешного письма я получил от тебя малообоснованный вопль, а вчера нагрянула Ита с категорическим требованием писать тебе не реже трех раз в день после каждого приема пищи. Ты ополоумела, мать моя. Несмотря на все мое к Вам благорасположение, я на Итино требование ответил отказом. Раза три в неделю обещаюсь писать, а больше не буду — на три письма и то фактов не хватает, а беллетристику разводить да еще совершенно бесплатно — где это видано? Живу я тихо, погруженный в глубокие размышления, из которых выводит меня периодически жажда денег — вот и все события, о чем Вы тревожитесь, сударыня? Очень глупо.

Поговорим о фактах, факты, положим, относительные. С Вуфку о «Блуждающих звездах» продолжаются интенсивные «телеграфные» переговоры. В режиссеры они прочат Грановского — другого у них нет, — вот какой получается заколдованный круг. Грановский со своим театром уезжает сегодня в Киев на гастроли, не исключена возможность, что и меня вызовут для окончательных переговоров на Украину. К концу будущей недели я в Москве освобожусь, поеду к тебе в Петербург, и, м<ожет> б<ыть>, потом в Харьков или Киев, куда позовут. Вытекут ли из этого деньги — гадательно. Вот ведь какие времена — и следуют тебе деньги, и нельзя просить, режим свирепствует. Кинематографическое дело дойдет, очевидно, до суда, многие люди очень боятся

разоблачений — напр., Мейерхольд, Таиров и др. Они нахапали авансов и ничего не сделали.

Погода у нас тянется за петербургской — вчера был снег, сегодня осень, холодно. Что будет с твоей дачей? Ежели ты не спишь от нервности, от головной боли, то ты преступница и дуреха — пожалей бедных девочек — Марфу и Феклу!

Итак, уповаю на Господа, что в конце будущей наступающей недели я смогу прочитать тебе суровый реприманд лично. На этом, душа моя, кончаю. Длинных писем я теперь писать не буду, ведь мне после обеда снова надо строчить. Не разрешишь ли ты мне, Татушенька, отправить тебе несколько писем с одним содержанием? Я буду их копировать и опускать в ящик по одному. Передай, пожалуйста, прилагаемое письмо Л. Н. Я не знаю, какой у них номер дома по Миллионной. Деньги в начале будущей недели обязательно тебе вышлю. Не будь дурой, а будь умной. Это очень трудно, но ты, солнышко мое, понатужься.

Твой *И. Б.*

М. 7/V–26

80. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

10 мая 1926 г., Москва

Гражданочка. От Вас давно нет писем, я очень беспокоюсь. Ввиду того, что я не подвержен несчастьям в такой степени, как Вы, мне можно писать редко, Вам же это непозволительно. Завтра буду в Госкино окончательно отвоевывать для Вуфку «Блуждающие звезды», в пятницу мне должны

дать ответ по поводу маминого паспорта, в субботу вечером рассчитываю выехать в Петербург. Деньги мне обещают дать в среду или в крайнем случае в четверг, так что ты можешь рассчитывать на то, что не позже четверга ты получишь телеграфный перевод на 100 рублей. Ближайшие два дня буду «ходить с ходатайствами» по всяким официальным учреждениям, это мне на руку, п. ч. переутомленная моя голова сегодня взбунтовалась и забастовала. Я займусь другими делами, тем временем, может, голова пройдет.

Тамарочка, очень нехорошо, что так долго от тебя нет письма. Я не пишу потому, что у меня все благополучно и сообщать, в общем, не о чем, я ведь люблю в писаньях факты, а твое молчание ввергает меня в истинную тревогу. Пиши, Трибун, пиши.

Твой *И. Б.*

М. 10/V–26

81. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

11 мая 1926 г., Москва

Милая Тамара. Сегодня поздно вернулся домой и застал записку Зинаиды.

Очень жалею, что не видел ее. Она будет у меня завтра в 6 ч. дня. Надеюсь, что и все у вас благополучно. Заседание о мамином паспорте будет не в среду, а в четверг, все же я во что бы то ни стало хочу выехать в субботу в Ленинград. О приезде моем прошу никому не говорить, я предвижу, что визит мой будет очень короткий, теперь у меня куча дел, свя-

занных с денежным вопросом, а это для нас теперь важный вопрос. Очень возможно, что мне придется просидеть в Пб. дня два-три и сейчас же укатить в Харьков. Сегодня или завтра переведу тебе телеграфно 100 рублей, немного денег постараюсь привезти с собой. Перспективный денежный план мне самому неизвестен, и это, конечно, скверно. До конца этой недели я должен получить 300 рублей, из которых рассчитываю дать тебе 200 рубл., а затем все надежды на Вуфку. Больше денег неоткуда получать. Если с «Бл<уждающими> звездами» лопнет, тогда... тогда надо будет придумывать меры экстраординарные. С письмом твоим, в которое было вложено заявление в Рабис, произошла замечательная вещь — никакого такого письма я не получал, и только сегодня, узнав от тебя, что ты ждешь от меня ответа по поводу какого-то заявления, я бросился наводить справки и обнаружил твое письмо от 24/IV в пыли, в архиве достолюбезных наших дворников. За эту подлость я отчитал их основательно. Завтра попрошу Зинаиду заняться твоими делами в Рабисе, я, по правде, загружен свыше всякой меры.

Письма твои я получил и успокоился, или, вернее сказать, встревожился по-новому. Ох, уж эти мне грустные письма! Стоило бы посетовать, да не хочу, может, несправедливо будет. Более подробные разговоры откладываю до моего приезда, и не плачь ты, за ради Бога, какая неугомонная баба! Целую тебя, милая Тамарочка, до скорого свидания. До отъезда я напишу тебе еще и протелеграфирую.

Твой *И. Б.*

М. 11/V–26

82. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

21 мая 1926 г., Москва

Дорогая мученица. Приехал в Москву благополучно. Здесь жарко, превосходная погода. Представитель Вуфку уехал, не оставив для меня ни слова. Если он таким образом выражает свой гнев, — то это идиот. Я телеграфировал в Харьков, жду ответа.

Маме в паспорте отказали или, вернее, чуть было не отказали. Я пустил в ход Евд<окимова>, и он добился того, что дело будет пересмотрено, но ответ дадут только 6 июня, это основное плачевное обстоятельство. Весь сегодняшний день ушел на это дело. С лихорадочным нетерпением жду известий о твоем здоровье. Не оставляйте меня в неведении.

Твой *И. Б.*

М. 21/V–26

83. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

23 мая 1926 г., Москва

Татушенька. Только что, в 7 часов утра, получил телеграмму от Одесской фабрики Вуфку. Они предлагают мне немедленно приехать в Одессу. Вуфку предполагает отобрать постановку у Грановского, который выставляет идиотические требования, и передать ее Гричеру, б<ывшему> помощнику Грановского, человеку, мной рекомендованному и неизмеримо, в кинематогр<афическом> отношении, более талантливому. Обстоятельству этому я очень рад. Я от-

ветил телеграммой, что прошу выслать мне деньги, во вторник выеду в Одессу. Буду ждать ответа на телеграмму. Если действительно придется поехать, я тебе протелеграфирую. Письмо твое получил. Лежи, Татушенька, лежи, не двигайся. Будет ужасно, если ты не оправишься до конца.

Твой *И. Б.*

М. 23/V–26

84. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

25/V–1926 г. *25 мая 1926 г., Москва*

Еду Одессу

85. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

28/V–1926 г. *28 мая 1926 г., Одесса*

Пишите гостиница Пассаж

86. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

28 мая 1926 г., Одесса

Татушенька. Сегодня телеграфировал тебе мой адрес — гостиница «Пассаж», № 85. Буду ждать письма с нетерпением. Веду переговоры с Вуфку о постановке «Бл<уждающих> зв<езд>» на одесской кинофабрике. В понедельник рассчитываю отправить тебе по телеграфу 100 рубл., а через несколько дней, может быть, выцарапаю из Вуфку более крупную сумму. Благодаря «прижиму экономии» неудобно сразу

просить денег. В Одессе у меня множество жалких знакомых, все хотят перехватить червонец и просят службу, но море прекрасно по-прежнему и акация цветет опьяняюще чудовищно. Чувствую себя хорошо. Письмо отправь мне спешное, а то не дождешься его. У меня здесь работы куча — и моей (душевной), и кинематографической, но писать буду, — лето здесь удивительное, все так напоминает детство и юность, я второй день хожу, грущу и радуюсь.

Твой *И. Б.*

Одесса, 28/V–26

87. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

31 мая 1926 г., Одесса

Получил, милый трибун, спешное письмо, очень меня обрадовавшее. Живу здесь хорошо, купаюсь и греюсь под солнцем, которое тебе, озябшая моя московская душа, не часто снится. Все было бы хорошо, если бы мне не приходилось возить по всем городам глупые мои нервы, не умеющие работать и не умеющие спать. Я их обучаю этим ремеслам, но со средним успехом. Деньги переведу тебе телеграфно не позже второго июня. Думаю, что это не будет слишком поздно. Живи хорошо, человек затем и родился на божий свет.

Любящий тебя, душенька моя
И. Б.

Од. 31/V–26

Чадам твоим — поклон. Напиши мне адрес дачи.

88. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

5 июня 1926 г., Одесса

Татушенька, только что перевел тебе по телеграфу 150 рубл. С деньгами вышла задержка, которую я не мог преодолеть. Дело в том, что по условию я гонорар должен получать в Правлении Вуфку в Харькове, а не в Одессе на фабрике. Мы заканчиваем с режиссером разработку сценария, надеюсь, что дня через три-четыре я смогу выехать для расчетов в Харьков, а потом в Москву. С нетерпением жду телеграммы от мамы, которая 6-го (вернее, 7-го) должна узнать, дадут ли ей заграничный паспорт.

Нервное состояние мое улеглось, и я работаю маленько продуктивнее, чем раньше. К сожалению, пользоваться благами Одессы мне не приходится, целый день торчу с режиссером в гостинице, все же купаюсь исправно каждый день. Из Харькова надеюсь выслать тебе более солидное денежное подкрепление. О всех своих передвижениях я буду тебя оповещать. Напиши мне спешное письмо — переехала ли ты на дачу и как себя чувствуешь? Пишу на адрес Правдухиных, п. ч. не знаю, застанет ли тебя это послание в городе. Кланяйся Правдухиным, скажи В. П., что я скоро отошлю ему долг. Желаю тебе веселья без конца без краю, а уж после тебя и я возвеселюсь.

Твой *И. Б.*

Од. 5/VI–26

89. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

7/VI–1926 г. *7 июня 1926 г., Одесса*

Пятницу еду Харьков Деньги переведу телеграфно Харькова Телеграфируйте здоровье

90. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

12/VI–1926 г. *12 июня 1926 г., Одесса*

Получите Правдухина переведенные телеграфно сто

91. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

10 июня 1926 г., Одесса

Уважаемый феномен. Телеграмму твою и письмо с сообщением о двойне получил. Что касается переезда в Д<етское> Село — мне кажется, это поступок разумный, о двойне же сказать нечего — или как у Шол<ом> Алейхема — человеческие уста и стальное перо не в состоянии выразить чувства, меня трясущие. В малопочтенном нашем роду такого фарса еще не бывало. Постыдись людей, Тамара, побойся бога, неужели ты отмочишь такое колено?

Известие же о грыже нисколько меня не удивило, второй день я обучаюсь у местной библиотекарши карточной системе, по этой системе я буду вести запись и регистрацию твоих болезней. Все же, любезный инвалид, позволительно надеяться на то, что твоя грыжа не серьезнее аппендицита — или серьезнее? Убиться мало, — как говорит мой но-

вый одесский знакомый — шулер и приятнейший прохвост. В Харьков я еду в субботу, не в пятницу. Протелеграфируйте мне в Харьков, Вуфку, куда тебе переслать деньги. Можешь даже немедленно по получении сего написать в Харьков по адр<есу> Вуфку, Пушкинская, 91, — м<ожет> б<ыть>, твое письмо застанет меня в Харькове. Надеюсь, что из Харькова смогу тебе выслать деньги по телеграфу. У меня все течет сравнительно благополучно, плохо только то, что не хватает времени и сил для собственной работы, но это уже моя вина, и, значит, так мне и надо. Хорошо бы получить от тебя благую какую-нибудь весть в Харькове — и плюнь ты, за ради бога, на гомерические твои болезни — вывернешься, на то ты баба. Желаю тебе, милый феномен, благодействия и юмористического отношения к чудачествам нашего господа бога.

Твой *И. Б.*

Од. 10/VI–26

92. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

12 июня 1926 г., Одесса

Милая Тамара. Только что отправил Правдухину для тебя 100 р. по телеграфу. Я не решился отправлять прямо в Детское Село, через Правдухина будет вернее. Вчера должны были выехать с Гричером в Харьков, но у него не готова еще смета по постановке, он эту смету должен представить в Харькове в Правление. Если не успеет закончить смету сегодня, то выедем в 5 ч. 40 м., если нет — завтра. Задержка

эта мне ни к чему и даже вредна. Только в Харькове выяснятся мои материальные дела, и тогда можно будет сделать какой-нибудь план на ближайшие месяцы. Пока же все получки мои были эпизодическими, случайными, — от этого и «перебои в снабжении». Надеюсь, что из Харькова я смогу перевести долг Правдухину, да и ты сможешь тогда расплатиться с ним. Письма твои получил. Каждый человек имеет право принимать всерьез (в трагический серьез) нескончаемые изменения, которые несет нам каждый день, каждый час, годы, но ты, надо думать, используешь эту грустную человеческую особенность чрезмерно. Утихомирься, душа моя, право, стоит. О передвижениях моих я буду извещать тебя по телеграфу, так же сообщу адрес, куда мне надо писать. Очень бы мне хотелось знать, как вам живется в Царском, плату за квартиру я нахожу непомерной. В Одессе живу грустно, но очень хорошо. Воздух родины вдохновляет — на плодотворные, простые, важные мысли. Желаю тебе, Татушенька, здоровья и хоть малость благополучия, но, очевидно, самого пламенного моего желания мало, нужно, чтобы и ты пожелала. Экая ты выдалась у нас дура. Будь счастлива, милая дура.

Твой *И. Б.*

Одесса. 12/VI–26

93. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

15/VI–1926 г. *15 июня 1926 г., Одесса*

Выезжаю Харьков

94. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

15 июня 1926 г., Харьков

Милая Тамара. Вчера вечером приехал в Харьков. Сейчас отправляюсь ломать дела. Думаю, что к завтрашнему вечеру выяснится, кто кого сломает, — дела меня или я их. Завтра напишу. Чувствую себя удовлетворительно. Харьков — пыльный, душный город, к которому я, как и большинство людей, отношусь с предубеждением. Постараюсь сократить здесь мое пребывание. Хочется думать, что у тебя все благополучно. Если мне удастся получить здесь деньги, то я вышлю их на адрес Правдухина, для того чтобы он 100 р. из этих денег оставил себе. Целую тебя, необыкновеннейшая дура.

Твой *И. Б.*

Харьков, 15/VI–26

95. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

18/VI–1926 г. *18 июня 1926 г., Харьков*

Получите Правдухина 250 еду Москву

96. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

20 июня 1926 г., Москва

Милая Тамара. Вчера приехал в Москву. Надеюсь, что Правдухин передал тебе деньги, высланные мною телеграфно. Я послал сто рублей перед отъездом из Одессы и триста

пятьдесят рублей из Харькова. Из этих 350 рубл. Правдухин должен был взять себе сто рублей. Очень прошу, сообщи мне твои соображения относительно дальнейшего твоего бюджета. Дела теперь, как тебе известно, трудные, и надо жить с расчетом. Я не предвижу значительных сумм до тех пор, пока не сдам серьезной литературной работы, а заниматься литературой в такой суете и беготне невозможно. Мне придется, вероятно, согласиться на настойчивые предложения Вуфку присутствовать при постановке картины, придется это сделать, п<отому> ч<то> других источников к существованию при моей литературной бездеятельности я не вижу, да кроме того, если меня не будет, режиссер все испортит радикально. С нетерпением жду писем о твоем здоровье, об общем вашем состоянии. В Москве у меня еще одно нелегкое дело — выпроваживать маму за границу. Надеюсь, что мне удастся это сделать в течение ближайших десяти дней. Чувствовал бы я себя хорошо, если бы можно было работать. Ну, да когда-нибудь придет это время. Низко кланяюсь З. В. и Татьяне. Напиши мне обо всем подробно и толково. Постарайся, милая дура, быть здоровой, очень тебя прошу.

Твой *И. В.*

М. 20/VI–26

97. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

24 июня 1926 г., Москва

Милая Тамара. Вот уже несколько дней я живу в Москве обыкновенной моей, т. е. унизительной и трудно переноси-

мой жизнью — поиски денег, вынужденные свидания с «деловыми» людьми, невозможность работать настоящую работу и проч. Рассчитываю на то, что мама уедет в конце будущей недели, тогда и мне придется ехать в Одессу, перспектива невеселая, потому что я боюсь, что мне и там не удастся работать. Был вчера у Воронского, встретил у него Лидию Никол. Она очень толстая, весела ли она — не разобрал. Жду от тебя писем, ответа на мое письмо о деньгах. Хорошо бы, чтобы все у тебя текло сравнительно хотя бы благополучно, дай тебе бог. Будь здорова, душа моя.

Твой *И. Б.*

М. 24/VI–26

98. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

26/VI–1926 г. *26 июня 1926 г., Москва*

Милая Татушенька. Письмо твое от 23/VI получил. Живу благополучно. Благополучием я называю то, что мне благодаря жесткому режиму удается выкроить часа три каждый день для размышления о более радостных вещах, чем сценарии, редакция, надоевшие, ненужные люди и проч. В городе маленько досаждает жара, она у нас египетская. «Бюджет» ты составила, бедняжка, с предельной экономией, действительно, ниже этого минимума спускаться нельзя, ненормально в этом бюджете только то, что 33% уходит на квартиру, ну да с этим пока ничего сообщить тебе не могу. Предполагать и болтать легко; теперь все надо подгонять так, чтобы хотя на несколько месяцев вперед

обеспечить регулярный и порядочный заработок; совершенно очевидно, что кино в нынешнем его положении не может дать единовременно крупную сумму, посижу еще в Москве, «ситуация» скоро прояснится. Ты что-то сгоряча написала о судах. Избави тебя бог, ни при каких условиях не отягощай себя этой гадостью, только дуракам потеха.

Вот и все дела. Будь благословенна в женах! В каждом письме ты упоминаешь о каких-то «ребенках»? Спятила ты, мать? Не пугай, за ради бога, а то как прочитаю — сердце переворачивается вверх ногами. До свиданья, душа моя.

Твой *И. Б.*

99. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

28 июня 1926 г., Москва

Уважаемая дура. Твой набат от 25/VI получил. Относительно мрачности моей ты ошибаешься. Я пребываю в превосходнейшем расположении духа, это, главным образом, касается души, беспокоят меня только материальные дела, но от беспокойства до несчастий далеко, уважаемая дура, не надо извращать, раздувать, распирать незначительные события. Я предвижу резкое понижение заработков. В отношении меня это хорошо — заживу лучше и буду заниматься делом, а не пустяками, в отношении тебя плохо. Я в Москве еще посижу, буду работать и изыскивать способы получить более или менее крупную сумму, сумма эта нужна нам для покупки квартиры в Ленинграде. Это основное дело, но и тут

катастрофы пока нет, п. ч. в Детском Селе можно беспечально прожить еще месяца три. На текущие же расходы деньги будут. Все, что ты болтаешь о службе для тебя и Зинаиды, — сущий вздор, это известно тебе так же хорошо, как и мне, пока ты не родишь это столь медлительное чудище, пока ты не оправишься от родов — толковать не об чем, все это мы в свое время устроим; для того, чтобы обзаконить младенца, есть еще тысяча лет — я знаю человека лет двенадцати, родители которого несколько дней тому назад ходили в ЗАГС для того, чтобы выправить ему необходимые бумаги. О «прибытии» моем в Ленинград можно говорить только после отъезда мамы. Спокойствие, друг мой Тамара, силой воли, сказал Эдгар По, можно победить даже смерть, а тут такие пустяки, на которые и силы воли надо израсходовать полтора золотника. Так-то! Итак, будь великолепна, чудная и чудная моя Татушечка!

И. Б.

М. 28/VI–26

100. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

3 июля 1926 г., Москва

Татушенька. Только что вернулся из Сергиева, где дела задержали меня на два дня, и застал твое письмо, чему я очень обрадовался, п. ч. писем от тебя давно не было. С необыкновенным нетерпением жду «разрешения». Что это ты никак не можешь раскачаться? Вести о животе по-прежнему беспокоят меня, почему ты напираешь на эти слова

«чудовищный» и проч.? Неужели, Татушенька, ты способна выкинуть что-нибудь экстраординарное? Я твердо верю, что все окончится превосходно, это предчувствие верное, не надо бояться вещей, которые претерпевает ровно половина человеческого рода. У меня ничего нового, вожусь с мамой, из-за тысячи мелочей никак не могу ее выпроводить, все же она скоро уедет. Ввиду того, что состояние духа у меня спокойнее, ввиду того, что я осуществил наконец давнишнее мое желание — порвать все старые, нудные знакомства, — я помаленечку работаю. Поэтому, дружок, никак я не могу писать тебе длинно. Подожди, скоро запишу. Очень хочу послать тебе на будущей неделе деньги. Обязательно это надо сделать. Надеюсь, что ухвачу где-нибудь кленовый листочек. Итак, не журись, как говорят на Украине, великолепно ты это все сделаешь, в лучшем виде, чего я тебе желаю, душенька моя, от всего сердца.

Твой *И. Б.*

М. 3/VII–26

101. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

7 июля 1926 г., Москва

Милочка. Философическое твое послание от 4/VII получил. Лидия Николаевна передала тебе вздорные новости. Выгляжу я превосходно и чувствую себя не менее превосходно. Насчет «свиданий» виноваты мы оба в одинаковой степени. Л. Н. прислала мне открытку, в которой сообщала, что до воскресенья будет на даче, я собрался к ней в воскресенье,

но она, оказывается, укатила в субботу в Пб. По этому поводу я написал ей негодующее письмо.

Касательно корреспонденции ты, по-моему, не права. Пишу я так часто, как только могу, а дела у меня сейчас излишне много. Помимо «душевной» работы, которую я продолжаю, несмотря на противодействие всех стихий, мне приходится еще участвовать в монтаже на 1 Госкинофабрике несчастной и неумелой картины Капчинского «Коровины дети». Произведение это сумбурное, я по договору обязан составить к нему надписи и обязательство это выполняю потому, что эта работа значительно уменьшит сумму моего долга фабрике. По логике вещей я обязан вернуть полученный в Госкино гонорар, т. к. гонорар этот я получаю вторично в Вуфку. А ежели возвращать — то... все понятно. Итак, надо монтировать и делать надписи к «Коровиным детям». Кроме того, я редактирую и перевожу последние томы Мопассана и Ш. Алейхема, кроме того, я должен исполнить кое-какие работы для Вуфку, кроме того, я снаряжаю многотрубный Корабль, который называется моей мамой, и проч., и проч., и проч. Работы эти скучные, но деньги пойдут на благие цели, поэтому работать надо; единственно удручает меня то, что многие проблемы (лошадиная и проч.), изучение которых совершенно необходимо для моего душевного равновесия, из-за недостатка времени остаются безо всякого изучения. Ну да чем скорее я исполню заказы, тем скорее можно будет приступить к проблемам. Дня через два в Москву должен приехать один из директоров Вуфку, и я узнаю тогда, состоится ли моя вторичная поездка в Одессу, и вообще

разберусь в дальнейших перспективах. Итак, сетовать на меня за «малое писание» грешно. Других новостей нет. Все новости должны идти от тебя. Когда это случится, дорогой Монблан? Сколько сердец бьется в твоем животе — два или одно? Доктор, говорят, может это определить. Живи получше и философствуй поменьше, потому что философия post factum простительна только у людей, извлекающих доходы из литературного труда.

Итак, цвети, милый друг, мы еще развернем дела.

Твой *И. Б.*

М. 7/VII–26

102. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

9 июля 1926 г., Москва

Татушенька. Пишу второпях на почте. Только что отослал тебе 200 р. Боязнь денежных катастроф превратилась у меня в манию — каждая получка кажется мне последней. Поэтому будь скупа. Оно хотя тебе и не приходится говорить об этом, но все же без расчета можно подохнуть.

Новостей мало. Вуфку телеграфно требует спешного отъезда в Одессу, я в Одессу ехать не могу, п. ч. обязан по договору присутствовать при монтаже паршивых «Коровиных детей». Скверная работа. Посмотрим, как это все образуется. Жду от тебя блистательных вестей. Доколе, о Господи?

Твой *И. Б.*

М. 9/VII–26

103. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

13 июля 1926 г., Москва

Любезная Тамара. Пробыл в Сергиеве три дня, запустил все дела, дела пристали с ножом к горлу, поэтому буду краток. Относительно Зинаиды я немедленно предприму шаги у Примакова, который назначен в Ленинград командиром корпуса, и у Чагина. Думаю, что надо нажать на Лид<ию> Ник<олаевну>. Она может очень много сделать в каком-нибудь бабском или журнальном учреждении. Мне кажется, что службу Зинаиде надо начать этак через месяц, когда вся «история» уляжется.

Мама уезжает в ближайшем будущем, м<ожет> б<ыть>, в субботу.

Мое будущее темно — пока надо кидаться от одной работы к другой. Когда обнаружится просвет — приеду к тебе. Чувствую себя удовлетворительно, чего и тебе желаю. Беспокоиться обо мне не следует — пожалуйста, не делай этой глупости, а вот от тебя мы с трепетом ждем известий (доколе, о Господи?), в ожидании каковых пребываем.

С совершенным уважением

И. Б.

М. 13/VII–26

104. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

14/VII–1926 г. *14 июля 1926 г., Москва*

Поздравляю Пишите спешно

105. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

14 июля 1926 г., Москва

Ночью получилась долгожданная телеграмма. Молодец, Тамара! Хорошо, что мальчик. Девочек, как поглядишь, хоть пруд пруди, а мужчина, может, кормить будет. Вчера, 13 июля (по старому стилю 30 июня), был день моего рождения, и парень этот родился 30 июня. Как я ни далек от фатализма и суеверия, но перст божий указует здесь ясно — удивительное совпадение и трогательное.

Ужасно хочется знать, как это все произошло, как ты себя чувствуешь, где ты разродилась. Пожалуйста, сообщайте мне обо всем спешно. Ужасно горько ничего не знать, но я здесь связан крепкими веревками и вырваться пока не могу, хотя сегодня утром ввиду столь торжественного события у меня дурное желание бросить все эти мелкие и нудные дела к черту. Итак, будем ходить в папашах. Очень смешно привыкать к этому состоянию. Дай тебе бог, милая Татушенька, оправляйся поскорее, а я, когда приеду, порадуюсь на вас. Писем, писем, писем! Целую тебя крепко, милая душа моя.

И. Б.

М. 14/VII–26

106. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

15 июля 1926 г., Москва

Милый друг Тамара. Проходил вчерашний день в отцовском состоянии и потерпел на этом деле червонцев пять

убытку, потому что от важности ничего не мог делать. Здесь теперь Митя Шмидт, мы вчера в твою честь выпили, и Митя самозабвенно плясал, провозглашая почтенное твое имя. Быть отцом на расстоянии — вещь удобная и гигиеническая, но до смерти хочется знать, что у вас происходит, — как ты себя чувствуешь, как все это произошло. Татушенька, как только ты оправишься, напиши мне несколько строк. Передай Зинаиде Владимировне всенижайшую и лихорадочную просьбу извещать меня о течении событий. Очень буду ей обязан.

Пишите, пишите, друзья мои. Живу я здесь в чаду и опьянении. Пожалуйста, поправляйся поскорее и будь совершенно здорова.

И. Б.

М. 15/VII–26

107. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

15 июля 1926 г., Москва

Спасибо милой Зинаиде Владимировне. Она истинная наша благодетельница. Как много она для нас сделала. Только что получил ее письмо. Я ждал его с нетерпением. Насчет имени собственного мнения не имею, предоставляю важное это дело твоему усмотрению, надо назвать попроще. Откуда у этого парня черные волосы? Разве я брюнет? Я, кажется, шатен. В столь нежном возрасте цвет волос, говорят, изменяется. Сколько в нем было фунтов при рождении? Очень ли велик у него рот? Такой ли он противный, как у Ксении? Как

хорошо, что ты рожала на дому. Тамара, милая, веди себя разумно, тогда все пройдет как нельзя лучше. Что слышно насчет молока? Очень ли этот мужчина кричит? Тамара, очень хочется думать, что ты будешь лежать спокойно, неосторожных движений делать не будешь и скоро встанешь. Когда оправишься, напиши мне, очень ли тебе трудно пришлось, ты, я думаю, здорово кричала.

Пишите мне, милые мои, почаще. В здешней жизни письма ваши несут мне истинную отраду. У меня все благополучно. Будь счастлива, Тамарочка. Зинаиде Владимировне и Тане низко кланяюсь.

И. Б.

М. 15/VII–26

108. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

16 июля 1926 г., Москва

Татушенька. Из того непостижимого факта, что ты сама написала мне, я заключаю, что все идет благополучно. Очень хорошо. Ты удивительная женщина. Дай тебе бог, Маркс и ангелы его счастья! Об имени. Можно назвать этого гражданина Мишей, имя без претензий и незамысловатое. Пожалуйста, напиши мне о нем еще; следует сказать, что этот новый человек интересует меня живейшим образом. Ты об нем больно хорошо не думай — будет парень с прыщами и причудами, насчет причуд — это дважды два, есть от кого набраться. Некрасив он, наверное, как тысяча чертей, загримированных в летнем дачном театре, ну, да выправится. Я и приехать-

то хочу тогда, когда он примет «человеческий» вид. Срок моего приезда выяснится на будущей неделе. Работу мою на 1 фабрике я закончу в середине будущей недели.

Относительно Зинаиды я отправил письма во все концы и здесь хлопочу — толк выйдет, я в лепешку расшибусь, а добуду, п. ч. Зинаида удивительный, чудный человек. Мои молитвы не доходчивы, но я молюсь за нее.

Относительно денег помню, очень помню, постараюсь на будущей неделе выслать. На сколько времени тебе хватит твоих скудных средств? Письмо твое, милочка Тамара, привело меня в счастливое, нелепое, туманное состояние, пиши мне побольше, у тебя новостей много, а у меня никаких нет, и новости твои очень уж потрясающи.

Твой *И. Б.*

М. 16/VII–26

109. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

18 июля 1926 г., Москва

Мама категорически не помнит, когда я появился на свет божий — днем или ночью. С несомненностью установлено только одно, что случилось это шаблонное событие 30 июня. Совпадение это до сих пор кажется мне исполненным глубокого значения — вот какой я дурак. Во всяком случае, дурак этот за всю свою скудную жизнь не получал ко дню рождения такого необыкновенного подарка.

Письма твои — главы из самого захватывающего романа, какой я когда-либо читал, — проглатываю с жадностью. Вот

когда пришла пора пожалеть о том, что я «миниатюрист», — чувствую много, а написать не могу. Татушенька, для того чтобы я всем сердцем жил с вами, мне нужно знать все, что у вас происходит. Разговаривай со мной почаще, Татушенька.

По неисповедимой моей дурости мамин отъезд отложен на несколько дней. В паспорте у нее был указан пограничный пункт Негорелое, т. е. направление на Польшу, а ей нужно на Ригу. Исправление паспорта возьмет два дня — понедельник и вторник, а в среду она уедет.

Жизнь у меня такая, что я сам на себя удивляюсь, — сижу дома, работаю, напеваю, улыбаюсь неведомо чему, и никакие Левидовы мне не нужны! Завтра высокоторжественный день Дерби. Я на ипподром заберусь с утра и пробуду там до вечера, очень волнуюсь о судьбе многих лошадей. Сейчас рассвет — второй час утра, — я очень вас люблю, но голова моя клонится долу. Будь умницей, Тамара, ты ведешь себя чудно, кланяйся новому гражданину и расскажи мне о нем еще. До свидания, друг мой.

И. Б.

М. 18/VII–26 г.

110. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

19/VII–26 г. *19 июля 1926 г., Москва*

Мать!

Вчера на Руси на великой было Дерби. Я пропадал на ипподроме до 10 ч. вечера, выиграл малую толику и ужинал с Виктором Андреевичем Щекиным, приехавшим на Дерби в

Москву. Еще приехал Калинин, Сергей Иванович. Они изо всех сил зовут меня в Хреновое. Поехать туда, конечно, хорошо и надо бы до зарезу, но, как говорят людишки на этой неусовершенствованной земле, — «нет возможности».

Спишь ли ты уже, мать? Когда предполагаешь встать с постели? Серьезная ли это штука с грудью? С этим, кажется, никак нельзя шутить. Есть ли у вас прислуга, была, кажется, такая женщина, звали ее Пашей, что с ней?

Путешествовать начну с будущей недели — не зови ты меня, душа моя, сам прискачу.

Задержка с маминым отъездом вышла оттого, что проезд через Латвию теперь закрыт, а ее бельгийская виза находится в Риге; пришлось телеграфировать в Ригу и Брюссель — надеюсь получить ответ не позже 21-го. У мамы все готово к отъезду.

Татушенька, ты должна кормить сына непоколебимым молоком, человек должен быть крепок во все дни живота своего, поэтому извольте, душа моя, находиться в благодушнейшем состоянии духа, берите пример с меня, который, правда, не кормит грудью и спит исправно, чего и тебе бурно желаю. До свиданья, ангелы мои.

И. Бабель

111. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

21 июля 1926 г., Москва

Милочка Тамара. Вчера начал строчить тебе послание, но меня прервали — приехали, сообщили о смерти Дзержинского и увезли меня.

Как тебе покажется имя Лев? В рассуждении инородческого отчества оно, может, вышло бы подходяще. Михаил — тоже хорошо. Алексей — имя превосходное, но с отчеством больно расходится. Каково твое последнее слово?

Послезавтра кончаю работу в Госкино, работу, которая мне, конечно, ни копейки не принесет, а только немножко скостит долг; остающийся долг все еще велик. Жду ответной телеграммы по поводу перевода маминой визы в Берлин. Вот дурацкое обстоятельство. Предвидеть его никак нельзя было. Завтра должны были выясниться мои денежные дела, но в связи с похоронами Дзержинского дело отложится на день-два, все же рассчитываю выслать тебе деньги еще на этой неделе. Относительно поездки моей по делам Вуфку в Харьков — Одессу — жду телеграммы. По всему судя, надо посидеть в Москве еще несколько дней, а мне не очень-то сидится. То, что я приеду в Пб. попозже, — это, по-моему, к лучшему. Я всех вас застану в состоянии полного расцвета. Жизнь моя течет однообразно, потому что она рабочая жизнь, и только вести из Детского Села оживляют, воодушевляют, восторгают ее.

Когда ты собираешься вставать с одра плодородия? Всему твоему разросшемуся семейству кланяюсь низко, от всего сердца. До свидания, голуби мои.

И. Б.

М. 21/VII–26

112. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

23 июля 1926 г., Москва

Я не писал тебе два дня. Был очень занят. Получил, наконец, от бельгийского консула в Риге извещение о том, что виза будет послана в Берлин. Теперь в связи с близким отъездом много суеты.

Очень меня обрадовало известие о том, что денег тебе хватит до конца месяца, у меня получки предвидятся, в этом отношении все благополучно, но если бы получать сегодня или завтра, то это вышло бы насильственно, а к концу месяца выйдет в срок по договору, очень хорошо.

Откуда это к тебе, мать, привалило столько молока? Я думал, ты будешь победнее. Насчет всяких желудков беспокоиться, кажется, не стоит. Или стоит? Ведь эти вещи — было и прошло, не правда ли? О приезде моем в Детское, о точных сроках я извещу тебя не ранее середины будущей недели, к концу, надеюсь, приеду. Тогда поговорим и Зинаиду постараемся устроить, без этого не уеду.

Больше событий никаких. «Кинематографическое дело», очевидно, рассасывается. Вчера выпустили Капчинского, он три месяца просидел в одиночке, неизвестно, за какие прегрешения. Письма твои читаю с наслаждением, ты пишешь лучше Льва Толстого, не оставляй, душенька. Отпрыску твоему и прочим милым домочадцам поклон. До свиданья, Татушенька.

И. Б.

М. 23/VII–26

113. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

25 июля 1926 г., Москва

Татушенька. Пишу тебе впопыхах несколько строк, так как несмотря на воскресенье должен ехать на Кинофабрику просматривать мои надписи к картине. Завтра ее обязательно должны сдавать в цензуру.

Как уже окончательно выяснилось, мама уезжает в среду, следовательно, я буду в Царском еще на этой неделе, в конце, м<ожет> б<ыть>, в субботу, если успею — в пятницу. О приезде я тебя извещу. Очень радует то, что от тебя получаются хорошие вести, я чувствую себя счастливым и очень хочу тебя видеть. Кланяйся съедающему тебя человеку. Как у вас обстоят дела молочные и проч.?

Твой *И. Б.*

М. 25/V1I-26.

114. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

30 июля 1926 г., Москва

Татушенька. Госиздат может произвести со мной расчет только второго, т. е. во вторник. «Конармия» разошлась целиком в $1^1/_2$ месяца, с 1 июня по 15 июля, т. е. в так называемый мертвый сезон. Я заключил договор на второе издание, получу во вторник деньги и постараюсь в тот же день выехать. Все твои поручения исполню. Мама уехала в четверг, только что получил от нее телеграмму, она сегодня утром приехала в Берлин и завтра, надо надеяться, будет в

Брюсселе. Растабарывать о всяких делах сейчас не стоит, потому что скоро увидимся. Письмо твое получил. Долгое молчание очень меня обеспокоило, я хотел телеграфировать, но письмо подоспело вовремя. Ужасно грустно, что поездка отложена на несколько дней, но обстоятельства непреодолимы — во 1) деньги, во 2) лечу зубы и лечение с трудом можно закончить только во вторник, в 3) все еще вожусь с картиной Капчинского, которого, кстати, выпустили из тюрьмы.

До свиданья, милые мои. Хорошо бы до отъезда получить от тебя письмо.

Твой *И. Б.*

М. 30/VII–26

115. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

31/VII–1926 г. *31 июля 1926 г. Москва*

Приеду будущей неделе Пишу

116. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

14–15 августа 1926 г., Москва

Милая Тамара. Телеграмму и письмо получил. Описывать состояние мое не стоит. Я считаю, что в нашу жизнь должно быть внесено, наконец, спокойствие.

Деньги я перевел тебе на несколько часов позже, чем предполагал, п. ч. всего не предусмотришь, мне должны были выдать деньги утром, а получил я их в седьмом часу вечера.

Вместо твоих метаний и поисков денег ты должна была просто мне протелеграфировать и успокоиться на этом, ты ведь знаешь, что я в таком случае сделаю все, что в моих силах. Завтра утром отправляю тебе сундучок, я положил в него стеганое одеяло и кое-какое тряпье, которое попалось под руку. Вещи я отберу в другой раз, мне сейчас не до них.

Я поручил управдому нашему, верному человеку, получить за меня в Госиздате деньги и немедленно отправить тебе. Он переведет тебе 150 или 200 рублей. По условию с Госиздатом деньги должны быть выданы 20 августа. Дома я нашел извещение от фининспектора о подоходном налоге, надо немедленно уплатить 100 рублей. На деньги, которые пришлет тебе Гилевич, ты постарайся жить до половины сентября, никаких получек у меня до этого времени не будет.

В Москве я окунулся в омут невыносимых моих дел. Раздумав трезво, я пришел к убеждению, что больше возиться с халтурой и унижаться я не могу, и мне стало легче и веселей. Я встретил здесь Митю Шмидта, он повезет меня завтра в совхоз под Киевом, в сосновый лес, где я собираюсь проработать, сколько смогу, и потом только поеду в Одессу к окончанию «Блуждающих звезд». Мне выгоднее не участвовать в позорной этой постановке. Немедленно по приезде я сообщу тебе адрес. Ольге Ефремовне я написал. Зинаида немедленно должна зайти к ней. О результате уведомите меня. С Примаковым я возобновил связь, если не выгорит с О. Ефр<ремовной>, то я пришлю письмо Примакову и он обязательно устроит. Ну, да этот вопрос впереди. Я сделаю все, что надо. Мною задумано одно дело, я рассчитываю, что через месяц

оно даст мне сумму, нужную для покупки квартиры в Ленинграде. Пока же надо жить в Детском. Выше себя не прыгнешь. И еще надо соблюдать спокойствие. Я решил попробовать себя. Это будет серьезная проба.

Татушенька, я надеюсь, что следующие твои письма будут веселей. Я бы мог много еще сказать тебе, но ты все понимаешь сама.

Твой *И. Б.*

М. 14/VIII–26

Пишу на почтамте. Только что отправил сундук. Прилагаю квитанцию и ключик. Дня через два Зинаида должна наведаться на станцию. Уезжаю сегодня в 7 ч. 10 м. Пиши пока Киев, главный почтамт, до востребования. Спешу на вокзал. Постарайся быть умницей. Подумай, как облегчится тогда жизнь твоя и еще многих людей.

И. Б.

М. 15/VIII–26

117. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

19 августа 1926 г., Ворзель

Живу в совхозе в 40 верстах от Киева, недалеко от станции Ворзель Ю. З. Ж. Д. Хотя ожидания мои в смысле лошадей и тишины обмануты, но думаю, что я смогу здесь поработать. Кровных лошадей в этом совхозе нет, толчеи, благодаря уборке урожая, много, но так как я живу здесь бесплатно, то выбирать не приходится. Мой адрес: Ворзель, Киевского округа, до востребования. Я буду два раза в неделю ездить на

почту. Что слышно у вас? Я просил Гилевича известить меня телеграммой об отсылке тебе денег, жду этой телеграммы с нетерпением. Была ли Зинаида у Ольги Ефремовны? Я хочу написать Примакову, но мне нужно знать, вышло ли у нее что-нибудь с банком. Получила ли ты сундук? Пригодится ли тебе одеяло? Я думаю, милая моя, что если ты понатужишься и будешь умницей, то ключ молока снова забьет в тебе. Как чувствует себя мальчик? Парень очень превосходный, я все думаю о нем, и очень хочется, чтобы ему жилось получше.

Особенных новостей не жди от меня, давай Господи, чтобы их у меня не было и чтобы судьба подарила мне месяц-два хотя бы относительного спокойствия. Очень я захвачен сейчас коммерческим делом (правда, тряхнул кровью предков), которое я затеял. Результаты должны сказаться скоро. Кланяюсь от всей души Зинаиде и Татьяне и целую тебя с прямым твоим дополнением.

Твой *И. Б.*

Ворзель, 19/VIII–26

118. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

26 августа 1926 г., Ворзель

Милая Тамара. Провел неделю в ужасном беспокойстве. Очевидно, с кем поведешься — от того наберешься. Раньше я, по правде говоря, никаким беспокойствам подвержен не был. Старею. Одна из главных причин моего волнения —

деньги. Позавчера получил от Гилевича телеграмму о том, что ордер ему уже выписан, думаю, что деньги ты уже получила. Пожалуйста, сообщи мне, на сколько времени хватит тебе 200 рубл. Следующая получка у меня в середине августа, 15–20 числа. Хорошо бы продержаться. Гилевич — чрезвычайно верный человек, а Госиздат — бедственное учреждение.

В Ворзеле за 9 дней я написал пьесу. Это значит, что за девять дней жизни в условиях, мною выбранных, я успел больше, чем за полтора года. Этот опыт еще более укрепил меня в убеждении, что я себя знаю лучше, чем кто-либо. На мне лежит большая ответственность. Я должен сделать все, чтобы иметь возможность нести эту ответственность. Прошу тебя, никому не говори о пьесе. Я очухаюсь и недели через две посмотрю, что у меня вышло. Во всяком случае, счастливый этот казус поправит материальные наши дела, думаю, что к концу сентября это улучшение примет осязательные формы.

Голова моя очень устала. Девять дней я худо спал и свету божьего не видел. Сегодня поеду по Днепру, пошатаюсь по селам дня три, вернусь — и буду снова работать. Я написал Виктору Андреевичу Щекину, просил сообщить — находятся ли еще лошади на летнем положении, жду от него ответа, м<ожет> б<ыть>, съезжу на некоторое время в Хреновое. Пора мне приниматься за дела.

Напишу Примакову, нажму на него изо всех сил, он превосходный человек, что-нибудь да сделает.

Пиши мне теперь в Киев, до востребования, п. ч. если получится письмо от Щекина, то я, не заезжая в совхоз, поеду прямо в Хреновое.

Последние твои письма веселее предыдущих. Поэтому и я воспрянул духом. Обвинять меня во всех бедствиях, сыплющихся на нас, — ужасная несправедливость. Когда-нибудь ты это поймешь.

Очень рад, что мальчик не обращает особенного внимания на свою мудрую мать и живет, как может. Насчет улыбки его ты очень наивно заблуждаешься — это усмешка презренья играет на его устах. Хорошо, что Зинаида поправилась. Кланяюсь ей и Тане низко. С дороги напишу еще, а сейчас голова трещит, никак не могу собрать мыслей да и на пристань надо, пароход отходит через полтора часа.

Твой *И. Б.*

Ворзель, 26/VIII–26

119. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

8 сентября 1926 г., Хреновая

Милая Царскосельская узница.

Получил твое письмо. Очень был рад. Новостей, как тебе известно, в Хреновом не бывает. Я работаю до обеда, потом ухожу на завод или наоборот. Обедаю у прошлогодней нашей поварихи, хожу к ней на дом. Условия для работы здесь превосходные, тем более превосходные, что здесь мозгам можно дать роздых в любую минуту, а мозги мои теперь не

в лучшей форме. Сообщение твое о деньгах привело меня в панику. Завтра разошлю во все концы письма — буду просить, чтобы деньги выслали тебе по телеграфу 15 сентября. Одна надежда на Гилевича. Я знаю, он сделает все, что может. Во всяком случае, приготовь себе возможность извернуться в течение нескольких дней. Неужели ты никак не сможешь этого сделать?

Я думаю, что после моего письма Примаков вспомнит о Зинаиде и ускорит ее хождение по мукам.

Ты ничего не пишешь о «молочных» делах. Все ли уладилось, прикармливаешь ли ты еще коровьим молоком? Мальчик худ, мне кажется, — это пустяки, здоров ли он и так ли смешно купается, как прежде?

Пьесу буду переписывать перед отъездом в Москву. Я ею как-то не интересуюсь и тебе не рекомендую. У меня сложилось дурное отношение к моим «произведениям». Раньше они мне нравились по крайней мере во время написания, а теперь и этого нет. Я пишу, сомневаясь и зевая. Увидим, что из этого получится.

Для того, чтобы не беспокоить Виктора Андреевича, можешь писать прямо — Хреновая, Воронежской губ., Конно-заводская Слобода, дом Толбинских.

Пожалуйста, пиши мне. Здесь, в глуши, письмо заменяет людей, книги и еще много вещей, о которых мне позволительно только мечтать. Я скоро напишу еще. Будь благополучна, дружок мой, со всеми твоими чадами.

И. Б.

Хр. 8/IX–26

120. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

17 сентября 1926 г., Хреновая

Живу по-прежнему. Сегодня пошел дождь. Будет он идти, вероятно, не один день. Работаю в меру сил. «Мера»-то не больно велика. Мозги мои требуют очень частых передышек, не по сезону. Получил от Примакова письмо. Он сообщает, что Зинаида устроена, выражает сожаление, что не знаком с ней, при личном свиданье можно бы лучше договориться. Почему она не пошла к нему? Он человек очень приветливый. Правда ли, что есть служба?

Очень рад, что тебе удалось занять 50 р. Я всегда негодую на тебя за твои денежные тревоги. Это из рук вон. Худо, когда денег нет и не будет, а когда знаешь, что придут не сегодня — завтра, тогда легче обернуться и в панику никак впадать не следует. Гилевича я бомбардирую, просил выслать по телеграфу. Будем надеяться — сделает.

Ссориться с Л<идией> Ник<олаевной> — не стоит, глупо. Со своей точки зрения, а может быть, со всех точек зрения, она права. Жить в Царском теперь худо. Что же делать, если денег нет? Заработаем — тогда переедем. Плохо то, что я зарабатываю с такой отвратительной, бессмысленной, изнуряющей медленностью. Голова у тебя болит от глупости, тут и гадать нечего. Пора поумнеть, мать моя. Очень радуюсь хорошим вестям о сыне. У меня есть мудрая привычка — не ждать ничего хорошего от ближних, поэтому всякую хорошую новость я принимаю как счастливый дар судьбы. К сожалению, мудрость моя единственной этой привычкой исчерпывается.

Последних твоих писем, посланных в Киев, не получил, не успел. Жаль. Напишу в Киевский почтамт, м<ожет> б<ыть>, мне их пришлют.

Вот и все дела. До свиданья, милый друг мой. Пьесу начну переписывать через несколько дней. Никому я ее еще не читал. Мальчика, правда, не худо бы сфотографировать. Если сможешь урвать рубль-два, сделай это и пришли мне карточку. Жить мне станет веселей. Кланяюсь всем вам низко, тысячу раз.

Твой *И. Б.*

Хреновая, 17/IX–26

121. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

25 сентября 1926 г., Хреновая

Письмо твое, в финансовом отношении столь плачевное, получил. Ты знаешь, как обстоят дела. Если земля не поглотила Москву, если Госиздат не объявил себя банкротом, — ты деньги должна была уже получить. Хожу по степям, как тигр, и жду вестей от проклятого, невозмутимого Гилевича. Доверенность он получил 23-го вечером, значит, денег надо ждать с часу на час. Я все сделаю, чтобы эти денежные перебои были последними. В Москву рассчитываю выехать первого, в первую же неделю октября вышлю тебе денег дополнительно. Планы мои таковы: в Москве в возможно короткий срок (не хочется мне там сидеть) заработать как можно больше денег и умчаться в Детское, устроить переезд в Петербург, осесть, как полагается приличным людям, а там можно и планы делать. Весь вопрос теперь в том — хлебную

ли пьесу я сочинил? Беда, что к революции пьеса не имеет никакого отношения, как ни верти, она чудовищно дисгармонирует с тем, что теперь в театре делают, и в последней сцене дураки могут усмотреть «апофеоз мещанства». А так как цензура не может не состоять из дураков, то... поживем, увидим... Вообще же к пьесе этой нельзя относиться серьезно. К сожалению, я мало смыслю в драматургии и вышел, кажется, легковесный пустячок. Очень жаль, что мне не с кем посоветоваться.

Не понимаю, что вышло с Зинаидиной службой. Была ли она у Примакова? Обязательно надо сходить. Он ведь писал мне совершенно определенно.

Здесь уже осень, дожди каждый день, и я очень хорошо понимаю, как худо живется вам в Детском. Я даже и письма твои вскрывать боюсь, все деньги проклятые. Но правда, Тамара, мы исправимся.

Лид<ии> Ник<олаевне> я написал.

Очень рад хорошим вестям о нашей «смене». До смерти хочется посмотреть на него. Буду гнать свои дела изо всех сил.

Миленькая, не умирай с голоду, в каких-то делах ты ведь умница, додержись до подкрепления. Я бы не глядя ни на что, выехал в Москву немедленно, но во 1) не на что. Гилевич и мне должен выслать денег на отъезд, и во 2) я все-таки твердо знаю, что все уладится.

Целую тебя крепко.

Твой *И. Б.*

Хрен. 25/IX–26

122. Ф. А. БАБЕЛЬ

<29 сентября 1926 г., Хреновая>

Милая мама, я очень хотел бы, чтобы ты немного успокоилась и посмотрела на мир не такими печальными глазами. Я теперь живу разумно и, думаю, готовлю для всех нас возможность лучших времен, заботиться обо мне не надо, в важных основных делах я всегда был человеком себе на уме; главный ужасный унаследованный от тебя недостаток — это слабохарактерность моя, которую не знающие меня люди могут принять за дурные поступки, но теперь я вроде как поумнел даже и в этом отношении <...>

И.

123. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

4 октября 1926 г., Хреновая

Пишу все еще из Хреновой. Никак не удается исполнить расписание. Хотел написать здесь (очень уж тихо) несколько рассказов, подготовил их вчерне, но времени не хватит. Я занят незначительной переделкой последнего акта пьесы, окончу и уеду. Не позже 10/X буду в Москве.

Только что получил телеграмму от одесской фабрики Вуфку о том, что постановка «Блуждающих звезд» закончена и режиссер 10/X везет фильму в Харьков, в Правление. Не знаю, обязывает ли меня к чему-нибудь такая телеграмма, все же перед выходом в свет мне надо картину видеть, пишу об этом в Харьков.

Гилевич телеграфировал мне, что перевел тебе 200 р. Немедленно по приезде в Москву я достану еще денег и пошлю тебе.

Ужасную глупость я сделал, написал тебе, что уеду 1-го. Теперь от тебя никаких вестей, и так как я тобою заражен, то «беспокоюсь». О себе могу только сказать, что все мои дела я проделываю с предельной торопливостью (в литературном отношении, чувствую, это очень вредно) для того, чтобы скорее поспеть в Детское. Очень хочу вас видеть, ужасно. До свиданья, милые мои.

И.

Хреновая, 4/X–26

Когда будешь писать мне в Москву, не забывай адресовать так: Москва, 34, говорят, что без номера почт<ового> отд<еления> письма теперь не доставляются.

124. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

11 октября 1926 г., Москва

Милая Татуша. Приехал в Москву только вчера. Ехать пришлось сутки 4 классом — скорый отменен. Тяжелое путешествие. Дела начну завтра. Если они затянутся — чего я не предполагаю, — то я улучу не в счет абонемента один-два дня для того, чтобы вырваться к вам. Завтра постараюсь выслать тебе по телеграфу малую толику — предварительно. Теперь, когда я в Москве, пожалуйста, милая, не беспокойся о деньгах. При всяких обстоятельствах, дурных или хороших, мы наш плачевный прожиточный минимум повысим.

Хочу думать, что простуда твоя — дело скоропреходящее. Вести о мальчике приводят меня в телячий восторг. Я пишу на нашей злосчастной почте «34», которую через две минуты закрывают. Поэтому завтра я продолжу это письмо. А пока, милая, до свиданья, действительно, до свиданья, до скорого.

Твой *И.*

М. 11/X–26

125. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

18 октября 1926 г., Москва

Пишу впопыхах, Татушенька, п. ч. хочу, чтобы письмо ушло сегодня. В последние дни у меня случилась неприятность. Я как-то чувствовал себя не совсем здоровым и поручил моему «кузену» Володе (ты его, кажется, знаешь) зайти в Госиздат за 300 рубл. Он получил эти деньги и скрылся. Конечно, это удар; ты знаешь, как нам теперь нужны деньги. Из-за этой грустной истории я не смог выехать к тебе вчера, как хотел. Следующие деньги получу только 21-го. Сегодня постараюсь занять 50 р. и выслать их тебе по телеграфу.

Пьеса моя произвела на слушателей (Марков, Воронский и несколько актеров Художеств<енного> театра) благоприятное впечатление, но мы условились, что я сделаю кое-какие дополнения. Я чувствую, что третья сцена у меня не доработана, и не хочу сдавать пьесу в таком виде. Вообще говоря, если принять во внимание быстроту,

с какой я написал ее, то ее нынешнее состояние надо признать удовлетворительным. Искания мои «художественной законченности» плохи только в том отношении, что получение денег откладывается до того времени, когда я сочту, что пьеса выправлена, а счесть это я могу черт меня знает когда.

Матери я не звонил, п. ч. лишенный трехсот рублей — на что я годен? У меня не было ни копейки. Подождем 21-го.

Во всяком случае на этой *неделе* я приеду в Детское. До скорого свидания. Будь счастлива ты и потомство твое!!!

Твой *И. Б.*

М. 18/X–26

126. Ф. А. БАБЕЛЬ

<5 ноября 1926 г., Москва>

Милая мама. Я теперь много работаю. Кроме того, у меня много душевных невзгод. Ты знаешь, главное условие успешности моей работы — это покой. Люди и обстоятельства лишают меня покоя. Во многом я сам виноват, многое происходит помимо моей воли. Теперь ты присоединилась к людям, лишающим меня покоя. Я думаю, что это нехорошо и безжалостно по отношению ко мне. Если мне не будут мешать, если меня не будут мучить — то мои, а следовательно, и ваши беды скоро кончатся. Я ни у кого не прошу помощи, но горько думать, что самые близкие люди губят меня, сами не зная о том <...>

И.

127. П. И. ЧАГИНУ

20 декабря 1926 г., Москва

Дорогой Петр Иванович!

Я не забыл о моих обязательствах, ни на один день не забывал о них. 26-й год сложился для меня несчастливо, я ничего не работал, и вины моей в этом не было — много раз я брался за перо, но тяжкие обстоятельства отрывали меня от работы.

Я собираюсь зажить теперь по-иному и первый написанный мной рассказ будет послан в «Кр[асную] газ[ету]».

Не сердитесь на меня.

И. Бабель

М. 20/XII–26

128. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

5 января 1927 г., Киев

Телеграмму получил. Надеюсь, что ты исполнила все поручения. Главу для «Огонька» написал. Завтра пошлю тебе ее, и доверенность для получения денег, и письмо Кольцову.

«Блуждающие звезды» еще не видел, говорят, — гадость ужасная, но сборы — аншлаг за аншлагом. К «Бене Крику» (картина очень плохая) пишу надписи. От этой кинематографической дряни настроение скверное. Что у вас? Напиши о здоровье и всем прочем.

Письма для Зинаиды настрочу завтра — теперь вечер, я очень устал. Была ли она у Ольшевца?

Поклон всем чадам моим и домочадцам.

Твой *И.*

К. 5/I–27

Получила ли ты нужные бумаги в Цекубу?

129. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

8 января 1927 г., Киев

Письмо твое от 4/I получил. То, что ты немедленно не передала открытки Гилевичу, — неестественно глупо. Пришлось это сделать мне — много дней потеряно, и перевод, вероятно, не будет отправлен. История эта оттягивается минимум на два месяца. Необъяснимо глупо.

Прилагаю доверенность на получение гонорара из «Огонька». Кольцов в разговоре со мной сказал как-то, что мне заплатят 200 р. за главу, я решил требовать 250 р. Остается, значит, 150 р. Если он *очень* будет упорствовать — возьми 100, ты себя этим накажешь. О службе я ему писал, следовательно, ты можешь с ним об этом говорить. Домашний его телефон 2-74-61, телефон его в «Огоньке» можно узнать, позвонив 2-96-12.

Была ли Зинаида у Ольшевца? Была ли ты в аукцион<ном> зале? Повторяю, если они дадут за ковер меньше 100–120 р. чистых, то его надо забрать.

От предположенных тобою расходов временно воздержись. История с форточкой — ничего не понимаю, у них открывается целое окно. Сколько надо заплатить за телефон?

Дальше: Роза Львовна обещала часть мебели временно оставить, не оставит ли она свою тахту?

Громовой твой план наполнил меня ужасом. Во-первых, 14 я не смогу приехать, постараюсь приехать 18–20. Затем, в последний момент, я считаю нужным объявить Гилевичу о моих планах, скажу, что меня специально вызвали и проч. Далее, было ведь условие, что для домоуправления Роза Львовна не выезжает совершенно, у нас будет время исподволь вступить во владение, пока будет прописан Борис Миронович. Напиши мне обо всем спешно.

О каких намеках на работу ты говоришь?

Очень рад, что мальчику полегчало. Надо думать, что все наделало это проклятое пахтанье!

Желаю всем «успеха в делах ваших».

К. 8/I–27 *И. Б.*

130. А. Г. СЛОНИМ

9 января 1927 г., Киев

Дорогие граждане. Живу в Киеве. Здесь идут картины, сделанные по моим сценариям — сделанные бездарно, пошло, ужасно. Я пытаюсь работать, но толку пока от этих попыток мало. Когда буду в Москве — не знаю. Возможно, что скоро. К сожалению, мне не придется жить у вас, а хорошо бы. Мое жалкое присутствие нужно в другом месте. Как только приеду — заявлюсь к вам. Низко кланяюсь моему сожителю — Илюше Менделевичу.

Киев, 9/I–27 Ваш *И. Б.*

131. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

11 января 1927 г., Киев

Письмо твое от 8–9/I получил. Грустно. У меня было не лучше. «Муза», отлетевшая от меня в злополучные царскосельские дни, не хочет возвращаться. Самое ужасное — мне не хочется писать. Этого я боялся больше всего, и это наступило.

20-го я приеду обязательно. Надо настоять на том, чтобы Р<оза> Л<ьвовна> 16-го выехала якобы на несколько дней и уступила тебе комнату временно, а когда я приеду, мы постараемся все устроить. Она не должна вывезти всю мебель.

Была ли ты в аукцион<ном> зале? Получила ли деньги в «Огоньке»? Всем, спрашивающим меня, знакомым и издательствам, говори, что я уехал в неизвестном направлении на неизвестный срок.

И.

К. 11/I–27

Чем провинился перед тобой коварный Гилевич?

132. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

13 января 1927 г., Киев

Письмо твое от 10/I получил.

Приеду в Москву 22-го утром. За речи «прачки Галины» ответственности нести не желаю. Тетке написал, что всякие отношения с ней считаю оконченными. Воспитывать в ней любовь к моему ребенку считаю излишним. Не знаю, поче-

му тебя интересует этот вопрос. Гилевичу я как-то сказал, что хочу поехать за границу. Никакого отношения к добавочной комнате это мое желание не имеет. Ты отлично могла подать в домоуправление заявление без Гилевича. Все его заявления и советы в этом деле — вздор. Это отлично можно было понять и без меня. Заявление в домоуправление посылаю. Ссориться с Гилевичем до моего приезда ни в каком случае не следует.

Обычное действие твои письма неукоснительно производят. Работать я не могу, постараюсь в остающиеся мне семь дней хоть что-нибудь «заработать».

И.

К. 13/I–27

133. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

6 февраля 1927 г., Москва

Все отношения между нами, кроме деловых, я считаю прекращенными. Под деловыми отношениями я понимаю вопрос о сохранении квартиры, о деньгах, службе и проч. Относительно этих дел я готов в любое время поговорить с тобой или с лицом, тобою уполномоченным. Позвони мне — 22-62-70 — о дне и часе. Я думаю, что не следует сообщать посторонним о нашем разрыве. Внешне все должно остаться неизменным. Это поможет нам безболезненнее устроить все дела.

И. Б.

М. 6/II–27

134. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

1 марта 1927 г., Киев

Мой адрес — Киев, гостин<ица> «Континенталь».

Поездка была тяжелой. Тяжкие московские «впечатления» и ожидание киевских привели к тому, что в вагоне у меня разразилась жесточайшая мигрень с рвотой, невыносимой головной болью, слабостью и проч. Невеселая была поездка. Теперь оправился. Старик очень плох.

Осмотрюсь — напишу подробнее.

И. Б.

К. 1/III–27

135. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

5 марта 1927 г., Киев

Милая Тамара. Телеграмму твою и красноречивое письмо получил. Чувства наши изменчивы, а дела пребывают вовек. Поговорим поэтому о делах. На Всеволода надо нажимать, ему ж это надоест, и он напишет. О судьбе сценария и о твоем участии в постановке будем говорить тогда, когда получим сценарий. Я совершенно согласен с тобой, что сдавать его должен я, но, когда я смогу приехать, — неизвестно. Бедный старик буквально борется со смертью. Положение его совершенно неопределенное. Получила ли ты деньги в Госиздате? Если получила, то на сколько времени тебе этих денег хватит? Прислали ли извещение о плате за квартиру? Хлопочет ли Зинаида о вступлении в Союз? Это очень важ-

ное дело. Им надо заниматься неустанно. Достигла ли она каких-нибудь успехов в этом отношении? Звонила ли ты в Госиздат Бывалову о том, чтобы ускорили печатание третьего издания рассказов? Надо узнать, в каком положении это дело, и время от времени позванивать.

Анна Григорьевна писала мне о том, что она деньги в «Экон<омическую> жизнь» внесла. Следовательно, судебный исполнитель д<олжен> б<ыл> оставить нас в покое. Напиши мне об этом. Действует ли радио? Сереже надо сообщить о том, что я скоропостижно уехал; не должны ли мы ему денег?

Адрес мой — гостиница «Континенталь», но лучше все-таки писать до востребования, п. ч. за номер я плачу по 5 рубл. в сутки (надеюсь, что Вуфку возьмет этот расход на себя), но все же надо подыскать более дешевое помещение.

Очень рад, что мальчик чувствует себя лучше. Кланяюсь всем домочадцам.

Твой *И.*

Киев, 5/III–27

136. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

11 марта 1927 г., Киев

Милая Тамара. Старик умер 7-го. 8 я похоронил его. На моих руках безумная старуха и остатки громадного некогда состояния. По нынешним временам остатки эти представляют большую ценность. Бросить этого я не могу, п. ч. все это будет без меня разворовано в 2 дня. Я написал детям старика, находящимся за границей, и потребовал у них инструкций.

Надеюсь, что кто-нибудь из них приедет. Во всяком случае, на ближайшее время база моя — Киев. В Москву я буду наезжать для устройства дел, для сдачи рукописей, если таковые у меня будут. Надо думать, что сторожем при наследстве мне придется быть месяц, а может быть, два. Это было бы терпимо, если бы мне удалось поработать. Буду стараться.

Вчера отправил тебе 100 рубл. Напиши о денежных делах. Пиши до востребования. Из «Континенталя» я сегодня выезжаю, гостиница обходится мне очень дорого. Мне нужно *спешно* выяснить — есть ли какая-нибудь надежда на Всеволода или никакой, тогда я сам напишу. Это важное и срочное дело.

Получила ли ты справку из Домоуправления о квартирной плате за февраль?

Что слышно у Зинаиды?

Всем спрашивающим обо мне отвечай, что у меня всяческие катастрофы.

Подает ли признаки жизни фининспектор, подала ли ты декларацию?

Какое было у тебя романическое приключение?

О чем ты беседовала с Воронской? Эйзенштейну, Воронскому, Полонскому и проч. моим кредиторам напишу.

Спрашивала ли ты, когда выйдет третье издание рассказов?

Надеюсь, что все немногочисленные твои дела ты исполнишь с толком.

Очень рад за мальчика, дай ему бог и Карл Маркс. Поклон чадам и домочадцам.

Твой *И.*

Киев, 11/III–27

137. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

12 марта 1927 г., Киев

Милая Тамара. Два дня не был на почте и не знаю, как-то вы поживаете в Москве. Подробное письмо до завтра, а сегодня вот о чем: если на Всеволода нет никакой надежды, а это крушение всех планов, то пришли мне немедленно все мои заметки для сценария. Кроме того, надо позвонить Бляхину об этой истории. Спроси у Всеволода позволения свалить вину за опоздание на него. Он очень меня подвел. Я должен деньги Госкино, и выходит, что я увиливаю от уплаты. Бляхину скажи, что я сам напишу и очень скоро пришлю. 15-го начинается суд над Капчинским и др. — будет очень худо, если на суде зайдет речь о неоправданном моем авансе. Бляхину можно позвонить по телефону (3-52-76), если ты найдешь нужным, зайди в Госкино.

До свиданья, дружок.

И.

Киев, 12/III–27

138. А. Г. СЛОНИМ

12 марта 1927 г., Киев

Милая Анна Григорьевна. Спасибо за услугу. Это было очень важно. Старик умер 7-го. Похоронил я его в невыразимо грустный, туманный, грязный день. На моих руках больная, совсем больная старуха и остатки большого некогда состояния. Остатки эти по нынешним временам представляют

кое-какую ценность. Я обязан их охранять до приезда Евгении Борисовны или до ее распоряжения. Выхода здесь два — приезд Е. Б. или отъезд мой и старухи за границу, откуда сын перевезет ее в Америку. Все это сложно. На ближайшее время база моя поэтому Киев. В Москву буду наезжать по делам на два-три дня. В следующем письме я смогу, может быть, определить срок ближайшего моего приезда. Объяснять Вам нечего — живу грустно, а надеяться «на лучшее будущее» считаю ниже своего достоинства. Настоящее должно быть хорошим, а будущее — это утешение для дурачков и несчастненьких.

Очень буду рад, если Лев Ильич напишет мне. Для него уже, по моим расчетам, должно наступить время, когда «кошмарное прошлое» начинает облачаться в мантию романтики. Очень хорошо иметь романтические воспоминания, в особенности если эти воспоминания оплачиваются — «с сохранением содержания». Относительно Певзнера не беспокойтесь. Хватит с моего доктора тех книг, что Вы прислали. Вот и все дела. До свиданья. Арестантику и Илюше крепко жму руку.

Любящий вас *И. Бабель*

Киев, 12/III–27

139. В. П. ПОЛОНСКОМУ

13 марта 1927 г., Киев

Дорогой Вячеслав Павлович.

Вот уже несколько лет ветер семейных катастроф швыряет меня по всей России. Недели две с половиной т[ому]

н[азад] меня вызвали телеграммой в Киев. Я похоронил здесь близкого мне человека и прожил грустные дни. Работа моя разладилась, конечно, теперь я снова пытаюсь войти в рабочую колею. Мне очень хочется, душевно хочется послать Вам как можно скорее материал, для того чтобы услышать о нем Ваше мнение. Вы один из немногих истинных наших критиков, один из немногих людей, для которого хочется работать самоотверженно, изо всех сил.

Материал постараюсь подготовить в ближайшее время и привезу его Вам в Москву.

Любящий Вас *И. Бабель*

Киев, 13/III–27

140. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

14 марта 1927 г., Киев

Милая Тамара. Из «Континенталя» мне прислали письма твои от 8 и 9/III. Пожалуйста, пиши мне до востребования. Я переехал на частную квартиру, в освободившуюся комнату сотрудника Вуфку, уехавшего в командировку на Одесскую фабрику. С нетерпением жду материалов для сценария. Возьми также у Всеволода все, что у него есть, все заметки. Прислать мне это нужно спешно.

Сколько должно стоить пальто? Денег у меня сейчас нет. На похороны и проч. я истратил 500 рубл. Эти деньги будут мне возвращены, когда, не знаю. Постараюсь в ближайшие дни достать денег.

Почему это у Зинаиды ничего не выходит с Союзом? Что за напасть? Бесконечная канитель... Хоть бы ты ей помогла... Ты как будто поделовитей... А то выгонят ее со службы — где мы ей достанем другую?..

Давно ли уехала Лид<ия> Ник<олаевна> и куда?

Предпринимаешь ли ты какие-нибудь конкретные шаги для своего «устройства» или решила ждать моего сценария? Я постараюсь его лично привезти в Москву: когда это будет, не знаю... Сообщи о денежных делах.

Живу я плохо.

Поклон всем обитателям нашей жилплощади.

И. Б.

Киев, 14/III–27

141. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

17 марта 1927 г., Киев

Постараюсь ответить на ливень твоих укоров, вопросов, заклинаний. Внимание твое по-прежнему пристально обращено на меня. Обстоятельство это тяжко меня угнетает.

Фактически обстоятельства для работы у меня сейчас благоприятные — сытость, отдельная тихая комната. Но где взять мысли, отлетевшие от меня в Детском Селе? Кто мне их вернет? Дух мой грустен. Его надо лечить. Не тебя ли взять в доктора? Нет. Рецепт мне известен. Это — одиночество, свобода, бедность. Я медленно иду к этой цели. Ты возмущаешься этой медленностью. Тебе ли возмущаться, тебе — требующей от меня слов, которые я не люблю произносить, писем,

которые я не люблю писать, поступков, которые мне противно совершать? Я тебе друг, Тамара, может быть, единственный друг. Дружба моя может выразиться в простейшей помощи и в невмешательстве. Невмешательство в мою жизнь — вот идеал, о котором я мечтаю для себя. Больше этого жалкого идеала я никому ничего не могу дать.

О твоей работе. Ты знаешь все мои возможности. Скажи ясно и точно, что я должен сделать. К сожалению, у меня нет сноровки догадываться. Это всегдашняя моя беда. Уехать отсюда я сейчас не могу. Я затеял несколько публичных вечеров — здесь и в Одессе, м<ожет> б<ыть>, в Харькове. Буду читать пьесу. Кое-как я ее отделал. Вышло хуже, чем раньше, очень вымучено. Условия и распорядок этих вечеров я сообщу тебе. Отказываться от них нельзя — очень нужны деньги. Плохо, что я не получил от тебя моих заметок для сценария. Я приготовился его написать, ждать Всеволода мне некогда. В случае, если он еще не написал или не приступил к работе, пришли мне заметки спешной почтой. Это чрезвычайно важно. Мне нужно сбросить эту обузу с своих плеч. Больше недели т<ому> н<азад>— я послал тебе почтовым переводом сто рублей. Как это ты их не получила? Постараюсь послать тебе еще денег в ближайшие дни.

Если Всеволод сценария не написал, то я по моим заметкам изготовлю его скоро и по окончании вечеров моих на Украине привезу пьесу и сценарий в Москву. Зачем ты сообщаешь мне вздор об Анне Павловне, которая «всполошилась» и прочее?

Очень жалею, что не удалось мне повидать Виктора Андреевича. Я его люблю. Кланяйся ему, пожалуйста.

После двух-трех человеческих писем от тебя совершенно закономерно посыпались истерические вопли. Принимая во внимание опыт прошлого, ничего другого и ждать было нельзя. Но от этого не легче. С Евгенией Борисовной отношений у меня никаких. Я жду от нее распоряжений относительно того, как поступить со старухой, с имуществом и проч. Только это — ожидание письма — и удерживает меня в Киеве, да вот попутно хочу заработать.

Я тебе друг, Тамара, но ты перестань быть моим врагом, Тамара.

И. Б.

К. 17/III –27

142. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

17 марта 1927 г., Киев

Не успел я отправить тебе ругательное письмо, как мне принесли из «Континенталя» очередную «анкету». Преимущество скандала, устраиваемого тобою мне по почте, заключается в том, что я нахожусь вне сферы физического твоего досягновения.

И на том спасибо.

1) Знает ли мать о существовании Миши? Знает.

2) Как она к нему относится? Не знаю. Я категорически запретил ей вмешиваться в мою личную жизнь и выражать по поводу этой личной моей жизни одобрение или порицание, запретил под угрозой, что не буду вскрывать ее писем и никогда не напишу ей. Угроза подействовала.

3) Чем я объяснил необходимость жизни у Слонимов? Тем, что в соседней комнате кричит ребенок, сон у меня плохой, не выспавшись, я не могу работать — и прочее, и прочее, и прочее, — песня тебе известная.

4) Что я говорил о тебе Слонимам? Говорил, что ты превосходная женщина и что между нами существуют отношения мужа и жены.

5) Где находится сейчас Евгения Борисовна? В Париже.

6) Какие у меня с ней отношения? Отношения дружбы и связанность материальная.

7) Что известно Е. Б. о тебе и о ребенке? Ей известно, что между мною и ею отношения мужа и жены прекращены. Фамилии твоей я ей не сообщал, о рождении ребенка тоже не сообщал. Думаю, что обстоятельства эти превосходно ей известны.

Ответив на все вопросы, я считаю нужным заявить, что корреспонденция твоя лишает меня остатков спокойствия, столь необходимого мне. Беспрерывное несдержанное нервическое вторжение в мои побуждения, планы, чувства, желания очень для меня тягостно, почти непереносимо.

И. Б.

Киев, 17/III–27

143. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

19 марта 1927 г., Киев

Сегодня послал тебе из скудных моих достатков 50 р. по телеграфу. На будущей неделе пришлю тебе более солидное

подкрепление. Устроить работу в Вуфку можно было бы, хотя здесь не с кем и не над чем работать. Но, чтобы привести в исполнение этот план, нужно переехать на постоянное жительство в Одессу, Киев или Ялту. Можешь ли ты это сделать? Кажется, нет. С ножом у горла ты требуешь от меня работы. Что я могу сделать, сидя здесь? А сидеть здесь я должен, п. ч. меня связывают дела, п. ч. здесь кое-как я работаю, п. ч. я подписал договор на устройство вечеров.

За что ты внесла в домоуправление 30 р. и какие 35 р. долгу? Сообщи мне об этом точно и немедленно. Я думаю, что постоянные твои упоминания о Евг<ении> Б<орисовне> бестактны. Она переживает черные дни. Она без ума любила отца, и больше ей некого любить. Ты спрашиваешь, будет ли когда-нибудь сносная жизнь. Если ты не изменишь своего «характера», если ты по-прежнему неотступно будешь интересоваться мной и каждым моим шагом, если сносной жизнью ты считаешь обычную семейную жизнь со мной — то не будет.

Кланяйся моему больному маленькому другу. Он хороший человек. Я его люблю. Он меня не мучает.

И.

Киев. 19/III–27

Что делать со Всеволодом? История эта по известным тебе причинам огорчает и тревожит меня. Восстановить в памяти все мои записи трудно, я бы немедленно засел за работу, если бы получил окончательный отказ. Сходи к Ивановым на дом, выясни раз навсегда — сколько же может длиться такое жалкое мое ожидание.

144. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

24 марта 1927 г., Киев

Послал тебе вчера по телеграфу 80 р. Рассчитываю в субботу получить деньги, тогда пошлю больше. Ты не подтвердила получение 100 и 50 р., посланных раньше. Как обстоит дело с весенней твоей экипировкой? Я спрашивал насчет потребной суммы, ты не ответила.

Вечер мой состоится завтра, в пятницу, в Одессе чтения предположены 3/III и 3/IV, вероятно, поеду еще и в Харьков. Вопрос с сценарием сохраняет свою остроту. Суд над кинемат<ографическими> деятелями начнется 31/III. Мне бы не хотелось, чтобы обо мне упоминали как о злостном должнике. Поэтому по-прежнему надо изо всех сил наседать на Всеволода, пусть показывает сценарий в Госкино, где хочет, только бы сделал. Не стоит мне писать, если он уже сделал эту работу. Очень жду от тебя сообщений по этому поводу и сценария. Если Всеволод показал сценарий в Совкино, то пусть он подробно расскажет, как отнеслись к нашей работе.

Мальчика лечить нужно как можно лучше, тут и толковать не об чем. Помочь тебе приискать работу я могу только в Москве. Считаешь ли ты, что я могу что-нибудь сделать отсюда и что я могу сделать? Я считаю, что пора мне научиться помогать ближним моим, не губя самого себя. Не знаю, могу ли я еще спасти себя. Я пытаюсь работать и вижу, что я так ослабел, снизился, сделался жалок и слаб, что спастись трудно. И тут ты, не разбирая ни времени, ни места, ни обстановки, мучаешь себя и меня безостановочно, мучительно,

бессмысленно. Что делать? Сдаваться — т. е. погубить себя и тебя — или защищаться от тебя— и этим спасти тебя и себя. Я решил защищаться. В день моего отъезда из Москвы я впервые почувствовал утомление от жизни, отвращение к ней, отвращение к человеческому голосу. Это грозное чувство. Я буду защищаться. Пассивной моей борьбе пришел конец. Я погибаю. Иногда мне хочется не канителиться и «швидче опуститься на дно», как в украинском анекдоте. Иногда я думаю, что не имею на это права. Я тебе друг, Тамара. Со мной надо помолчать. Ты не умеешь этого делать.

Ответь мне, пожалуйста, на вопросы, которые я задавал тебе и раньше, — о квартирной плате; как дела Зинаиды; прислали ли извещение о подоходн<ом> налоге.

И.

К. 24/III–27

145. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

26 марта 1927 г., Киев

Пишу на почте. Только что получил сценарий и твои письма от 21 и 23-го. Очень рад. Сценарий прочитаю и обработаю в меру моего разумения. Доволен ли сценарием Всеволод? Что ему сказали в Совкино?

Очень рад вестям о мальчике. Я так не избалован хорошими вестями, что от каждого просто благополучного слова прихожу в телячий восторг. Обязательно надо его снять, попроси от моего имени Николая Николаевича Соколова, живет в нашем доме, квартиру укажут Черниковы. Если с ним

не выйдет, то, я думаю, нетрудно найти фотографа. Обязательно это надо сделать, а то он переменится и лица его не восстановишь.

Вчера читал пьесу. Вечер прошел «с материальным и художественным» успехом. Посылаю тебе рецензию, посылаю потому, что это первые строки о детище, которое я до написания очень любил. Третью сцену выправил, но недостаточно, каждый раз я чего-нибудь подчищаю и думаю, что доведу в конце концов до приличного состояния, а то рецензент прав насчет ржавых мест. Для окончательного суждения очень мне нужен твой совет, когда привезу это сочинение в Москву — тогда поговорим. О каком третьем взносе за топливо ты говоришь и почему 30 руб.? Это чистый вздор. Я давно заплатил уже за пятый или шестой взнос. Расследуй это дело, пожалуйста. 60 коп. за квадр<атный> сажень — это очень по-божески, надо заплатить. Деньги тебе вышлю, о финансовом твоем положении ты ни звука не пишешь, а мне бы надо сообразить в смысле денег. Пошлю тебе толику в ближайшие дни.

Здесь после совершенной весны — лютая зима. Уж на что я старожил, а не запомню. С Митей сущая неразбериха. Неустойчивый элемент. Кланяйся ему от меня, как ему писать, я напишу.

С планами твоими о Вуфку несогласен, да и как можно согласиться на отъезд *семьи* в Одессу или Ялту, всех сразу, с грудным чуть ли дитем? В уме ли ты? Подожди приезда моего в Москву, если сама ничего не сделаешь. Жду из Одессы телеграммы о дне моего выступления там.

Виктору Андреевичу напишу. Получив несколько дней передышки, я начал работать, но грустно, не тот я, все жиже, беднее, слабее. Трудно привыкать к бедности и к среднему существованию.

До свиданья, буйный, мучительный мой друг. Что это с тобой приключилось — болезнь, отчего это, оправляешься ли ты?

Будь весела и равнодушна.

Твой *И. Б.*

Киев, 26/III–27

146. Ф. А. БАБЕЛЬ

<26 марта 1927 г., Киев>

<...> Вчера впервые читал мою новую пьесу. Успех велик, и если бы не моя скромность, я сказал бы, громаден. Каким образом я мог при ужасающих таких обстоятельствах сочинить что-то путное — никак в толк не возьму. Посылаю тебе вырезку из сегодняшней газеты, посылаю потому, что это первые строки о новом моем детище <...>

И.

147. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Киев, вокзал, 30/III–27 *30 марта 1927 г., Киев*

Милая Тамара. Сейчас еду в Одессу, вечера мои там состоятся 1 и 2 апреля, 4-го «выступаю» в Виннице (совсем балериной сделался), 5-го возвращаюсь в Киев. Деньги переведу те-

бе телеграфно из Одессы. Карточку получил, она согревает невеселое мое бытие, только карточка очень плохая, обязательно надо сняться по-настоящему. Из Одессы пошлю тебе отделанный сценарий спешной почтой. На всякий случай телеграфный мой адрес в Одессе — «Лондонская» гостиница.

Твой *И.*

148. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

4/1V–1927 г. *4 апреля 1927 г., Киев*

Здоров. Пишу

149. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

5/IV–1927 г. *5 апреля 1927 г., Киев*

Вернулся пишу высылаю деньги

150. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

6/IV–1927 г. *6 апреля 1927 г., Киев*

Воскресенье переведу дополнительно

151. А. Г. СЛОНИМ

6 апреля 1927 г., Киев

Дорогие мои хозяева. Вчера вечером вернулся из «поездки» по южным городам, читал уважаемые свои сочинения. Поездка прошла с успехом. Будущее мое приблизительно

ясно — старуху отвожу за границу, она будет жить с Евгенией Борисовной, м[ожет] б[ыть], сын заберет ее в Калифорнию. Итак — поездка за границу решена, я хлопочу о паспорте для старухи и в ближайшем будущем приеду в Москву для урегулирования паспортных и прочих моих дел. Расскажу вам все по порядку. «Добился я до ручки», и мне некому рассказывать, кроме вас. Живу так плохо, что это стало даже интересно. Письмо сестры пересылать мне не надо. Очень хочу вас видеть, очень. Мне бы в жизни разворачиваться по линии друзей, а я — о, горе мне — разворачивался по совсем другой линии. Беда с мужиками, лысеющими на тридцатом году жизни.

«Я все писал о браке, о браке, о браке, а мне навстречу шла смерть, смерть, смерть...» (Розанов). Беда не в том, что смерть идет навстречу — подумаешь, велика штука, — а беда в том, что мы стоим на месте или пятимся назад. Вот я и собираюсь сдвинуться с места...

Итак, до скорого свиданья. Льву Ильичу, Родэну — пламенный привет.

Любящий вас *И. Бабель*

Киев, 6/IV–27

152. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

9 апреля 1927 г., Киев

Утром отправил тебе письмо, а днем получилась от тебя телеграмма. О деньгах я помню неустанно, и не надо мне напоминать. С деньгами все образуется. Корректуру «Короля» пришли. Делов там немного, но просмотреть надо.

Приехать в Москву я хочу 24-го, к Пасхе. Очень хочется мне успеть исполнить до этого времени ту чертову гибель работы, которая висит на моей шее. Пожалуйста, дай мне поработать спокойно. «Спокойно» — это звучит иронически в рассуждении нынешнего душевного моего состояния, — мне худо, но может быть еще хуже. Вот этого «хуже» надо избежать во что бы то ни стало.

После отправки тебе денег напишу еще.

Твой *И.*

Киев, 9/IV–27

153. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

9 апреля 1927 г., Киев

Милая Тамара. Предчувствие тебя не обмануло. В Одессе у меня украли 270 рубл. (ночью во время «банкета», когда все перепились), затем я рассчитывал получить деньги в Вуфку, но и здесь вышла отсрочка. Положение в Вуфку напоминает положение Госкино во время арестов, здесь идут интриги, перемещения, приезжал нарком, председатель Хелмно все время в Харькове, о деньгах говорить глупо и бестактно. Из-за этих обстоятельств вышла заминка с деньгами. Завтра, в воскресенье, вышлю тебе по телеграфу сто рублей, не позже 15-го пошлю еще сто рублей. После 15/IV финансовое положение, надеюсь, резко изменится к лучшему и «перебоев» не будет.

В Москву собираюсь приехать на Пасху. Там, в Москве, мы порешим вопрос о дальнейшей моей судьбе. Нынешняя —

невыносима. Вопрос с квартирой (мена с Третьяковым и проч.) предоставляю целиком твоему усмотрению. Помни только, что в течение ближайших двух-трех месяцев производить экстраординарные расходы мы не можем, мы должны ограничиваться «текущими делами». Я написал Шубину и надеюсь, что домоуправление тебя не беспокоит. Судебную повестку получил, как говорится, приму меры.

Сценарий Всеволода написан анекдотически небрежно и безо всякой «установки». Вместо заказанной нам «бодрой комедии» получилась скептическая, местами очень талантливая канитель. Я переделываю ее резко, написал об этом Бляхину. Хлопотать о тебе в Вуфку при нынешнем его настроении не перед кем. Я с нетерпением жду приезда Хелмно, а когда он приедет — я от него не отстану. Где же твои «хваленые устроительные» способности — где они? Неужели ты не можешь проложить в Москве маленькую, ничтожную тропочку? Ответь мне, Тамара, — плач твой о работе разумеет всякую работу или по-прежнему — только кинематографическую? Передай Эйзеншт<ейну> прилагаемую заметку. Я не успел написать статьи о нем, но рекламу делаю ему всемерно и повсеместно. Вести о том, что вы сгниваете заживо, приводят меня в уныние. «Аппетитные дамочки»... Не потеряет ли Зинаида службу из-за многочисленных своих болячек? Вот будет пассаж!.. Мальчика обязательно надо снять да получше, очень прошу тебя. Как поживает Татьяна? Правда ли, что Воронского окончательно сняли? Долго ли пробудет Митя в Москве? Мне хотелось бы повидаться с ним. Осталось ли в силе назначение его в Краснодар?

У нас весна никак не может разродиться, да и в Одессе погода была скверная. Очень уж долго приходится нам жить без солнца.

Получила ли ты эпизодические 50 рубл., отправленные вчера по телеграфу? Завтра напишу еще. Пожалуйста, будьте здоровы и веселы.

Твой *И.*

Киев, 9/IV–27

154. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

13 апреля 1927 г., Киев

Письмо твое от 9/IV и корректуру получил. В корректуре сделал незначительные изменения в порядке рассказов и написал на титульном листе «третье издание». Это необходимо сделать для того, чтобы не вводить публику в заблуждение. Корректуру посылаю одновременно заказной бандеролью.

Недоразумения с деньгами, вероятно, уже выяснились. С 5/IV я послал тебе по телеграфу 75 р., 50 р., 100 р. Деньги эти, надо надеяться, ты получила. Постараюсь в ближайшие дни послать тебе еще 100 р.

Приехать рассчитываю 24/IV, приеду только затем, чтобы повидаться с вами, потом снова вернусь в Киев, п. ч. дела мои здесь далеко не закончены. О приезде моем сообщать не следует, п. ч. мне не до людей теперь, а работать надо так усиленно, что я могу терять только то время, которое я провожу в вагоне. На время пребывания моего в Москве надо бы мне найти комнату для работы. Ты знаешь удручающие мои

литературные, денежные и моральные обстоятельства — очень хорошо, если бы ты могла что-нибудь приискать для меня.

В Вуфку мне сообщили, что Хелмно приезжает завтра. О результате моих переговоров с ним я немедленно напишу тебе. Сценарий я пришлю или привезу в отделанном виде.

Получил от Маркова телеграмму об отсылке моей «части». Дело это двигается у меня с трудом. Узнай, пожалуйста, как обстоят дела с другими «авторами» спектакля. Что с Воронским? Как коллективное ваше здоровье?

Моя мечта все та же — полгода покоя для того, чтобы я мог поработать и пораздумать над жалкой моей долей.

В Москве ли Митя? Едет ли он в Китай? Поклон чадам и домочадцам!

Твой *И.*

Киев, 13/IV–27

155. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

15 апреля 1927 г., Киев

Милая Тамара. Надеюсь, что последние сто рублей помогли тебе на несколько дней преодолеть нужду. Как только добуду денег — сейчас же вышлю тебе по телеграфу. У меня есть убеждение, что Госниипром — учреждение не лучше других, а может, хуже. Я был в Тифлисе и не верю в тифлисские художества. И затем, на кого ты покинешь чад своих и домочадцев в Москве, — не понимаю?! Хелмно приедет в воскресенье. Есть основания предполагать, что в Вуфковской распре он победит. О разговоре с ним я немедленно тебе сообщу.

Я здоров, работаю, результаты скажутся не скоро, м<ожет> б<ыть>, через много месяцев. Что же делать? Работать по методам искусства, а не по методам унижения (которого и без того довольно) — это одно из немногих утешений, оставшихся мне. В материальном смысле от этих «утешений», конечно, не легче.

Очень радуюсь сообщениям твоим о мальчике, хотя и не верю им. Откуда, скажи на милость, привалят к нему этакие роскошные качества? Чудес в природе не бывает, и это справедливо. Не будет он идиотиком и уродцем, — и за это слава господу богу. А уж что сверх того, то будет премия. Тебе-то премия полагается, а мне нет, я дурной человек.

Как я тебе писал, рассчитываю приехать в Москву 24-го. Скоро напишу еще. До свиданья, друг мой.

И.

Киев, 15/IV–27

Поступила ли Зинаида в профсоюз? Учится ли Татьяна? Кто у тебя в прислугах?

156. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

17 апреля 1927 г., Киев

Уважаемая Тамара. Послал тебе сегодня по телеграфу 50 рубл. Извини, что по столовой ложке. Посылаю по мере поступления, а поступление плохое. Оно таким будет долго, впредь до моего воскресения (если таковое состоится). Довольно унижаться, халтурить, изворачиваться. Надеюсь, что до моего приезда я смогу послать тебе еще денег. В отношении

приезда планы пока не изменились. По последним имеющимся у меня сведениям я смогу кое-что сделать для тебя в Совкино. Во всяком случае, какое-нибудь предложение Вуфку я в Москву привезу.

К мальчику я отношусь хорошо, а не худо. В этом ты ошибаешься. Кланяйся ему. Подарков не привезу, — какие отсюда подарки? Купим на месте. Сошла ли сыпь? Что он ест? Орет ли по ночам?

Поступила ли Татьяна в детский сад или на это не хватает денег?

Очень беспокоит меня вопрос о рабочей комнате для меня в Москве. Работать я должен ежедневно, иначе подохнем с голоду.

Будь благополучна и весела. Умным людям свойственно веселье.

Твой *И.*

Киев, 17/IV–27

157. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

22/IV–1927 г. *22 апреля 1927 г., Киев*

Задерживаюсь несколько дней очень огорчен пишу

158. В. П. ПОЛОНСКОМУ

22 июня 1927 г., <Киев>

Дорогой Вячеслав Павлович.

Посылаю пьесу. Если не лень — прочитайте странное это произведение. А послезавтра будем держать совет — что с

ним делать. До решения его судьбы прошу «сочинение сие» держать в сугубом секрете.

Любящий Вас *И. Бабель*

22/VI–27

159. А. Г. СЛОНИМ

7 июля 1927 г., Киев

Милая Анна Григорьевна.

Уезжаем послезавтра. Натерпелся несказанной муки. Бог мне судья! Послал Вам посылку — все мои письма, — тут и печальные lettres d'amour* и несколько писем отца, очень мне дорогих. Сохраните эту шкатулку, прошу Вас. Я не успел сдать ее Вам до отъезда. Я думаю, что эта моя просьба не затруднит Вас. Следующее мое письмо будет из-за границы. До свиданья. Льву Ильичу и Илюше кланяюсь от всего сердца.

Любящий вас *И. Бабель*

К. 7/VII–27

Простите за конверт — первое, что подвернулось под руку.

160. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

20 июля 1927 г., Париж

Уезжая, я утаил, что старуху надо сдать в Париже. Последняя эта ложь была вызвана, как и всегда, жалостью, трусостью, невозможностью для меня наносить удары прямо в лицо.

---

* Любовные письма (*фр.*).

Путешествие было печально. Возня с безумной старухой измучила меня. В Льеже меня встретила мать. Я прошел мимо, не узнав ее, так она постарела, одряхлела, истерзалась. В Париже нас встретила Е<вгения> Б<орисовна>. Она выглядит не лучше моей матери. Надо думать, что я виноват во всех этих бедствиях. Мучительное сознание. Жизнь моя нестерпимо грустна. Пути, Берлина, Парижа я просто не заметил. Мне не до впечатлений. Я болен. Мне надо лечиться.

Е. Б. сняла в Париже на окраине маленький дом. Я буду жить в комнатке, в первом этаже этого дома, и попытаюсь работать. Если мне это не удастся, я порву последние связи с прошлым и уеду в место, намеченное мной. Если между мною и Е. Б. возникнут отношения мужа и жены — я напишу тебе. У тебя нет никаких обязательств по отношению ко мне. Ты вольна в своих действиях. У меня нет намерения вернуться к тебе. Я попытаюсь вести с Е. Б. безрадостную, несчастную нашу, но, м<ожет> б<ыть>, спокойную жизнь. Если не выйдет — я уйду.

Прошу тебя не писать мне. Твои письма, я знаю, добьют меня, а я должен работать, а Мишке, единственному человеку на земле, которого я люблю, единственному человеку, не терзавшему меня непосильной для меня любовью, надо как-нибудь жить. О всех делах — личных или материальных — передавай Слонимам.

Я отослал тебе из Шепетовки сто семьдесят рублей. За границу, оказывается, нельзя везти русских денег.

В Киеве в книжном киоске я видел второе издание моих рассказов (выпуск «Универсальной библиотеки»). Не знаю —

то ли это издание, которое я продавал. Если «Универс<альная> Библ<иотека>» выпустила книжку по собственной инициативе — надо получить деньги.

Прощай, Тамара. Я хочу верить, что у тебя есть силы быть счастливой. Мне кажется, что у меня нет этих сил. Прости меня. Я буду писать тебе, если ты пообещаешь не отвечать на мои письма.

И. Б.

20/VII–27

161. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

3 сентября 1927 г., Париж

Мечта моя об одиночестве близится к осуществлению. С завтрашнего дня в течение трех месяцев я буду один. Скоро я уеду, вероятно, в дальнюю деревню на берегу Средиземного моря. Может быть, я добьюсь там грустного моего спокойствия — единственного, что мне осталось. Один, больной, почему-то разрушивший все, что могло быть мне дорого, я брожу здесь по паркам, смотрю на играющих детей, и вид их раздирает мне сердце. Жаловаться мне не на кого и не на что, кроме как на себя. Очевидно, я этого хотел...

О Слонимах я сболтнул сгоряча. Прости. У меня вот уже больше месяца не переставая болит голова, я не отдавал себе отчета в бессмысленных моих поступках. Напиши мне, как идет работа над картиной, прочна ли твоя служба? Получаешь ли ты деньги в «Новом мире»? Я написал секретарю

журнала, Смирнову, что рассказы пришлю обязательно. Правда, я это сделаю. Несмотря на ужасное мое состояние, я работаю. Что уже там выйдет из этакой работы — трудно сказать, но строки для бухгалтерии будут. Что в театре? Я до сих пор не переделал 3 сцены. Опротивела мне пьеса. Надо бы сократить два-три куплета в песне, да охоты не хватает... Может быть, сделаю. Все переделки пришлю тебе, если ты не откажешься. Да, не запретили злосчастную эту пьесу, как сделали со Всеволодом.

Всеволод уезжает во вторник. Я постараюсь передать ему для вас кое-какие вещи. Я растолкую ему да и тебе напишу, как их можно будет получить.

Почаще присылай мне, если хочешь, карточки Миши. Наконец-то есть на божьем свете существо, которое я люблю. Я очень его люблю. Какая грустная любовь... Она не делает мне чести, п. ч. это мой собственный сын. Я еще не совсем потерял веру в себя и думаю, что я поправлю ужасный нанесенный ему вред... А если не поправлю, тогда жизнь не будет мне в жизнь... Как твое здоровье, Тамара? Больше всего в свете я боюсь услышать худые вести о тебе, хотя, правда, и ничего не сделал для того, чтобы услышать хорошие.

Мой адрес пока: XV-e. Rue de Venillé. Bureau de Postes N° 69. Poste-réstante, Mr. J. Babel. О перемене адреса я тебе сообщу. Если хочешь, дай руку человеку, который мог бы быть счастлив с тобой и не сумел этого сделать.

И. Б.

Париж, 3/IX–27

162. В. П. ПОЛОНСКОМУ

16 сентября 1927 г., <Париж>

Дорогой Вячеслав Павлович.

Направляю к Вам Густава Крклица, сербского поэта, говорят, выдающегося поэта. Дело, по которому он к Вам обратится, чрезвычайно интересное.

Думаю, что Вы не посетуете на меня за то, что я направил его к Вам.

Ваш *И. Бабель*

16/IX–27

163. Б. Б. СОСИНСКОМУ

18 сентября 1927 г., Париж

Уважаемый Бронислав Брониславович!

Воскресная моя поездка окончилась неудачей. По неопытности я проплутал целый час в поисках нужного мне трамвая, попал на Chatelet* в девятом часу. Мне объяснили, что поездка в Clamart** возьмет час, а то и полтора. Неловко было приезжать так поздно — и вот я вышел обманщиком. Очень жалею о том, что не повидался с Вами, и очень прошу извинить меня.

Я захворал. У меня обострение давнишней болезни дыхательных путей. Я сегодня уезжаю на юг. Немедленно по

---

* Шатле (*фр.*).

** Кламар (*фр.*).

возвращении в Париж уведомлю Вас, и надеюсь загладить тогда все мои вины.

Рассказы Ваши прочитал. По-моему, у Вас есть то, что называется литературным дарованием, но мало самостоятельности. И над языком надо работать больше, чем Вы это делали до сих пор. Очень надо следить за тем, чтобы не засорять язык иностранными оборотами, шаблонными, стершимися фразами, безвкусными прилагательными...

Впрочем, я не беру на себя смелости давать советы. По совести говоря, я сам во всем сомневаюсь. Талант это есть, вероятно, соединение неутомимых мозгов, недремлющего сердца и мастерства. Если развивать одно качество в ущерб другому, тогда нарушается божественная гармония искусства и литература выходит плохая, претенциозная.

От всего сердца желаю Вам, Бронислав Брониславович, успеха.

Искренно преданный Вам

И. Бабель

П. 18/IX–27

Книги отошлю.

164. В. П. ПОЛОНСКОМУ

20 сентября 1927 г., Париж

Дорогой Вячеслав Павлович.

Спасибо за письмо. Вы правы. Я маленько потерплю, а потом буду жить на честно заработанные деньги. Вы правы.

Приду к Вам в конце недели. Перед приходом напишу pneumatique*. До скорого свидания.

Любящий Вас
И. Бабель

П. 20/IX–27

165. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

28 сентября 1927 г., Париж

Давно — около месяца тому назад — я отправил тебе письмо. Ответа нет. Если ты не хочешь писать, сообщи мне об этом, мне это надо знать.

И. Б.

28/IX–27

166. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

4 октября 1927 г., Париж

Тамара, получил, наконец, от тебя письмо. Я очень рад и благодарю тебя за то, что ты согласна заняться моими делами. Мне очень понадобится твоя помощь. Выразиться она может вот в чем: когда я начисто отделаю некоторые вещи для печати, я буду присылать их тебе, и распоряжаться ими нужно будет расчетливо для того, чтобы поскорее заткнуть зияющие дыры моих долгов и обязательств. Я об этом напишу

---

* Пневматическая почта (*фр*.).

тебе подробно в свое время. Я надеюсь, что закончу к 1 января книгу, но печатать придется ее по частям.

Я видел здесь Полонского. Он подтвердил наш договор и обещал аккуратно производить выплату. Он должен был приехать в Москву в первых числах октября. Я уверен, что в «Новом мире» тебе заплатят. Я сегодня пишу Полонскому. Очень прошу тебя немедленно сообщить мне о положении дел в «Новом мире». Я думаю, Тамара, что если я буду работать, то мне удастся покончить с ужасным материальным моим наследством, и ты сможешь зажить не так нищенски и ограниченно, как тебе, вероятно, приходится жить.

У меня нет никакой возможности начать выплату долга Центросоюзу до 1 января. Очень хорошо будет, если ты и я сможем до этого времени выколачивать на насущные наши нужды и если мне удастся выполнить некоторые из литературных моих обязательств. Я напишу обо всем этом в Центросоюз, поговори и ты с ними, если тебе не противно, с Госиздатом я тоже надеюсь уладить, упрошу их дать мне последнюю отсрочку. Я прочитал в «Правде» отзыв Маркова о постановке «Смерти Иоанна Грозного». Статья эта убедительно написана, и такое у меня чувство, что она правильно излагает то, что происходило в театре. (Я знаю, ты невысокого мнения о критических способностях Маркова, но не бог весть какие способности нужны, чтобы разобраться в незатейливой стряпне 2 МХАТа.) Плохой театр, тут и толковать нечего. Если тебе придется говорить с Берсеневым, попроси их сократить 3 сцену, в особенности песню. Один чех попросил у меня пьесу для того, чтобы пока-

зать ее в Праге, я сдуру отдал, теперь у меня нет ни одного экземпляра. Он, правда, обещал вернуть через несколько дней.

Правда ли, что картина выходит сносно? Побольше бы пейзажа, солнца, чтобы интрига, шитая белыми грубыми нитками, не выпирала. Впрочем, не мне судить. Хорошо бы тебе не бросать службу. Трудно работать с бессмысленными и маленькими этими людьми из Совкино, но большие люди — где их возьмешь, а во-вторых, чему-нибудь, может, и научишься. Овладела ли ты техникой съемок, изучила ли аппарат?

В Союзе Драмат<ических> Писат<елей> мне обещали выдать еще пятьсот рублей, когда дело дойдет до постановки. Ты не должна упускать из виду этого обстоятельства.

Альтману мой портрет заказал Госиздат. Не знаю, составляет ли этот рисунок собственность Госиздата. Если нет, то тогда мы можем купить. Но стоящий ли этот рисунок? Ведь всего был один сеанс. Позвони Альтману — 2-59-69, он тебе расскажет, как обстоит дело.

Прости, Тамара, что я ничего не послал тебе с Всеволодом. У меня не было ни копейки, вернее, ни одного су, а занять здесь не у кого. Скоро будет оказия, и, я думаю, смогу переслать вам кое-какие вещи.

Пришли мне карточку мальчика. Я очень скучаю без него. Если бы я умел плакать, я бы плакал. Не надо ему говорить, что у него нет отца. Я на чужбине. Тело мое, душа, мозги, — все на чужбине. То, что от тебя не было писем, мучило меня все дни напролет. То, что ты сообщила мне о себе,

утешило мою тревогу. Не знаю, имею ли я право написать это тебе, но мне полегче будет житься теперь.

И.

Париж, 4/X–27

167. А. Г. СЛОНИМ

4 октября 1927 г., Париж

Милые, незабываемые мои друзья. Я не писал потому, что был неустроен — душевно, материально, всячески. Теперь — работаю. Исписал книгу Льва Ильича больше чем на половину, а в октябре совсем, наверно, ее испишу. Посмотрим — принесем ли мы друг другу счастье — я книге и она мне.

О Париже — что же сказать? В хорошие мои минуты я чувствую, как он прекрасен, а в дурные минуты мне стыдно того, что душонка и одышка заслоняют от меня прекрасную, но чужую, трижды чужую жизнь. Пора бы и мне обзавестись родиной. Но во многих отношениях — просветление мозгов здесь бывает разительное и очень часто, увы, penible...*

Жизнь веду простейшую — сочиняю, в кафе больше чем на три франка «насидеть» не могу, денег мало, гулять не на что, пешечком хожу по улицам Парижа и присматриваюсь. Старыми знакомыми пренебрегаю, новых не ищу. Спать ложусь в одиннадцатом часу, и то поздно выходит, на нашей улице в десять часов вечера нельзя найти ни одного освещенного

* Мучительное (*фр.*).

окна. Заманчивого, по-моему, в такой жизни мало, только что полезно. По логике вещей — надо искупать и надо терпеть. Но хорошо терпеть казаку, который рассчитывает стать атаманом, но каково терпеть казаку, который атаманом стать не рассчитывает? Так я вот — не рассчитываю...

Что происходит в «нашей» квартире на Варварке и в окрестностях ее? Поехал ли Лев Ильич в Грозный, наливается ли Илюша умом и познаниями? Пусть торопится! Годов после двадцати пяти глупеть надо! Курит ли Лев Ильич? А Вы, Анна Григорьевна, член ли Вы уже коллегии защитников? Прошу Вас, очень прошу Вас, каждый раз, когда будете есть картофельный салат, вспоминайте обо мне. Кровати передайте, что спать-то я, конечно, сплю, но спанье это шаблонное, день да ночь — сутки прочь, упоительного, глубокого, спасительного сна, которым дарила меня добрая эта кровать на Варварке, нету и в помине...

Ну, я все о себе да о себе... Хватит. Не забывайте. Илюше кланяюсь от всего сердца.

Ваш, любящий вас
И. Бабель

П. 4/X–27

168. В. П. ПОЛОНСКОМУ

5 октября 1927 г., Париж

Дорогой Вячеслав Павлович.

Денег из «Нового мира» Т. В. Кашириной не выдают. Если Вы считаете, что несоблюдение мною обязательства о сроках

расторгает наш договор, сообщите мне об этом, я перестрою тогда свои планы. Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света божьего не вижу (а в свете этом Париж не Кременчуг), думая, что фланги мои защищены, и вдруг... Впрочем, обо всем этом я довольно бубнил Вам в Париже. Все свои обязательства по отношению к «Новому миру» торжественно подтверждаю, да и опоздание будет не бог весть какое страшное...

С нетерпением жду очерков Ваших о Западе.

Бакунина Вы мне так-таки и не прислали. Членов обещал выдать эту книгу из полпредства.

Крепко жму руку.

Ваш *И. Бабель*

5/X–27

Bureau de Postes N 69, Poste restante, Paris XV.

169. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

6 октября 1927 г., Париж

Тамара. Авторы наши в отношении к цензуре перешли всякие границы робости и послушания. Я не собираюсь принять к сведению или исполнению ни одно из их замечаний. Все их «исправления» бессмысленны, продиктованы отвратительным вкусом и политически не нужны и смехотворны. С болванами этими не стоило бы и разговаривать. Я не принадлежу к числу тех, кто плачет над запрещенными своими вещами или злобится. Но «тога гордого безразличия» — это, конечно, пышная тога, но деньги — деньгами. Поэтому надо бороться за со-

хранение моих фраз. В Главрепеткоме есть у меня приятель Ричард Тикель (Арбат, 35, кв. 32, т. 2-69-31, сл. тел. 1-51-11). Если хочешь, поговори с ним, он когда-то был разумным человеком. Можно обратиться через Галину Серебрякову (5 дом Советов, ул. Грановского, 3, кв. 70, т. т. 5-91-45 и 3-49-24) к Сокольникову, показать ему пьесу, попросить «оказать влияние». Надо, чтобы Сокольников прочитал пьесу. Посоветуйся с Полонским или Воронским. Я думаю, что борьбу надо вести, ища поддержки у «сильных мира сего». Уступать нельзя. Вероятно, и Чехов может что-нибудь сделать. Сокольниковым я со своей стороны напишу. Если хлопоты не дадут результата, тогда лучше пьесу снять. Я пишу теперь рассказы. Что-нибудь из них да напечатают. Это даст деньги. Как-нибудь проживем. Вчера отправил тебе письмо. Скоро напишу еще. Очень прошу тебя, сообщай мне обо всем. Жду фотографий.

И.

П. 6/X–27

170. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

16 октября 1927 г., Париж

Тамара. Вчера получил письмо твое и Гриппича. Сегодня отправил Гриппичу все нужные ему заявления. Знаешь ли ты что-нибудь о судьбе пьесы в Петербурге? Благополучнее ли она прошла там цензуру, чем в Москве? В Москве ни на какие уступки идти нельзя. Пусть лучше до всеобщего сведения дойдет, что пьеса изуродована и запрещена, чем подвергнуться такой уродливой, бессмысленной операции.

Хотел послать тебе вещи, но никак не мог. Нет ни копейки. Перебиваюсь с трудом. А тут еще дней десять тому назад я захворал. Простудился, и начался тяжкий мой «астматический период». Десять дней я снова не работал и так этим испуган, что решил ехать на юг, лечиться. Раз навсегда мне надо привести себя в работоспособный вид. Рассчитываю осуществить мечту мою — поехать в Марсель. Поеду, если добуду денег. Здесь не Москва — пропадешь и ни копейки не достанешь. Т. к. я убежден, что деньги когда-нибудь да будут, то насчет вещей не отчаивайся. Пришлю, как говорится, при первой, при первейшей возможности. Я очень страдаю оттого, что не мог это сделать до сих пор.

Мишкины снимки получил, очень им обрадовался. Мне все же кажется, что на фотографии он получается лучше.

В Париж больше писать не надо. Я пришлю тебе новый адрес. Как у Мишки ноги, не кривые ли? Какие слова он уже говорит? Скоро ли закончатся съемки картины? Напиши по совести, получается ли толк?

Как только приеду на новое место — напишу.

И.

П. 16/X–27

171. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

22 октября 1927 г., Марсель

Тамара,

Сообщаю мой адрес: Mr. Babel, Belvédére Hôtel, rue des Pécheurs, Marseille.

Здоровье мое идет на поправку. Надеюсь, что дня через два-три смогу приступить к работе. Больше двух недель потеряно безвозвратно. Жду от тебя сообщения о делах. Они, вероятно, не предвещают ничего хорошего.

И.

М. 22/X–27

172. А. Г. СЛОНИМ

23 октября 1927 г., Марсель

Дорогие мои друзья, товарищи и лучшие мои соседи в мире (это не мало — быть хорошими соседями). Ваше письмо переслано мне в Марсель, где я теперь живу, утопая в непостижимом блаженстве. В прошлом моем послании (посланном par avion*) я объяснил неуважительные причины моего молчания. Из напастей, достойных быть отмеченными, надо вам сообщить, что недели три тому назад я очень ослабел здоровьем — астма, — почему спешно и бежал на юг. Живу я в отеле на высокой горе. У подножия этой горы — порт, рыбачьи домики и — нечего скрывать — Средиземное море. Я теперь привыкаю к шуму порта, к ходу волны и к отдаленному гулу города. Думаю, что отсюда меня клещами не вытянут. Город, как говорится, «превосходит всякое вероятие». Все же мои «переживания не идут с вашими ни в какое сравнение» (эту фразу я вычитал недавно в Известиях). Бедная Анна Григорьевна! Здесь бы ее страдания

* Авиа (*фр.*).

как рукой сняло. Не больше года т[ому] н[азад] натурализовавшийся еврей д-р Гольденберг, из Института Пастера, изобрел могучее, радикальное средство против фурункулеза. Достаточно двух-трех впрыскиваний, и болезнь исчезает *бесследно* и не возвращается. Я это знаю потому, что масса моих знакомых хворали нынешней осенью фурункулезом. Теперь в Париже эта болезнь лечится, можно сказать, автоматически, она побеждена совершенно. В Россию почему-то это средство еще не пропускают. Все же я написал Евгении Борисовне, чтобы она приложила все усилия к тому, чтобы немедленно выслать вам это лекарство. Я убежден, что она сделает все что может, сбегает, если нужно, в Торгпредство и пр. Черт знает что такое! Хворать противной, прилипчивой болезнью только из-за того, что нет какой-то медицинской конвенции. Работу, прерванную мною из-за болезни, я снова возобновил и, надо думать, доведу ее теперь до конца. Если доживу до вожделенного этого мига — пошлю вам рукопись. С пьесой, как и следовало ожидать, неприятности. Главрепертком вычеркнул целиком всю пятую сцену (синагога. Мотив: «трактовка синагоги как сборища торгашей в нынешний политический момент неприемлема») и все фразы, в которых есть слово — жид. Я с замечаниями Главрепорткома не согласился и просил театр в случае, если нельзя будет уломать «богомольную дуру-цензуру», снять пьесу с репертуара. «Комментарии излишни!» С восторгом воспринял весть об Илюшиных шести рублях! От всего умудренного сердца советую ему изображать все фигуры в виде греков или, скажем, римлян. Благородства много и никаких жидов!

Прошу Илюшу посильно зарабатывать. Очень я буду воодушевлен, если узнаю, что число приятелей, у которых можно часа этак на два перехватить полтора червонца, увеличивается!

Гуляете ли Вы, Лев Ильич? Ходить надо пешком. Бедная Анна Григорьевна! Паратиф! Чудовищно! Вы, наверно, ехали в третьем классе, она там и захватила. (Чисто одесское выражение, но в Одессе слово «захватил» применяется обыкновенно к молодым людям, захватившим болезнь накожную и...) Я шучу, но, право, очень огорчен...

Мой адрес: Mr. Babel, Belvédére-Hôtel, 46 Rue des Pécheurs, Marseille.

До свиданья, милые соотечественники!

Ваш *И. Бабель*

М. 23/X–27

173. И. Л. ЛИВШИЦУ

28 октября 1927 г., Марсель

Дорогие мои товарищи и просто дорогие мои. После трехмесячного пребывания в Париже переехал на некоторое время в Марсель. Все очень интересно, но, по совести говоря, до души у меня не доходит. Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю. Работал я урывками, теперь наладился и думаю, что-нибудь смогу «произвести». Представьте себе Одессу, достигшую расцвета. Это будет Марсель. Экзотика здесь действительно сногсшибательная, но я уже маленько

поостыл к экзотике. Напишите мне о себе. Я о вас помню постоянно и думаю о вас так хорошо, как только могу. Привет Саше и его семейству. Пожалуйста, напишите.

Любящий вас всем сердцем
И. Бабель

М. 28/10–27

174. В. П. ПОЛОНСКОМУ

29 октября 1927 г., <Марсель>

Дорогой мой Вячеслав Павлович! Никому никаких рассказов я не посылал. Никому, кроме Вас, я никаких рассказов не пошлю. (Сообщение о «Перевале» привело меня в полное недоумение. Как говорится, ничего подобного.) Рассказы, которые я Вам буду посылать, являются частью большого целого. Я работаю над ними вперебивку, по душевному влечению. Растреклятое это душевное влечение является причиной моих бедствий и моей неаккуратности. Удавиться впору, но ничего поделать с собой не могу. Я знаю, что очередь «рассказов для напечатания» придет очень скоро, и жду — и Вас прошу ждать. Право, у меня уже и слов больше для этих просьб нету. Напечатать «Закат» до постановки — значит... Вы знаете, что это значит... «В руки твои предаю дух мой...»

Я в Марселе. Höchst interessant*. Получили ли Вы письмо, в котором я сообщал Вам об отъезде моем в Марсель.

---

* Очень интересно (*нем.*).

Дорогой мой, замученный мною редактор! Я не мечтаю больше о любви. Я мечтаю о том времени, когда бестрепетно смогу я «поднять очи на кредиторов моей совести...». Когтистый зверь, скребущий душу, — совесть!..

Письмо Ваше переслано мне из Парижа. Я написал сегодня, чтобы зашли в Hôtel de Valence* за Бакуниным. Я, дурак, вообразил почему-то, что Вы оставили для меня эту книгу в Торгпредстве, и спрашивал ее там.

В Марселе постараюсь посидеть подольше. Не сердитесь. Мы помиримся, уверяю Вас, мы помиримся.

Любящий Вас *И. Бабель*

29.X–27

175. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

11 ноября 1927 г., Марсель

Тамара. Я верю в маленького нашего человечка. Я верю в то, что болезнь его скоро пройдет. Пиши мне почаще, пожалуйста, не ленись. Очень ли он исхудал? Много ли слов говорит? Всякое упоминание о нем растапливает мое сердце.

Жизнь мою за границей нельзя назвать хорошей. В России мне жить лучше, переучиваться на здешний лад мне не хочется, не нахожу нужным. Потом, меня не оставляла душевная тревога о тебе, она мучила меня неотступно. Теперь, после последнего твоего письма, я чувствую себя спокойно. Будь счастлива, мой друг, и благоразумна. Это дешевое

---

* Отель Валанс (*фр.*).

занятие — давать советы, да и я в роли человека, призывающего к благоразумию, смешон, но, право же, Тамара, выходит так, что немножко расчета в жизни нужно, а то очень хлопотливо, и не успеешь оглянуться, как, глядишь, помирать надо.

К огорчению моему из-за недостатка денег я должен уехать обратно в Париж. Пиши по-прежнему: Mr. J. Babel, Poste-réstante, Bureau de Postes № 69, Rue de Venillé, Paris, XV-e.

Никогда я не испытывал такой материальной нужды, как теперь. Положение иногда создается унизительное. Вся надежда на пьесу и на то, что ты похлопочешь. Если пьеса прошла несколько раз в провинции, то я думаю, что в Модпике можно взять еще аванс. Я взял там всего пятьсот рублей. Они обещали мне перед генеральной репетицией дать еще денег. Надо думать, что представления в провинции равносильны генер<альной> репетиции в Москве. Я не знаю, конечно, как обстоит дело с пьесой, снимается ли она после нескольких представлений или продержится. Прошу тебя, Тамара, пришли мне все материалы, какие у тебя по этому поводу имеются. Выражал ли еще какой-нибудь провинциальный театр желание поставить «Закат»? Что ты знаешь о постановке в Одессе? Неужели история с авансом от Александринки тянется до сих пор? Есть ли уверенность в том, что пьеса пойдет в Александринке?

Итак, надо попросить аванс в Модпике. Я пишу заявление на тысячу рублей. Борись. Но получить деньги — это полдела, очень трудно отослать их за границу. Если посылают сумму, превышающую пятьдесят долларов, надо просить

разрешения Валютного Управления. Всеволод может дать тебе совет. Конечно, посылать надо от Модпика, вообще от официального учреждения, тогда скорее выдают разрешения. Во всяком случае, сообщаю тебе еще адреса, по которым можно посылать деньги: Mr. A. Fasini, 27; Rue Dareaux, Paris, XIV-e; Mr. N. Granovsky, 17. Bourevard Garibaldi, Paris.

Если обстоятельства сложатся благоприятно, пошли деньги по телеграфу. Мне протелеграфируй о перспективах. Можно еще в Модпике упомянуть о фильме, за это ведь тоже будут проценты. Впрочем, увидит ли фильм экран, как ты думаешь? Кстати, надо поставить имя Всеволода как соавтора, а то он обидится.

Напиши мне еще, Тамара, о пьесах Всеволода и Леонова, как они выглядели со сцены, имеют ли успех? Что получилось у Эйзенштейна? Я совсем отрезан от мира. Я думаю, что я тебе друг, преданный и верный до самой смерти, не оставляй меня без всяких вестей.

Я все время стараюсь работать, но ощутимых результатов пока нет. Очень трудно писать на темы, интересующие меня, очень трудно, если хочешь быть честным. Я снова подтвердил Полонскому мое обещание не посылать рассказов, кроме как в «Новый мир». Но если бы ты знала, как мучительно мне привыкать к писанию из-за нужды, к писанию из-под палки. Очень хорошо было бы, если бы пьеса помогла нам дожить до новой моей работы. Вся надежда на тебя, Тамара. Деньги Модпик или всякое иное учреждение должно посылать мне по адресу: Mr. J. Babel. 15, villa Chawelot, Paris, XV. В банке без протекции не обойдешься. Попроси помощи

у некоего т. Наглера, из Промбанка (против Биржи на Ильинке). Жду твоей телеграммы по поводу всех этих дел.

До свиданья, друг мой. Пиши мне почаще. Кланяйся от меня милому нашему Михайле. Будь весела, красива, счастлива, добра.

И. Б.

М. 11/XI–27

В Модпике надо обратиться к члену Правления Гольденвейзеру. Я сегодня пишу ему. В Париж уезжаю отсюда 14-го.

Часть денег, буде таковые окажутся, надо еще послать маме (Madam Marie Chapochnikoff, 38, Rue de Vergnies, Bruxelles). Ей можно послать 50 долларов, т. е. 100 рублей. Но это все в том случае, если... Прости за докуку...

176. А. Г. СЛОНИМ

12 ноября 1927 г., Марсель

Дорогие amis*. В Марселе началась зима, подул страшной силы мистраль. Возвращаюсь в Париж. Писать прошу по прежнему адресу. О пьесе получил утешительные сведения. Она пойдет в моей редакции. В Одессе и Баку представления уже идут, как идут — не знаю. В конце ноября приедет ко мне из Брюсселя мать, так что я обрету семейную обстановку полностью. Я тружусь теперь не шибко, но тружусь. Из Парижа напишу вам подробнее. Будьте веселы, здоровы и богаты.

М. 12/XI–27 Любящий Вас *И. Бабель*

---

* Друзья (*фр.*)

177. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

30 ноября 1927 г., Париж

Тамара. Письмо твое от 21/XI и рецензии получил. Спасибо. Если тебе удастся прислать мне в нынешнем году тысячу рублей, будет очень хорошо. Прошу тебя сделать все усилия, какие только можно. Привлеки к этому делу Лившица. Он не откажется тебе помочь. Я напишу ему. Не помню, сообщал ли я тебе адрес сестры: Madam Marie Chapochnikoff, 38, Rue de Vergnies, Bruxelles, (Belgique). Хорошо бы, если бы и ей можно было отправлять ежемесячно. Денежные дела мои, по совести говоря, удручающи.

Идет ли пьеса еще где-нибудь, кроме как в Одессе и Баку? Если у тебя накопились еще материалы, сделай милость, пришли. Что тебе сказали в Александринке? Прежде чем перерешать, я хотел бы знать в точности положение дела. Напиши откровенно.

Очень огорчает меня Мишка. Неужели он серьезно болен? Я почему-то верю в него всем сердцем и верю, что он скоро перестанет хворать и будет весельчаком, ум — это дело двусмысленное, главное, пусть будет веселым человеком.

Милая Тамара. Очень прошу тебя прислать мне заказной бандеролью экземпляр пьесы. Она мне очень нужна. Не знаю, радоваться или печалиться известию о Всеволоде. Я чувствую душевную к нему привязанность, он выдающийся человек, трудно найти лучшего. Мне хотелось бы, чтобы счастье твое и покой были долговечны и прочны. Если это случится, тогда в самом деле — все идет к лучшему в этом мире.

Пиши мне о Мише, о делах и помни, что за тридевять земель у тебя есть друг. Это я пишу не для красного словца.

И. Бабель

П. 30/XI–27

178. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

16 декабря 1927 г., Париж

Милая Тамара. Получил вчера 205 долларов. Деньги эти — кислород, вернувший меня к жизни. Я находился при последнем издыхании. 100 долларов было у меня долгу, на остальные, конечно, не разойдешься, но все же поживу. Было бы истинным благодеянием, если бы ты могла в начале января повторить твой подвиг. Финансовые перспективы мои, а следовательно, и твои, таковы: работать регулярно я начал очень недавно, но если бы поднажать, можно бы коечто подготовить для печатания. Но все существо мое этому противится. Очутившись вдали от редакционной толкучки, от бессмысленных рецептов, мне непреодолимо захотелось работать «по правилам». Я уверен, что смогу напечатать много вещей в 1928 году, но сроков никаких не знаю да и думать о них не хочу. Если вещи мои будут хороши, тогда редакторы не станут на меня сердиться за несоблюдение сроков, если они будут плохи, так о чем же тут толковать, что раньше, что позже — все равно... Очень меня беспокоите ты и мальчик. Если бы пьеса помогла всем нам продержаться до нового моего «урожая», то она целиком оправдала бы все мои на нее надежды. Возможно ли это, как ты думаешь? По-

жалуйста, изложи твои соображения на этот счет, тебе виднее...

Давно я не имел от тебя писем. Как поживает мальчик? Неужели он все еще хворает? В существовании моем недавно произошел перелом к лучшему, я придумал себе побочную литературную работу, которую нигде, кроме как в Париже, сделать нельзя. Это душевно оправдывает мое житье здесь и помогает мне бороться с тоской по России, а тоска моя по России очень велика.

Пожалуйста, пришли мне еще материалов о пьесе, если они у тебя есть. Мы, помнится, заключали условие с Одессой и Баку и выговорили повышенные проценты; соблюдают ли они это условие?

Над чем ты работаешь в кино? Совершенно ли уже закончили картину? Не ленись, пиши. До свидания. Будь счастлива со чадами и домочадцами.

И. Б.

П. 16/XII–27

179. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

22 декабря 1927 г., Париж

Милая Тамара. Я знаю, как трудно посылать деньги из Москвы. Я сделаю все, что могу для того, чтобы избавить тебя от лишних хлопот. Знаменитый еврейский писатель Шолом Аш, приехавший из Америки, дал мне семьдесят пять долларов, их надо выплатить в Москве. Сделай это, Тамара, немедленно, прошу тебя, если не хватит денег — достань

где-нибудь. Деньги надо выдать следующим лицам: сто рублей — З. Гринбергу, Тверская, 44, кв. 32, пятьдесят рублей — Б. Спиро, 2-я Обыденская, 9. Второй адрес возбуждает сомнения, я не знаю Обыденской улицы в Москве. З. Гринберг, впрочем, может дать точный адрес этой Спиро. Очень важно, чтобы это поручение было хорошо и быстро исполнено, тогда я время от времени смогу здесь получать у Аша деньги, это избавит тебя от необходимости бегать по бесконечным инстанциям. Письмо это надо бы отправить заказным, но теперь поздно, пишу в кафе, я думаю, что и так дойдет. Пожалуйста, не теряя времени, извести о выплате и прости за бесчисленные поручения. Когда-нибудь отслужу.

Я писал тебе о моих планах. Они отличаются большой неопределенностью, как, впрочем, и моя работа. У меня есть уверенность, что через несколько месяцев я снова смогу зарабатывать «текущей» моей литературой, пока же надо из этой несчастной пьесы высосать все, что она может дать для того, чтобы как-нибудь дождаться более обильных времен. Конечно, никакому театру ее предлагать не нужно, отвечать следует только на предложения. Кто к тебе обращался? Сколько представлений выдержал «Закат» в Одессе и Баку? Собираются ли ставить еще где-нибудь? Не знаешь ли ты, как идут репетиции во 2 МХАТе?

Я, вероятно, пробуду здесь до осени. У меня затеяна большая работа, связанная с Парижем.

Экземпляр «Заката» получил. Он мне очень был нужен. Я написал еврейскому переводчику Бродскому о том, чтобы он мне переслал перевод. В Америке или в Польше с этим пе-

реводом можно было бы что-нибудь сделать, подзаработать немного денег, это теперь главнейшая моя забота. Но Бродский не отвечает; адрес его: Тверской бульв., 7, кв. 1. Узнай, сделай милость, живет ли он еще на прежней квартире и получил ли он мое письмо.

Доверенность в случае надобности я смогу заверить в здешнем консульстве и послать тебе.

Что говорят тебе в Валютном Управлении? Есть ли надежды на январь? Сообщаю тебе телефоны Галины Серебряковой: 5-91-45, 3-49-24. Узнай у нее, не сможет ли она помочь?

Что с Мишей? Бедный мальчик, ему не везет... Нельзя ли его сфотографировать? Я не вижу его, он растет без меня, хоть бы мне по карточкам следить за ним... Я больше не могу писать, меня теребят, скоро напишу еще. Жду от тебя известий. Я много думаю о тебе и так хорошо, как только могу.

И.

П. 22/XII–27

Прилагаю записку Ш. Аша Гринбергу.

180. Е. Д. ЗОЗУЛЕ

23 декабря 1927 г., Париж

Зозулечка. Я недавно получил письмо от Анны Григорьевны. Она просит выслать ей новейшие французские книги и указать, к кому бы обратиться по вопросу о переводах. Первую часть ее просьбы я исполнил — книги выслал, относительно же переводов попрошу ее позвонить Вам по телефону.

Прежние боги вроде Воронского повержены, и не думаю, чтобы они могли ей быть полезны. Так как она женщина гордая — то телефонный ее звонок не будет обозначать бесконечной докуки. Поэтому мне кажется, что я действую в данном случае, как говорится, «лойяльно».

Пожалуйста, напишите мне, не ленитесь, как Вы себя чувствуете после приезда. Каким воздухом дышит Москва?

Я работаю, хоть немного, но работаю, но все это с таким расчетом, чтобы публиковать после смерти. Я бы хотел заразиться литературной горячкой, но не могу.

Привет жене, привет Кольцовым.

Ваш *И. Бабель*

Р. 23/XII–27

P. S. Напишите мне Ваш адрес, я не знаю номера дома.

181. А. Г. СЛОНИМ

Р. 26/XII–27 *26 декабря 1927 г., Париж*

Поздравляю вас, дорогие мои, с Новым годом. Хорошо бы нам всем заработать немного счастья <…>

Жизнью своей я не совсем доволен, можно бы сделать больше, чем я делаю, но все же мне кажется, что медленная моя работа подчинена законам искусства, а не халтуры, не тщеславия, не жадности.

Несколько времени тому назад я послал вам несколько новых романов. Теперь у меня приготовлена для А. Г. партия действительно интересных книг. Если первая посылка дойдет — я немедленно вышлю вторую, которая много интерес-

нее. Оказывается, единообразия в деле получения книг из-за границы нет — одни получаются, другие без всякой причины не доходят. Я хотел в Торгпредстве получить для верности лицензию, но в таких случаях лицензии не дают, а просто надо положиться на волю божью и таможни. К Воронскому теперь за работой обращаться бессмысленно, он во всех отношениях бессилен. Как это ни странно — но лучше всего позвонить Зозуле. Несколько дней тому назад я писал ему и предупредил о вашем звонке. «Огонек» — одно из немногих издательств, интересующихся переводами. Прошу держать меня au courant* этого дела.

Ужасно радуюсь успехам Льва Ильича и Илюши. Я инстинктивно, интуитивно всегда их уважал, а меня интуиция редко обманывает (редко обманывает, но метко!). Поэтому я думаю, что к Ольшевцу зайти по нефтяным вопросам — самое время. Если желаете — я с воодушевлением напишу ему...

Для того, чтобы жизнь моя в Париже была как можно более разумна — я стал читать замечательные старые книги по истории французской революции и — по совести — не могу оторваться, как в юности, читаю ночи напролет. Никто, кроме нас, эти книги понять не может. У меня для Анны Григорьевны приготовлены из этой серии две превосходные книги.

Простите меня за то, что я пишу так редко. Из жизни моей, идущей толчками, судорогами, мне трудно выкроить безоблачные часы для того, чтобы поговорить с людьми, которых

---

* В курсе (*фр.*).

я люблю. Мой отец лет пятнадцать ждал хорошего настроения для того, чтобы пойти в театр. Он умер, бедняга, так и не побывав в театре. Но мы все-таки пойдем вместо него — иначе зачем живут на свете отцы и дети? До свиданья. Я живу надеждой на то, что смогу скоро послать вам какое-нибудь мое сочинение. Принялся ли Илюша за новую работу? Все люди говорят, что ему не миновать Парижа. Здешний Montparnasse[*] с какой-то стороны поистине величествен. Это чудовищная биржа, школа, храм, ночлежка и Академия живописи и скульптуры. По последней переписи в Париже 40 000 художников и скульпторов — они едут из Китая, из Трансвааля, из Коста-Рики за славой, за наукой и мидинетками — не миновать Илюше Парижа...

И. Б.

182. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

26 декабря 1927 г., Париж

Милая Тамара. Ты, вероятно, получила два моих письма. Очень хорошо сделала, что дала Бродскому деньги на перепечатку пьесы. Может быть, мне удастся всучить ее евреям, м<ожет> б<ыть>, они заплатят деньги. Я не знал, что «Новый мир» выплатил тебе так мало денег. Нечего сказать, не балую я тебя. Но и мне не лучше. Что же делать, я совсем не писатель, как ни тружусь — не могу сделать из себя профессионала. Мне невыносимо думать, что вы сидите без денег.

[*] Монпарнас (*фр*.).

Буду писать, буду стараться изо всех сил. Очень прошу тебя занять у кого-нибудь деньги, приложить все усилия для того, чтобы выплатить деньги по поручению Аша. Тут последний шанс на благополучие держится на самой тонкой ниточке. Я думаю, что в январе Модпик даст деньги, это, конечно, в том случае, если постановка во МХАТе вне сомнений. Какого ты мнения на этот счет? Если же постановка состоится, то, может быть, она на три-четыре месяца жизни даст денег. Я думаю, что на «несозвучную» пьесу нельзя возлагать больших надежд в денежном смысле, но неужели она ничего не даст? Делает ли пьеса какие-нибудь сборы в Одессе и Баку? Я буду стараться, Тамара, я знаю, как это нужно, но трудно продать первородство за чечевичную похлебку.

Дети опять хворают, что же это такое? Почему бы это, не забросила ли ты их совсем, они, может, без призору, уходят на улицу, простужаются? Учится ли Татьяна, есть ли у нее охота к учению?

Я знаю, что человек легче всего дает советы, но мне так хочется, чтобы тебе жилось полегче, что трудно противостоять искушению. Тебе на фабрике надо работать как можно ревностней, изо всех сил, — работа очень интересная и может очень помочь душевно. Очень это хорошо, что у тебя есть способности к монтажу, — это удивительная, захватывающая работа.

Мне и здесь передавали о том, что московские сплетники болтают о моем «французском подданстве». Тут и отвечать нечего. Сплетникам этим и скучным людям и не снилось, с какой любовью я думаю о России, тянусь к ней и работаю для нее.

Как поживают Лившицы? Они мне почему-то не ответили на мое письмо. Не забудь о моей просьбе — сфотографировать Мишу, если к этому представится возможность.

Скоро Новый год. Будем пытаться жить спокойно и мужественно. Всей силой моего сердца я желаю тебе «со чадами» счастья.

И.

П. 26/XII–27

183. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

10 января 1928 г., Париж

Милая Тамара. Выплатила ли ты деньги по поручению Аша? Это очень важно, и, главное, важна в этом деле аккуратность. Если это первое поручение, первый блин, выйдет комом, тогда я не смогу проделывать такого рода операции. Если ты получишь деньги из Модпика, то выплати еще 60 рублей Ассе Полонскому, Тверской бульв., 9, кв. 15. Эти 60 рублей тоже мною получены. Я здесь прилагаю все усилия для того, чтобы освободить тебя от этого тяжкого и гнусного труда — посылки денег за границу. С нетерпением жду от тебя сообщения по поводу всех этих несчастных дел. В каком положении счет с Модпиком? Есть ли надежда, что «комсомольский» фильм увидит экран? Выучилась ли ты как следует монтажу? Мне кажется, что это превосходная, увлекательная работа. Заклинаю тебя, не бросай ее, не бросай дела на полдороге, не уходи с фабрики, п. ч. последствия это-

го шага будут для тебя неисчислимо гибельны. Я это чувствую. В нынешней моей жизни меня согревает то, что ты пишешь мне дружеские письма. Это легкое дело — желать другому добра, я верю всем сердцем, что еще пригожусь тебе в жизни и помогу. Всеволод, конечно, трудный человек. Ты знаешь мое отношение к нему. Оно ни в чем не изменилось. Мы с тобой очень худо жили, нам бы надо отдохнуть. Меня терзает мысль о том, что отдыха тебе не будет. Ты выбираешь пламенных, мучительных людей. Я пишу тебе об этом, решаюсь давать советы — легчайшее из человеческих даров, п. ч., мне кажется, твои письма дают мне на это право. Тебе нельзя сбиваться с самостоятельного твоего пути, до последней степени нельзя. Полагаясь только на себя — худо ли, хорошо ли, — прожить можно. Так я думаю.

Со всех сторон мне сообщают, что 2 МХАТ разваливается, что никакой постановки там не будет, что никаких денег мы не увидим. Не худо бы тебе побывать на репетициях; если только они происходят. Если хочешь, я напишу в этом смысле письмо Берсеневу или Чехову?..

Очень хорошо, что мальчик здоров и гуляет. Сделай милость, сфотографируй его. Ты, небось, совсем нищенствуешь. Право, я заработаю денег, ждать осталось не особо долго. Говорят, у вас суровая, снежная зима? Я скучаю об зиме, по родине... Мальчик — хорошо ли он ходит? Изменилось ли его лицо? Ну, до свиданья.

И. Б.

П. 10/1–28

184. Е. Д. ЗОЗУЛЕ

10 января 1928 г., Париж

Дорогой мой Zozulia! Я очень рад тому, что живописное Ваше «безумие» продолжается. После Вашего отъезда я подумал, что скептицизм мой был очень мелкотравчатый и что Ваша «мания» — превосходная мания, полная жизни и огня. Мне бы такую... И теперь я почему-то верю в нее всем сердцем. Не бросайте, теперь уж и я чувствую, что бросать не надо... Теперь о моей растреклятой работе. По моим планам — я до весны пошлю в «Прожектор» рассказ, относительно книжки поговорим летом в Москве; я думаю, раньше лета мне не удастся всем негодующим моим кредиторам заткнуть хайла. Вы-то, надеюсь, не подозреваете меня, подобно растерзанным редакционным романтикам, в дьявольской хитрости: вот, мол, пишет, строчит, не печатает, ждет своего часа... Никакого часа я не жду, очень долго мне не писалось, сделаться профессионалом, к великому моему неудобству, мне никак не удается; как только допишу — сейчас же пошлю печатать, как и все прочие люди... О сплетнях, сообщаемых Вами, пишут мне со всех концов. Сижу я здесь потому, что лечу временем семейные мои неурядицы, а во-вторых, не хочется приезжать в Москву с пустыми руками. Причины эти просты, как проста истина, вы-то знаете...

Собирается ли сюда Сима с девочкой? Как поживает Ваш фотографический аппарат? Много ли работаете? (Помните о душе!!) Неуклонно трудитесь над тем, чтобы выслать Лебе-

девой деньги. Как известно, они здесь пригодятся. Я написал Воронскому, но не получил от него ответа. Что с ним? Редактирует ли он хотя бы «Прожектор»? Цифры «Огонька» действительно астрономичны. В Англии Вы были бы лордом Нортклифом (?). Ну, до свидания. Привет вашим — и особо — Кольцовым. Евгения Борисовна — поклонница и обожательница Ваша — кланяется от всего сердца.

Ваш *И. Бабель*

Р. 10/1–28

P. S. Только что узнал, что у Константиновских умерла племянница. Сегодня хоронили. Он в большом горе.

185. И. Л. ЛИВШИЦУ

10 января 1928 г., Париж

Спасибо, дорогие мои, за письмо.

<…> Первые месяцы пребывания моего в Париже, месяцы устроения, не способствовали, конечно, «вдохновению». Но понемногу я втянулся в работу. Снова, как в дни моей юности, я задумываю coup d'état* в моей литературе. Посмотрим — удастся ли. Маленечко я устал, да и coup потруднее, чем первый. Может быть, к лету закончу. До окончания работы я в Россию не двинусь. Я и сам знаю, что «лечение временем», предпринятое мною, должно быть доведено до конца. О сплетниках же, количество и качество коих мне известно, не беспокоюсь — я огражден от них непобедимым

---

* Государственный переворот (*фр.*).

равнодушием, это у меня счастливая черта — равнодушие в opinion publique[*].

О жизни в Париже — что же вам рассказать? Несмотря на тоску мою по России — в Париже хорошо бы жить, если бы чуточку больше денег. Я не привык к такому скудному существованию и развернуться никак не могу. Очень мало денег — но тут до поры до времени ничего не поделаешь. А страна — как это ни странно — ужасно отсталая и очень провинциальная. Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы — из России — тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей.

Я очень рад, что девочка у вас хорошая — она уже небось совсем человек в доме. Люсе надо бы написать нам письмо домой — Жене. К нам сейчас приехала из Брюсселя мама. Она такая же чудная, как и раньше. Мера — та все еще не может оправиться, похварывает, это очень грустно.

Книжки я тебе завтра вышлю, но получишь ли ты их — гадательно, одни доходят, другие нет, надеюсь, что стихи-то дойдут.

Грустно, что у тебя заработки гнусные, да, наверное, предпринять нечего для их увеличения.

Обо всем, что в моей жизни достойно внимания, я буду писать вам — не забывайте и меня. Если ты считаешь, что мне полезно знать что-нибудь сверх моего «знатья» — напиши.

Целую вас всех
Ваш *И. Бабель*

P. 10/I–28

---

[*] Общественное мнение (*фр.*).

186. А. М. ГОРЬКОМУ

26 января 1928 г., Париж

Дорогой Алексей Максимович.

Я уезжал из Парижа в деревню, вернулся и застал Ваше письмо. Спасибо за приглашение. От всего сердца благодарю Вас. Можно ли мне приехать весной? Я очень хочу Вас видеть. Я все бьюсь над работой, которую начал давно. Поездка в Италию — соблазнительная чрезвычайно — может рассеять рабочее мое настроение, я этого боюсь. Поэтому мне хотелось бы приехать попозже, весной.

Слухи о моих «болячках» преувеличены. Еще поживу.

Любящий Вас

И. Бабель

26/I–28
15 Villa Chauvelot
Paris 15.

187. А. Г. СЛОНИМ

26 января 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна. Послал Вам: Линдберга «Mon avion et moi»* и Воронова «Conquete de la vie»**. Первая — как мне кажется — если ее сократить — чрезвычайно подойдет для «Огонька», книга же Воронова представляет выдающийся

---

* «Мой самолет и я» (*фр*.).

** «Завоевание жизни» (*фр*.).

интерес, и, по-моему, Госиздат или любое другое издательство должны ухватиться за нее. Есть ли у Вас связи в Зифе — они, кажется, легче на подъем. Я думаю, что Вы можете просто обратиться к Нарбуту от моего имени.

Выписать стоящую книгу рассказов или просто стоящую книгу здесь очень трудно. По-нашему — французы пишут о пустяках, с нашей точки зрения (и как будто это правильная точка зрения), все это очень скучно. Я не теряю надежды выслать Вам в конце этой недели еще несколько книг, на этот раз более подходящих. О деньгах — нечего толковать. Все это гроши. «Свои люди — сочтемся».

Отзыв Ваш о «Бронепоезде» меня удивил. Из Москвы все время доносятся стоны восторга. На «Закат» я никаких надежд не возлагаю и даже наоборот.

Что касается меня — тружусь. Телу жить здесь хорошо — душа же тоскует по «планетарным» российским масштабам.

Евгения Борисовна выставляла картину в осеннем салоне. Говорят, что у нее есть способности, но очень она ленива, ничего не работает. Кланяется она Вам изо всех сил.

Мужчинам вашим шлю пламенный пролетарский привет и клич, конечно, — какой бы клич им послать? — «товарищи, ходите пешком» — что ли?..

Ждите от меня через несколько дней очередного послания и новых книг.

Любящий вас всем сердцем
И. Бабель

P. 26/I–28

188. И. Л. ЛИВШИЦУ

26 января 1928 г., Париж

Милый мой Исаакий! <...> Книги ты, я надеюсь, получишь. Книжный магазин сообщил мне, что задержка вышла из-за того, что никак нельзя было достать книгу Valery*. Из снобизма книги Valery печатаются — можешь ты себе это представить — в пятидесяти или ста экземплярах, — делает он это для того, чтобы «чернь» не читала. Но поэт, все говорят, изумительный.

О моей работе... Контуры ее — успех ее или неуспех (для меня) обнаружится, я думаю, месяца через три. Тогда я тебе подробно о ней напишу. А сейчас что можно сказать — тружусь трудно, медленно, с мучительными припадками недовольства.

Здоровье удовлетворительно. Получил письмо от Горького, приглашает к себе в Италию. Если будут деньги — весной поеду. «Конармия» вышла в Испании в превосходном издании и, говорят, имеет там успех. Это открывает мне дорогу в Испанию, до сих пор ни одному русскому — ни белому, ни красному — визы не давали. Но для поездки нужно много денег...

Если можешь — пришли мне два-три экземпляра «Конармии».

Посылаю тебе записку Берсеневу, я ее нарочно пометил 5-го февраля; когда дело подойдет к премьере — предъявишь ее и получишь билеты. Где ты читал «Закат»? Разве он уже напечатан? Положительного твоего мнения об этой вещи,

---

* Валери (*фр.*).

прости меня, я не разделяю. Как поживает Ита Ахрап? Где она, что она? Низко кланяюсь Люсе и отпрыску. Будьте веселы и благополучны.

Р. 26/I–28 Твой *И.*

189. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

28 января 1928 г., Париж

Тамара, если бы тебе удалось выплатить Полонскому 60 рубл., это избавило бы меня от стыда. Больше никаких поручений к тебе нет. Ольшевцу я придумаю, что написать. Стыдно, что я ничего им не послал, но ужас моей жизни заключается в том, что мне не хочется работать и, вернее, совсем не хочется работать.

Письмо от тебя грустное. Грустнее всего то, что ты потеряла работу. Не знаю, что и сказать. Если бы я хоть работал, чтобы исправить наше материальное положение, но, право, делаю, что могу... Пиши, пожалуйста, пиши, не оставляй меня без всяких известий.

Что с Воронским, в Москве он или уехал?

12/I–28 *И. Б.*

190. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

26 января 1928 г., Париж

Тамара.

В Центросоюз написал. Думаю, что они больше тревожить тебя не будут.

Обождав один день, позвони Ольшевцу. Я отправил ему сегодня письмо, просил продлить командировку.

Я поручил Зозуле выплатить деньги Полонскому. Зозуля позвонит тебе, чтобы узнать, не заплачены ли уже деньги. Ты приписываешь мне мысль о том, что я тебя «обеспечил». Такой мысли у меня нет. Разве только в припадке умопомешательства я мог бы написать такой вздор. Я превосходно осведомлен о том, какой моральный и денежный долг есть у меня в отношении тебя и Мишки. Я рассчитываю на то, что придет день, когда я смогу заплатить этот долг.

Ты нашла нужным сообщить, что Всеволод запретил тебе разговаривать обо мне. Удивительное это сообщение — совершенная для меня новость. Если бы шальная мысль о том, что ты посвящаешь Всеволода в плачевные мои дела, могла бы взбрести мне в голову, я, конечно, воздержался бы от дачи тебе каких бы то ни было поручений.

Я напишу Лившицу и попрошу его заняться моим долгам фининспектору.

Жду карточки. Очень буду рад, если получу ее. От всего сердца желаю тебе получить работу.

П. 26/I–28 *И. Бабель*

191. И. Л. ЛИВШИЦУ

2 февраля 1928 г., Париж

Дорогой Изя. Надо говорить просто — меня нужно спасать. Мне нужно добыть себе пищи еще месяцев на пятьшесть, после этого, надо надеяться, унизительный период

моей жизни кончится. Надеяться на это надо, потому что я работаю: во что бы то ни стало я должен добиться того, чтобы эта работа продолжалась без помехи. Помоги.

Посылаю письмо к Бескину (заведующему литературно-художественным отделом Госиздата). Если он согласится дать просимые четыреста рублей, то надо, чтобы Госиздат деньги эти как можно скорее перевел по телеграфу. Дело это трудное, в Валютном Управлении — недоброжелательство и волокита, как правило, — поэтому, если не толкать, ничего не выйдет. Письмо к Бескину положи в конверт, заклей и передай лично, это важно для того, чтобы были личные впечатления. Ты должен держаться как доверенное лицо, но без всяких сантиментов, больше, чем сказано в моем письме, говорить не следует. А посторонним, конечно, никому — а то все начнут говорить, что я прошу подаяния на улицах Парижа.

Есть еще вероятие, что я получу деньги в «Круге», но об этом я попрошу Анну Григорьевну Слоним. В твоем письме неувязка (вернее, в Госиздате неувязка) — художественный сектор утверждает, что третье издание выйдет через месяц, а в издательском отделе говорят, что книга в печать еще не поступала. Не может ли Лизаревич разъяснить тебе это противоречие?

Получил ли ты книги Кокто и Валери? Я мог бы тебе послать несколько интересных книг, но нету денег на покупку — подожди маленько, я все надеюсь, что ждать придется недолго.

Будь здоров и весел и не поминай меня лихом.

Домочадцам привет с любовью. К ним будет отдельное обращение от всей семьи.

Р. 2/II–28 Твой *И.*

192. И. Л. ЛИВШИЦУ

17 февраля 1928 г., <Париж>

Уважаемый товарищ. Денег из Госиздата еще не получил. Думаю, что здесь будет затруднение. Несколько дней тому назад «Известия» (Ольшевец) прислали мне по телеграфу двести рублей. Капля эта в бушующем море позволила мне заплатить долги. Я боюсь, что Валютное Управление не разрешит переслать мне в феврале еще четыреста рублей. Надо все же им указать на то, что я в течение нескольких месяцев не получал ни копейки. Во всяком случае, я думаю, что оставлять Госиздат в покое нельзя, а то все это заглохнет. Я знаю, что поручение хлопотать о деньгах в Госиздате — это самое подлое поручение, которое можно дать смертному, но больше я тебя такими хлопотами отягощать не буду. Постараюсь устроиться так, чтобы получать деньги здесь и чтобы они выплачивались в Москве.

Берсеневу я написал о том, чтобы тебе прислали три места на генеральную репетицию. Думаю поэтому, что записка теперь тебе не нужна. Я непоколебимо убежден, что пьеса провалится с неслыханным позором. Все предпосылки для провала — налицо. Если тебе не лень будет — напиши мне свои впечатления.

Книгу Валери, вероятно, задержали на границе. Пойду сегодня в книжный магазин, посмотрю, что бы тебе послать еще. Я ничего не читаю — когда пишешь, читать не хочется. Жизнь у меня — ты это понимаешь — нелегкая, борюсь. Посмотрим, что из этой борьбы выйдет.

Мама уедет через несколько дней. Ее пребывание было омрачено, увы, второй старушкой, которая от нее не отходила ни на шаг, поэтому мама мало выходила; вторая старушка у нас такова, что миру ее особенно показывать не приходится. Впрочем, мама обнаруживает несокрушимое добродушие, и глаза ее блестят по-прежнему.

Если фининспектор не досаждает, то тут, конечно, и толковать нечего — будем молчать, как мыши.

Пожалуйста, высеки из Госиздата эти 400 рублей. Это будет поступок, достойный бронзового памятника.

Женя ушла в Академию рисовать. Будем верить, что она напишет и что ее письмо застанет вас в живых. Трудновато у нее с письмами.

С пламенным приветом

И.

17/II–28

193. А. Г. СЛОНИМ

18 февраля 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна. Вчера узнал, что подлая librairie* до сих пор не послала Вам книги Charmian London** — поэтому вчера послал Вам свой экземпляр и скандальную книгу Бруссена (продолжение воспоминаний об Анатоле Франсе) и биографию Диккенса, написанную Честертоном.

---

* Книжный магазин (фр.).

** Чармиан Лондон (фр.).

Здесь большая мода на биографии-романы. Я Вам пошлю еще блистательную биографию Бальзака. Думаю, что ее стоит перевести на русский язык, она найдет много читателей, да и форма необычная. С книжкой Лондона все было бы хорошо, если бы не последние главы, где говорится об отношении Лондона к войне, увы, оно было положительное. Бруссена, по-моему, легко пристроить, — книга пахнет дурно, но написана хлестко.

«Закат» провалился с небывалым позором. Я написал Берсеневу, чтобы он Вам прислал места на генеральную репетицию. Я знаю, что Вы будете опечалены этим спектаклем. Если захотите — напишите мне Ваши впечатления.

С нетерпением жду от Вас телеграммы. Если Вы получите деньги, сделайте милость, храните их у себя. Пересылать их мне нет никакой возможности, поэтому я здесь буду искать людей, которым нужно делать переводы в Москву. По их поручениям придется выплачивать, другого выхода нет — да и не знаю, можно ли будет воспользоваться этой комбинацией. Во всяком случае Вам предпринимать тут нечего. Беда с этими переводами. Живем скудно до крайности. Я, впрочем, не унываю. Глупо только то, что именно в Париже совершенно нет денег. Очень прошу Вас подтвердить получение книг.

Жму рабочие руки Ваших мужчин и бью им тысячу поклонов.

Любящий Вас
И. Бабель

P. 18/II–28

194. Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 24/II–28 *24 февраля 1928 г., Париж*

Дорогой Лев Вениаминович!

Сделайте милость, пойдите на представление «Заката» и потом не поленитесь описать мне этот позор. Получил я пьесу в издании «Круг». Это чудовищно. Опечатки совершенно искажают смысл. Несчастное творение!..

Из событий, заслуживающих быть отмеченными, на первом месте — упоительная, неправдоподобная весна. Оказывается, люди были правы — хороша весна в Париже!

Проездом в нашем городе гостят Безыменский и Жуткин. Первого из них видел и чуть не подавился от хохота. Непрезентабельно выглядят гении на фоне парижской мостовой! А впрочем, Безыменский — хороший человек.

До февраля я работал порядочно, потом затеял писать одну совершенно удивительную вещь, вчера же в $11^1/_2$ часов вечера обнаружил, что это совершенное дерьмо, безнадежное и выспренное к тому же... Полтора месяца жизни истрачены впустую. Сегодня еще горюю, а завтра буду уже думать, что ошибки учат. Кончили ли Вы уже Вашу повесть? Жажду ее прочесть! Переехали ли на новую квартиру? Вообще опишите за Вашу жизнь, а то я совсем оторвался от масс...

Крепко жму скептическую Вашу руку.

И. Бабель

195. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

28 февраля 1928 г., Париж

Право, Тамара, было бы подло с моей стороны сердиться на тебя. Как я ни выискиваю виновных, но нахожу только самого себя — единственного виновника моих злоключений. Правда, иногда я совершаю промахи не по злобе, а по недомыслию. Я не сумел вовремя догадаться, что не следует отягощать тебя моими обращениями. Если сможешь, пришли карточку. Я теперь главным образом хочу заняться устроением ужасных, непереносимых моих материальных дел.

И.

П. 2/II–28

196. А. М. ГОРЬКОМУ

29 февраля 1928 г., <Париж>

Дорогой Алексей Максимович!

Начинаю хлопотать о визе. Приеду в апреле. Спасибо, что не забываете меня. Тревожиться обо мне не стоит, а может, стоит… Перемудрил я, кажется. Окончу проклятую книгу, из которой никак выбраться не могу, и снова кинусь в «мир», хлебнуть свежего воздуха. И «мир» выберу погуще. Три года живу среди интеллигентов — и заскучал. И ядовитая бывает скука. Только среди диких людей и оживаю. Вот дурак-то выдался…

Был у меня Безыменский, рассказал, что Вы бодры и в добром здравии. Я очень рад. Жуткина еще не видел, бог спас... (Жаров и Уткин называются в Москве Жуткин).

Посылаю Вам мою пьесу «Закат», чудовищно изданную «Кругом»; грубейшие опечатки совершенно искажают текст. Я, какие ошибки заметил, выправил. Пьеса эта вчера — 28/II — в первый раз была представлена на сцене 2 МХАТа, надо думать — провалилась.

До свиданья, Алексей Максимович.

Ваш всем сердцем

29/II–28 *И. Бабель*

197. И. Л. ЛИВШИЦУ

7 марта 1928 г., Париж

Достолюбезнейший и обожаемый Исаакий. Как и следовало ожидать — «Закат» провалился. «Событие» это произвело на меня, как бы это получше сказать, благоприятное впечатление, во-первых, потому, что я был к нему совершенно подготовлен и оно чрезвычайно утвердило меня в мысли, что я разумный и трезвый человек, и, во-вторых, я думаю, что плоды этого провала будут для меня в высокой степени полезны и послужат мне на пользу.

Но ты-то как опростоволосился с телеграммой. Впрочем, телеграмму гораздо более восторженную я получил от труппы. Поэтому утешься — ты ошибался в большой компании. Единственное, чего я вправду не ожидал, — это то, что спектакль выйдет скучным, и он был, очевидно, томительно ску-

чен. Еще в этом худо то, что никаких денег не будет, потому что, очевидно, никакого скандала (способствующего сборам) не было, а просто спектакль покорно опустился в Лету. Если тебе попадутся какие-нибудь рецензии — сделай одолжение — пришли.

<...> Я хворал гриппом, но теперь поправился и чувствую себя хорошо. Весна упоительная, душа рвется к небесам, и самочувствие поэтическое. В начале апреля уеду, вероятно, к Горькому в Италию. Он приглашает так настойчиво, что отказываться неудобно. Впрочем, когда эта поездка примет более осязательные формы — я напишу тебе точнее. Пока же ни на какие передвижения нет денег. Я об этом не тужу, потому что мне и двигаться не хочется. Если ты сможешь это сделать — узнай, были ли сборы на первых представлениях «Заката» — все-таки несколько сот рублей очистится.

Ну, до свидания. С весной вас. С новым солнцем и новым счастьем (исхожу я из того, что счастье внутри нас).

Р. 7/III–28 Твой *И.*

198. И. Л. ЛИВШИЦУ

Париж, 20/III–1928 *20 марта 1928 г., Париж*

Дорогой мой. Давно не писал тебе. Прости. Писать по совести — надо было жаловаться (бесполезное занятие), а не по совести — не хотелось. Переход на новые рельсы дается мне трудно, профессиональное занятие литературой (а я впервые здесь занялся ею профессионально) дается мне трудно, сомнения борят мя мнози, такой снисходительности к самому

себе — писать и жить, как пишут и живут почти все другие, 99% пишущих, — не могу найти в своей душе.

Целый месяц хворал душевно и физически (очевидно, мозговое переутомление) и только теперь ощущаю вновь в себе, или, вернее, вновь сочинил в себе, какую-то силу для борьбы и «размышления», выражаясь высокопарно.

Послезавтра, в воскресенье, едем к маме и Мере в Брюссель, а оттуда все вместе поедем, может быть, в какую-нибудь приморскую деревушку. Сколько пробудем в Бельгии — не знаю, может быть, месяц, потом вернемся в Париж, а в сентябре я очень бы хотел выехать в Россию, не в Москву, а в Россию. Во всяком случае, я на отлете... Ответ на это письмо все же можешь прислать в Париж, мне перешлют. Как обстоят дела у тебя, что девочка, живете ли вы на даче? У тебя тоже было невеселое время, я знаю, и никто не мог это почувствовать лучше меня, тягостно отбивающегося от болезни. Надо назвать то, что я испытываю, настоящим словом, — то есть болезнью, неврастенией, как в дни юности <...>

Твой *И.*

199. Л. В. НИКУЛИНУ

П. 20/III–28 *20 марта 1928 г., Париж*

Mon pauvre Vieux!..* Окружены упоительнейшей весной — живем великолепно. Недавно был ni carême**, ну и

* Мой бедный старик (*фр.*).

** Середина поста (*фр.*).

дела пришлось увидеть. Нет, грех хулить, город хороший, беда только, что очень стабилизованный... В апреле уеду, наверное, в Италию к Горькому, патриарх зовет настойчиво, отказываться не полагается. Поживу там до отъезда Горького в Россию. Несмотря на зловещее материальное положение — 80 фр[анков] брату передали. Горько только подумать, что из этих денег, политых кровью и желчью, сделают такое мелкобуржуазное употребление. У меня сейчас, надо Вам сказать, выдающееся пролетарское самосознание. Кстати, о «Закате». Горжусь тем, что провал его предвидел до мельчайших подробностей. Если еще раз в своей жизни напишу пьесу (а кажется — напишу), буду сидеть на всех репетициях, сойдусь с женой директора, загодя начну сотрудничать в «Вечерней Москве» или в «Вечерней Красной» — и пьеса эта будет называться «На переломе» (может, и «На стыке») или, скажем, «Какой простор!»... Сочинения я хоть туго, но сочиняю. Печататься они будут сначала в «Новом мире», у которого я на откупу и на содержании. Получил я уведомление о том, что Ольшевца уже нет в «Новом мире» — вот пассаж!.. Не знаете ли подоплеки?.. Я хворал гриппом, но теперь поправился и испытываю бодрость духа несколько даже опасную — боюсь лопну! Дружочек Лев Вениаминович, не забывайте меня, и бог вас не оставит. Очень приятно получать ваши письма. Наверное, и новости есть какие-нибудь в Москве.

Ваш *И. Бабель*

200. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

28 марта 1928 г., Париж

Тамара. Хоть убей, не помню, что было для тебя обидного в моем письме. По правде сказать, после твоих сообщений я совсем растерялся и не знал, должен ли я тебе писать, не доставят ли тебе мои письма новые огорчения, в которых как будто особенной нужды нет... Я не знал, в каком тоне следует мне писать, может, от этого чувства неловкости, растерянности письмо приняло дурной, неестественный характер, прости меня, если это так.

Я с Ольшевцем заключил договор, по которому мне до 1/I–29 ежемесячно будет выплачиваться по 200 р. и Мишке по 100 р. Теперь есть надежда, что будем сыты, а то в Париже я попросту недоедал, никогда не терпел такой нужды. С долгами подступили к горлу, у меня их на несколько тысяч рублей, долги вопиющие, неотложные. Посмотрим, даст ли «Закат» что-нибудь. Никогда я с большим отвращением не относился к этой пьесе, и разнесчастному, и надоевшему детищу, чем теперь. Вероятно, в марте уже выяснится, даст ли «Закат» что-нибудь в смысле материальном. Нет для меня сейчас большего счастья, чем заплатить долги да и тебе послать некоторую сумму для покрытия прошлых прорех — и для того, чтобы вы как-нибудь получше провели лето.

Я думаю, что усилие, которое я делаю сейчас для того, чтобы выпрямить мою жизнь, есть в то же время усилие, направленное к улучшению Мишкиной жизни. И кто знает, не во имя ли его это чудовищное, почти непереносимое уси-

лие... Я не хочу толковать об этом, слов мною наговорено довольно, пора бы дела показать, об этом я теперь только и думаю, и, может, и покажу... Но ты сделай истинную милость, скажи, посоветуй, что я могу сделать для Мишки сейчас, в нынешнем моем положении, т. е. до возвращения моего в Россию? Посоветуй, я никогда этой услуги не забуду...

До свиданья. Не сердись на меня. Мне живется трудно. Я хочу привести себя в такое состояние, чтобы я мог быть вам полезен, тебе и Мишке.

И. Б.

2/III–28

201. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

1 апреля 1928 г., Париж

Тамара. Я хворал гриппом, вообще здоровье мое все время плохо, потом уехал в деревню поправляться и работать, благо комнату дали даром. Приехал вчера на день в Париж, получил твои письма. Я телеграфировал тебе с почты, не мог написать ни одной строчки. Не хочу говорить, как я живу — вот с твоими жгущими письмами в кармане, что чувствую, — довольно об этом. Ты сердишься на меня, что я все толкую о деньгах, о деньгах, но, по-моему, только устройство наших дел, установление какого-нибудь бюджета поможет нам сохранить достоинство в наших нынешних обстоятельствах. Я отказываюсь верить тому, что ты написала в последнем письме, — что отказываешься от каких бы то ни было деловых разговоров со мной, от каких бы то ни было

денег. Не надо этого делать, Тамара, не надо добивать меня и себя.

Мое доверенное (в материальном смысле) лицо — Анна Григорьевна. Она должна была несколько дней т. н. получить в Модпике деньги для частичной расплаты с долгами, для посылки тебе и мне. Надеюсь, что она это уже сделала. Я телеграфировал ей вчера для того, чтобы она ускорила все эти операции. Я и без твоего напоминания понимал и чувствовал, что тебе противно иметь дело с какими бы то ни было посредниками. Поэтому задолго до твоего письма я просил ее послать тебе деньги просто почтовым переводом. Без ее совершенно формального, канцелярского, что ли, посредничества никак не обойтись, ведь должен же кто-нибудь делать за меня все это, — тебе я доверенность побоялся посылать, чтобы не наслать на тебя лишних огорчений. *Никто,* кроме нее, тебе впредь денег посылать не будет, и тебе никого не придется видеть по этому поводу, ей ничего ведь не стоит выполнить мою просьбу и посылать почтовым переводом.

Я не совсем понял, что ты мне написала о комнатах, как это ты собираешься выезжать. Комнаты эти принадлежат тебе, ты должна извлечь из них возможную пользу. Если у тебя снова затруднения — напиши мне, я попрошу Ингулова, нынешнего редактора «Нового мира» и давнишнего моего приятеля, помочь тебе. Он это сделает, и это не будет унизительно.

Теперь обо мне или, вернее, о мальчике. Только мысль о нем, сознание того, что он существует, дает мне силы делать то, что я делаю, — быть в изгнании, в уединении, работать и готовить мой приезд — достойный приезд, без шума, без

унижений, без суеты. Ты можешь мне не верить — я делаю для него все, что могу. Я хочу отвоевать у беды еще несколько месяцев, и тогда наступит черед дел, и я смогу придти к тебе и сказать, что у меня есть за душой и что я должен сделать. Если я молчал до сих пор и молчу, то только из уважения к тебе, из чувства горького нашего товарищества, я не хотел унижать тебя, морочить, путать словами, чувствами, жалобами, в которых нету силы, действия, твердости, окончательности. Не осуждай меня за это, Тамара, и давай додержимся до лучших времен, — почему не верить, что они наступят. Но только если с мальчиком случится что-нибудь худое, — тогда, я думаю, нам счастья никогда не будет. Что с ним? Почему он захворал? Что это значит — ему лучше? Как твоя нога? Пиши мне, прошу тебя, пиши.

И. Б.

1/IV–28

202. Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 2/IV–28 *2 апреля 1928 г., Париж*

Дорогой Л. В.

С наслаждением прочитал в «Новом мире» Ваш прелестный, действительно прелестный очерк и, грешный человек, позавидовал вам — вот ведь никакого глубокомыслия, с прозрачной ясностью, простотой и умом. Я как-то никак не могу слезть с натуры. Очерк этот — лучшее, что я читал в наших журналах «о заграничных впечатлениях». Вот вправду взял умный и умудренный человек читателя за руку,

и повел, и показал — без философии на века, без рискованных и часто дурацких противопоставлений, без назойливого учительства, — и показал так, что и сказать ничего нельзя — чистая правда и очень тонкая, очень честная, — и написано так же. Мне очень понравилось, и другим читателям тоже.

Я жду итальянской визы. Если дадут, поеду на месяц в Сорренто и, если ограниченные средства позволят, — еще куда-нибудь. Об отъезде сообщу вам.

Жалею Ольшевца. Я очень люблю породу евреев-пьяниц. Ведь это часто единственное, за что можно простить человека. Что он теперь делает? Первой книжки «Красной нови» не видел. Постараюсь найти. Если не трудно — пришлите.

<...> Приезжайте в августе. До этого времени я еще буду в Париже — вряд ли до августа кончу мой «Сизифов труд». Теперь здесь очень интересно, — можно сказать, потрясающе интересно — избирательная кампания, — и я о людях и о Франции узнал за последнюю неделю больше, чем за все месяцы, проведенные здесь. Вообще мне теперь виднее, и я надеюсь, что к тому времени, когда надо будет уезжать, — я в сердце и в уме что-нибудь да увезу. Будьте веселы и трудолюбивы!!! Будьте веселы и благополучны!.. Открытки ваши, выражаясь просто, растапливают мне сердце, и прошу их слать почаще.

Ваш *И. Бабель*

P. S. Что такое произошло с Полонским? Отчего он пал и в чем выражается его воскресение? И еще одна просьба — узнайте по телефону у кого-нибудь домашний адрес Ольшевца, я хочу ему написать, пускай не думает, что я хам.

И. Б.

203. Ф. А. БАБЕЛЬ

<2 апреля 1928 г., Париж>

<...> Пьеса все-таки идет в Москве. Теперь уже все знают, что я сделал mon possible*, но театр не смог донести до зрителя тонкости, заключающейся в этой грубой по внешности пьесе. И если она кое-как держится в репертуаре, то, конечно, благодаря тому, что в этом «сочинении» есть от меня, а не от театра. Это можно сказать без всякого хвастовства. Теперь — московские новости. Вслед за Полонским из «Нового мира» вышиблен Ольшевец, и можешь себе представить — за что? За пьянство. Он учинил в пьяном виде какой-то дебош в общественном месте, и течение его карьеры прервалось. Очень жалко. Я всегда любил эту разновидность людей — а йид, а шикер...** Но самое, как говорится, пикантное впереди. На место Ольшевца назначен... Ингулов. Я получил от него очень трогательное письмо — что вот, мол, мы начинали вместе, что я первый в вас поверил, и теперь судьба, после нескольких лет перерыва, снова сводит нас на тех же ролях, и что мы и на этот раз покажем миру... и прочее и прочее... Действительно, в этом возвращении «ветра на круги своя» есть что-то символическое и мне лично очень приятное <...>

И.

---

* Все возможное (*фр.*).

** Еврей-пьяница (*идиш*).

204. А. М. ГОРЬКОМУ

Париж, 10/IV–28 *10 апреля 1928 г., Париж*

Дорогой Алексей Максимович!

Я жду итальянской визы. Ожидание это может продлиться неделю, а может, и больше. Напишите мне, пожалуйста, когда Вы едете в Россию. Как бы нам не разминуться… По совести говоря, Италия потеряет для меня тогда свою притягательную силу.

Я ничего не написал по поводу Вашего юбилея, потому что чувствовал, что не сумею сделать это так, как надо. О Ваших книгах и о Вашей жизни у меня есть мысли, которые мне кажутся важными, но они не ясны еще, сбивчивы, противоречивы… Придет время, когда я все додумаю и смогу написать о Вас книгу, я верю в это… А пока помолчу. Но все эти дни я шлю Вам лучшие пожелания моего сердца, пожелания, какие только можно послать человеку, ставшему неразлучным нашим спутником, другом, душевным судьей, примером… Мысль о Вас заставляет кидаться вперед и работать изо всех сил. Ничего лучше нельзя придумать на земле.

Ваш *И. Бабель*

205. А. Г. СЛОНИМ

19 апреля 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна. Послал сегодня Илюше художественные журналы. Прошу подтвердить их получение.

Интересны ли они? Пусть Илюша напишет, если не лень, я тогда еще пошлю.

<...> Мне кажется, что очень годится для перевода Francis Carco[*], по-моему, хороший писатель. Я Вам пошлю несколько его романов.

Итальянской визы все нет. Я думаю, что еще несколько дней, и моя поездка потеряет смысл — Горького уже не будет в Сорренто. Повидаться с ним хочется, но я не очень буду убиваться, если поездка не состоится. Как-никак — она разобьет мою работу, а я бы хотел избегнуть этого.

Выйдет ли что-нибудь с романом Бенуа?

У меня ничего нового — работаю педантично, как немецкий профессор. Наверное, выйдет дрянь. Здесь теперь избирательная кампания bat son plein[**]. Надо по совести сказать, что демократия представляет собою часто зрелище шумное, суетливое и омерзительное. Для нас, конечно, «наблюдателей», — очень интересно.

Надеюсь, что дня через два-три получу от Вас благую какую-нибудь весть, тогда настрочу послание пообширнее, а пока желаю здравствовать в мире и веселии с присужденным мужем и единоутробным скульптором.

Жму руку.

Ваш *И. Бабель*

P. 19/IV–28

---

[*] Франсис Карко (*фр.*).

[**] В полном разгаре (*фр.*).

206. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

П. 27/IV–28 *27 апреля 1928 г., Париж*

Я никогда не спрашивал у докторов, но думаю, что у меня плохой обмен веществ. Миша это унаследовал. Если он унаследует еще твою нервную систему, то это, как говорят французы, будет «complet». Я никогда не хотел «продолжать себя» в потомстве, я с ужасом думал о том, что могу передать моему сыну то, с чем мне так жестоко приходится бороться. Надо думать, что худшие мои предположения оправдались. Но унывать нечего, надо защищаться. Мне кажется, что пройдет несколько месяцев, я поработаю, залечу многие глупости, сделанные мною, и смогу быть истинно полезен тебе и Мишке. Если бы я теперь приехал в Россию, это было бы еще ужаснее моего отъезда и никому никакой пользы не принесло бы. Напасти, сыплющиеся на тебя, превосходят силы человека. Я теперь безоружен, и помощь моя ничтожна. Я был бы счастлив, если бы смог хотя бы не мешать тебе жить хорошо. Поверь, Тамара, и мне трудно живется, но это вздор, который можно преодолеть. Я еще не утратил веры в то, что мы выправимся, если найдем в себе хотя бы немного спокойствия, терпения и внутренней гордости. Впрочем, это, кажется, начинаются советы… Тебе с ними нечего делать… Я знаю, что дети часто хворают, но болезни Миши и теперь Татьяны неисчислимы, непрерывны, смертельны. Как ты думаешь, Тамара, может, тут дело не только в том, что они подвержены заразе, может, это квартира зараженная или они гуляют мало, не закаляются?.. Право, тут не знаешь, что думать.

Денежные мои дела очень плохи и, боюсь, до конца года не поправятся. В апреле было несколько сот рублей, которые можно было внести Центросоюзу в счет долга, но я подумал, что тебе деньги нужнее, чем Центросоюзу. Получила ли ты триста рублей и потом сто пятьдесят? Я просил Анну Григорьевну отправить тебе эти деньги немедленно. Может быть, удастся внести в начале мая рублей 250 Центросоюзу, а может, и не удастся. Денег у меня как будто в Москве никаких теперь нет. Я снова написал в Центросоюз, может быть, внемлют. История с мебелью чудовищна. Как это ты додумалась давать за меня гарантию, чего стоит в смысле денежного обязательства твоя гарантия, на какой черт она им сдалась и что они могут за эту несчастную мебель выручить?.. Я думаю, что до продажи мебели не дойдет, это нелепо, и они разрешат мне рассрочку.

Я ломаю себе голову над тем, как бы добыть еще денег, хотел бы начать халтурить, но не могу, как ни бьюсь, не могу.

Ты пишешь мне редко, неизвестность страшна. Я много раз брался за перо, чтобы писать тебе, но потом откладывал, — боюсь, что тебе неприятно получать от меня письма. Надо бы забыть обо всем этом, надо спасать детей... Мне стыдно это говорить, мне, который ничего для этого не делает, но я ничего не могу сделать. До свиданья. Нет такого дня и такого часу, когда бы я не думал о вас и по-своему, по-дурацкому, не молился бы за вас, но вот бога нет, которому можно бы помолиться.

И. Б.

207. А. Г. СЛОНИМ

28 апреля 1928 г., Париж

Ура, получил двести долларов! Ура! Можно себе представить, какие чудеса настойчивости Вы проявили, милая Анна Григорьевна. Спасибо, не просто спасибо для вежливости, а от глубины организма!..

Письма мои и телеграммы, увы! Вас, вероятно, замучили. Если Модпик в припадке безумия выдаст 500 рублей, то — как я Вас уже просил в прошлом письме — пошлите почтовым переводом в Центросоюз 250 рублей, а остальные зажмите в кулак и держите крепко! Ну их к бесу, с их отсылками, всю душу вымотали, лучше я здесь буду выискивать жертву...

Завтра второй тур французских выборов. Вот дела делаются! Дожить бы, увидеться с Львом Ильичом и рассказать ему, что я знаю о французской демократии, а знаю я уже порядочно. Тартарены из Тараскона переживают полосу расцвета — впрочем, как и во всяком строе есть «холодное и горячее»...

«Поставщик» мой сообщил мне, что он отправит Вам романы Карко только в понедельник, за что я измерзавил его, но, находясь на чужой и нейтральной территории, не мог принять более действительные меры воздействия...

После двухмесячного перерыва выглянуло солнце, чего и Вам желаю. Шовинистические французы говорят, что такое живительное солнце бывает только во Франции и из всей Франции только в Париже. Ладно...

Таперича до свиданья, и кланяюсь Вам от бела лица до сырой земли, и Вы обо мне еще услышите!!!

Ваш *И. Б.*

Р. 28/IV–28

208. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

5 мая 1928 г., Париж

Тамара. Твое последнее письмо обрадовало меня. Не бог весть какие радостные вещи в нем содержатся, но все же хоть на этот раз нет ужасных этих неожиданных несчастий. Очень жалею Таню. Мне кажется, что осложнения на суставы — скоропреходящи, об этом много приходится слышать, и у всех улаживается. «У людей все как у людей», а тут из кулька в рогожу, из осложнения в осложнение. Ну, да выздоровеет она, — одной болячкой на счетах будет меньше, скарлатина, кажется, не возвращается. Скажи на милость, почему это у мальчика все время течь из уха? Разве это имеет какое-нибудь отношение к болезни обмена веществ? Думаю, что никакого отношения, так откуда это? Надо бы мне повидаться с ним... Ну, да passons*.

Денежные твои дела повергают меня в отчаяние, и есть, от чего придти в отчаяние. Боюсь, что в мае я никаких денег не раздобуду. Вообще же и ближайшие три-четыре месяца будут месяцами лишений, зная это — как тут быть? Я работаю недавно, в форму вхожу трудно, с маху стоящую книгу

---

* Прошло (*фр.*).

не напишешь, по крайней мере я-то не напишу... Что же ты будешь делать и где достанешь нехватающие деньги? Теперь-то ты ничего заработать не можешь, а есть ли по крайней мере шансы какие-нибудь? Бедная ты, работа прервалась, я знаю, как трудно наладиться вновь... Может, мне стоит написать что-нибудь Ингулову (нынешнему редактору «Нового мира»), — он, может, по старой дружбе окажет какую-нибудь протекцию?..

Я просил Анну Григорьевну из первых денег, из каких угодно денег внести хоть небольшую сумму Центросоюзу, чтобы заткнуть глотку и отвести от тебя и меня эту унизительную угрозу. Очень хорошо, что дело отложили до 2 августа, — до этого времени часть долга заплатим.

Буду теперь раскидывать мозгами, как бы в эти три-четыре скудных месяца заработать сверх комплекта.

Ну что же, Тамара, дай тебе бог и все ангелы его спокойствия. Не сердись на меня, если я пишу дурно. Это значит, что я думаю лучше и сердечнее, чем пишу.

И. Б.

П. 5/V–28

209. Ф. А. БАБЕЛЬ

<21 мая 1928 г., Париж>

<...> В России вышел сборник статей обо мне. Читать его очень смешно, — ничего нельзя понять, писали очень ученые дураки. Я читаю все, как будто писано о покойнике — так далеко то, что я делаю теперь, от того, что я делал

раньше. Книжка украшена портретом работы Альтмана, тоже очень смешно, я вроде веселого мопса. Сборник пошлю вам завтра. Пожалуйста, сохраните его, надо все-таки собирать коллекцию <…>

И.

210. А. Г. СЛОНИМ

27 мая 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна. В четверг в Candidé[*] (правая еженедельная литературная газета) началась печатанием автобиография Муссолини. Газету я Вам послал в день выпуска заказной бандеролью (теперь я думаю — не лучше ли было бы послать и на адрес какой-нибудь редакции) и последующие номера буду посылать аккуратно. Этим материалом Вы обязательно воспользуйтесь — я думаю, любое издательство возьмет его (с купюрами, если надо, или сопроводив предисловием). Получение газеты очень прошу подтвердить мне воздушной почтой. Кроме того, несколько дней тому назад вышли мемуары Айседоры Дункан, книга, возбудившая сенсацию своей откровенностью и оригинальностью. Многие сравнивают ее с Confessions Roussean[**]. Я дочитаю ее сегодня и завтра пошлю Вам заказной бандеролью. Это, по-моему, должно пойти.

«Красная нива» просила меня присылать им очерки и рассказы французских писателей. Я это буду делать, и у меня

---

[*] Кандид (*фр*.).

[**] «Исповедь» Руссо (*фр*.).

будет, таким образом, случай свести Вас с Ингуловым, редактором «Красной нивы», моим старым приятелем. Это, я думаю, самое верное дело, от него я ожидаю для Вас наибольших результатов.

Получил ли Илюша две маленькие книжки о скульпторах?

<…> Простите, что пишу так хаотически и таким экстраординарным почерком — у меня всего несколько минут до закрытия почты, я ужасно тороплюсь, хочется, чтобы это письмо ушло завтра на рассвете.

До свиданья, милые мои москвичи.

Ваш *И. Бабель*

P. 27/V–28

P. S. 200 рубл. получил. Да благословит Вас наш старый бог!

211. Е. Д. ЗОЗУЛЕ

8 июня 1928 г., Париж

Милый Зозуля. Сима с «дитём» еще не были у нас, а может, и были, но нас не застали, мы на несколько дней уезжали в Бретань, к океану. Сделали больше тысячи километров на автомобиле, очень было хорошо. Не ложно говоря, будем страшно рады повидаться с Вашей женой и девочкой.

Денежные мои дела Вы нисколько не нарушили, но вот, пожалуйста, займите Анне Григорьевне 40 рублей для меня. Ей эти деньги нужно отослать в одно место немедленно, а гонорарий у меня предвидится только через несколько дней.

Как получаются у Вас картины? Вот ругайте меня дураком, а я их вижу, и они, кажется мне, хороши.

Работать я работаю, немного, конечно, много не умею, но гораздо методичнее, чем раньше; боюсь, как бы господь бог меня за эту методичность не наказал. Верный своей системе — я буду откладывать печатание как можно дольше.

Как поживают Лазарь Шмидт и Кольцов, кланяйтесь им от меня, кланяйтесь как можно душевнее. Если у Вас или у них есть какие-нибудь поручения (личные или журнальные), напишите мне, я все немедленно исполню; времени у меня порядочно, работаю я часа четыре в день, остальное время «фланирую» или, как сказал бы репортер, «наблюдаю».

Собираетесь ли Вы осенью за границу? Не смогли бы мы с Вами вместе учинить какую-нибудь эскападу? Мне здесь при всяких обстоятельствах еще несколько месяцев прожить придется.

Ну, до свиданья, до скорого, хорошо бы...

Любящий Вас *И. Бабель*

Евг[ения] Бор[исовна] кланяется и ждет обещанного письма.

Париж, 8/VI–28

212. А. Г. СЛОНИМ

8 июня 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна. Получили ли Вы номера Candidé и мемуары Дункан?

<...>В здешних газетах было объявление, что на днях можно ждать опубликования рассказа авиаторов, перелетающих теперь Тихий океан. Это материал, который обязательно пойдет в Москве, я буду следить за этим делом, и как только статья появится, пошлю Вам ее воздушной почтой.

Неужели эти дураки не воспользуются мемуарами Дункан? Ведь действительно интересная книга.

Я совершил четырехдневную поездку в Бретань к океану на автомобиле, очень было хорошо — теперь наверстываю потерянное время и работаю, сколько могу.

Ну, до свиданья, дорогое «доверенное лицо». От всей души кланяюсь Льву Ильичу и Илюше.

Ваш *И. Бабель*

П. 8/VI–28

213. А. Г. СЛОНИМ

26 июня 1928 г., Париж

Милая Анна Григорьевна.

Переводы для «Красной нивы» начнут поступать к Вам с начала будущего месяца. Очередной номер «Candidé» я выслал. Ищу теперь только что вышедшую (или, может, она выйдет через день-два) книжку о знаменитом загадочном мультимиллионере Базиле Захарове (акционере величайших оружейных заводов мира). Книжка эта для Советской России, для разоблачения махинаций финансовых кругов и пушечных королей в деле подготовки войны представляет чрезвычайный интерес. Заявите ее, не теряя времени, в Гос-

издате или лучше в Зифе. Если найдете нужным, можете позвонить Владимиру Ивановичу Нарбуту о том, что, по моему мнению, книгу эту следует издать во что бы то ни стало. За июнь я не получил от моего контрагента «Нового мира» ни одной копейки. Очень прошу Вас позвонить в контору «Нового мира» и попросить их выслать мне деньги за июнь телеграфно, без всякого промедления, потому что, гм-гм, жить, как бы это сказать, не на что, и, кроме того, деньги за июль попросите выслать в начале месяца, по возможности 1-го июля. Это очень для меня важно. Я думаю, что для Вас не составит труда позвонить заведующему конторой и, в случае надобности, проследить исполнение моей просьбы.

Вот и все дела.

Тружусь. Конца трудам не видно. Еще годов на пять работы есть, а потом начну свиней разводить. Скучаю по России. Как только выполню намеченную мною программу — полечу в Россию с восторженным кудахтаньем.

Всем вам, как пишут мужики, — поклон с сердечной любовью.

П. 26/VI–28 *И. Б.*

P. S. Описание перелета через Тихий океан еще не вышло. Книгу обещают выпустить очень скоро.

214. Ю. П. АННЕНКОВУ

28 июня 1928 г., Париж

Дорогой Юрий Павлович. Целую неделю ждал от Вас письма. Отчаявшись получить его, я принял приглашение

одного замечательного француза приехать к нему погостить. Выезжаю туда (в Нарбонн — чудесное, говорят, место) завтра, пробуду там дня четыре, а потом, друг мой, надо ехать к маме в Брюссель. В Брюсселе я тоже пробуду недолго, и тогда бы можно дернуть к морю. Но Вы-то как долго останетесь в Сент-Маре? Как Вам там живется? Работаете ли? Напишите мне, не откладывая, для того, чтобы я мог сообразить — застану ли я Вас еще в Сент-Маре после поездки в Брюссель. Черт Вас дернул так долго молчать. Вместо Нарбонн я поехал бы к Вам!.. Но теперь отказаться нельзя, за мной пришлют автомобиль и пр. ...

В Париже жара и лето в цвету. Душа просит моря и солнца, но такое время настало для нас, что душу, что ни день, надо осаживать.

Будьте веселы и безмятежны. Е[вгения] Б[орисовна] кланяется от бела лица до сырой земли.

Ваш *И. Бабель*

215. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 7/VII–28 *7 июля 1928 г., Париж*

Милая Анна Григорьевна!

<...>Я много работал и разъезжал (правда, победнее, чем американские миллионеры) в последний месяц, — работал, потому что надо, а разъезжал, потому что здоровье мое оставляет желать лучшего. Я затеял «Сизифов труд», почти для меня непосильный, и мозги часто мне изменяют, переутомляются, мне нужно призвать на помощь всю силу

воли для того, чтобы выйти победителем из борьбы (а это борьба), которую я теперь веду, — войны с собственными нервами, с мозгами, с утомляемостью, с собственной бездарностью, с припадками слабости, с условиями чужбины. Жаловаться тут, конечно, не на что. Жизнь тогда только и похожа на что-нибудь стоящее, когда борешься.

С высылкой очередного номера «Кандида» я запоздал, потому что был в деревне; с опозданием, но все же я его выслал. Остальные буду посылать правильно. Письмо Нарбуту я напишу, когда выйдет книжка о Базиле Захарове, это случится, я думаю, через день-два; я пошлю ее Вам одновременно с письмом к Нарбуту. Статью от французского журналиста для «Красной нивы» получил, но она нуждается в коренной переделке, мне придется написать ее почти наново, поэтому нельзя было ее послать Вам. Подождем следующей. В Россию я рвусь всей душой — и думаю, что до конца этого года смогу выехать. Все зависит от того, как пойдет моя работа. А ее столько, размахнулся я так широко, что поневоле все идет медленно, а кроме того, «поспешишь — людей насмешишь». До свиданья, бедная моя спасительница, да благословят боги Вас, и супруга вашего, и сына вашего, и угодья ваши, и скот ваш, и всех нас грешных! Аминь!

И. Б.

P. S. Если не сочтете это бестактным, позвоните еще раз в контору «Нового мира» — чтоб они пораньше бы выслали деньги в этом месяце.

И. Б.

216. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Париж, 7/VII–28 *7 июля 1928 г., Париж*

Прости, Тамара, что так долго не писал. Причина этому — нездоровье, не такое, чтобы лежать в постели, а похуже — болезнь нервов, частая утомляемость, бессонница. Я, по правде говоря, мало трудился на моем веку, больше баловался, а вот теперь, когда надо работать по-настоящему, мне приходится трудно. 13-го мальчик именинник. Я о нем думаю непрестанно, ежечасно. Очень тягостно это положение, когда ничем ему не помогаешь, а скорее вредишь... Но я верю, что смогу заплатить, хотя бы ему, душевный мой долг.

Если Анне Григорьевне удастся получить для меня в этом месяце какие-нибудь деньги, она кое-какие гроши пошлет и тебе. Истинно гроши, но ты знаешь, у меня теперь нет денег. Собираюсь поехать на некоторое время к матери в Брюссель; м<ожет> б<ыть>, поселюсь с ней в приморской какой-нибудь деревушке; там, говорят, жизнь очень дешева, а это для меня важное соображение.

Ты обещала мне прислать карточку Мишки. Ты окажешь мне громадное благодеяние, если исполнишь это обещание и вообще напишешь о нем, ты очень хорошо это делаешь.

Работаешь ли ты?

До свиданья. Постараемся как можно лучше прожить новый год нашей жизни.

И. Б.

Получил несколько писем от Горького. Он просит меня приехать, обещая, что устроит у себя, что у него тихо, мож-

но работать и расходов никаких не будет. Я бы хотел поехать, но пока нету денег на дорогу. Если раздобуду, напишу тебе и сообщу адрес.

И. Б.

217. А. Г. СЛОНИМ

20 июля 1928 г., Париж

Дорогая Анна Григорьевна. Я пишу Вам теперь редко и скупо, потому что, если говорить по совести, то нынешнее мое состояние проще всего назвать словом болезнь. Борьба с нею занимает у меня столько времени, что для самых важных и душевных моих обязанностей не остается сил.

Послезавтра мы едем с Е[вгенией] Б[орисовной] в Бельгию к моей сестре и матери, рассчитываем поселиться с ними в маленькой приморской деревушке и пожить, сколько поживется, потом ненадолго вернусь в Париж — и затем в Россию, не в Москву, а в Россию, потому что у меня такое чувство — все, что я мог сделать за границей, — сделано.

«Кандид» я Вам посылаю аккуратно, не понимаю, почему Вы не получили последних номеров. Книга о Захарове все еще не вышла, письмо Нарбуту я пошлю одновременно с отсылкой книги Вам.

<...> Несмотря на наш отъезд, пишите по-прежнему в Париж, письма перешлют, а если осядем где-нибудь, я адрес сообщу Вам немедленно...

Я подумал о том, что не надо сообщать Центросоюзу, где Вы возьмете 300 рублей для отдачи им, — а просто им

сказать, что Вы получили от меня денежное такое поручение и выполните его первого. Право, я хотел бы поскорее вернуться в Россию уже только для одного того, чтобы перестать мучить Вас. Ну, до свиданья, милые мои, пора уже писать «до скорого свидания». Я думаю о всех вас с нежностью и с добрым чувством.

Ваш *И. Бабель*

Р. 20/VII–28

218. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Париж, 22/VII–28 *22 июля 1928 г., Париж*

Где тонко, там и рвется. Я, кажется, писал тебе о своей болезни, о том, что работать я не в состоянии, с великим трудом волочу «бремя дней». Ты сама можешь судить, как это все кстати. Я серьезно подумываю о том, чтобы центр тяжести моей жизни перевести из литературы в другую область. У меня всегда было так: когда литература была побочным занятием, тогда все шло лучше. С такими требованиями к литературе, как у меня, и с такими ограниченными возможностями исполнения нельзя делать писательство единственным источником существования. В России я все это переменю. Завтра еду в Брюссель, повидаться с матерью и сестрой, пожить там, если будет к тому возможность, потом вернусь на короткое время в Париж и отсюда уеду в Россию. Только там я смогу снова стать «ответственным» за свои поступки человеком, сочинить какой-нибудь план жизни. Ты не знаешь, как мучает меня мысль о Мишке, но что болтать попусту до

времени, до того времени, когда и я смогу сделать что-нибудь!.. Подала ли Анна Григорьевна признаки существования? Я просил ее послать денег, сколько может, тебе, кое-какие вещи Мишке. Не знаю, была ли у нее возможность выполнить мою просьбу. Я был так плох все последнее время, что совсем забросил мои денежные дела, и они обстоят так, что лучше об этом не говорить. Все же насчет Центросоюза я сделал распоряжения, которые должны их удовлетворить.

Сообщение твое о Тане ужасно. Что такое случилось, почему такая страшная болезнь? Объясни мне, очень прошу. Я не могу сказать всех слов, которые у меня на сердце, и как страстно я хочу ее выздоровления.

Мишка совсем стал похож на тебя, поразительно похож. Будет по крайней мере красивый человек. Может, к этому приложатся и другие хорошие качества... Но, правда, я смотрю на карточку, — совсем ты... Он удивительно мил...

Я тебе сообщу из Брюсселя мой адрес. Я верю в то, что Таня поправится, я не могу думать иначе.

И. Б.

219. А. Г. СЛОНИМ

St. Idelsbad (parcoxyde),
Villa Gustave Belgique
31/VII–28 *31 июля 1928 г., Бельгия*

Милая Анна Григорьевна!

Не могу сказать Вам, как переполнена благодарностью душа моя за то, что добровольно Вы расхлебываете заваренную

мной кашу. Я здесь кое-как работаю, без Вас я не мог бы этого делать. И если из моей работы выйдет толк, — право, не малая заслуга будет принадлежать Вам. Я постепенно сокращаю фронт моих метаний, дел, отношений и, несмотря на все мелкие и гнусные неприятности, не теряю куражу ни на минуту и линию свою буду гнуть до тех пор, пока не согну ее. Что это с Львом Ильичом? Не переутомился ли он? Какие мы неверные, хрупкие машины, — и если бы их колеса не были одушевлены волей, то вся эта история вообще ни к черту бы не годилась. Надо бы Льву Ильичу, конечно, в деревню, к солнцу и воде — но что советовать, Вы сами знаете... Я всеми силами души желаю ему выздоровления.

Получили ли вы книгу Лоуренса? Трудно найти лучшую книгу для перевода. Будет совершенно бессмысленно, если издательства откажутся от нее. Жалко упустить такой случай. Напишите мне, что Вам ответят в Зифе <...>

«Новому миру» я отправлю сегодня ясное и искреннее послание. Я скажу им, что, несмотря ни на что, я не изменю ни на йоту систему своей работы, не ускорю ее насильно ни на один час и никаких точных сроков не назначу. Все, что я напишу, я отдам им, а к прекращению «пенсиона» я готов. Всем «подведомственным мне лицам» я объявил, что с радостью вхожу в период денежной нужды, что жизнь свою я перестрою так, чтобы не зависеть от литературных заработков, и что только при соблюдении этого условия из моих дел выйдет толк. Пробуду я здесь числа до 20-го августа, потом уеду в Париж и там буду готовиться к путешествию на родину. О сроках я, конечно, сообщу Вам. Работал ли в последнее

время Илюша? Доволен ли он своей поездкой в Ташкент? Постараюсь из здешних глухих мест отправить письмо воздушной почтой. Страна Фландрия чудесна. Мне это нравится больше Франции. Сердце мое лежит, оказывается, больше к германским северным народам. Раньше никогда бы я этого о себе не подумал. Погода, впрочем, плохая. Купаться все еще нельзя. Я-то этого не замечаю, у меня делов много, но спутники ропщут. Писать можете мне по адресу, изложенному на конверте. До свидания, мои спасители.

И. Бабель

220. В. П. ПОЛОНСКОМУ

St. Idelsbad,
Villa Gustave Belgique
31/VII–28 *31 июля 1928 г., Бельгия*

Дорогой Вячеслав Павлович! Мне переслали из Парижа письмо Вашего секретариата, формально правильное и чудовищно несправедливое и мучительное по существу. Я отвечу на него как можно искреннее, скажу, что думаю. А думаю я, что, несмотря на безобразные мои денежные обстоятельства, несмотря на запутанные мои личные дела, я ни на йоту не изменю принятую мною систему работы, ни на один час искусственно и насильно не ускорю ее. Не для того стараюсь я переиначить душу мою и мысли, не для того сижу я на отшибе, молчу, тружусь, пытаюсь очиститься духовно и литературно, — не для того затеял я все это, чтобы предать себя во имя временных и не бог весть каких важных интересов.

Месяца два тому назад я попытался поднатужиться, смазать, поспешить и поплатился за это страшным мозговым переутомлением, неработоспособностью, выбытием из строя на полтора месяца. Больше это не повторится. Попрежнему стою я на том, чтобы всю сделанную работу сдать «Новому миру», по-прежнему я полагаю, что несколько вещей я успею сдать до 1 января. Если редакция прекратит мне выплату денег — я ни в чем не изменю своего отношения к «Новому миру» и никому, кроме как Вам, рукописей не пошлю. Возможно, что денежная нищета послужит мне только на пользу и я смогу на пять месяцев раньше привести в исполнение задуманный мной план. План этот заключается в том, чтобы на ближайшие годы перестроить душевный и материальный мой бюджет таким образом, чтобы литературный заработок входил в него случайной и непредвиденной частью. Тряхну-ка я стариной, нырну в «массы», поступлю на обыкновеннейшую службу — от этого лучше будет и мне, и моей литературе.

В России я буду в начале октября. Пишу Вам с побережья Северного моря, гощу у сестры. В конце августа вернусь в Париж. Я затеял там собирание материалов на очень интересную тему. Поиски эти возьмут у меня месяц, а потом домой.

Горестное письмо «Нового мира» смягчено известием о возвращении Вашем в редакцию. В последние месяцы русская литература не балует нас добрыми вестями, поэтому нынешний день для меня, для любителя российской словесности, — радостный, а не грустный. Признание это тем более

имеет цены, что оба ваши предшественника были давнишние мои личные друзья. До свидания, Вячеслав Павлович.

Любящий вас *И. Бабель*

P. S. Сделайте одолжение: попросите секретариат написать мне, будут они мне посылать деньги или нет. Мне это, как Вы понимаете, важно знать.

И. Б.

221. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Панн. 6.8.28 *6 августа 1928 г., Панн*

Тамара. Отношения мои с «Новым миром» не таковы, чтобы я мог обращаться к ним с просьбами. У меня нет основания думать, что просьба моя будет уважена. Ничтожная вероятность успеха (а м<ожет> б<ыть>, я слишком пессимистичен — не знаю) есть только в том случае, если ты сама пойдешь с моим письмом к Полонскому (он, оказывается, снова редактор). Напиши мне, пожалуйста, что ты об этом думаешь!

Прости меня за огорчения, которые доставляет тебе, ни в чем не повинной, дело с Центросоюзом. Я не могу платить им быстрее, чем плачу. Постараюсь, не путая тебя в это дело, внести до 28/IX еще немного денег.

Как здоровье Тани? Об этом очень прошу тебя написать. Я гощу теперь у сестры и матери, невесело здесь. Сестра очень больна, хронически, мать от этого всегда грустна; муж у сестры тишайший человек, но тоже хилый, чуть дунешь — рассыплется. Пробуду с ними до 15-го, потом поеду в Брюссель

и 25/VIII рассчитываю быть в Париже. Письма свои ты так и можешь рассчитать.

В Москве вы или за городом? Мне очень грустно оттого, что я не мог послать вам денег нынешним летом, но у меня их нет и не скоро они будут. Все же я думаю, что по приезде в Россию я могу быть вам полезнее, чем теперь. Мишка еще мал, у меня одна надежда — выправиться и выпрямиться до тех пор, пока он станет соображать. В работе моей был большой перерыв, вызванный переутомлением, — я снова стараюсь работать, но, к сожалению, мозги мои все еще не в «форме».

Как твоя нога? Все ли прошло? Я боюсь писать тебе подробнее, п. ч. не знаю, что с Таней.

И. Б.

222. Л. В. НИКУЛИНУ

Остенде, 7/VIII–28 *7 августа 1928 г., Остенде*

Дорогой Лев Вениаминович. По доходящим до меня слухам, театр МГСПС отлично и до конца справляется с парижской буржуазией, но пусть он возьмется за Остенде! Даже его фантазии не хватит! Повидал я всякой всячины на моем веку — но такого блистающего, умопомрачительного Содома и во сне себе представить не мог. Пишу я Вам с террасы казино, но здесь я только пишу, а кушать пойду в чудеснейшую рыбачью гавань, где фламандцы плетут сети и рыба вялится на улице. Выпью за Ваше здоровье шотландского пива и съем фрит мули. Будьте благополучны.

Ваш *И. Бабель*

223. А. Г. СЛОНИМ

Остенде, 7/VIII–28 *7 августа 1928 г., Остенде*

Милые защитники и покровители. Пишу вам с террасы казино и то, что на сем виде изображено, то и вижу. И, следовательно, перед моими глазами расстилаются самые богатые, бездельные люди мира и самые красивые и голые женщины — какие только есть на нашей планете. Ни во сне, ни наяву не мог я этого себе представить. Тут что за англичанина ни возьми — он мог бы выстроить машиностроительный завод и проложить асфальтовую дорогу на 100 километров...

Биографию Линдберга пока не нашел. Если здесь найду — вышлю из Брюсселя.

Ваш *И. Б.*

224. Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 30/VIII–28 *30 августа 1928 г., Париж*

Дорогой Л. В. Я до сих пор не привел свою литературу в вид, годный для напечатания. И не скоро еще это будет. Трудновато мне приходится с этой литературой. Для такого темпа, для таких методов работы нужна бы, как Вы справедливо изволили заметить, Ясная Поляна, а ее нет, и вообще ни шиша нет, я, впрочем, этих шишей добиваться не буду и совершенно сознательно обрек себя на «отрезок времени» в несколько годов на нищее и веселое существование. Вследствие всех этих возвышенных обстоятельств — я с истинным огорчением (правда, мне это было очень грустно) отправил

Вам телеграмму о том, что не могу дать материала для газеты. В Россию поеду в октябре. Где буду жить — не знаю, выберу место поглуше и подешевле. Знаю только, что в Москве жить не буду. Мне там (в Москве) совершенно делать нечего... Какой такой дом Вы выстроили и где?

Я сейчас доживаю здесь последние дни и целый день шатаюсь по Парижу — только теперь я в этом городе что-то раскусил. Видел Исаака Рабиновича, тут, говорят, был Никитин, но мы с ним, очевидно, разминулись, а может, я с ним увижусь. Из новостей — вот Анненков тяжко захворал, у него в нутре образовалась туберкулезная опухоль страшной силы и размеров. Позавчера ему делали операцию в клинике, где работал когда-то Дуайен. Мы очень боялись за его жизнь, но операция прошла как будто благополучно. Доктора обещают, что Ю. П. выздоровеет. Бедный Анненков, ему пришлось очень худо. Пошлите ему в утешение какую-нибудь писульку.

Прочитал сегодня о смерти Лашевича и очень грущу. Человек все-таки был такой — каких бы побольше!

Ну, до свидания, милый товарищ, с восторгом пишу: до скорого свидания.

Ваш *И. Бабель*

225. И. Л. ЛИВШИЦУ

Париж, 31/VIII–28 *31 августа 1928 г., Париж*

Дорогой мой! Только что получил твое письмо. Очень жалко Надежду Израилевну, она все-таки была недюжин-

ный и достойный человек, и жалко вас. Я хорошо знаю, что это такое — смерть в доме. Что теперь будет делать бедный Верцнер?.. Будут ли Верцнеры по-прежнему жить в Одессе? Напиши мне, пожалуйста, от какой смерти умерла Надежда Израилевна. Мама и Мера, когда узнают об этом, будут в совершенном отчаянии.

Я собираюсь выехать в Россию в конце сентября или в начале октября. Лева уезжает в Америку 26-го сентября. Так как он не может взять мать с собой, то бедная Женя должна будет остаться со старухой в Париже еще на неопределенное время. Вот крест!.. Где я буду жить в России, еще не знаю. Не думаю, чтобы в Москве. О работе моей я сам не могу сказать — двигается она или нет. A force de travailler* — настанет такой день, когда тайное для самого меня сделается явным. Работать мне много трудней, чем раньше, — другие у меня требования, другие приемы, — и хочется перейти в другой «класс» (как говорят о лошадях и боксерах), в класс спокойного, ясного, тонкого и не пустякового письма. Это, нечего говорить, трудно. Да и вообще я такой писатель — мне надо несколько лет молчать, для того чтобы потом разразиться. Раньше были перерывы в восемь лет, теперь будут поменьше. И на том спасибо.

В «Пролетарий» пойди, потому что деньги очень нужны. Пойди для того, чтобы ответить на их предложение, а не вносить свое. Впрочем, я об этом всем писал тебе. О результатах сообщи воздушной почтой. Я рассчитываю, что

---

* В результате работы (*фр.*).

мама и Мера приедут в Париж провести со мной последние две-три недели; если тебе не лень будет, пришли мне, дорогой мой, какую-нибудь наиболее показательную беговую программу. «Конармию» я получил своевременно. Спасибо.

Ну, до свидания, теперь уж действительно до скорого. Люсе и Вере передай, что мало у них, наверное, друзей, которые так понимали бы и чувствовали, что у них на сердце, как я.

Твой *И. Бабель*

226. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 7/IX–28 *7 сентября 1928 г., Париж*

Милая Анна Григорьевна. Пишу Вам сего числа в 12 часов ночи. Только что вернулся из еврейского квартала St. Paul возле Place de la Bastille*. Ко мне приехали из Брюсселя прощаться мама с сестрой (я уже писал Вам, что выезжаю в Россию в последних числах сентября). Я их угостил сегодня еврейским обедом — рыба, печенка кугель, не хуже, чем в Меджибеже у цадика — и провел по необычайным этим уличкам — удаленным как будто от Парижа на сотни километров и все-таки в Париже, — по грязным извилистым уличкам, где звучит еврейская речь, продаются любителям свитки Торы, где у ворот сидят такие старухи, которых можно увидеть разве только в местечках под Краковом.

<…> Я по-прежнему много работаю, яростно, уединенно, с далеким прицелом — и если второй мой выход на ярмарку

---

* Площадь Бастилии (*фр*.).

суеты окончится жалкими пустяками, то утешение у меня все же останется — утешение одержимости.

Получил недавно чудное, душевное, чуточку грустное письмо от Льва Ильича. Я ответил ему в Ессентуки. Я ужасно радуюсь тому, что квартира Ваша готова, что и для меня есть в ней угол, но не знаю, скоро ли мне придется в нем приютиться. Работа моя далеко не кончена, Москва, боюсь, собьет меня с панталыку, а сбиваться у меня теперь нету времени. Все же то, что у меня есть в России дом, согревает мою душу. Напишите мне — как Вы нашли новую квартиру, трудно ли было переезжать. Льву Ильичу надо бы теперь иметь особые легкие хорошие условия работы — его надо выправить, развеселить, — нестерпимо думать, что такому человеку трудно живется...

Вернулся ли Илюша? Я послал ему несколько маленьких книжонок, получились ли они?

<...> Очень много я наболтал сегодня. Намеренно я сокращаю ряды окружающих меня людей. Если подумать — то только у меня и есть друзей, что вы и Лившиц.

До свиданья, не сердитесь на меня.

Любящий вас *И. Бабель*

227. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Париж, 10.9.28 *10 сентября 1928 г., Париж*

Тамара. В Россию я приеду в начале октября. Первый этап будет Киев, а где жить буду, — не знаю. Оседлости устраивать себе не собираюсь, буду кочевать где придется.

Очень рассчитываю на то, что смогу послать вам из Киева немного денег. Нечего и говорить о том, как меня мучают материальные ваши дела. Я много думал и решил, что обращаться с просьбой к Полонскому не стоит, — не исполнит. И вообще насчет квартиры надо принять окончательные меры. Приезда моего не утаишь, в Москве я жить не буду, как это все сделается? Посылаю письмо с заверенной подписью, но это, конечно, пустяки, оно может дать отсрочку на месяц-другой, а дальше как быть?.. Во мне теплится надежда, что выселить вас не могут, за вами ведь уже право давности немалое, но все-таки посоветуйся с юристом о том, что я могу сделать, когда приеду в Россию, может, мне надо будет составить нотариальное заявление об уступке вам комнат, дальше считать эту «площадь» за мной, наверное, не удастся.

Я возвращаюсь, состояние духа у меня смутное. Работать столько, сколько бы надо, не умею, мозги не осиливают. Я чувствую, впрочем, что житье, вольное житье в России принесет мне много добра, выправит и выпрямит меня. Я считаю сущими пустяками (и скорее хорошими, чем дурными) то, что я не печатаюсь, не участвую в литературе. Чем дольше мое молчание будет продолжаться, тем лучше смогу я обдумать свою работу, только бы, конечно, с долгами развязаться и на прожитье зарабатывать.

Бедная Таня, она не идет у меня из головы. Из писем твоих я не понимаю, какая же у нее болезнь... Бедная, милая девочка. Кланяйся Мишке. Приближается то время, когда мы с ним увидимся — если ты этого захочешь, конечно. Мне

трудно и больно писать, п. ч. до поры до времени я бессилен доказать вам страстную мою готовность помочь, быть полезным, дружественным вам человеком.

И. Б.

Копия

Уважаемая Тамара Владимировна.

Работа моя в Biblioteque Nationale по изучению архива Французской революции задержала меня в Париже гораздо долее, чем я предполагал. Надеюсь, что в течение ближайшего месяца-двух я эту работу закончу и смогу вернуться домой. Очень прошу Вас сохранить за мной комнату и защищать ее от всяких посягательств.

И. Бабель

Полномочное Представительство СССР во Франции удостоверяет подлинность подписи И. Бабеля.
п. п. Секретарь Полпредства: Л. Гельфанд
Париж, 8-го сентября 1928 г.

228. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 13/IX–28 *13 сентября 1928 г., Париж*

Милая Анна Григорьевна. Получил Вашу телеграмму, поплакал над ней и смирился духом. Грустно только то, что Вам были лишние огорчения. Ну, да авось они забудутся в той суете, которая Вас теперь одолевает. Под суетой этой я разумею — переезд на новую квартиру, нелегко это, наверно, осуществить...

Вернулся ли Лев Ильич? Как его здоровье? Какой будет Ваш новый адрес? У нас теперь помимо брата Евгении

Борисовны гостят моя мать и сестра — прощаемся. С ними прощаюсь и с Парижем, который теперь под ясным, розовым, осенним солнцем очень хорош. Будьте веселы и здоровы.

Ваш *И. Б.*

229. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Париж, 21.9.28 *21 сентября 1928 г., Париж*

Тамара. Выехать я собираюсь отсюда первого октября. В Киев, который будет первым моим этапом, приеду числа шестого-седьмого (хочу на два дня остановиться в Берлине). Из Киева немедленно сообщу тебе мой адрес. В литературных или начальственных кругах вращаться не собираюсь, хотелось бы пожить в тишине. Я радуюсь тому, что в России я смогу быть тебе полезнее, чем сейчас, когда я и сам бессилен, безденежен и вообще не в авантаже.

И. Б.

230. А. Г. СЛОНИМ

Берлин, 8/X–28 *8 октября 1928 г., Берлин*

Милые соотечественники. Три дня живу в Берлине, и живу очень великолепно. Завтра выезжаю в Варшаву, а оттеда через небезызвестную Шепетовку в Киев. Из Варшавы пришлю вам роскошнейший вид этого столичного города. Больше ничего писать не могу, потому что упоен сосисками. Боже, до чего они прекрасны — сосиски.

И. Бабель

231. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Киев, 16/X–28 *16 октября 1928 г., Киев*

Дорогой Вячеслав Павлович!

Приехал только вчера, и уже сегодня молодой здешний писатель Дмитрий Урин прочитал мне свои рассказы. Мне кажется, что это настоящий писатель, и я просил его, когда он приедет в Москву (а приедет он через три-четыре дня), обратиться к Вам; похоже на то, что надо запомнить эту фамилию. Она может засиять хорошим блеском.

Родина — приехал я через станцию Шепетовку — встретила меня осенью, дождем, бедностью и тем, что для меня только в ней и есть — поэзией. Я совсем смущен теперь, гнусь под напором впечатлений и новых мыслей — грустных и веселых мыслей. Когда осяду и опомнюсь — напишу Вам подробно и о делах, а пока здравствуйте.

Любящий Вас

И. Бабель

232. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 17/X–28 *17 октября 1928 г., Киев*

Друзья моего сердца, приехал позавчера. Сколько дней здесь пробуду — не знаю, делов много. Привез вам ничтожное количество гостинцев, которые завтра отправлю почтовой посылкой, остальные идут с чемоданом, который прибудет позднее и с которым вышло неладно, потому что я отправил его в адрес киевской таможни, а она, оказывается, расформирована

и вещи в моем отсутствии будут смотреть в Шепетовке. Мой адрес пока: Киев, Красноармейская, 30, С. А. Финкельштейну, для меня. Завтра напишу подробнее.

Ваш *И. Бабель*

P. S. Сообщите новый адрес — если он уже факт.

233. Ф. А. БАБЕЛЬ

<20 октября 1928 г., Киев>

<...>Я занят с утра до вечера делами литературными, коммерческими, налоговыми — ношусь по всяким учреждениям, ору, клянчу, — думая, что все уладится хорошо. Несмотря на все хлопоты — чувствую себя на родной почве хорошо. Здесь бедно, во многом грустно — но это мой материал, мой язык, мои интересы. И я все больше чувствую, как с каждым днем я возвращаюсь к нормальному моему состоянию, а в Париже что-то во мне было не свое, приклеенное. Гулять за границей я согласен, а работать надо здесь. <...>

И.

234. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 23/X–28 *23 октября 1928 г., Киев*

Милая Анна Григорьевна. Получили ли вы маленькую посылочку? Я писал уже Вам, какое бедствие постигло мой основной чемодан (а следовательно, частично и Вас). Он блуждает по всей Европе, последние сведения такие, что его почему-то направляют в Эйдкунен. Чудовищная история. На

моем месте всякий порядочный англичанин или немец подал бы на парижское отделение Совторгфлота в суд. Они буквально разоряют меня, да кроме того, в этом чемодане очень ценные, с трудом подобранные материалы. Прочитал вчера вечером в газете о деле Будасси. Бедный Шлом тут же. Чувствую я, что в газетной рецензии не все концы сведены друг с другом — не знает ли Лев Ильич подробностей этого дела?

Милая доверенная, я получил сведения о том, что в Роскомбанке есть, наконец, разрешение для меня о переводе 1000 рублей за границу. Мне очень важно (а Евг[ении] Бор[исовне] и матери моей еще важнее) узнать — могу ли я перевести эти деньги только в адрес Торгпредства или часть их по моему усмотрению? Постарайтесь это узнать похитрее, понезаметнее — и я паду Вам в ноги. Деньги я для этого отсыла готовлю. Мне здесь с Вуфку кое-что причитается. Это Вам не Париж, где ложись, вытягивай ноги и помирай.

Почему Вы мне ничего не пишете? И какой ваш адрес? Я трепещу, что все мои письма и посылка не доходят. Мне можно писать: или Главный почтамт, до востребования, или Красноармейская, 30, кв[артира] д-ра Финкельштейна. В Киеве пробуду еще не меньше двух недель. Мне хочется узнать о вас многое — переехали ли вы, как ваше коллективное здоровье, какова мораль? Несмотря на то что после прежней моей квартиры нынешняя кажется мне несказанно нищей, унылой и грозно бестолковой — все же здесь душа моя расправляется. Ничего не поделаешь — здесь я на месте.

До свиданья, милые благодетели.

И. Б.

235. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

24 октября 1928 г., Киев

Писать мне лучше всего по адр<есу>: Киев, Главн. Почтамт, до востребования.

Киев 24/X–28

Тамара. Получила ли ты из Шепетовской таможни посылку для Миши? Ее надо было оплатить пошлиной, поэтому она задержалась на границе. Я послал тебе отсюда флакон духов и одеколона. Прости, что так мало. В Париже мне не на что было покупать, никаких денег не было, да и провезти нельзя. В Киеве я пробуду еще недели две-три, потом поеду в какое-нибудь захолустье работать. Куда поеду — еще не знаю. Противоположения Парижа и нынешней России так разительны, что я никак не могу собраться с мыслями, и душа от всех этих рассеянных мыслей растерзана. Стараюсь, как только могу, привести себя в форму. Послал тебе 200 рубл. Получила ли ты их? Хотя я дал себе зарок зарабатывать как можно меньше, жить на отшибе и бедно, но я страстно хочу, чтобы вы ни в чем не нуждались, и буду делать в этом направлении все, что могу.

Как твои дела? Как здоровье детей?

Преданный вам

И. Б.

236. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 27/X–28 *27 октября 1928 г., Киев*

Милые новоселы. Очень бы хотел посмотреть на «нашу» новую фатеру. Опишите мне ее, очень интересуюсь.

Получили ли вы посылку, отправленную на старый адрес? Наконец прибыло извещение, что мой чемодан очутился на станции (пограничной) Бигосово!!! — теперь его надо оттуда вызволять, что, я надеюсь, мне и удастся к общей радости моей и моих знакомых. Жду цидульки от Анны Григорьевны. Писать лучше всего: Главный почтамт, до востребования. Не выдохлось ли кофе, посланное вам? Я здесь, наверное, пробуду еще недели две, а потом в деревню, в глушь, в Саратов, к черту на рога для приобретения полного покоя.

Да, совсем забыл — читайте Правду! В каждой цивилизованной стране такая критика стоит нового издания — т. е. 1100 рублей. Жду с надеждой и тайным сладострастием.

Ваш *И. Бабель*

237. Ю. П. АННЕНКОВУ

Киев, 28/X–28 *28 октября 1928 г., Киев*

Милые друзья мои. Очённо превосходно живу в Киеве. Правда, квартира, отведенная мне, лишена всяких удобств, и другой, более требовательный, человек — роптал бы, но доброго состояния моего духа никому, даже Буденному, поколебать не удастся. Пишу эту цидульку для того, чтобы сказать Вам, что я с благодарным счастливым чувством вспоминаю наши посиделки. Скоро напишу подробнее. Адрес: Киев, Главный почтамт, до востребования.

Ваш *И. Бабель*

238. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<28 октября 1928 г., Киев>

<...> Сегодня воскресенье — свободный день. Я выспался, напился в «едальне» превосходного чаю, закусил горбушкой превосходного черного хлеба с маслом, прочитал в «Правде» письмо Буденного Горькому, возвеселился, даже разбух от удовольствия и вот от полноты чувств пишу вам, милые мои, поклон. Все было бы хорошо, если бы не мамина болезнь. Утешьте, напишите поскорее. <...>

239. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Киев, 1/XI–28 *1 ноября 1928 г., Киев*

Тамара. С бедным Мишиным костюмчиком черт знает чего делают. Вдруг оказалось, что для его получения требуется разрешение на ввоз. Я распорядился Шепетовской таможне послать его в Москву, в таможню, для тебя. Тебе объяснят, что там нужно сделать. Пошлину придется тебе уплатить. Я в начале будущей недели пошлю тебе немного денег, ты из них и уплатишь (если не сможешь отбиться). Служащий местного отделения Совторгфлота по фамилии Блих уехал сегодня в служебную командировку в Москву. Он обещал позвонить тебе и надоумить, как надо действовать. Прошу тебя еще, когда вещи получатся, позвони от моего имени Пом. Нач. Главного Таможенного Управления Аркадию Петровичу Винокуру, расскажи ему всю эту идиотскую историю с детским костюмчиком, попроси о сложении пош-

лины и о выдаче без мучительных процедур. У меня есть основание думать, что он все это сделает. О результатах, пожалуйста, уведоми меня.

Не могу тебе сказать, как огорчают меня вести о твоем нездоровьи. Печень — с чего бы это? Я всегда думал, что это болезнь пожилых людей. Лечишься ли ты, поправляешься ли? Как здоровье Тани? Бедная девочка, как подумаешь, что с ней приключилось, — страшно становится. Изменилась ли она?

В каком клубе ты работаешь? Теперь, мне кажется, никакой работой не надо брезговать. Я знаю, что очень трудно сохранить достоинство, когда нету денег, когда надо клянчить, бегать, биться, унижаться. Я решил сам зарабатывать как можно меньше, — это хорошее решение, но тебе буду посылать сколько смогу, п. ч. я хочу, чтобы это самое достоинство, независимость ты сохраняла, чтобы жизнь ваша была сколько можно легка, независима, достойна, чтобы и ты смогла подумать о душевной, хорошей, а не халтурной работе. Я верю, что дружбу нашу, если ты сможешь мне быть другом, я никогда не предам, никогда.

Преданный вам *И. Б.*

240. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Киев, 13/XI–28 *13 ноября 1928 г., Киев*

Прости, Тамара, я не могу приехать в Москву. Знаю, что ставлю тебя в ужасное положение, и все-таки не могу. Очень горько, что нельзя оказать этой услуги.

Завтра рассчитываю послать вам двести рублей.

Больше не могу писать — голова болит. Завтра напишу подробнее.

И. Б.

241. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Киев, 16/XI–28 *16 ноября 1928 г., Киев*

Тамара, послал тебе 200 рубл. Прошу подтвердить получение этих денег. Вчера не мог написать подробнее, п. ч. голова очень болела. Я теперь часто хвораю. Очень часты головные боли, очевидно, у меня мозговое переутомление. Тут бы работать, а голова часто отказывается. Часто мне бывает от этого очень грустно. Но так как я упрям и терпелив, то надеюсь, что вылечу себя.

Теперь о деньгах. Посылаю сколько могу. Это главная моя забота — чтобы вам не только было более или менее удобно жить, но главнее этого, чтобы ни к кому не прибегать с просьбами, быть независимыми, не быть жалкими. Я не знаю, сколько смогу послать в будущем месяце; первый месяц после приезда из-за границы был у меня благополучный — подсобрались от Вуфку и от заштатных каких-то издательств долги, так как я еще несколько месяцев зарабатывать не буду, то, может, дальше будет хуже. Впрочем, буду стараться.

О посылке, право, ничего не могу сказать. Когда получишь от таможни извещение, тебе все объяснят; как я уже писал, ты сможешь обратиться к А. Винокуру, в Главное

Таможенное Управление. С моим чемоданом тоже беда, все еще не прибыл, наверное, распатронили его здорово. Беда, не во что одеться, да и заметок, вырезок в этом чемодане тьма.

Как здоровье Тани? Что наш орел поделывает? Прости меня, но я не думаю, чтобы у тебя, Тамара, могло быть органическое, хроническое заболевание. Рано еще как будто. Если суждено тебе войти в норму, тогда, я думаю, все исчезнет.

Поступок Ник<олая> Вас<ильевича> я объясняю себе так, что он, боясь новой своей жены, хочет, чтобы деньги автоматически вычитались, а то добровольно она, может, и не отдаст (нету чернил, окончу карандашом). А, впрочем, может, есть и другие причины, о которых я не догадываюсь.

Есть ли у тебя уже работа?.. Хорошо было бы набрести на что-нибудь прочное, постоянное... Я пока остаюсь в Киеве, вернее, за Киевом, живу, можно сказать, в губе у старой старухи, отшельником — и очень от этого выправляюсь душой и телом. Может, и хворости пройдут. До свиданья.

И. Б.

242. И. Л. ЛИВШИЦУ

Киев, 23/XI–28 *23 ноября 1928 г., Киев*

Исачок. Давненько от тебя нет писем. И в особую мрачность погружает мою жизнь то гнусное обстоятельство, что

ты не присылаешь мне беговых программ. Ну что стоит? Ну где «человечество»? Лень и затурканность советских служащих не поддается описанию. Видно, что ты не читаешь в «Правде» листка РКИ — под контроль масс. Я читаю аккуратно и ненавижу вас, разгильдяев, бюрократов и комчванцев. Честно говорю тебе — купи программу, все равно жить не дам... Я тебя угадаю. В дополнение к вышеизложенному — прошу передать прилагаемое письмо адресату. Телефон ейный, кажется, 2-56-44. Я получил от нее очень милое письмо, а адреса своего она не дала. Если позвонишь, она, я думаю, пришлет за письмом.

Получил только что известие, что чемодан прибыл. Завтра полечу за ним на вокзал. Трепещу — в каком-то виде он прибыл, не общипаны ли мы... Отпишу немедленно...

Что слышно в Госиздате? Не давай этим сукиным сынам покою. С ними добром ничего не сделаешь. Угрожай, а если угроз они не испугаются — то так и будет. Ты мне не сообщил, кто там теперь заведует, кто пастух и кто подпасок?.. Чувствую я, что в Москве литературные дела таковы, что нервные люди большими массами скоро стреляться начнут. Пастухи от этой стрельбы почешут сапогом за ухом и неукоснительно станут пасти оставшихся...

Объясни мне толком: где ты служишь, что рационализируешь, где плачешь и кому даешь фиги в кармане?

Я, как говорится, тяну лямку и поживаю очень превосходно.

Завтра по выяснении чемоданной эпопеи напишу.

Внемли критике и ответь на интересующие вопросы. Стиль не важен. Пиши, если желаешь, протоколом. Дамам твоим шлю тысячу поклонов.

И.

P. S. Мама была очень больна. Сердечный припадок. Теперь лучше.

Вот, брат, наши дела...

243. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Киев, 28/XI–28 *28 ноября 1928 г., Киев*

Дорогой Вячеслав Павлович!

В третий раз принялся переписывать сочиненные мной рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка — четвертая, на этот раз явно последняя. Ничего не поделаешь. О том, как мне солоно приходится, не хочу и говорить.

Голова побаливает часто. Былой работоспособности нет, маленько, видно, переутомился. Все же, думаю, преодолею.

Анонс Ваш на 29 год будет выполнен. По совести могу сказать, что делаю все от меня зависящее. Изредка попадаются мне на глаза отчеты о литературных совещаниях. По-моему, нервным людям стреляться впору, а веселым только и остается, что гнуть свою веселую линию. Так как я причисляю себя ко второй категории, то и живу безмятежно.

Противоестественных, антилитературных переворотов в своих мозгах не допускаю и чувствую себя поэтому превосходно. Впрочем, все то, что говорится о распространении массовой литературы, — правильно. Спасибо, что из десяти мыслей — одна верна. Если принять в расчет, что вещают одни только должностные лица, то придется признать, что процент велик. В Киеве пробуду еще недолго. Собираюсь двинуться на Северный Кавказ. О всех моих начинаниях и передвижениях буду Вас извещать.

Мой адрес пока: «До востребования. Главный почтамт. Киев». Очень обрадуюсь, если напишете. От всего сердца желаю Вам бодрости, здоровья, веселья. Веселый человек всегда прав.

Ваш *И. Бабель*

244. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 29/XI–28 *29 ноября 1928 г., Киев*

Милая Анна Григорьевна. Подарки Ваши возбуждают в Киеве общее восхищение. Дай Вам бог здоровья за Вашу ласку.

Вексель завтра оплачу по телеграфу.

Получил ли Илюша кофту?

Деньги на сохранение я Вам своевременно вышлю. Самый лучший адрес — до востребования, Главный почтамт. У Финкельштейнов я бываю реже, чем на почте.

Номера «Правды» с письмом Буденного у меня, к сожалению, нету. Не держу у себя дома таких вонючих документов.

Прочитайте ответ Горького. По-моему, он слишком мягко отвечает на этот документ, полный зловонного невежества и унтер-офицерского марксизма.

Живу благополучно, тружусь в мире и тишине. Скоро, верно, двинусь из сих мест. О всех шагах моих Вы будете извещены. Обнимаю мужчин и целую Вашу ручку, заступница, благодетельница и умнеющая дама.

Ваш *И. Б.*

P. S. Как живется Вам в новой квартире?

245. Т. В. КАШИРИНОЙ (ИВАНОВОЙ)

Киев, 11/XII–28 *11 декабря 1928 г., Киев*

Тамара, в дурацком этом Совторгфлоте мне сказали, что Мишкин костюмчик переотправлен из таможни в Москву. Неужели ты его еще не получила? Вот уж и злосчастный мой чемодан прибыл, и я послал Лившицам заказанный Людмилой Николаевной костюм для их девочки. А нашего все нет... Нечего сказать, толково я распорядился. Если нужно заплатить пошлину, напиши мне.

У меня решительно ничего нового. Нелюдимое состояние укрепляется. Отвычка от добросовестной, независимой, систематической работы была так велика, что теперь, когда я пытаюсь внести в мою жизнь сколько могу покоя и чистоты, я с горечью и раскаянием думаю о том, сколько было халтуры, сколько гнусностей, обид и ошибок. А может, это была судьба? Правда, от судьбы не уйдешь, не внешней, мотающей нас судьбы, а внутренней скорби и безумия.

Может, в конце месяца двинусь куда-нибудь. Впрочем, до этого я напишу еще.

Нынче жаловался Тане на киевскую зиму; как у вас, в столицах?

Хорошая ли у тебя работа, много ли ее?

И.

246. Т. Н. НЕВРЕВОЙ

Киев, 12 декабря 1928 *12 декабря 1928 г., Киев*

Милая Таня. Спасибо за письмо. Оно очень меня обрадовало. Рад я и тому, что игрушки тебе понравились. За границей, в магазинах, я видел множество прекрасных игрушек, но ты знаешь, верно, что их не разрешают привозить к нам. Ужасно жалко. Напиши мне, пожалуйста, есть ли у тебя лыжи или коньки. Ты уже большая девочка, и, я думаю, тебе пора научиться бегать на лыжах или на коньках. Это очень весело и полезно. Я живу неподалеку от Киева, в маленьком домике, у одной очень доброй старухи. Одна беда — зима сюда никак не приходит, все слякоть и дожди. Я скучаю по северной московской зиме. У вас, верно, и снегу уже навалило, и на санках ездят.

Кланяйся Мише. Если будет какое дело — напиши. Я с великой охотой исполню твои поручения.

Любящий тебя *И. Бабель.*

247. И. Л. ЛИВШИЦУ

Киев, 15/XII–28 *15 декабря 1928 г., Киев*

Не могу сказать тебе, mon vieux*, как ты удружил мне присылкой программ. Я их заучиваю наизусть. И вторую ночь сплю, как спит... Таня. А журнальчик просто интересен. Падам до нуг — присылай мне его каждую неделю. Честное слово, он нужен мне для литературных работ. Ну что тебе стоит покупать его каждую неделю (деньгами сочтемся) и надписывать мой адрес...

И к этому радостному подарку был присовокуплен неисповедимый Длигач, ну его ко всем чертям. Умильный этот юноша полагает, что в литературу можно пробраться по протекции. Глядя на жалкое его лицо, у меня не хватило сил разубедить его в бессмысленности и ложности этого мнения, и я обещал и, увы, я обещал написать в «Пролетарий». Прилагаю то, что я сумел выдавить из себя. Если считаешь нужным, передай записку Ацаркину. Если не считаешь нужным, позвони ему от моего имени. Пущай, во всяком случае, считается, что я обещание свое выполнил, и пущай Длигач расточится с моего горизонта.

Когда получишь сведения от лит-худа, сообщи их мне, пожалуйста. Насиловать их, конечно, не надо, но напоминать о себе необходимо, я по горькому опыту знаю, что необходимо.

---

* Старина (*фр.*).

На моем фронте, как говорится, без перемен. Докучает некоторое (временами очень сильное) умственное утомление, но я повел с ним борьбу и сдаваться не намерен. Работа от этого тягостного препятствия идет медленно, трудней, чем надо, но мне к трудностям не привыкать.

Думаю, что век мой в Киеве не долгий. Может быть, скоро я сообщу тебе мой новый адрес. Где ты работаешь теперь и сколько выгоняешь?

Исполнил ли — передал ли ты письмо Бобровской — нет ли в телефонной книжке фамилии Гинзбург, ее адреса?

С тем до свидания. Будь весел и благополучен. Где обретаются Саша и Вера Верцнер? Как Сашино дитё? Поцелуй за меня Люсю и Танюшу.

Твой *И*.

248. И. Л. ЛИВШИЦУ

Киев, 19/I–29 *19 января 1929 г., Киев*

Что ты смолк, mon vieux? Напиши открытку, стоит пятак, и при желании много можно поместить. Я доживаю в Киеве последние недели. Главный маршрут — Ростов, но не исключена возможность, что заеду на несколько дней в Одессу. Там наклевывается дело. Если для Одессы есть поручения — исполню. Когда поеду — напишу. Был ли ты в худ. секторе? Будь другом, пройди все инстанции справок, чтобы мне окончательно быть fixe*, предвидятся от переиздания какие-

* Точным (*фр.*).

нибудь деньги или нет. Я по-прежнему работаю вразвалочку, как будто у меня в каждом кармане по Ясной Поляне, — но призрак голода вырисовывается все ощутительнее. И еще слезная просьба — я уже выучил наизусть все программы и жажду новых, а главное журналов, а то снова начнет томить бессонница. Так как ты, сукин кот, прикидываешься поклонником таланта, то шли «конские» журналы. От этого литературе большой выигрыш. Ну, будь здоров и весел со чадами твоими и домочадцами. И не забывай любящего тебя

И. Б.

249. И. Л. ЛИВШИЦУ

Киев, 25/I–29 *25 января 1929 г., Киев*

Дорогой мой. Посылаю письмо Сандомирскому (так, кажется, зовут заведующего литературно-художественным отделом?). От них я ничего не получал. Прошу тебя, заклей это письмо и передай его в день его получения. Я предпочитаю действовать через тебя (и, значит, затруднять тебя), потому что при личном нажиме дело пойдет быстрее (если оно вообще пойдет), кроме того, ты сможешь написать мне свои впечатления — выйдет что-нибудь или нет. Вот тебе и поручение, о котором ты просишь. Ответа жду скорого, а то мне хочется уже отсюда уезжать. Был проект — недели на две завернуть в Одессу, но этот проект, кажется, придется оставить и я прямо проследую в Ростов, где постараюсь бросить якорь на возможно долгий срок. Твои же улещивания насчет Москвы — не пройдут. Видят черти, что человек хорошо

живет, в кои-то веки заработал, маленько отрешился от суеты, расправил крылья — так обязательно его в обезьяньи лапы... Не пройдет, mon vieux. Я теперь положил в сердце моем жить с расчетом, а расчет у меня дальний, требующий дьявольского терпения, спокойствия и, как бы это сказать, крупицы мудрости... Единственно, что может меня сбить с панталыку, — это иждивенцы, которых нужно кормить, но вот тут-то и помоги, высеки деньги из Госиздата.

Из событий, достойных быть отмеченными, могу тебе сообщить, что у меня появился изумительный, только что полученный из Берлина и купленный мною по случаю маленький фотоаппарат. Он составляет сейчас основную прелесть моей жизни, увлечение фотографией сейчас буйное. Буду присылать тебе снимки.

Очень огорчительные сведения о твоей службе. Я не совсем понял — за какую же ты цифру борешься. Неужели за 275 рублей? Вот времена настали... Как это ты с такими жалкими деньгами оборачиваешься?..

Мне одному, конечно, любых денег может хватить (за комнату, к вашему сведению, плачу 8 рублей и до ветру бегаю за полверсты, бо никакой индустриализации в нашей округе и в помине нету — водопровода нету, канализации нету, электричества нету — и чего только у нас нет, как острят индустриализаторы)...

Вчера узнал о болезни Александра Константиновича. Очень грустно. Ветер вернулся на пути своя...

Да, программы... «Облегчи мне тяжкую жисть», вышли чудодейственный этот пук (главное — журналы), и я тебя

отблагодарю еще на этом свете. Против бессонницы нету лучшего средства, и для безмятежного счета времени — очень хороший инструмент...

О твоем дитяти мне много рассказывал умильный Длигач (кстати, он выудил-таки у меня письмо к Лежневу, это горчичник, а не человек), а какое произведение вышло у Саши? Где он теперь с супругою, заробляет ли? У нас в Киеве такая зима, что впору стихи писать. Перед моим окном на полянах льются бриллиантовые реки, снега сияют... Только мы, деревенские жители, можем изрядно поговорить с богом, как «звезда с звездою говорит»...

Ну, наболтал... Пора обедать. Буду поджидать от вас, дорогие земляки, ответа. Как здоровье Люси? У нас тоже есть беда — мама оправляется очень медленно. Старушка сдала, и от этого сознания замирает сердце. До свидания.

Твой *И.*

250. А. Г. СЛОНИМ

16/III–29 *16 марта 1929 г., <в поезде>*

Mes chers amis*. «Степанидин» (по имени прачки, у которой я квартировал) период моей жизни кончился и начинается северокавказский, сулящий неведомо что... Скучный почтовый вагон влечет меня к Ростову, куда приедем завтра к вечеру, потому что из-за заносов сильно запаздываем. Мой первый адрес: Ростов Дон, до востребования, Главный

---

* Мои дорогие друзья (*фр.*).

почтамт. По прибытии на место напишу более вразумительно. Очень уж трясет... Какая протяженная страна — Россия, сколько снегу, осовелых глаз, обледенелых бород, встревоженных евреек, окоченевших шпал (?) — как мало пассажиров 2 класса, к которым я имею честь принадлежать...

И. Б.

251. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Кисловодск, 28/III–29 *28 марта 1929 г., Кисловодск*

Дорогой В. П.

Письмо Ваше настигло меня в Кисловодске. Я через час уезжаю отсюда на Терек, оттуда вернусь в Ростов. Из Ростова напишу Вам подробно. Моя база надолго — Сев. Кавказ. Адрес (впредь до изменения) — Ростов н/Д, Главный почтамт, до востребования. Живу хорошо. Тружусь, как в юности, — вольно... Если с голода не подохну — все будет хорошо. До Ростова, милый друг В. П.

Ваш *И. Б.*

252. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Ростов н/Д, 8/IV–29 *8 апреля 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогой Вячеслав Павлович! Отправил Вам открытку из Кисловодска. Не знаю — получили Вы ее и действителен ли еще адрес — Остоженка, 41? Моя база теперь — Сев. Кавказ, постоянный адрес — Ростов н/Д., Главный почтамт, до востребования. Летом буду работать и бродяжить, собираюсь

поехать в Ставрополь, Краснодар, на несколько дней в Воронежскую губернию, потом в Дагестан и Кабарду. Ездить буду, конечно, не в международных вагонах, а собственным, нищенским и, по-моему, поучительным способом. Не соберетесь ли в «наши» края? Встретились бы и пожили вместе...

Дни мои (ночи сплю, если не страдаю бессонницей) проходят интересно, но трудно. В смысле работы я нажал на себя с излишним усердием, и снова стала побаливать голова. Все же появляются контуры возводимого здания. Да вот беда — раньше я все размахивался на романы, а выходили рассказцы короче воробьиного хвостика, а теперь какая, с божьей помощью, перемена. Хочу отделать штучку страниц на восемь (потому что ты ведь умрешь с голоду, сукин сын, — говорю я себе), а из нее, из штучки, прет роман страниц на триста. Вот главная перемена в многострадальной жизни, дорогой мой редактор, — жажду писать длинно! Тут мне, видно, и голову сложить... И так как я по-прежнему сочиняю не страницами, а одно слово к другому, — то можете вы вообразить, как, собственно, выглядит моя жизнь?.. В августе пришлю вам первое рукописание. Это верно и честно. У меня есть основание так говорить. Помешать мне может только смерть, главным образом голодная смерть, потому что все мыслимые и немыслимые деньги кончаются. Нельзя ли возобновить до августа старинный наш договор? Вот можете смеяться сколько хотите — а у Вас не будет более верного сотрудника, если Вы вызволите меня в последний раз. Я с ужасом думаю о том, что придется согласиться на предложение одной организации и состряпать сценарий.

Неохота смертная, не могу Вам сказать, какая неохота. Я настроился возвышенно, преступно тратить силы и время на ненужную дребедень, а сил и времени уйдет уйма, потому что я не умею халтурить, уйдут драгоценнейшие месяцы. Впрочем, я не уговариваю. Надо думать, Вы мне не верите. А я вот чувствую, что не верить мне — это ошибка.

Сделайте милость, пришлите ответ на это письмо обратной почтой. Пробудясь от сладостного сна, я сосчитал сегодня утром свои ресурсы — их четырнадцать рублей. Как говорится — надо решаться. И потом еще просьба. До меня давно уже доходят слухи, что очередные издания «Конармии» и «Одесских рассказов» — исчерпаны. Надо признать, что Госиздат в отношении меня никогда не торопился с переизданием: то, что проделывается с «Конармией», отвратительно. Я запросил Сандомирского, после Вас — второго моего кредитора (кстати, кто это Сандомирский?), он очень любезно и дружественно ответил по всем пунктам и обошел молчанием вопрос о переиздании. А тысчонка эта спасла бы меня и рикошетом все мои обязательства. Будьте другом — позвоните Сандомирскому. Вам-то он, я думаю, ответит с полной определенностью.

Вот и все дела. Пойду сейчас на Дон смотреть на ледоход. Сегодня здесь первый весенний день, а еще вчера была зима. Я много бы хотел Вам написать, но от весны ли, от чего ли другого болит голова. Отложим до следующего раза. Дайте руку. Будьте веселы и философичны.

Ваш, искренне Вам преданный
И. Бабель

253. И. Л. ЛИВШИЦУ

Ростов н/Д, 8/IV–29 *8 апреля 1929 г., Ростов н/Д*

Mon vieux. Несколько дней тому назад вернулся в Ростов, застал телеграмму от Сандомирского. Он просит участвовать в каком-то альманахе. Я ответил сегодня, что рассказ могу дать осенью, и снова спросил о судьбе переиздания. Не знаешь ли ты, почему это дело не двигается? Может, мне и спрашивать неудобно? Ты ведь «унутренний» человек, очень прошу тебя, узнай. А то я боюсь — безденежье помешает мне работать. Я уж и Полонского просил разузнать, в чем дело. Выйдет что-нибудь или нет — как ты думаешь? Для меня это дело (гиблое дело) имеет капитальнейшую важность.

Из Брюсселя, друг мой, сведения, наполняющие меня смертельной тревогой. У мамы базедова болезнь, и ей очень худо. Нету передышки.

Как вы-то живете? Как дочка? Я, видно, буду бродяжить все лето, благо есть много мест, где меня поят и кормят. Не забывай меня, не ленись писать. У нас сегодня первый весенний день, и, верно, от этого целый день болит голова. Привет твоим. Целую тебя.

И. Б.

254. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 10/IV–29 *10 апреля 1929 г., Ростов н/Д*

Милая Анна Григорьевна. Для меня настали грустные времена. Болезнь моей матери приняла грозный оборот. У нее особо опасная форма базедовой болезни. Возможно, в ближайшее

время придется прибегнуть к последнему средству — операции, удалению щитовидной железы. Старушке — 65 лет. Она истощена предшествующей болезнью. Вы понимаете, что все это значит. Вы знаете еще, что мать — одна из немногих моих привязанностей, вернее всего — единственная и неистребимая любовь. Я разметал всех, и они угасают вдали от меня.

Если у Вас, милый друг, есть деньги — пошлите по телеграфу 50 рублей в Киев, Марии Яковлевне Овруцкой, Киевское Отделение Государственного Банка, Иностранный Отдел. Эта дама, служащая в Иностранном Отделе, обещает мне перевести матери 25 долларов. Постарайтесь сделать это.

Я очень грустен сегодня. В другой раз напишу лучше. Почему Вы ничего не пишите о своем здоровье — Вы как будто прихварывали? Какие планы на лето? Может, встретимся на юге? Хорошо бы... Я думаю, что мог бы раздобыть для Вас место на группах (?).

Как Вы на этот счет? У меня здесь есть кое-какие знакомства.

Уехал ли Л. И. на Урал?

Душой и сердцем я со всеми вами. Целую Вашу руку.

И. Б.

255. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Хреновая, 15/IV–29 *15 апреля 1929 г., Хреновая*

Дорогой Вячеслав Павлович.

Повинуясь неясным велениям бродячей моей судьбы, очутился я в деревне, в Воронежской губернии. Пробуду я здесь среди заводских жеребцов, жерёбых кобыл и только

что народившихся жеребят недолго, несколько дней, потом вернусь в Ростов н/Д. Так что адрес прежний. Я хотел Вам сказать, что отправил еще одно письмо Сандомирскому. Я узнал, что на юге нигде моих книг достать нельзя, и отписал ему насчет переиздания. Говорили ли Вы с ним? Я написал ему еще и о том, что если даже малое количество книг и осталось, то Гиз все же мог бы заключить договор чуточку раньше срока и этим помочь сотруднику.

С трепетом жду Вашего письма. Письмо это — решение участи. Дайте руку.

Ваш *И. Бабель*

256. А. Г. СЛОНИМ

Ростов на Дону, 9/V–29 *9 мая 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогая Анна Григорьевна. Недели две тому назад я проел последний собственный грош и с тех пор живу подаянием. Госиздат, несмотря на то, что я не выполнил первого договора, снисходит к моим бедствиям и ведет переговоры о втором. Гиз сделал мне предложение, я написал контрпредложение, но ответа еще нет. А ответ нужен скоропостижно, потому что обидно, сделав больше половины дела, умереть с голодухи — не докончив. Больше всего угнетают, конечно, иждивенцы; я-то сам живу святым духом и на такое существование не ропщу. Переговоры от имени Гиз'а ведет со мной заведующий литературно-художественным отделом Сандомирский. Пожалуйста, позвоните ему от моего имени, узнайте, как обстоит дело, и попросите ускорить решение,

высылку денег и договора. Я предложил им высылать мне условленную сумму помесячно, но хотел бы получить за первые два-три месяца вперед для того, чтобы расплатиться с долгами. Канитель эта с Госиздатом тянется давно, и, несмотря на очень хорошее ко мне отношение, я вижу, что без личного вмешательства, без человеческого голоса в телефон не обойтись. Займитесь этим делом, милая Анна Григорьевна, и протелеграфируйте мне, je suis an bout de mes forces*.

Прибавьте к листу Ваших благодеяний еще одно. Я все мечтаю о том, что отслужу.

Каковы Ваши планы относительно Кавказа? Помните, что нужно написать заблаговременно. Я в последнее время чувствовал себя — душевно и физически — неважно. Меня посещают смешные бедствия. Поселился я за городом на даче, чтобы работать в одиночестве, и не приметил, дурак, что забор моей дачи упирается в аэродром. И вот аэропланы трещат над головой целый день, какая тут работа? Это для меня большая беда. Вы знаете, что это значит — на Руси на великой менять квартиру...

От матери сведения более утешительные, ей чуточку легче. С душевным трепетом буду ждать от Вас вестей. Привет Вам и мужчинам от преданного, любящего (и, верно, смертельно Вам надоевшего)

И. Б.

P. S. Если не трудно (и если сохранилась) — пришлите мне Лоуренса по-французски. Я хотел бы перечитать эту книгу.

---

* Я уже совершенно выбился из сил (*фр.*).

257. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Ростов н/Д, 17/V–29 *17 мая 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогой мой В. П. В последние недели я довольно много работал, бродяжил, загорал под южным солнцем.

Получил от Гиз'а предложение — заключить договор на предбудущую книгу — 350 р. за печатный лист при 5000 экземплярах. Я ответил — 500 р. при 7000 экз. Выходит одно на одно. Жду от них ответа, хотя ждать трудно, денег ни копья, иждивенцы теснят. Запросил я, думаю, дешево: не знаю совсем нынешних гонораров. Если сочтете удобным — подтолкните Халатова или Сандомирского (дипломатично), чтобы ответили поскорее. Обращаюсь к Вам как к верному другу литературных моих мучений и «заинтересованному лицу». Договор с Гиз'ом позволил бы мне выплатить долги — моральные и материальные, я бы здорово распустил крылья. Помогите. С Гиз'ом мы как будто друзья, но Вы знаете — это чудовищное предприятие — высекать из сего учреждения договор и деньги по почте.

Пишу, стоя на одной ножке, на почте. Через несколько дней, когда внешние мои дела образуются, отправлю Вам длинное послание.

Когда у Вас отпуск? Я все буду вертеться здесь, на Северном Кавказе.

До свиданья, дорогой мой редактор, друг и благодетель.

И. Бабель

258. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 24/V–29 *24 мая 1929 г., Ростов н/Д*

Милая Анна Григорьевна, прибежище мое и сила. Я согласен, о чем Вам телеграфировал. Думаю, что высланная Вам доверенность достаточна для подписания договора. Я писал Сандомирскому и настаиваю на том, чтобы при подписании договора получить за два месяца — т. е. за май и июнь. Нужно расплатиться с долгами и послать деньги за границу, есть возможность, о нужде там говорить нечего. Одновременно пишу Сандомирскому. Помните, бедное мое доверенное лицо, что недостаточно подписать договор, главное искусство заключается в том, чтобы получить в Гиз'е (в первый раз — потом пойдет) деньги. Сделайте это гигантское усилие. Ей-богу, теперь ко всем моим мыслям, при писании прибавилась еще одна — не посрамить Вас. Постараюсь. Надо просто сказать — без Вас мне пришлось бы худо. Если встретятся неожиданности — телеграфируйте. О получении денег тоже телеграфируйте. Я укажу — куда их отправить.

Пишу на почте. Вечером вернусь на свою дачу, завтра напишу Вам на свободе.

Вы оказываете мне решающую помощь в моей жизни. Благодарю Вас.

И. Бабель

259. Н. А. ГОЛОВКИНУ

Ростов н/Д, 9/VI–29 *9 июня 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогой т. Головкин.

Значит, мы оба живы. Это очень хорошо. Еще мы завинтим дела. Не могу Вам сказать, как я обрадовался, получив от Вас весточку. Видно, не скоро еще нас черти приберут.

Договоры Вы, верно, поручаете составлять уполномоченным дьявола. Я написал Ионову, что я думаю об этом адском измышлении. Подписал я его в надежде разжалобить Вас после представления материала.

Получив это послание, забудьте о шапке, о предстоящем отпуске, о чистке соваппарата и, схватив в кулак деньги, мчитесь на телеграф. Как бы мне не издохнуть до получения денег. Очень уж Вы задержали отсылку договора. В надежде на гонорарий я приобрел себе выдающегося качества парусиновые штаны и вышитую малороссийскую рубашку. И такой это был необдуманный поступок, что обедаю я теперь только в гостях. Шлите деньги, а то некому будет писать.

Ваш *И. Бабель*

260. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Ростов н/Д, 26/VII–29 *26 июля 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогой Вячеслав Павлович.

Три недели странствовал по Украине, несколько дней т[ому] н[азад] вернулся в Ростов. Теперь надо месяц посидеть на месте — потрудиться. Главная беда моей жизни — отвратительная

работоспособность. Эх, кабы нервам моим было бы не пять с половиной тысяч лет, а тысячи на четыре лет меньше — завинтили бы мы дела! Надо бы обратиться к доктору — да боюсь, вдруг он откроет мозговую какую-нибудь болезнь... Как бы там ни было, сквозь магический кристалл кое-что я начинаю различать.

Договора для подписания еще не получил. Начну печататься в «Новом мире», нигде, кроме как в «Новом мире» — je vous jure*.

После московских дел и дрязг Вы, верно, блаженствуете. Да продлится это блаженство возможно дольше... Я регулярно буду подавать Вам о себе вести, прошу платить тем же.

Примите поклон и дружбу от любящего Вас

И. Б.

261. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 22/VIII–29 *22 августа 1929 г., Ростов н/Д*

Милая Анна Григорьевна. Страшно рад, что устроение Ваше благополучно совершилось. Набирайтесь здоровья, в Ростове Вы имели утомленный вид.

Не могу Вам не сообщить, что «дача» наша не отвечает Вам взаимностью, все нашли, что моя хозяйка — отличный и очень выдержанный человек.

Поездка моя в Кисловодск лопнула. Получил письмо от Воронского. Он болен, грустен, несчастен, там нужен мой приезд, поеду к нему через несколько дней. Адреса свои Вам сообщу. Очень сожалею, что не увижусь с Вами в Кисловодске,

---

* Я Вам клянусь (*фр.*).

но чувствую, что душевный долг мой состоит в том, чтобы поехать в Липецк.

Завтра спрошу в магазине Совкино пленки для Л. И. Поклон ему. Как живется Вам в Кисловодске, в чем состоит Ваше лечение? Пишу на почте, не взыщите, из дому напишу вразумительнее.

Ваш *И. Б.*

262. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 26/IX–29 *26 сентября 1929 г., Ростов н/Д*

Как течет жизнь, милая Анна Григорьевна? Каковы результаты Минвода, как бьется сердце социалистического реконструктора нашего хозяйства? Я чувствую, что ростовский мой период кончается. Поехать к Евгении Борисовне дело необычайно трудное, надо будет похлопотать в Москве. Впрочем, поездка в Москву дело все-таки отдаленного будущего. Я живу в известной Вам кухне трудолюбиво и спокойно. Грязь в нашей округе такая, что в город не выберешься, и одиночество мое очень возросло.

Ваш *И. Б.*

263. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Ростов н/Д, 8/X–29 *8 октября 1929 г., Ростов н/Д*

Дорогой Вячеслав Павлович.

Черт меня знает, какие только места я за последние два месяца не облазил. Договор мотался за мной по десяти почтовым

отделениям. В Ростове я уже недели две, все мусолил договор, но подписать не решился. Посылаю его вам с всеподданейшими замечаниями. Составлял эту бумагу король юрисконсультов, не человек, а дьявол. В п. 1 я прошу вычеркнуть слово «всех», потому что два рассказа мне придется дать в альманахи (не в журналы, а альманахи). Но событие это произойдет через несколько месяцев после того, как я начну и буду продолжать печататься в «Новом мире», — так что ущерба его приоритету не выйдет. Вместо десяти печатных листов я написал шесть для пущей верности, хотя, надо надеяться, будет больше, иначе мне пропасть. Срок я поставил более просторный, потому что, потому что... Вячеслав Павлович, дело обстоит просто. Я хочу стать профессиональным литератором, каковым я до сих пор не был. Для этого мне нужно взять разгон. Темп этого разгона определяется мучительными (для меня более, чем для Издательства) моими особенностями, побороть которые я не могу. Вы можете посадить меня в узилище, как злостного должника (взять, как известно, нечего: нету ни квартиры, ни угла, ни движимого имущества, ни недвижимого — чем я, впрочем, горд и чему рад). Вы можете сечь меня розгами в 4 часа дня на Мясницкой улице — я не сдам рукописи ранее того дня, когда сочту, что она готова. При таких барских замашках, скажете вы, не бери, сукин сын, авансов, не мучай, подлец, бедных сирот юрисконсультов... Верно. Но, право, я сам не знал размеров постигшего меня бедствия, не знал всех каверзных «особенностей», будь они трижды прокляты, матери их сто чертей!!! Теперь, как только вылезу из этих договоров, заведу себе по-

бочный заработок, чтобы не зависеть от дьявола, жаждущего моей души. Я бы и сейчас это сделал — завел бы побочный заработок, — да нету времени, надо писать. К чему веду я эту речь? К тому, что пройдет немного времени — и я стану у вас аккуратным работником. Всей силой души я хочу (и делаю для этого все, что могу) предупредить сроки, превысить количество. Если вы верите в это мое стремление (а по логике вещей в него нельзя не верить), то поймете, что в нашем договоре я не ищу лазеек (на ко́го они мне беса?), а минимальных, твердо выполнимых условий для спокойной работы. Потом — на четыреста рублей никак не могу согласиться, — тогда мне лучше в водовозы идти, тогда жрать будет нечего.

Издав вышеизложенные вопли, перехожу к веселым материям.

Если отвлечься от дел да от плохого здоровья — все обстоит благополучно, и выпадают такие дни, что на душе бывает весело. Погода у нас на ять, сады на нашей улице одеты в багрец и золото, рыбу мы в изобилии ловим в гирлах Дона и благословляем небо, что проживаем в конуре, а не в столице. Вас же о самочувствии спрашивать не решаюсь — так, пожалуй, можете ответить, что закачаешься. До свиданья, Вячеслав Павлович. Не поддавайтесь нашептываниям дурного духа и не верьте, что я сволочь. Я не сволочь, напротив, погибаю от честности. Но это как будто и есть та гибель с музыкой, против которой иногда не возражают.

Ваш *И. Бабель*

P. S. В договоре я избегал дополнительного срока 1/I–30, потому что 8/10 моего материала будет готово только в будущем году.

И. Б.

264. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 10/X–29 *10 октября 1929 г., Ростов н/Д*

Милая А. Г. Промедление с высылкой денег не имеет никакого значения. Ne vous faite, par de la bile* из-за этого. Пошлете по прежнему адресу (Хреновое, Ворон[ежский] округ, Госконзавод, В. А. Щекин), когда будет.

Я писал Вам уже, что не видел Л. И. До сих пор не могу оправиться от этого плачевного случая и громлю почтово-телеграфных чиновников.

В сознании моем постепенно начинает укореняться мысль о поездке к Евгении Борисовне. Трудное дело. Она пишет, что визу выхлопотала. Когда будет у Вас время и охота — сделайте одолжение, — зайдите к французскому консулу, справьтесь — есть ли виза — и узнайте на какой срок (это самое важное, раньше декабря мне не выбраться) и нужно ли ехать в Москву за получением этой визы. Впрочем, может быть, это все можно сделать по телефону, чтобы не затруднять Вас? В Москве перед отъездом (если он состоится — пока никому об этом) мне придется побывать. Бумаги больше нет, до следующего письма.

Привет растратчику.

Ваш *И. Б.*

---

* Не расстраивайтесь (*фр.*).

265. А. Г. СЛОНИМ

Ростов н/Д, 19/XI–29 *19 ноября 1929 г., Ростов н/Д*

Милая Анна Григорьевна. Спасибо за справку. О том, что деньги в Хреновом получились, мне известно давно. Через несколько дней поеду «инкогнито» в Москву. Так как я и там хочу продолжать работать с прежней невозмутимостью, то прошу о моем приезде никому не говорить. Наконец-то я увижу ваше обиталище. Не удивляйтесь, если по вашему адресу начнут прибывать для меня письма. Итак, до скорого свидания. Я ему очень радуюсь.

Ваш *И. Бабель*

266. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 16/II–30 *16 февраля 1930 г., Киев*

Дорогая А. Г. Уезжаю в Борисопольский район сплошной коллективизации. Сколько там пробуду — не знаю, как поживется. Район мой — это недалеко от Киева, поэтому я просил Вас (телеграфно) направлять корреспонденцию сюда (буду присылать за ней человека). В Киеве после снежной метели наступила весна. Какие у Вас новости? Как коллективное ваше здоровье? С места напишу.

Ваш *И. Б.*

267. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 28/III–30 *28 марта 1930 г., Киев*

Уже в деревне я почувствовал недомогание, поспешил в Киев, здесь свалился и две недели хворал отвратительнейшим

бронхитом. Теперь оправился и приступил к работе, увы, очень скучной — отрабатываю аванс Вуфку, пишу сценарий для культурфильма; работа сама по себе достойная и многому учит — но все-таки жалко, что приходится отрываться от прямого дела. Впрочем, может, перебивка будет мне полезна. В связи с этим фильмом я уезжаю завтра в Днепропетровск и Днепрострой — там будет развертываться действие, и мне надо изучить работу нескольких заводов. Итак, мой адрес (впредь до изменения) — Днепропетровск, до востребования. Туда, пожалуйста, переотправьте всю мою корреспонденцию.

Я очень рад тому, что Мосфинотдел вспомнил обо мне. Это очень важно для будущего, когда придется (если придется) получать заграничный паспорт. А. Г., я препровождал Вам доверенность на получение у Арцыбасовой восьмидесяти рублей. Думаю, что на первый взнос хватит, даже если придется сразу заплатить штраф. Кстати, узнайте, за что штраф, нельзя ли его сложить? Укажите, что меня не было последний месяц в Москве, что я был на «коллективизации» — извещение получилось в моем отсутствии и никак не могло догнать меня и прочее и прочее. Кстати, надо указать, что неправильно указано имя Иван и адрес — Чистый переулок. Одновременно отправляю письмо Арцыбасовой с просьбой, как можно скорее, по возможности первого выдать Вам деньги (а то как бы много пени не наросло), а остальную же сумму прошу ее выслать (и тоже как можно скорее) в Киев, Русский Драматический театр, ул. Ленина, 5, Евгении Исидоровне Вильнер. У этой Вильнер я перед отъез-

дом авансируюсь или попрошу ее отослать мне деньги в Днепропетровск. Предварительную беседу с Арцыбасовой можно вести по телефону.

Сто рублей, по указанию Евгении Борисовны, я отослал, все ее поручения исполнил и написал ей.

Ближайшие мои планы таковы — написать сценарий в Днепропетровске, отвезти его в Киев, распутаться с Вуфку — и потом в Москву. Как это выйдет со сроками — пока сказать невозможно.

Я не писал Вам все время потому, что физически чувствовал себя отвратительно и душевно был не очень весел. Бездомность начинает отражаться на моей продуктивности, пора заводить оседлость, а Вы знаете, как это мне трудно сделать. Два дня подряд пытался с Вами и с Тарасовым-Родионовым поговорить по телефону, но, на мое счастье, не было связи — вот и решил отправить письмо. С Тарасовым попытаюсь связаться еще сегодня ночью. Вы, надеюсь, ему сообщили (по телефону 4-15-30) о том, что меня нет в Москве.

Вот и все дела как будто. Жизнь в деревне не очень способствовала веселью. Грустные вести от Вас, от Евгении Борисовны тоже давят на сердце. Оно ноет и болит, вернее, побаливает. Да тут еще вынужденная остановка в Киеве, в ненавидимом мною городе, напоминающем мне все то, что я хочу забыть.

Болести Л. И. не идут у меня из головы. Если поразмыслить трезво, то у всякого работника умственного труда наступают периоды истощения и особой нервной слабости.

Надо взять отпуск и использовать его получше. Но можно ли это сделать?

Очень буду ждать от Вас письма в Днепропетровске. Привет Илюше. Я надеюсь, что и он мне напишет о своих делах.

Ваш *И. Б.*

268. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<27 апреля 1930 г., Москва>

<...> Все у меня благополучно, работаю, чувствую себя очень хорошо, смерть Владимира Маяковского внесла только смятение. Основная причина, как говорят, неудачная любовь, но, конечно, тут есть и годами накопленная усталость. Разобрать трудно, п[отому] ч[то] предсмертное письмо его не дает никакого ключа. Мама верно помнит, как он, громадный и цветущий, приходил к нам еще в Одессе... Чудовищная смерть <...>

И.

269. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<26 мая 1930 г., Москва>

Я думаю, что у тебя и у мамы мания беспокойства принимает форму душевной болезни. Поистине это чудовищно. Очевидно, вы не переносите простейших прикосновений жизни — или вообще не имеете представления о том, что та-

кое жизнь, как надо отбирать радости ее от горестей, вы не знаете меры горестей и истинной их классификации.

Всякое житейское происшествие принимает у вас размеры déme surés*, и одна из главных моих задач при свидании с вами — это вернуть вас к ощущению действительности... Трудности борьбы (и самой тягостной борьбы, работы внутреннего совершенствования) мне известны лучше, чем вам, но никогда la joie de vivre** не оставляет меня, а я видел дела на моем веку... И никак меня особенно природа не создала, а я не ленюсь воспитывать в себе мужество, упрямство, спокойствие. Право, Мерочка, или вообще надо решить, что прозябание наше на этой планете вещь нестерпимо грустная, или... опомниться и познать меру вещей... За последние годы я пассивно только принимал участие в вашей жизни — но вот теперь собираюсь железной рукой прекратить эту мерлехлюндию... Люди стареют, люди хворают — таков ход вещей, но зачем ладонями заслонять от себя солнце... И тебя и маму я прошу исключить из сферы беспокойства меня и все, что со мною связано. У нас и дом будет, и покой, и работа — и все мы вместе будем — все это сделается — нечего издавать тут сопли и вопли — сопли на вопли... Я тебе верно говорю, что никогда не чувствовал себя в таком ударе, как сейчас, никогда так твердо не стоял на ногах — поэтому все охи по поводу моей персоны кажутся мне просто глупыми,

---

* Огромные (*фр.*).

** Радость жизни (*фр.*).

удивительно глупыми. Мне, дураку, кажется, что надо радоваться, имея сына с такой несокрушимой философией — а тут сопли на вопли… Фэ — это глупо… И я все больше любуюсь Наташей, с ней, очевидно, можно сговориться <…>

И.

270. В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

17 июля 1930 г., Москва

Только что приехал из деревни и прочитал в № 28 «Литературной газеты» сообщение об интервью, якобы данном мною на «пляже французской Ривьеры» буржуазному польскому журналисту Александру Дану.

В этом интервью, в выражениях совершенно идиотических, я всячески поношу Красную Армию, власть Советов и плачусь на слабость моего здоровья, причем в этой слабости обвиняю все ту же советскую власть.

Так вот, — никогда я на Ривьере не был, никакого Александра Дана в глаза не видал, нигде, никогда, никому ни одного слова из приписываемой мне галиматьи и гадости не говорил и говорить, конечно, не мог.

Вот и все.

Но какова должна быть гнусность всех этих Данов, готовность к шантажу и провокации белых газет для того, чтобы напечатать такую чудовищную, бессмысленную, лживую от первой до последней буквы фальшивку?

И. Бабель

Москва, 17/VII–1930 г.

271. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молодёново, 10/XII–30 *10 декабря 1930 г., Молодёново*

Дорогой В. П.

Проваливаясь в сугробах, я пробрался сегодня на станцию и позвонил домой, в Москву. Мне сказали, что от «Известий» есть письмо «под обратную расписку». Угадываю содержание этого письма. Так вот — вещи, предназначенные для «Нового мира», несколько дней тому назад (буквально несколько дней) закончены. Надо переписать их начисто. Я не могу этого сделать. Вы не сочтете капризом или бессмысленной фанатичностью, если я скажу, что мне надо опомниться, отойти, забыть и потом со свежей головой дать le dernier coûp*! В последние месяцы у Вас не было «контрагента» более мучительно добросовестного. Я обрек себя на «заточение» и тюремное одиночество — чего больше?.. Так вышло, что только несколько месяцев тому назад уменье писать, простое уменье, вернулось ко мне, — и видят все бухгалтерии всего мира — я не пренебрег этим возвращением. Очень прошу Вас приехать ко мне в гости — и я не постыжусь предъявить Вам «вещественные доказательства». Печататься я начну в 1931 году — и для того, чтобы больше не было мучительных этих перерывов, надо подготовиться. Материал я предполагаю сдать весной и в дальнейшем буду аккуратен и «периодичен», как любой фельетонист... Есть литераторы с гладкой судьбой, есть литераторы с трудной

---

* Последний бой (*фр.*).

судьбой (правда, есть еще третьи — безо всякой судьбы). Я принадлежу ко вторым — и оттого, что эти ухабы не поддаются бухгалтерскому учету, неужели надо в них кидаться вниз головой?..

Я прошу у трудной моей судьбы последнюю отсрочку. Помогите мне получить ее.

Ваш *И. Бабель*

Собираюсь на несколько дней в Москву; я явлюсь тогда и к Вам на последнее растерзание, и — правда, мы условимся относительно нашего «выходного дня». У нас хорошо тут. Я за Вами вышлю лошадей в назначенный день, и мы разопьем в избе деревенского сапожника самовар мира.

Ваш *И. Б.*

272. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молодёново, 13/XII–1930 *13 декабря 1930 г., Молодёново*

Дорогой В. П. Мне передали «цидульку» конторы. И смех и грех... Привлечь меня к суду — это значит подарить мне деньги. Я вызываю всех писателей СССР на «конкурс бедности» со мной, у которого не только что квартиры нет, но даже и самого паршивенького стола. Я сочиняю на верстаке (в самом буквальном смысле слова) моего хозяина Ивана Карповича, деревенского сапожника. Носильное же платье мое и белье, даже по Сухаревской оценке, не превышают ста — может, двухсот рублей. C'est tout*.

* Это всё (*фр.*).

Не судиться надо со мной, а дать мне последнюю отсрочку, о чем я и отсылаю официальную просьбу.

Через несколько дней приеду в Москву. Я рассчитываю увезти Вас хоть на день в мое логово.

Преданный Вам
И. Бабель

273. В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»

13 декабря 1930 года, Молодёново

Работа для «Н<ового> М<ира>» вчерне мною закончена. Требуется еще некоторое время для того, чтобы придать ей годный для напечатания вид.

Прошу отсрочить мне представление рукописи до апреля (включительно) 1931 г. Заверяю редакцию, что это будет последняя отсрочка. Материал, который я представлю, в смысле гонорара намного превысит полученный мною аванс.

И. Бабель

Молодёново, 13/XII–30

274. Ф. А. БАБЕЛЬ

<14 декабря 1930 г., Москва>

<...> Что же касается видимого неблагополучия литературной моей биографии — то до сих пор я блистательно опровергал страхи близоруких моих поклонников, это будет и впредь. Я сделан из теста, замешенного на упрямстве и терпении, — и когда эти два качества напрягаются до

высшей степени, тогда только я чувствую la joie de vivre*, что имеет место и теперь. А для чего же живем в конечном счете? Для наслаждения, понимаемого в широком смысле, для утверждения чувства собственной гордости и достоинства. Что же худо? Худо единственно то, что я удален от своей семьи, привязанность к которой с каждым днем я ощущаю все сокрушительнее. Разделенность эта на 100% вызывается объективными условиями, совладать с ними иначе, чем делаю я — невозможно, если хотеть соблюсти чувство достоинства и чистоту и гордость в работе <...>.

И.

275. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<15 декабря 1930 г., Москва>

<...> Только что мне сообщили из Госиздата, что последнее издание «Конармии» разошлось в рекордный и небывалый срок, чуть ли не в семь дней — и требуется новое переиздание, за которое полагается новый гонорар... Я написал Жене, что, похоже, эта лошадка нас и до весны довезет... И лошадка-то второго сорта — а вот пойди разбери читателя.

Засим — будьте здоровы! Будьте обязательно здоровы.

Исаак Спиноза

---

* Радость жизни (*фр*.).

276. Л. Н. ЛИВШИЦ

Молодёново, 27/I–31 *27 января 1931 г., Молодёново*

Ma tres chère Lucie*. Яшка Охотников скоропостижно увез меня сегодня в 9 часов утра. Жрать здесь нечего, холодновато и нету керосину. Не придется ли помирать?..

Просьба. Я рассчитываю, что Вы ее исполните, потому что она и Вашему сердцу будет близка. Надо послать Мери несколько хороших новых книг — Петра I, может быть, Веру Инбер и другое — по вашему усмотрению. Заказной бандеролью. Издержки будут возмещены. Между строк Жениных и маминых писем я читаю, что Мери больна по-прежнему, и очень больна. На душе очень тяжело. Саша как-то говорил, что может достать табак. Если это не мена, то пусть оставит для меня. Папиросы я перед отъездом достал, все же собирайте для меня un petit...**

Привет всей famille, salut***.

Любящий Вас *И. Б.*

277. А. Г. СЛОНИМ

Молодёново, 8/II–31 *8 февраля 1931 г., Молодёново*

Милая «Анюта». Ладыгин был рожден своим отцом-штабс-капитаном для того, чтобы начать с подпоручиков и кончить подполковником, — изменившиеся обстоятельства

* Моя очень дорогая Люся (*фр.*).
** Понемногу... (*фр.*)
*** Семье, привет (*фр.*).

сделали его зоотехником. Офицерская эта душа все данные ему поручения переложила на Вас, за что и получила от меня жестокий разнос. Это не мешает мне испытывать к Вам глубокую благодарность за присылку музейных экспонатов. Последний мой приезд в Молодёново грустен — я хвораю от переутомления, простудился вдобавок и, объезжая лошадей, отморозил себе нос. Жрать было нечего. Теперь полегчало. Присланные Вами письма заключают в себе мало веселого — старушка снова больна, сестра дежурит при ней дни и ночи, она измучена, в отчаянии и прочее. Одна только дщерь не доставляет пока никаких огорчений. Я твердо решил сделать для освежения мозгов небольшой Ausflug*, недели на две, куда-нибудь на юг. В Москву приеду числа 12-го и заявлюсь немедленно.

Отсюда мораль — если заводить себе родственников — так из мужиков, и если выбирать себе профессию — так плотницко-малярную.

Ваш *И. Б.*

P. S. Английская газета будет привезена аккуратнейшим образом. Привет Вашим соседям по квартире.

278. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<11 февраля 1931 г., Молодёново>

<...> Программа такова — несколько дней пробуду в Москве, потом поеду на юг через Киев. В Киеве мне нужно побывать в Правлении Вуфку, для которого я эпизодически

---

* Экскурсия (*нем.*).

исполняю кое-какие безымянные работы, потом хочу еще побывать в приснопамятной Великой Старице, оставившей во мне одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь. Потом проеду южнее на несколько дней в новые еврейские «мужичьи» колонии. Потом обратно в Молодёново <…>

И.

279. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 5/III–31 *5 марта 1931 г., Киев*

Милая «Анюта». Поездка моя пока что складывается неудачно. Я хвораю. Выехал из Москвы в прелестный, солнечный день, на Украине же застал зиму, ветры, снежные метели. Бронхит у меня такой жестокий, что я неделю провалялся. Счастливо вышло, что не застал номера в гостинице, заехал к Макотинским, и они трогательно за мной ухаживают. Вчера выполз на почту, получил Ваше заказное. Письмо Евгении Борисовны содержит мало веселья — одно только дите и процветает, женщины же рвут и мечут, требуя сокращения сроков.

Je ferai mon possible*. Адрес пока неизменный. Я боюсь двигаться в недра с таким здоровьем — да еще и холодно очень.

Хочется надеяться, что у Вас все благополучно. Желаю я Вам этого благополучия от полноты сердца. Привет домашнему хозяину и юному артисту.

И. Б.

---

* Я сделаю все возможное (*фр.*).

280. И. Л. И Л. Н. ЛИВШИЦ

Киев, 6/III–31 *6 марта 1931 г., Киев*

Дорогие земляки. Поездка складывается неудачно. Я болен (очевидно, бронхит) — много дней не выхожу из квартиры. Правда, за мной ухаживают — я остановился у хороших людей. Зима здесь не хуже московской, но труднее переносима из-за отсутствия «приспособлений». Курс я попрежнему держу на еврейскую колхозную колонию. Очень больно, что задерживаюсь. Может, числа 10-го выеду. О передвижениях своих буду сообщать. Адрес пока — Киев, до востребования. Не звонила ли вам Бабаева? Если приедут хозяева квартиры — пожалуйста, возьмите на сохранение мои многострадальные вещи — список к ним приложен. От Мери и Жени неутешительные сведения. До свидания.

Любящий вас *И. Б.*

281. И. Л. И Л. Н. ЛИВШИЦ

Киев, 24/III–31 *24 марта 1931 г., Киев*

Незабываемые земляки. Вернулся из Макарова в Киев. Собираюсь в Москву и Молодёново. Я не доволен поездкой. В том рабочем и сосредоточенном состоянии, в каком я находился, мне трогаться с места не следовало — а то получилась бессмыслица: из-за передвижений (по нынешнему времени мучительных) я не работал, из-за желания работать не передвигался как следует. Вышло ни то ни се. Придется наверстывать в Молодёнове. От родни стационарные, неутешитель-

ные сведения, только дщерь веселится. Впрочем, от Жени вот уже месяц как нет писем. С тем до скорого свидания.

Ваш *И. Б.*

282. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 24/III–31 *24 марта 1931 г., Киев*

Милая и достолюбезнейшая сердцу моему А. Г. Вернулся из Макарова и с упоением думаю о возвращении к молодёновскому очагу. Путешествие мое во всех смыслах неудачное и бессмысленное. В том рабочем состоянии, в каком я был, мне нельзя было трогаться с места — а так наломался только; из-за необходимости работать не увидел того, что хотел, благодаря неудобным (до мучительства) передвижениям не смог работать. Я не помню в своей жизни поры, когда я был бы так мрачен, как теперь. Вся надежда — на бальзам молодёновского заточения. Рассчитываю выехать отсюда через несколько дней — так что корреспонденцию, буде таковая имеется, пересылать не надо. Привет доценту и вице-скульптору — поклон с любовью.

И. Б.

283. И. Л. И Л. Н. ЛИВШИЦ

Молодёново, 14/IV–1931 г. *14 апреля 1931 г., Молодёново*

Дорогие домашние хозяйки и их домашние хозяева.

Как всегда, когда в дело замешан Яшка Охотников, отъезд мой совершился с большими волнениями и скоропостижно.

В довершение бед у меня очень болела голова — и я не смог с вами попрощаться. Так как мне шутить и прохлаждаться больше нельзя, то я, наверно, посижу здесь по-настоящему. Может, приеду на день, на два в Москву за продовольствием, но вас бы я хотел видеть в Молодёнове.

Из-за этой дурацкой поездки дела мои пришли в такое расстройство, дел так много, что я еще и на завод не выходил. Позвоню вам в ближайшие дни. Пыл мой на будущей неделе остынет — и я очень бы хотел, чтобы вы приехали.

Привет Танюше и Вере.

И. Б.

284. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<24 мая 1931 г., Молодёново>

<...> День 22-го провел за городом на даче у Алексея Максимовича. Встретились мы с прежней любовью. Впечатления так сложны, что вот до сих пор не разберусь. Но старик, конечно, такой — какого другого в мире нет <...>.

И.

285. Л. Н. ЛИВШИЦ

Молодёново, 25/V–31 *25 мая 1931 г., Молодёново*

Chère Lou*. Дни мои в Москве так «уплотнены» и трудны, общение с «нужными» людьми (все еще нужными) так мучи-

---

* Дорогая Лу (*фр.*).

тельны, что к горлу подкатывает иногда отчаяние и бешенство, от которого только и бежать в дремучие леса да в келью. Вчера на душе так было худо, что я воспользовался первым случаем и, не собрав даже необходимого количества папирос, — исчез. Впрочем, и здесь теперь много людей — свадьба, много пьяных и прочее. Но вот нужных людей нет.

Завтра пойду к Лавровой и потом позвоню вам по телефону, обо всем договоримся.

Ваш *И. Б.*

286. Ф. А. БАБЕЛЬ

<17 июня 1931 г., Москва>

<...> По отзывам — сочиняю я теперь лучше, чем раньше, — так что слова твоего Слонима относятся к прошлому и для меня значения не имеют. Впрочем — надо мне отдать справедливость — к критике, хвалебной и ругательной — я отношусь с полным самообладанием и знаю ей цену — чаще всего цена ей пятак <...>.

И.

287. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<3 июля 1931 г., Молодёново>

<...> Я здесь сразу отошел после Москвы и работаю с прежним упоением. Мне пришлось сдать кое-какие рукописи, но редакторы требуют добавления; они правы, рассказы слишком злободневны, и для того, чтобы печататься — надо

бы подбавить современного материала — что я и делаю теперь. Правы-то редакторы правы, настала пора и вперед заглядывать, а не только на ближайшие две недели, но мне-то усилие большое надо сделать, для того чтобы превозмочь все нарастающее нетерпение. Я счастлив тем, что у меня есть два щита от бед — работа, которую я люблю, и Молодёново, моя крепость <...>.

И.

288. А. М. ГОРЬКОМУ

6/VII–31 *6 июля 1931 г., <Молодёново>*

Дорогой Алексей Максимович, я переписал еще несколько старых рассказов. (Новые не замедлят последовать.) Если будет время — прочитайте, пожалуйста.

Ваш *И. Бабель*

289. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<7 июля 1931 г., Молодёново>

<...> Жить мне стало много веселее, чем раньше, не помню, писал ли я вам, что в одном километре от Молодёново, в бывшем Морозовском доме поселился Алексей Максимович (для него выбрали лучшее из подмосковных мест), и так как правила, регулирующие людской поток вокруг него, на меня, по старой памяти, не распространяются — то я иногда хожу по вечерам в гости... До чего поучительно и приятно неожиданное его соседство, нечего и говорить... Вспомина-

ется юность, и хорошо то, что отношения, начавшиеся в юности, до сих пор не изменились <...>.

И.

290. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молодёново, 10/IX–31 *10 сентября 1931 г., Молодёново*

Дорогой В. П.

Только что дописал рассказ для «дебюта» в «Новом мире». По прежним правилам я отложил бы его на год, но теперь обстоятельства (а в соответствии с ними и правила) изменились. В ближайшие две недели отделаю и в конце сентября сдам.

En m'accordant cette grâce*, вы дадите мне возможность печататься в «Новом мире» без перебоев из номера в номер. Право, надо помочь мне окончить мучительное мое настроение по всем правилам акушерства, то есть без выкидышей, без преждевременных родов. Нормальные сроки сами собой подошли.

Ваш *И. Бабель*

291. В. А. РЕГИНИНУ

Молодёново, 13/X–31 *13 октября 1931 г., Молодёново*

Дорогой В. А.

Посылаю выправленную рукопись. Не могу не повторить, что такой переписки — поистине позорной — никогда и нигде не видел.

---

* Даровав мне такую милость (*фр.*).

Обязательно надо будет прочесть сверстанные листы.

Буду в Москве после 20-го. Немчинский, надеюсь, уплатил по моим запискам. Остаток составит 250 р.

Надо приступить к артиллерийской подготовке для следующей выкачки из ГИХЛ'а. Мне до 1/XI надо уплатить фининспектору 630 р. Бухгалтерию можно утешить тем, что наличных не потребуется.

Ваш *И. Б.*

292. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молодёново, 13/Х–31 *13 октября 1931 г., Молодёново*

Дорогой В. П. Отослал в редакцию выправленную рукопись «Гапы Гужвы». Пришлось изменить название села — для избежания сверхкомплектного поношения.

Договор я хотел бы заключить такой — на четыре рассказа со сроком сдачи не позднее 1/III–32 г.; сдавать таким образом, чтобы обеспечить печатание в каждой книжке журнала. Гонорарий — три тысячи рублей; выплаты ежемесячные, начиная с октября по 750 р. в месяц. На эти рассказы (они подлиннее прежних) ушло столько времени, мозгов и сердца, что и при этом гонораре «себестоимость» далеко не будет соблюдена.

Я все отрабатываю авансы, денег ни копейки, а до первого ноября мне нужно уплатить фининспектору шестьсот тридцать рублей. Если редакция согласится на мои условия, то договор хорошо бы ввести в действие с октября. Приеду я в Москву на день, на два к 20 числу, тогда можно и руку при-

ложить. В город буду теперь приезжать еще реже, чем раньше. Вот два дня сижу в деревне и никак не могу опомниться от того, что видел и слышал по нашей отрасли в Москве, не могу приняться за работу...

Сообщаю Вам номер моей сберкнижки (это на тот случай, если удастся получить деньги в октябре) — сберкасса № 30 на Тверской, сберкнижка № 779501.

Простите за то, что обременяю всеми этими «подлыми» делами, но к кому же мне обратиться...

Привет К. А.

Ваш *И. Бабель*

293. Ф. А. БАБЕЛЬ

<14 октября 1931 г., Молодёново>

<...> Перед отъездом я просил Катю послать вам и Жене по номеру журнала «Молодая Гвардия». Я там дебютировал после нескольких лет молчания маленьким отрывком из книги, которая будет объединена общим заглавием «История моей голубятни». Сюжеты все из детской поры, но приврано, конечно, многое и переменено, — когда книжка будет окончена, тогда станет ясно, для чего мне все то было нужно. В этом же месяце появятся два рассказа в «Новом мире» — один из той же серии, другой деревенский. Всем, кто слушали — нравится, но... но покой ушел из моей жизни. После длительного перерыва я соприкоснулся с литературным базаром, многое меня взволновало, в деревне я отхожу и снова принимаюсь за работу. Фенюшка, взялся за гуж —

не говори, что не дюж; отступать теперь некуда, надо гнуть линию... Родным моим, да и мне самому, тяжко приходится от этой линии, но я знаю, что скоро замолю свои грехи перед вами. Как видите, началось последнее действие драмы или комедии — не знаю, как сказать... Не толкайте меня, mes enfants*, под руку, — если бы вы знали, до чего нужны твердость и спокойствие этой руке <...>

И.

294. С. М. МИХОЭЛСУ

Молодёново, 28/XI–31 *28 ноября 1931 г., Молодёново*

Дорогой С. М.

Я жив и пишу рассказы, не пьесу, а рассказы. Замерзшая пьеса лежит, лежат сотни исписанных листов. Самое удивительное в этом деле, что я ее все-таки напишу; она не дается, но мы ее оседлаем. От этих рассуждений никому не легче, ни Вам, ни Вашей бухгалтерии. Все-таки не стоит сажать меня в долговую яму. Гордость моя заключается в том, чтобы не платить кредиторам по 20 копеек за рубль, а бедствие в том, что о рубле, его качестве и удельном весе у меня собственное представление. Если вы согласны ждать еще — ждите, и это будет правильно, если нет — я верну деньги. Я начал печататься, и гонорарий помаленьку будет капать.

Кто-то передавал мне, что у вас директором — Токарев. Правда ли это? Если он в Москве, кланяйтесь ему от меня.

---

* Мои дети (*фр.*).

Мне очень хочется, чтобы Вы приехали в Молодёново. У нас нет комфорта, но красота неописанная. Дороги еще нет, но как только ляжет снег, я пришлю за Вами гонца, Вы передадите ему, к какому поезду высылать лошадь, и мы весь Ваш выходной день будем говорить о любви и пить вино.

Привет от всего сердца Е. М.

Ваш *И. Бабель*

295. В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молодёново, 2/XII–31 *2 декабря 1931 г., Молодёново*

Дорогой В. П.

Посылаю корректуры. Рассказы, которые я теперь печатаю, написаны несколько лет тому назад и в последние месяцы отделаны (относительно). Я стал не тот, мысли не те, жизнь ушла вперед. Жалко прожитых годов (внутреннего моего настроения), не хочется их оставить без следа, вот хвосты и тянутся. В интересах моих и журнала печатать эти рассказы в комбинации с новыми; новые поспевают, полоса у меня рабочая.

Если бы начать печататься на несколько месяцев позже — вышло бы много веселее и значительней. Я бы хотел оттянуть и декабрьские, но Вы, верно, не согласитесь, бейте в мою голову.

Попытаюсь вызвать Вас по телефону из бывшего горьковского дома, а не то в начале будущей недели приеду на день в Москву.

Ваш *И. Б.*

296. Ф. А. БАБЕЛЬ И М . Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<7 декабря 1931 г., Москва>

<...> Редакции рвут на части — я не поспеваю за их требованиями. Неужели вы до сих пор не получили октябрьской книжки «Нового мира»? Лит<ературный > журнал «Звезда» вам выслан. Обязательно надо было послать «Молодую Гвардию» Жене <...>

И.

297. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<2 января 1932 г., Москва>

<...> Удивляюсь тому, что в зарубежной прессе пишут о таких пустяках, как «Карл Янкель». Рассказ этот неудачен и к тому же чудовищно искажен. Я уже, кажется, писал вам, что его напечатали по невыправленному тексту (черновому) с ошибками, совершенно уничтожающими смысл. Вообще, то, что печатается, есть ничтожная доля сделанного, а основная работа производится теперь. С похвалами рано, посмотрим, что будет дальше. Единственное, что достигнуто, — это чувство профессионализма и упрямства и жажда работы, которых раньше не было. Внешне же это проявляется пока недостаточно, случайно, скомканно, не в том порядке, как надо. Впрочем, до всего дойдет очередь <...>

И.

298. В. А. РЕГИНИНУ

Молодёново, 9/IV–32 *9 апреля 1932 г., Молодёново*

Дорогой В. А.

Один рассказ переписал, приступаю ко второму. Привезу через несколько дней. Вот только с распутицей беда, как бы нас не отрезало от мира.

Постарайтесь до моего приезда продвинуть гонорар за новый рассказ и помогите тетке получить остающиеся двести рублей.

Душевная, важная к Вам просьба: распорядитесь об отправке заказной бандеролью — 2–3 и 4 номеров «30 дней» моей матери и Евг[ении] Борисовне. Адреса: Madame Babel, 8 Avenue Emil Zola, Paris 15 и Madame Chapahnikoff, 52 rue del Bollandistes, Bruxelles, Belgique.

Пожалуйста, сделайте это.

Живу хорошо, работаю.

Ваш *И. Б.*

299. Т. Н. ТЭСС

Молодёново, 24/IV–32 *24 апреля 1932 г., Молодёново*

<…> Третий день болит голова. Дьявольский климат. При таком климате надо бы каждому гражданину, ни в чем особенном не замеченному, раздавать по карточкам, по крупице радия, чтобы он лучеиспускал. Неумолчно ревет корова. Она требует трех вещей — травы, солнца и супружества.

Ревет она упрямо, забирая все выше, вытягивает морду из стойла и таращит глаза. С таким откровенным характером, конечно, ей легко живется на свете...

Вернусь я в Москву 1 или 2 мая. Желаю Вам от господа бога хорошего расположения духа, хороших мыслей и адекватного их выражения.

И. Бабель

300. А. Г. СЛОНИМ

Москва, 17/VIII–32 *17 августа 1932 г., Москва*

Дорогая А. Г. Живу так плохо, как только можно себе вообразить. Несколько месяцев ничего не работаю; душевно и физически изнемогаю. По-прежнему переходы от отчаяния к надежде. В довершение ко всему — все время болит сердце. Мой старый «покровитель» сделал последнее усилие, жду его результатов. Евгения Борисовна ничего не пишет. Если вдуматься в эту историю — холодновато становится.

Из семейства Вашего часто вижусь с уважаемым mr. votre fils*, квартирные его неурядицы еще не кончились, но, думаю, все обойдется. Просить у Вас прощения не буду, боюсь показаться бестактным. Родителями моими я рожден не для того, чтобы быть несчастным, и в этом противоестественном состоянии теряю ощущение действительности. В Москве Вы меня, конечно, еще застанете.

Ваш *И. Б.*

---

* Вашим сыном (фр.).

301. А. Г. СЛОНИМ

St. Jacut de la Mer 19/IX–32 *19 сентября 1932 г.,*
<Бретань>

Дорогие и незабываемые земляки. Фамилию мою в Париже не застал и отправился за ними в Бретань. Они лечатся здесь от многочисленных болезней. Знакомлюсь с inénarrable m-elle Babel[*]. При весе в 1 пуд — в ней на 10 пудов лукавства, жадности, живости — и при этом есть стиль — так, по крайней мере, мне кажется. По-французски она говорит, как Parisienne de Paris[**], по-русски много хуже. Живем мы в рыбацкой деревушке недалеко от Динара, съедаем по тринадцать французских блюд ежедневно, не считая.

И. Б.

302. А. Г. СЛОНИМ

<Сентябрь 1932 г., Бретань>

Petit dejeuner u che compplet[***]. Собираюсь отправиться на ловлю омаров и лангуст, завтра пойду на foire[****]. Надо воспользоваться случаем, забросившим меня в Бретань, и походить по этой стране. К 1-му поедем в Париж. Не помню, оставил ли я вам адрес — 10 Avenue Pasteur, Paris 15e. Привет

---

[*] Уморительная мадемуазель Бабель (*фр.*).

[**] Истая парижанка (*фр.*).

[***] Первый завтрак целиком (*фр.*) .

[****] Ярмарка (*фр.*).

Илюше. Я напоминаю ему о том, что надо отлить бюст и прислать мне фотографию. Я очень хочу показать Евгении Борисовне. Она кланяется Вам от всего сердца. Материнские обязанности Е. Б. исполняет с каким-то даже остервенением, но ce cas est difficile*. Все страсти, которые отец в себе подавил, в дочери свободно выступают наружу.

Ваш *И. Б.*

303. А. Г. СЛОНИМ

Paris 5/X–32 *5 октября 1932 г., Париж*

Дорогая А. Г. Несколько дней тому назад приехали в Париж. Привыкаю к семейной жизни, занят «организационными вопросами» — устраиваю себе угол для работы, — в Москве потеряно много месяцев. После Молодёнова — Avenue Pasteur**, после мужиков, молчавших как земля, — трехлетнее, буйное, картавящее существо в локонах, хлопающее меня по щекам и обзывающее «petit cochon»*** или «дюрак» — переход резкий. Стараюсь к нему привыкнуть.

Что у Вас? Как дела Илюши с бюстом и прочее? Множество приветов Л. И. Пишите мне!

Ваш *И. Б.*

---

* Это трудный случай (*фр.*).

** Авеню Пастера (*фр.*).

*** «Поросенок» (*фр.*).

304. Б. Б. СОСИНСКОМУ

Париж, 23/XI–32 *23 ноября 1932 г., Париж*

Дорогой Б. Б.

Вырезку получил. Спасибо. О деле «Рассвета» я слышал, но прочесть было интересно.

Особой встречи с «сиятельным князем» искать, конечно, не надо. Мы могли бы сообщить друг другу много поучительного. У меня есть московские программы, фотографии и проч.; со своей стороны я хотел бы узнать о состоянии рысистого дела во Франции. Если представится случай — хорошо, но настойчивости в этом направлении проявлять не следует. В ближайшие дни собираюсь позвонить Андрееву и уговориться о встрече.

Ваш *И. Б.*

305. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 8/II–33 *8 февраля 1933 г., Париж*

Милая А. Г. Без бед ни в каком Париже не обходится. Несколько недель я был угнетен полной и мучительной неработоспособностью, потом маленько воспрянул, тогда нас посетил «всеобщий грипп». Хворала Евгения Борисовна, хворал отпрыск, от отпрыска заразилась моя мать (приехавшая в гости из Брюсселя) — пролежала десять дней, и венец всего — как последствие гриппа с ней случился страшный сердечный припадок. Неделю я не ложился и жил в тревоге. Теперь дело пошло на поправку.

Планы таковы — в начале марта поехать в Сорренто, оттуда в Москву. Как видите — появление парижанина в Машковом

переулке не за горами. Дщерь наша цветет — веселит и оживляет весь дом; за недолгую свою жизнь она успела уже произнести несколько гениальных изречений, придумать несколько слов — т. е. живет так, как ей полагается. Вчера ее снимали, как только получу карточки, пошлю вам.

Я, кажется, писал уже Вам, что по необходимости веду образ жизни добродетельный и трудовой. Сделал я в смысле количества мало, но мысли кажутся мне проще и яснее, чем раньше. Маленько мешает строго (строжайше) ограниченный прожиточный минимум. Сытость, одежда — об этом всем не думаешь, но человек развращается быстро, а дальнейшему развитию аппетита поставлены пределы.

О житье Вашем осведомляла меня тетка — у нее все плохо.

Сосед мой Штайнер только теперь выбрался из Вены — возможно, что по дороге в Москву он заедет дня на два в Париж. Я очень рад тому, что он снова водворится в Б. Николо-Воробинском, на него можно положиться...

До сих пор я думал, что рекорд медлительности в «трудах» незыблемо укреплен за мной, — похоже, что Илюша у меня этот рекорд отобьет. Кланяйтесь ему от меня; очень бы хорошо получить от него письмо.

Бумаги я здесь мараю много — не хочется прибегать к испытанному этому способу, чтобы передать Вам мысли мои и впечатления — в не столь продолжительном времени за стаканом доброго чая (не глупо ли я это написал?) Вы услышите, à mon avis*, интересные вещи.

---

* По моему мнению (*фр.*).

Я рад за Л. И. Если работает — значит, здоров или приблизительно здоров. Больших карманов пусть себе не шьет — но лезвия Жиллет будут.

Наша «фамилия» кланяется Вам. Как только карточки будут готовы — пришлю наши личности. До свидания.

Ваш *И. Б.*

306. Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 22/II–33 *22 февраля 1933 г., Париж*

Дорогой Л. В. Не могу сказать, как обрадовала меня Ваша открытка, как я рад за Вас всем сердцем... Наконец-то. Писать не писал, а думал и вспоминал о Вас постоянно — в особенности во время прогулок по Av. Wagram...* Хороший город Париж — еще лучше стал... Американцы и англичане с шальными деньгами исчезли. Париж стал французским городом и от этого поэтичнее, выразительнее, таинственнее... Боюсь, что на Монпарнасе мы не встретимся. В начале лета я буду в Москве, — в марте хочу поехать в Италию. Не входит ли Италия в ваш маршрут? Ответьте мне. Во всяком случае сообщите адреса. Не прихватить ли мне Турцию и вернуться через Константинополь? Напишите о делах российских... Читали соборно фельетон Ваш о Пильняке — помирали со смеху — превосходно написано.

Вообще последнее время с моего благословения Вы расписались здорово.

---

* Авеню Ваграм (*фр*.).

У меня здесь отпрыск трех с половиной лет — существо развеселое, забавное и баловливое. Эренбург богат — американцы в который раз купили у него «Жанну Ней» для фильма. Я же, напротив, очень беден. Есть ли у меня знакомые в турецком нашем представительстве?.. Ответьте поскорее. Где Ел. Григ.?.. Как здоровье ее?

Ваш *И. Б.*

307. Ю. П. АННЕНКОВУ

11/III–33 *11 марта 1933 г., <Париж>*

Дорогой Ю. П.

На улице стоит проклятый мороз и не дает работать, сплю плохо, а работать надо не только для души, но и для заработка, который, как известно, на чужой стороне дается трудно. Я надеюсь, что через несколько дней плохая моя жизнь кончится и мы ознаменуем с Вами начало новой, хорошей. Как только сие случится, прибегу к Вам, надо думать, в середине будущей недели. Валентине Ивановне кланяемся несчетно раз.

Ваш *И. Б.*

308. А. М. ГОРЬКОМУ

Париж, 18.III–33 г. *18 марта 1933 г., Париж*

Дорогой Алексей Максимович!

Томлюсь. Хочу ехать в Сорренто, в Москву — и не могу, нет денег. Написал в Москву, жду ответа. Пытаюсь заработать здесь, что трудно. Мне сделали предложение кинематографические фирмы; я поставил условия, очень их ограничивающие. Не знаю, примут ли. Подожду еще неделю,

больше не выдержу. Если денег не добуду — займу у кого-нибудь и поеду. Несмотря на столь неопределенные обстоятельства — все-таки до свидания. Привет семье.

Ваш *И. Бабель*

309. А. Г. СЛОНИМ

Сорренто, 15/IV–33 *15 апреля 1933 г., Сорренто*

Рай земной, надо думать, должен выглядеть как Capo de Sorrento*. Перед окном Неаполитанский залив, в дымке Везувий, который всегда курится, у порога оливковые, апельсиновые, лимонные рощи, дьявольские всякие ароматы и наваждение цветов. Живу здесь пятый день и никак не могу опомниться. Успел побывать в Риме и Неаполе, перед отъездом собираюсь поколесить по Италии. От Вас давно нет известий. Мой адрес: Sorrento, Italia, Poste restante. Je vous salue de tout mon coeur...**

И. Б.

310. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<5 мая 1933 г., Сорренто>

<...> Вчера провели весь день с Алексеем Максимовичем Горьким в Неаполе. Он показывал нам музеи — античную скульптуру (до сих пор опомниться не могу), картины Тициана, Рафаэля, Веласкеса. Вместе обедали и ужинали. Старик выпил, и здорово. Когда мы вошли вечером в ресторан (расположенный высоко над Неаполем, вид города оттуда волшебен),

---

* Мыс Сорренто (*фр*.).

** Я вас приветствую от всего сердца... (*фр*.)

где его знают уже 30 лет, все встали со своих мест, официанты кинулись целовать ему руки и сейчас же послали за старинными певцами неаполитанских песен. Они прискакали — семидесятилетние, все помнящие А. М. — и пели надтреснутыми своими голосами так — что я, верно, во всю мою жизнь этого не забуду. А. М. плакал безутешно — пил и, когда у него отбирали бокал, говорил: в последний раз в жизни... Незабываемый для меня день. Стараюсь изо всех сил ускорить приезд Жени и Наташи. Надеюсь, что они приедут недели через полторы. Мне не советуют посылать пьесу, надо бы, конечно, везти самому, я еще не решил, как поступить. Горькие уезжают девятого — есть советский пароход, идущий из Лондона в Одессу, им, конечно, выгодно поехать на нем. В доме остаюсь я да Маршак — великолепный наш детский поэт, надеюсь, он подружится с Наташей. У Маршака тоже есть в Брюсселе сестра; очень возможно, что мы поедем в Бельгию вместе.

А. М. взял у меня для альманаха три новых рассказа. Один из них мне действительно удался, только бы цензура пропустила. А. М. обещал прислать из Москвы гонорар валютой <...>

И.

311. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Сорренто, 11/V–33 *11 мая 1933 г., Сорренто*

Горький уехал восьмого. Поездом они отправились до Генуи, там пересядут на советский пароход, идущий прямым

рейсом до Одессы. Я провожал «хозяина» до Неаполя, остался там на два дня, вернулся вчера вечером. Мы одни с Маршаком в громадной вилле, если бы Женя с Наташей поскорее приехали. Задерживают, конечно, материальные затруднения, надеюсь, что их удастся преодолеть. Начинаю переписывать пьесу, через несколько дней пошлю ее в Москву.

Горький просил меня написать несколько статей о Неаполе. Дело это близко моему сердцу — попытаюсь.

И.

312. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Рим, 20/V–33 *20 мая 1933 г., Рим*

У меня головокружение от всех этих колизеев, форумов, Сикстинских капелл, Рафаэля, Пантеона... Хотел уехать сегодня, но не могу оторваться, когда-то еще придется вернуться сюда... Вот и пришлось увидеть то, о чем я с детства прочел сотни книг.

В Париж выеду послезавтра.

И.

313. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Флоренция, 24/V–33 *24 мая 1933 г., Флоренция*

Конец венчает дело — ничего более прекрасного, чем Флоренция, на своем веку не видел. От всех этих Микельанджело, Рафаэлей, Тицианов хожу как в чаду. Ночью еду в Париж, куда должен прибыть завтра в десять часов вечера —

там небось прихлопнут всякие дела. Сейчас пойду покупать гостинец Наташе.

Посылаю Вам лоджию со статуей Бенвенуто Челлини на первом плане.

И.

314. А. М. ГОРЬКОМУ

Флоренция, 24/V–33 *24 мая 1933 г., Флоренция*

Дорогой Алексей Максимович.

Глаза мои видют, ноги мои ходют, я во Флоренции. Этого достаточно для того, чтобы быть счастливым...

Собираюсь в Париж. Меня торопят с представлением сценария. Кое-что обдумал. В июне рассчитываю увидеться с Вами в Москве и очень этому радуюсь.

Маршака оставил в неудовлетворительном состоянии. Ничего не мог поделать: мне надо ехать; беспокоюсь об нем.

Когда приеду — расскажу Вам и Яковлеву, что я увидел в Неаполе; очень будет хорошо, если у нас выйдет «сочинение»...

Поклон от всего сердца чадам и домочадцам.

Ваш *И. Бабель*

315. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 29/V–33 *29 мая 1933 г., Париж*

Милая А. Г. Вчера вернулся в Париж после полуторамесячного пребывания в Италии. Не успел побывать в

Венеции — не хватило денег. Все затмила Флоренция. Впечатление неизгладимое на всю жизнь. Алексей Максимович поручил мне одну работу, которую надо исполнить здесь, потому я не мог приехать вместе с ним. Тоска по России все сильнее. Вернусь во второй половине июня.

В работе — неудачи. Пьесу написал — не вышло. Не могу пока определить — окончательная эта неудача или еще поправимо. Сдал А. М. несколько рассказов для второго номера альманаха «Шестнадцатый год», один рассказ как будто ничего, остальные, по-моему, серы. Дочка за полтора месяца очень изменилась, хорошо говорит по-русски, меньше шалит. Сегодня отдал напечатать ее негативы, когда будет готово — пошлю Вам. Это должна была сделать Евгения Борисовна, но по забывчивости своей ничего не исполнила. Не переслала мне даже в Сорренто Ваше письмо, я только здесь узнал о нем. Пробки, конечно, привезу. Напишите обо всех поручениях, теперь время. Привет мужчинам. Я радуюсь тому, что свиданье наше не за горами.

Ваш *И. Бабель*

316. Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 30/VII–33 *30 июля 1933 г., Париж*

Л. В. Вместо того, чтобы объявлять меня жуликом (легкое занятие), послали бы мне друзья мои денег на дорогу или хотя бы ж<елезно>д<орожный> билет. Пять месяцев тому

назад я написал об этом, никто не ответил. Что это значит? Это значит, что я предоставлен самому себе в чужой враждебной обстановке, где честному сов<етскому> гражданину заработать невозможно. Едучи сюда, я рассчитывал, что у Евгении Борисовны будут деньги на обратный путь, но американский дядюшка кончился, наступила misere noire*, долги и проч. Унижение и бессмыслица состоят в том, что человек, лично ни в чем не нуждающийся, приспособленный к тому, чтобы обходиться без всяких просьб, принужден прибегать к ним, и так как он делает это против своего чувства, против своей гордости, то и выходит это у него плохо. Жизнь этого человека ломается надвое, ему надо принять мучительные решения. Сочувствия не нужно, но понимание товарищей — хорошо бы.

Это о «мире», теперь о себе. Живу отвратительно, каждый день отсрочки мучителен; кое-как состряпал кратчайший ex posé**. Если понравится и заплатят — выеду на этой неделе, если не понравится (изложено отнюдь не в духе Патэ) — тогда... не знаю, что делать, объявить себя разве банкротом, попросить в полпредстве ж.-д. билет и тайком бежать от кредиторов...

---

* Черная нужда (*фр.*).

** Изложение, план (*фр.*).

Voila[*], невесело. Мне до последней степени нужно быть в Москве 10/VIII, иначе рухнут давнишние заветные планы. И так с верой в «божью помощь» — a bientôt...[**]

Целую руки и низко кланяюсь Е[лене] Гри[горьевне]

Любящий Вас *И. Б.*

Эренбург был в Лондоне, захворал там, теперь он в Швеции.

317. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Москва, 21/IX–33 *21 сентября 1933 г., Москва*

Жизнь налаживается. Читал доклад о заграничной поездке — хуже, чем мог бы это сделать. В газетах переврали, но это неизбежно. Переделываю теперь «труд», написанный в Париже, конец там вышел неудачен. Освободиться бы от этого, тогда дорога открыта — можно заняться множеством интересных дел. Посылают в командировку на Се[верный] Кавказ и Украину. Возможно, побываю в Одессе. Думаю, что в октябре начну работать на экспорт — так чтобы была помощь маме и Жене. Если не считать нищеты — в Париже все благополучно.

---

[*] Вот (*фр.*).

[**] До скорой встречи... (*фр.*)

У нас чудовищная осень — не то что каждый день дожди, и слякоть, и сумрак, а каждый час льет; феноменальный урожай этого года ощутительно страдает.

Вчера у меня в гостях были Лившицы и Семичевы; выпивали, закусывали, играли на граммофоне. В гостях у нас отличный инженер из Вены — ведем за трапезой легкий разговор на венском диалекте за сигарой и венским кофе. «Паллацо» мое в порядке.

Катины дела я нашел в плачевнейшем состоянии. Помаленьку их поправляем.

Пишите, от вас ничего нет. Каковы воспоминания о племяннице? Я скучаю здорово.

И.

318. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Нальчик, 29/X–33 *29 октября 1933 г., Нальчик*

Живу в благословенной стране — езжу с «хозяином» ее по горам и долам, вспугиваем волков и зайцев, ловим лососей в Тереке. Все дышит здесь изобилием, какого много лет не было. Урожай баснословный, стройка везде кипит, здесь и жить радостно. Постараюсь здесь пробыть как можно дольше; материал и для нас и для заграницы можно собрать необычайный. Из-за всех этих странствий текущие дела маленько запустил — постараюсь наверстать. Кроме того — совсем оторвался от всех корреспондентов и очень тревожусь — что с вами, со всеми моими тремя поколениями? Получили вы телеграммы мои с указанием адреса? Где мама? Подожду

еще день и буду снова телеграфировать. Не оставляйте меня без известий. Повторяю в Н-й раз адрес: Нальчик, Се[верный] Кавказ, до востребования. Я теперь сделался на некоторое время оседлым жителем, писать буду аккуратно — потому, конечно, что беспрестанно думаю о вас.

И.

319. Л. М. ВАРКОВИЦКОЙ

Нальчик, 29/Х–33 *29 октября 1933 г., Нальчик*

Милая Л. М. Приехал из Парижа и снова странствую. Объехал Черноморское побережье, теперь живу в Нальчике (Кабардино-Балкарская область), где и задержусь. Письмо Ваше переслали, книжку нет, запросил моих домашних. Сейфуллиной напишу, и вообще, когда приеду в Москву — расшибусь и сделаю все, что надо.

Не поговорить ли Вам пока с Маршаком? Прилагаю письмо к нему. Он один из организаторов нового детского издства и может дать Вам нужный совет. Адреса его не знаю, в письме и личные мои дела, пожалуйста, передайте поскорее.

Срок возвращения в Москву сообщу Вам, в Ленинграде должен быть обязательно. Если время терпит — дождитесь моего возвращения.

Я уверен, что все дела Ваши уладить легко. Не надо и говорить, с какой радостью я увижу Вас — сердце мое предано прошлому.

Будьте другом — напишите о себе и о тройке — какие они и как распределились на сей планете.

Мой адрес: Нальчик, Се[верный] Кавказ, до востребования.

Если не трудно, пришлите мне сюда экземпляр книги, а то я на моих соседей больших надежд не возлагаю. До свиданья.

Bién à vous* *И. Б.*

320. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<12 ноября 1933 г., Нальчик>

<...> Работать еще не начинал, все кочую по этой стране чудес. Сегодня уезжаю в немецкий колхоз (один из богатейших и благоустроеннейших колхозов края), там возьмусь за ум. Ездили на охоту с Евдокимовым и Калмыковым — убили несколько кабанов (без моего участия, конечно) на высоте 2000 метров, среди альпийских пастбищ и на виду у всего кавказского хребта, от Новороссийска до Баку — жарили целых. Несколько дней провели в балкарском селении у подножия Эльбруса на высоте 3000 метров, первый день дышать было трудно, потом привык <...>

И.

321. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Нальчик, 23/XI–33 *23 ноября 1933 г., Нальчик*

Не знаю, что приключилось с моим Штайнером в Москве — молчит, несмотря на повторные мои телеграммы и корреспонденции, не пересылает. О Жене узнал только от

---

* Искренне ваш (*фр.*).

Вас. Я все ношусь по области (Кабардино-Балкарской) — жемчужине среди советских областей — и никак не нарадуюсь тому, что приехал сюда. Урожай здесь не только громадный, но и собран превосходно — и жить, наконец, в нашем русском изобилии приятно. Был в горах у подножия Эльбруса (все плакал, что семейство мое не видит этих красот), кочую по казачьим степям, скоро собираюсь обосноваться на одном месте, чтобы возобновить потерянную связь с миром. Думаю, что при правильном использовании и настоящем изучении нынешняя моя поездка может дать большие результаты и даже в смысле свидания с семьей в конечном счете. Пишите.

И.

322. А. Г. СЛОНИМ

Нальчик, 28/XI–33 *28 ноября 1933 г., Нальчик*

Mio amico* А. Г.

Живу месяца полтора в Кабардино-Балкарской области и житьем этим наслаждаюсь. Дела и люди удивительно интересные. Сегодня уезжаю в Балкарские ущелья, потом брошу якорь в колхозе и там сяду за письменный (или какой-нибудь вообще) стол. Адрес мой впредь до изменения: Нальчик (Северный Кавказ). До востребования. Как протекли Ваша и Л. И. поездки? Каково объединенное ваше здоровье? Теперь признаюсь, что многое за последние годы просмотрел и за

* Мой друг (*ит.*).

многим не уследил — надо наверстывать. Попросите Илюшу написать мне. Очень хочется знать, как он работает. В Москве морозы, здесь их нет, и я дышу порядочно. В ближайшие дни предстоит сделать несколько сот километров на лошади по местам головокружительной красоты...

Ваш *И. Б.*

323. Л. Н. ЛИВШИЦ

Нальчик, 1/XII–33 *1 декабря 1933 г., Нальчик*

Жду ответа на телеграмму. Грустно, если Изя не воспользуется возможностью провести месяц в Кисловодске в хорошем доме отдыха и дешево.

По-моему, лечиться и отдыхать в Кисловодске зимой лучше, чем летом. Мы сможем видеться — обосновался я сравнительно недалеко; был в Нальчике, теперь переезжаю в колхоз — верстах в 50 отсюда.

Телеграфировать я выбрался поздно, но это не от подлости моей, а оттого, что столько дел и неожиданных впечатлений обрушилось на меня — только теперь я опоминаюсь... Кроме того, все кочевал — не знал, где брошу якорь. Работать было невозможно. Передо мной открылась страна чудес (Кабардино-Балкарская область). Попытаюсь в колхозе приковать себя к письменному столу.

Адрес мой: Нальчик (Северный Кавказ), до востребования. Письма будут мне доставлять. Хотелось бы (да и необходимо совершенно) пробыть здесь подольше, боюсь, что Штайнер вызовет меня в Москву. Как вы живете? Кланяюсь Вере и

Танюше. Все думаю о вас, о друзьях, о родных, сентиментален стал.

И. Б.

324. О. Г. И А. Я. САВИЧ

Нальчик, 3/XII–33 *3 декабря 1933 г., Нальчик*

Все скитаюсь, незабываемые и любезные сердцу парижане. Обскакал Черноморское побережье, кочевал месяца полтора по ущельям Балкарии и долинам Кабарды (Кабардино-Балкарская область, достойная, по моему мнению, не только внимания соотечественников, но и прочих), теперь утверждаюсь в колхозе, после чего перееду в украинский колхоз, интеллигентной жизни вести не собираюсь. Единственно, что постарел; бродяжить хочется, но уже со всей фамилией. Кстати о фамилии — видите ли вы их, пьете ли совместно Cafe crème*?

Ночуя где-нибудь в ауле, вспоминаю Париж, и жизнь кажется неправдоподобной. Не забывайте меня, подайте голос.

Эренбургу и Путеру пишу особо.

Любящий вас *И. Б.*

325. Ф. А. БАБЕЛЬ

Нальчик, 4/XII–33 *4 декабря 1933 г., Нальчик*

Бесценная мамашенька. Получил письмо твое от 25.XI со вложением личности (очень удачно получившейся). Что же

* Кофе со сливками (*фр.*).

касается среднего возраста — то унывать нечего, у нас ты была бы в моде. Завтра, например, открывается второй областной съезд стариков и старух. Они теперь главные двигатели колхозного строительства, за всем наблюдают, указывают молодым, ходят с бляхами, на которых написано «инспектор по качеству» и вообще находятся в чести. Такие съезды созываются теперь по всей России, гремит музыка и старикам аплодируют. Придумал это Калмыков, секретарь здешнего обкома партии (у которого я гощу), кабардинец по происхождению, а по существу своему великий невиданный новый человек. Слава о нем идет уже полтора десятилетия, но все слухи далеко превзойдены действительностью. С железным упорством и дальновидностью он превратил маленькую горную полудикую страну в истинную жемчужину.

Разреши тебе также сообщить, что даже в Нальчике (климатической станции, где дышишь как рыба в воде) 20° мороза, но воздух такой прозрачности, а в доме я так закован печами и всяческим благоустройством, на улице передвигаюсь на линкольне — так что мороза и не чувствуешь. С нетерпением жду дня, когда можно будет перебраться в колхоз верстах в 40 от Нальчика, где ждут меня теплая изба, снега и очень интересное окружение. Адрес остается пока прежний.

От Жени писем давно нет, но стороной знаю, что у нее благополучно. Из-за моих странствий был перерыв в корреспонденции, но теперь, как видишь, я осел, наладился и пишу аккуратно. Относительно свидания нашего я не разделяю

твоего пессимизма. Теперь все соображения отпадают, кроме моей работы, от нее все зависит. Теперь ничем не дам сбить себя с пути, буду жить там, где мне это полезно для работы, и трудиться без остановки, — это может обеспечить и свидание наше, и средства для вас. За письменный стол я уже сел и мысли кое-как двигаются, по-моему, лучше, чем за последние годы.

Как я скучаю по фамилии — рассказывать тебе не надо. Трудно иногда приходится, ищешь утешения в труде, в непреклонном желании это рассеяние прекратить раз и навсегда. Меня ждут, на этом кончаю. Je vous embrasse, mes enfants*.

И.

326. И. Л. ЛИВШИЦУ

Нальчик, 7/XII–33 *7 декабря 1933 г., Нальчик*

Mon vieux**.

Удивлен отсутствием ответа на мою телеграмму — не случилось ли у тебя чего?

Получил от Партиздата предложение написать брошюру срочно об МТС или колхозах. Я этим занимаюсь сейчас и сижу здесь для этого. Постараюсь сделать, но срок мне нужен — не несколько дней, как телеграфирует Шеломович, а несколько месяцев. Только что в этом смысле отправил ему спешное письмо (адреса не знаю, написал просто Партиздат).

---

* Я вас обнимаю, мои дети (*фр.*).

** Старина (*фр.*).

Завтра переезжаю на более или менее продолжительное жительство в колхоз в километрах 50-ти отсюда, адрес остается прежний. Из деревни напишу. Привет фамилии.

И. Б.

327. И. Л. ЛИВШИЦУ

Нальчик, 9/XII–33 *9 декабря 1933 г., Нальчик*

Mon vieux.

На телеграмму ты не отвечаешь. Христос с тобой, хотя, конечно, хамство.

Есть дело: получил сегодня из обкома материалы по Кабардино-Балкарской области, материал выдающегося интереса. Общеизвестно, что здесь даны непревзойденные образцы колхозного строительства. Можно бы к лету приготовить ряд очерков полубеллетристического, полустатейного характера. Я бы взялся — если бы Партиздат выдал на пропитание тысячи полторы-две (очень нужно).

Если считаешь уместным, достойным и небезнадежным — предложи. Ответ телеграфируй срочно в Нальчик, обком ВКП, Родионову, мне.

В ответ на телеграмму Шеломовича я писал ему, что собираюсь работать над такими очерками, — не знаю, дошло ли письмо, улицы не мог указать.

Завтра переезжаю в колхоз, километрах в 50-ти отсюда, адрес остается прежний — Нальчик.

Работаю много. Похоже, что ко мне вернулась «форма», какой не было несколько лет. Может, что и выйдет. Привет Люсе, Вере и Танюше.

И. Б.

328. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Станица Пришибская, 13/XII–33

13 декабря 1933 г., станица Пришибская

Живу в коренной чистокровной казачьей станице. Переход на колхозы происходил здесь с трениями, была нужда — но теперь все развивается с необыкновенным блеском. Через год-два мы будем иметь благосостояние, которое затмит все, что эти станицы видели в прошлом, а жили они безбедно. Колхозное движение сделало в этом году решающие успехи, и теперь открываются, действительно, безбрежные перспективы, земля преображается. Сколько здесь пробуду — не знаю. Быть свидетелем новых отношений и хозяйственных форм — интересно и необходимо. Адрес мой прежний: Нальчик. Оттуда будут пересылать. Могу доложить, что закончил пьесу. В ближайшие дни перепишу ее и пошлю в Москву. Самое замечательное в этом казусе, что я начал уже и другую — и похоже, на какой-то чистый ключ набрел, научился на прежних работах. Здесь зима необыкновенной мягкости и красоты. Много снега. Чувствую себя хорошо. За обедом едим жареных фазанов и пьем молодое вино, доставляемое из немецких колхозов.

И.

329. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Станица Пришибская, 19/XII–33

19 декабря 1933 г., станица Пришибская

Из Нальчика переехал в еще более глухое место, письма идут сюда на «почтовых» и получаются с громадным опозданием. Стараюсь писать часто. Спасибо за то, что препроводили Женино письмо. В смысле материальном единственное, чем я могу ей помочь, — «продукцией». Усиленно работал над пьесой и закончил ее с главным расчетом на Женю. Постараюсь отослать поскорее, надеюсь, что она ей пригодится. Трудно в таких делах загадывать о будущих доходах, но материалу надо посылать как можно больше. Перемена впечатлений после переезда, жизнь, маленько ушедшая от меня вперед, — все это заставило проделать большую душевную и умственную работу в последние месяцы; сразу наладиться с писанием было невозможно, теперь работаю с большим воодушевлением и думаю, что после пьесы смогу уже в январе послать Жене очередные материалы. Все это лежит у меня на сердце, буду тянуться изо всех сил.

Живу здесь (увы, по сравнению с моими «кройвим») очень хорошо — тепло, тихо, интересно. Зима необычно мягкая, снежная, солнечная; хозяйка — глупая и судорожно услужливая хохлушка. Жарит мне гусей, пышки и варит украинский борщ. Полдня работаю, полдня провожу с казаками в колхозных дворах или уезжаю в соседние кабардинские селения. В ближайшие дни собираюсь в Нальчик (адрес, помните, прежний).

Насчет паспорта я напишу нашему послу, и все будет сделано мгновенно. Надо постараться, чтобы мама поскорее уехала в гости к внучке. Обдумаем, как это сделать.

Сейчас отправляюсь на птицекомбинат, необыкновенно интересное учреждение, в одной версте от станицы. Это самая большая (так уж у нас повелось) птицефабрика в мире с инкубатором на 160 тысяч яиц, с десятками тысяч наседок — леггорнов и род-айландов. Завтра открывается грандиозный батарейный цех, рассчитанный на прокормление миллионов цыплят в год.

И.

330. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Станица Пришибская, 23/XII–33 *23 декабря 1933 г., станица Пришибская*

Открытка сия, может быть, получится к Новому году, потому примите поздравление от родственника, который помнит о вас неустанно, куда бы ни забросил мятежный дух и во все минуты бытия его. Живу тепло, тихо, в окружении людей, достойных внимания, и очень, как никогда, воодушевлен всякими мыслями. Рукопись переписываю и дня через два пошлю в Москву, вот начнется суета литературной братии...

Пока этого нет — хорошо, только вот дочка не идет из головы.

И.

331. А. Н. АФИНОГЕНОВУ

Нальчик, 29/XII–33 г. *29 декабря 1933 г., Нальчик*

Дорогой т. Афиногенов.

Телеграммы Ваши получил с громадным опозданием — меня не было в Нальчике.

Предложение, конечно, принимаю. Надеюсь, телеграмму мою Вы получили; не знаю Вашего адреса, направил в Оргкомитет. Прошу выдать некоторую толику аванса доверенной моей А. Н. Пирожковой, если возможно, хорошо бы... Насчет гонорара сговоримся, когда приеду — надо думать, в январе. Срок напечатания, в зависимости от театральных дел, тоже, я думаю, выяснится в январе.

Сегодня уезжаю на несколько дней в Горловку, в Донбассе, потом рассчитываю вернуться сюда. Сообщаю на всякий случай адрес — секретарю райкома Фуреру для меня.

Ваш *И. Бабель*

332. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Нальчик, 29/XII–33 *29 декабря 1933 г., Нальчик*

26-го вечером приехал из Пришибской — два дня провел превосходных с товарищами на охоте (необыкновенно удачной), убили 15 диких кабанов. Сегодня уезжаю по делам в Горловку, в Донбасс — предполагаю оттуда вернуться в Пришибскую, может быть, придется заехать в Харьков. В ближайшие десять дней думаю выяснить срок возвращения в Москву. Получил от Жени письмо; она пишет, что Наташа

все возится с желудком. Получил последнее мамино письмо. Из Горловки напишу. Адрес укажу телеграфно. Прошу вас, живите хорошо в будущем году.

И.

333. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<20 января 1934 г., Горловка>

Сижу на чемодане, поэтому краток. Очень правильно сделал, что побывал в Донбассе, край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние — как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР. Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее, чем за все 16 лет революции <...>.

И.

334. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Москва, 18/II–34 *18 февраля 1934 г., Москва*

Похоронили сегодня Багрицкого, старинного моего земляка, друга, замечательного поэта, за развитием которого я следил и помогал, чем мог. Организм его был ослаблен и не выдержал воспаления легких.

Получил от Жени телеграмму, что у них все благополучно. Завтра едет к ним один француз, передаю привет.

Драматургический мой зуд продолжается — подыскиваю какое-нибудь новое Молодёново, чтобы можно было работать, а то в Москве если не одно дело выскакивает, то другое.

Написанная уже пьеса будет поставлена одновременно в двух театрах — у Вахтангова и в Еврейском, под режиссерством Михоэлса. Что касается гонорара, то постараюсь, чтобы Женя еще в марте получила его.

Я здесь поневоле веду «светский» образ жизни — потоком идут люди, и так как много из них интересных, и жизнь в Москве вообще чрезвычайно интересна, то времени для себя остается мало, вот и собираюсь в келью.

Очень устал за эти три дня бдения — пережил я с Багрицким весь церемониал, хочу отдохнуть.

До завтра, милые мои.

И.

335. Т. О. СТАХ

М., 26/III–34 *26 марта 1934 г., Москва*

Милая Т. О. Где же Бэбино письмо, о котором Вы сообщили. Приглашение остается в силе, надеюсь, что летом мы приведем сей прожект в исполнение, я-то буду рад. Суета попрежнему одолевает меня, но меньше, большую часть времени провожу за городом и собираюсь совсем туда переселиться. Работаю над сценарием по поэме Багрицкого — студия Украинфильма. Повезу его в Киев и по дороге остановлюсь в Харькове. Поговорим тогда.

Получил письмо от Жени. Парижский мой отпрыск требует отца и порядка, как у всех прочих послушных девочек… Я в тоске от этого письма.

Привет Стаху и Бэбе.

Ваш *И. Б.*

336. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<13 мая 1934 г., Москва>

<…> Главные прогулки по-прежнему — на кладбище или в крематорий. Вчера хоронили Максима Пешкова, чудовищная смерть. Он чувствовал себя неважно, несмотря на это выкупался в Москве-реке, молниеносное воспаление легких. Старик едва двигался на кладбище, нельзя было смотреть, так разрывалось сердце. С Максимом мы очень подружились в Италии, сделали вместе на автомобиле много тысяч километров, провели много веселых вечеров за бутылкой Кианти <…>.

И.

337. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<18 июня 1934 г., Успенское>

<…> Живу на прежнем месте — у А. М. Как говорят в Одессе — тысяча и одна ночь. Воспоминаний хватит на всю жизнь. Продолжаю подыскивать укромное место под Москвой. Кое-что намечалось; в течение ближайшей недели на чем-нибудь остановлюсь.

По поручению А. М. занимался все время редакционной работой и забросил сценарий <…>

И.

338. М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

Москва, 14/XI–34 *14 ноября 1934 г., Москва*

Уважаемые дальние родственники,

пишу я редко не от неблагополучия какого-нибудь (потому беспокоиться вам нечего), а от сложности жизни. Сложность сия проистекает от трех причин: первая — литература, вторая — денег надо добывать больше, чем следует, и затем мягкость характера, отягчают просьбами и хлопотами.

Работаю я больше, чем когда-либо, но, как видите, внешнего толка пока нет. Жизнь не хочет помедлить у письменного стола и пяти минут, выразить в художественном образе философию этого бурного движения задача благодарная, но такой трудности, с какой я в жизни моей еще не встречался. На компромисс — внутренний или внешний — идти я не умею, вот и приходится терпеть, углубляться и ждать. Много времени и сил отнимают всякие безымянные работы для денег, добываю я их столько, что хватило бы выстроить дом и дачу и купить автомобиль и кататься по всем Крымам и Кавказам, но все уходит на ликвидацию старых парижских долгов и на посылки Енте, причем для нее это капля в море, малоощутительная, а у нас это состояние; так что и морального удовлетворения, сознания того, что я действительно ей помогаю, нет у меня. Все это надо в корне переменить, и если бы получить передышку, отвлечься от заказных работ, обратиться к рассказам (для переводов) — это было бы посущественней, но передышки этой никак выкроить не могу. Из всего этого следует, что у меня нет ни минуты свободного времени.

Писанье — это сейчас не сидение за столом, а езда, участие в живой жизни, подвижность, изучение материалов, связь с каким-нибудь предприятием или учреждением, и иногда с отчаяния констатируешь, что не поспеваешь всюду, куда надо.

Я уже писал вам, что материальные условия улучшаются здесь у нас с поразительной быстротой, воспитать Наташу можно здесь неизмеримо лучше, чем во Франции, сидение там теряет всякий смысл. Наступает зима, и я не могу настаивать на немедленном переезде, но с января — февраля поведу настоящую кампанию. Здесь камень преткновения Б. Д., но я все это дело собираюсь изложить Лёве в выражениях категорических. Я считаю, что и маме пора повидаться с родиной, ее жизнь здесь можно оборудовать легчайшим образом, срок ее приезда предоставляю вашему решению, но я бы хотел повидаться с ней как можно скорее.

Хлопоты за Иосифа благополучно закончились — через день-два он будет в Москве. Квартиру им тоже вернули — все это мне не легко далось.

Жильцы мои, возбудившие столько толков, постепенно рассеиваются, и к первому декабря никого не останется. Как только это осуществится, поеду в Киев; поездка необходимая и давно откладываемая. Вообще я мечтаю о том, чтобы создать базу где-нибудь под Одессой. Темп жизни в Москве настолько лихорадочен, что с моими навыками и потребностью в длительном размышлении трудно приходится. Москва сейчас один из самых шумных городов Европы, а по размаху строительства, по революции, совершаемой ежедневно с ее улицами и площадями, за ней, конечно, никакому

Нью-Йорку не угнаться. Вообще с каждым днем яснее у нас проступает образ невиданного по мощи государства, и осуществимость лозунга «догнать и перегнать» теперь ни у кого не возбуждает сомнений. Я себе устраиваю два дня каникул — и пошлю вам книг и газет, они становятся у нас все интереснее. Таперича — так как вы свободнее меня, то не ведите учета, дебета и кредита нашей корреспонденции, а пишите мне как можно чаще, тоска моя по всех вас очень велика. О Наташе я не говорю, но бунт против того, что я принужден жить без нее, скоро разразится, это я чувствую.

До свиданья, милые мои. Напишите мне о мамином приезде.

Ваш железобетонный сын и брат

И.

339. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<26 ноября 1934 г., Москва>

<...> В стране нашей происходят чудеса, невиданно быстрый подъем благосостояния, такого напора энергии и бодрости поистине мир еще не видел, все, в ком есть «живая душа», стремится сюда; об этом надо очень подумать... Без преувеличения можно сказать, что нет города, где было бы интереснее жить, чем в Москве.

Я человек замученный делами, наукой, работой, волной людей, заливающей меня, поэтому не ведите бухгалтерский учет моих писем и сами пишите почаще. Целую всех, дорогие мои <...>.

И.

340. Ф. А. БАБЕЛЬ

<23 декабря 1934 г., Москва>

<...> Чувствую себя хорошо. Жизнь у нас необыкновенно интересна, но профессия, мною выбранная, вкусы мои, правила — всё или ничего — никогда не давали повода предполагать, что личная моя жизнь будет легка, будет шествием по розам и что каждый мой шаг должен вызывать ликование моих родных и знакомых. При рождении своем я не давал обязательства легкой жизни. Не будучи хвастуном, я имею право сказать, что так называемые трудности сносятся мною с легкостью и мужеством, не часто встречающимися, и если я молчу об них, то это не доблесть моя и не дурной характер, а естественное и законное отвращение к такому неинтересному и незначительному сюжету. Вы создаете себе в отношении меня страхи там, где их нет и в помине. Единственная моя болезнь — это разлука с мамой, со всеми вами. Вместо того, чтобы ныть, помогите мне, приезжайте жить вместе со мной <...>.

И.

341. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<3 февраля 1935 г., Москва>

<...> В Москве Съезд Советов; из разных концов земли прибыли мои товарищи — Евдокимов с Северного Кавказа. Из Кабарды — Калмыков, много друзей с Донбасса. На них уходит много времени. Ложусь спать в четыре-пять часов

утра. Вчера повезли с Калмыковым кабардинских танцоров Алексею Максимовичу, плясали незабываемо <…>

И.

342. Ф. А. БАБЕЛЬ

<24 февраля 1935 г., Москва>

<…> Новость: решились напечатать «Марию» — она появится в мартовском или апрельском номере журнала. Это хорошее предзнаменование для постановки.

Комедия моя медленно, но движется вперед — если бы мне ее закончить к Маю — вот дело было бы… Со мной странное превращение — прозой не хочется писать, только в драматической форме <…>

И.

343. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<27 июня 1935 г., Париж>

Конгресс закончился, собственно, вчера. Моя речь, вернее импровизация (сказанная к тому же в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи), имела у французов успех. Короткое время положено мне для Парижа, буду рыскать, как волк, в поисках материала — хочу привести в систему мои знания о ville lumière* и, м[ожет] б[ыть], опубликовать их <…>

И.

---

* Городе-светоче (*фр.*).

344. Т. Н. ТЭСС

<1 июля 1935 г., Париж>

<…> Хочу сделать баланс моим знаниям и мыслям об этом городе. Он так же прекрасен, как и раньше. Путешествие мое с Пастернаком достойно комической поэмы. Конгресс оказался действительно более серьезным, чем я предполагал. Чаще других вижусь с Тихоновым, Толстым, Кольцовым. Вчера открывали в Villejuif* проспект имени Горького — необыкновенно трогательно. В Москву приеду в конце июля <…>.

И. Б.

345. А. Г. СЛОНИМ

Париж, 19/VII–35 *19 июля 1935 г., Париж*

Дорогая А. Г. Еду в Бельгию, поживу несколько дней с матерью, потом Варшава; очень хочется сделать там остановку. С сестрой Вашей обязательно увижусь. Адрес мой: Poselstwo Sowieckie, Poznanske 15, Warszawa. В Брюсселе сейчас всемирная выставка. Пребыванием своим в Париже я очень доволен — один день 14 июля чего стоит. Вас еще рассчитываю застать в Москве. Изо всех сил кланяюсь Вашим мужчинам. A bientôt**.

И. Б.

---

* Вильжюиф (*фр.*).

** До скорой встречи (*фр.*).

346. Л. Г. БАГРИЦКОЙ

Одесса, 21/IX–35 *21 сентября 1935 г., Одесса*

Милая Лидия Густавовна.

Снова хожу с глубоким волнением по одесским улицам и греюсь у моря. Лето стоит во всем блеске. По два раза в день ем скумбрию во всех видах. Первые дни прожил в Лондонской, много часов провели с Олешей на лавочке, на бульваре... Не соберетесь ли Вы на родину? Она бедновата, но прекрасна по-прежнему.

От всего сердца кланяйтесь Севе, Ольге Густавовне и Нарбутам. Мой адрес — Главный почтамт, до востребования.

Ваш *И. Бабель*

347. А. Г. СЛОНИМ

Одесса, 9/X–35 *9 октября 1935 г., Одесса*

Милая А. Г. Я совершил путешествие по колхозам Киевской области, третью неделю живу в Одессе — и жил бы превосходно, если бы не тревожные сведения о здоровье матери и если бы не головная боль от гайморита. Дни стоят сияющие. Бывший бог наказывает меня за то, что я оставил удивительный этот город. Тут обильная пища уму и сердцу — солнце, каждый день десять часов солнца...

Работаю лучше, чем в Москве.

Адрес мой — Главный почтамт, до востребования. Низко кланяюсь Вам и мужчинам.

И. Б.

348. С. И. ВАШЕНЦЕВУ

Сталино, 5/XII–35 г. *5 декабря 1935 г., Сталино*

Дорогой Сергей Иванович.

Мои отметки указывают на фразы неуклюжие, тяжеловесные, темные по смыслу, неблагозвучные... Таких много.

Тщательная редакция, по-моему, необходима. Надо отдать справедливость переводчику — смысл передан им точно, к тому же текст дьявольски, необыкновенно труден. Стиль Жида в этой книге — с занозами, крючками, остановками, прерывистыми душевными вздохами, но хотелось бы русскому тексту придать более прозрачности и легкости.

Вчера окончился слет литкружков Донбасса. Он представлял высокий интерес. Завтра начну странствия свои по шахтам и затем — по колхозам Киевщины. Работаю, сколько могу.

Привет Мунблиту.

Ваш *И. Бабель*

349. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<2 июня 1936 г., Москва>

<...> В течение июня я стану домо- и землевладельцем. В тридцати километрах от Москвы, в густом сосновом лесу выстроен комфортабельнейший дачный поселок — для меня там строится двухэтажный дом — со всеми удобствами, к нему примыкает полгектара лесу. Это было бы совершенно идеально, если бы поселок не был писательский;

но все мы решили жить особняком и друг к другу в гости не ходить <...>.

И.

350. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<17 июня 1936 г., Москва>

<...> Начал с шутки — кончать приходится серьезно. Здоровье Горького по-прежнему неудовлетворительно, но он борется как лев — мы все время переходим от отчаяния к надежде. В последние дни доктора обнадеживают больше, чем раньше. Сегодня прилетает Andrè Gide*. Поеду его встречать <...>.

И.

351. Ф. А. БАБЕЛЬ

Москва, 19/VI–36 *19 июня 1936 г., Москва*

Дорогая мамахен. Великое горе по всей стране, а у меня особенно. Этот человек был для меня совестью, судьей, примером. Двадцать лет ничем не омраченной дружбы и любви связывают меня с ним. Теперь — чтить его память — это значит жить и работать — и то и другое делать хорошо.

Тело А. М. выставлено в Колонном зале, неисчислимые толпы текут мимо гроба. День жаркий, летний. Немножко отойду, напишу еще.

И.

---

* Андре Жид (*фр.*).

352. И. Л. ЛИВШИЦУ

Одесса, 8/VIII–36 *8 августа 1936 г., Одесса*

Одесса бедная наша не отремонтирована, обшарпана и прекрасна по-прежнему. Погода превосходная и даже не жарко.

Начал лечиться. Живу у моря, вблизи Лермонтовского курорта для удобства. К твоему приезду будет настоящий дом.

Пиши мне для практики, а то ты так ленив писать, что можешь забыть русскую грамоту.

Опекай Э. Г., а то она пропадет. Давай ей денег — и терроризируй ее для того, чтобы она работала.

Адрес мой постоянный: Главный почтамт, до востребования. Пиши обо всем — как в журнале, на бегах, дома. Я буду писать.

И.

353. Л. М. ВАРКОВИЦКОЙ

Одесса, 29/8–36 *29 августа 1936 г., Одесса*

Милая Лиля. С начала августа — я на нашей родине. Пожилось мне здесь, увы, плохо — все время хворал (все то же — бронхи). Погода тоже не одесская — ветер, холод. Но все переменится, надо думать.

Планы у меня большие — хочу просидеть здесь подольше и работать. Адрес мой — Главный почтамт, до востребования.

Как Ваши дела — во всех направлениях? Привет Люсе (ей напишу отдельно) и уважаемым старым Вашим детям.

Напишите мне, пожалуйста.

Ваш *И. Бабель*

354. А. Г. СЛОНИМ

Одесса, 6/IX–36 *6 сентября 1936 г., Одесса*

Дорогая А. Г. Очень обрадовался Вашей открытке. Я не писал, потому что не знал — куда. В Одессе я уже месяц. Доктора нашли у меня обострение астмы и крайнее переутомление. Я чувствовал себя очень плохо, только теперь начинаю отходить — и в голове даже мысли зашевелились, не совсем похожие на тот стандарт, который был в Москве. Уезжать отсюда не собираюсь. Хочу привести себя в порядок — физически и в рассуждении работы. Погода у нас была переменная, но теперь налаживается. Так, наверное, будет и у вас. Как поживают мужчины? Страшно рад, что всем в Коктебеле нравится. Не забывайте меня и пишите почаще. Обязательно поправьтесь. Bien a vouns*.

И. Б.

355. И. Л. ЛИВШИЦУ

Одесса, 24/IX–36 *24 сентября 1936 г., Одесса*

Послезавтра уезжаю в Ялту к Эйзенштейну. Сколько там пробуду, не знаю, во всяком случае не долго. Адрес: Ялта, кинофабрика. В Одессу вернусь в первой половине октября.

Напиши мне в Ялту — каковы планы, когда отпуск? Подшефная пишет, что работы не дают, терпит бедствие; склони взоры.

---

* Искренне ваш (*фр.*).

Поздравь Николая Романовича с удачными ездками, ему напишу особо. Привет Евгению Павловичу. Попроси его впредь до отмены присылать программы в Ялту, а программы с 20-го, им уже, наверное, отосланные — нельзя ли копии прислать в Ялту? Для меня это большое развлечение. Как поживают Крючковы? Напиши обо всем подробно, у тебя корреспонденция небольшая. Кланяюсь Люсе и Тане.

И. Б.

356. С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙНУ

Одесса, 26/X–36 *26 октября 1936 г., Одесса*

Кстати, comment ca va?* Море было спокойно, как женщина после смерти. Погода, пища и провинциальность способствуют литературным занятиям. Salut. Матерьялец скоро пришлю. Осыпаны ли Вы уже пеплом московских землетрясений?..

Антонина Николаевна берет уроки еврейского языка.

Привет Пере.

И. Б.

357. С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙНУ

Одесса, 14/XI–36 *14 ноября 1936 г., Одесса*

Превосходнейший и гениальнейший синьор.

Конечно, по приезде в Одессу я маленько увлекся. Ваша телеграмма и письмо Е. К. привели меня в чувство. Е. К.

---

* Как дела? (*фр.*)

с миллионом оговорок разрушает первую редакцию ненаписанных сцен (в свете чего я выгляжу законченным болваном — un bolvane accompli*) и дает очень дельные указания, моему духовному кругозору весьма улыбающиеся. С «прихода отца» она предлагает снять политическую подоплеку.

По-моему, это разрешает наши страдания, очень хорошо «работает» на убийство, делает отца и человечнее и «одержимее»...

Можно представить себе: милиционеры и поджигатели видят борьбу колхозников с огнем. Милиционер говорит что-нибудь вроде: «дружно взялись»... Отец угрюмо спрашивает (сознание поражения — частного и общего — уже вошло в него и все усиливает разрушительную свою работу): «А Степка где?» Милиционер: «Какой такой Степка?» Отец: «Сын мой»... Милиционер: «Тушит небось... (с ними небось)». На что отец отвечает: «Сын при отце должон быть» (чувствуется, что это мучительная, натруженная фраза — и к ней недурно поставленный Гуком в Ялте аккомпанемент — т. е. — пожар, всякие обвалы и проч.).

Излагать младенческий мой лепет, не следя за игрой Вашего лица (для того, чтобы умолкнуть на полуслове!), — вещь в высшей степени затруднительная, но soit!**

Психологически получается, несомненно, правильно, но поскольку вся сцена нужна только для ритма (по содержанию можно обойтись без) — вот я и сомневаюсь...

---

* Полный болван (*фр.*).

** Пусть так! (*фр.*).

Теперь вздор моего сочинения номер два: если сцена смерти Степка должна быть душещипательная (с чем я согласен), то всякую смысловую нагрузку с мальчика надо снять, передав ее другим актерам, а при мальчике оставить Эйзенштейна, который «обеспечит» всякие ракурсы, pietà'ы* и проч. Выход пошлый, тысячелетний, но другого при сцене в лоб пока что не видать. Я по-прежнему за то, чтобы мальчика после «дядя Вася»... показывать только один раз — в сцене смерти. Мальчики, услышав выстрелы, всполошились, побежали, видят: вышка пуста, лужа крови, след крови — они идут по этому следу, но как находят и слово «отец» — по глубокому моему убеждению — лишнее. Допустимо ли так?

Самохин в капкане, и за этим раздается веселый ровный голос Рыбочкина — о чем-то совершенно боковом (и хорошо бы смешном). «А Сидорыч как схватится за балку, как обожгётся — смехота...» После чего (голос Рыбочкина) «открывается занавес» и мы видим его, совершающего перевязку, с лицом, допустим, залитым слезами, видим всю pietà, и Рыбочкин продолжает: «Здесь тебя подлечим, потом в Москву отвезем, в больницу... Больница богатая, все блестит...» Степок: «Военная больница?» Рыб[очкин]: «Обязательно военная... В палате там пограничники лежат раненые, командир подводной лодки... И вот тебя вносят. (Появление начполита с лошадью в поводу (?) Пограничники и спрашивают: «Это что за мальчик? — небось яблоки воровал, с забора свалился?» А доктора им отвечают...» Степок: «Военные доктора?»

* Скорбь (*фр.*).

Рыб[очкин]: «Обязательно военные... Им отвечают: “Нет, ребята, это парень геройский, он вроде вас воевал...”»

Начполит: «Как дела, сынок?» (выражение Е. К., по-моему, хорошо). Степок (с радостным и ясным выражением): «Дела хороши...» Начполит: «Болит небось?». Степок машет к себе начполита и шепчет таинственно, расширив глаза: «Дядя Вася, я тоже не буду стонать». Потом обращается к Рыбочкину: «И что они еще сказали — доктора?» Рыбочкин отвечает — слов не нужно (их, надо думать, и так чрезмерно много?) — музыка, что ли?

Под эту музыку мальчик умирает.

Рыбочкин (глядя на мертвое лицо): «Конец, Василий Иванович». Начполит: «Начало, Сережа» (имя Рыбочкина?). После чего рассвет...

Вот первые мысли, пришедшие мне в голову в Одессе. Их лучше бы Вам не сообщать п[отому], ч[то] первые мои мысли, как известно, не выдерживают самой снисходительной критики. Страшит меня главным образом, не выпадаю ли я из стиля, из разгона вещи... Сообщите Ваши замечания...

Теперь о делах житейских... Впрочем, еще по сценарию. Если новый смысл прохода отца принимается — надо везде вычеркнуть — «с восторгом смотрит на пламя и прочее»... Вместо — «поменьше семи годов горело» — «не вышло твое дело»...

Текст детей относительно пуговиц грязноват. Перепишу еще раз... «Спать это ни от кого... От тебя что за, это... На вон тройку?.. И ножик?.. Гляди — с орлами?.. И ножик еще? в придачу? Не хочу с такой жилой водиться»... Дальше как

будто правильно, хотя — «жила» во второй раз мне не нравится, может, что-нибудь придумаю... «Это я все видел» — по-моему, неправильно. «Папаше, это я сказал» — неизмеримо сильнее и правильнее и драматичнее, умоляю не менять... Насчет текста Сидорыча — Е. К. права, старый был хлеще... Свести воедино стоит... Fin*.

Дела житейские: Е. К. и Даревский требуют меня в Москву. Я отбиваюсь. Ехать мне беда — только начал входить в литературу. По личным же делам приезд мой в декабре все равно предполагался. Жду от фабрики ответа. Им нужна консультация по поводу новой Гришиной поэмы. Во-о-ображаю. Немировский, к величайшему моему изумлению, не забыл сообщить фабрике о том, что я взял у него тысячу рублей, фабрика не забыла перевести мне втрое уменьшенный рацион, и я в настоящий отрезок времени сижу без всякой одежи, голым телом на старых бобах, прошлогоднего урожая, высохших и пожухлых... Они очень колятся...

Я Вас прошу (именно в смысле — умоляю) довести об этом до сведения Даревского...

Письмо Е. К. в отношении фильма дышит бодростью, и я ликую... и мечтаю... и истинно Вам желаю!..

Вы правы — в Ялте мы жили недурно и несомненно философично... А. Н. собирается в Москву и кланяется Вам фанатически... Скоро увидимся. Подтвердите мне получение сего послания — немедленно п[отому], ч[то] ни копии, ни набросков нету.

---

* Конец (*фр.*).

Привет героической Пере — раньше она была одна героическая, а теперь еще есть Испания.

Je vons embrasse, non vieux*.

И. Б.

Поклон милому нашему Тиссэ <...>

358. Т. Н. ТЭСС

Одесса, 17/XI–36 *17 ноября 1936 г., Одесса*

Умное Ваше письмо получил. То, что Вы пишете о моих «сочинениях», важно и удивительно верно, можно сказать — потрясающе верно. К чести моей — у меня уже несколько лет такое чувство. Попытаюсь доказать делом. То, что я делаю теперь, еще не есть писание начисто, но во всяком случае похоже уже на сочинительство, на профессию...

Живу, несмотря ни на что, хорошо. Только здоровье оставляет желать лучшего — не очень. Обошел и объехал весь город — лучше Мельниц нет; решил там обосноваться и предпринимаю «официальные» шаги. <...> Мне в декабре по неотложным делам надо ехать в Москву. Беда, великая беда! Вот когда надо будет показать себя «человеком» и продолжать трудиться и жить, как в Одессе. Впрочем, надеюсь, поездка не на долгий срок. <...> Может, я еще в Киев поеду или в колхоз, потом в Москву <...>.

И. Б.

---

* Я Вас обнимаю, старина (*фр.*).

359. В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ ВОСТОКА»

16 июня 1937 г., <Москва>

С первыми номерами «Зари Востока» связана счастливая пора моей жизни в Тифлисе и начало литературной работы. Сотрудничая в газете, я ближе узнал природу и народ прекрасной, щедрой, поэтической Грузии. Образ ее живет в моей душе. Отражая волю и чаяния трудового народа, «Заря Востока», развиваясь вместе со всей страной, узнает, я верю, невиданный расцвет сил и возможностей.

16.6.37 *И. Бабель*

360. НОВИКОВОЙ

<15 августа 1937 г., Москва>

Дорогая тов. Новикова!

Слово свое я сдержу. И проверять не придется. Для честного литератора нет проверки строже и мучительнее, чем его совесть и живущее в нем чувство прекрасного.

В нас не затихает ни на минуту жажда творчества. И, по правде говоря, я часто сознательно подавлял ее в себе, потому что не чувствовал себя достаточно подготовленным к тому, чтобы писать с истинной простотой, со страстным чувством, с ничем не ограниченной правдивостью, т. е. не чувствовал себя подготовленным к тому, чтобы писать художественно. Теперь сердце мое говорит: подготовительный этот период кончается. Пожалуйста, когда прочтете мои рассказы, скажите Ваше мнение о них.

И. Бабель

361. Н. ОГНЕВУ <РОЗАНОВУ М. Г.>

28 августа 1937 г., <Москва>

Дорогой Михаил Григорьевич.

Для начала — направляю к Вам приятеля моего Евгения Павловича Гончарова, первейшего в нашей стране знатока по части коневодства и коннозаводства. Знания эти воодушевляют его иногда для беллетристических опытов; некоторые из них заслуживают, по-моему, всяческого внимания. Для опыта я посоветовал Е[вгению] П[авловичу] показать Вам рассказ «Сирота» — вообще, мне кажется, из рассказов его может выйти толк. Великая к Вам просьба — преклонить взор к сему мужу.

Я со своими «продуктами» рассчитываю явиться к Вам в середине сентября. Вчерне написал, теперь буду выправлять.

Всего хорошего.

28.8.37 Ваш *И. Бабель*

362. А. Г. СЛОНИМ

Киев, 10/XI–37 *10 ноября 1937 г., Киев*

Дорогие и незабываемые хозяева.

До вчерашнего дня Киев был залит ярким солнцем; сегодня пасмурно, но тепло. Тружусь в заключении; меня кормят, поят, ублажают, но вздохнуть не дают. Все уже организовано — пепельница, плевательница, корзина для бумажек, чай и кофе, но сил маловато, устал и тоскую об «чистом искусстве»... Работы здесь оказалось много, но не очень трудной. Планы и сроки еще не ясны; как только определятся — сообщу.

Обязательно будьте здоровы, не ешьте крыжовенного варенья; ночью, в часы бессонницы, вспоминается иногда потерянный месяц и слезы застилают глаза. Привет Илюше и мадам Пастер.

Ваш *И. Б.*

363. И. Л. ЛИВШИЦУ

Киев, 28/XII–37 *28 декабря 1937 г., Киев*

Изя.

Поздравляю тебя и семейство с наступающим Новым годом.

Выражаю негодование тебе, и Семичёвым, и Гончарову — по поводу непонятного для меня молчания. Неужели нельзя было мне прислать несколько строк и программы, каковые представляют для меня важное лечебное средство.

Если вы все не хотите водиться со мной и переписываться — объявите мне об этом прямо, чтобы я не выглядел глупо, обращаясь к врагам.

Я занят безумно, как никогда в жизни, и это продлится до 15/I 1938 года.

Кланяюсь Люсе, Вере и Тане — а тебе не кланяюсь.

И. Б.

364. А. П. БОЛЬШЕМЕННИКОВУ

<29 декабря 1937 г., Киев>

Дорогой А. П.

5/I в моем отсутствии судисполнитель за долг Академии будет продавать мой жалкий скарб и выбрасывать на улицу

книги, рукописи, белье в моем отсутствии — п[отому] ч[то] третий месяц я занят на Украинфильме экранизацией «Как закалялась сталь» — работой сверхтрудной и сверхсрочной. Уехать сейчас отсюда — значит все погубить. Просьба приостановить взыскание до возвращения моего в Москву в конце января 38 г., когда все счеты немедленно будут ликвидированы. Беда свалилась нежданно, перед отъездом я сговаривался с М. А. Лифшицем о другой работе, и он заверил меня, что никакого взыскания предпринято не будет, пока не договоримся о новой работе. Надеюсь, что Гослитиздат не обрушит на долголетнего своего сотрудника позорное и, по существу, незаслуженное им бедствие. Привет.

Ваш *И. Бабель*

365. Ф. А. БАБЕЛЬ

<16 апреля 1938 г., Москва>

<...>Я борюсь с желанием поехать в Одессу и делами, которые задерживают меня в Москве. Через несколько дней перееду на собственную в некотором роде дачу — раньше не хотел селиться в т[ак] наз[ываемом] писательском поселке, но когда узнал, что дачи очень удалены друг от друга и с собратьями встречаться не придется, решил переехать. Поселок этот в 20 км от Москвы и называется Переделкино, стоит в лесу (в котором, кстати сказать, лежит еще компактный снег)... Вот вам и наша весна. Солнце редкий гость, пора бы ему расположиться по-домашнему <...>

И.

366. Ф. А. БАБЕЛЬ

<29 сентября 1938 г., Москва>

<…>Не помню, писал ли я вам о том потрясающем впечатлении, которое произвела на меня Ясная Поляна — стоишь в аскетических комнатах Толстого — и кажется, что яростная работа мысли продолжается в них до сих пор! <…>

И.

367. Е. Д. ЗОЗУЛЕ

Переделкино, 14/10–38 *14 октября 1938 г., Переделкино*

Зозулечка.

Пишу в состоянии крайнего бешенства. Только что прискакал из города гонец с пакетом от судебного исполнителя (а я уже и думать забыл о его существовании!..), — пакет этот заключает в себе извещение о том, что если мною немедленно не будет внесено три тысячи рублей Жургаз-объединению, то завтра, 15-го, в 4 часа дня имущество мое будет вывезено с квартиры. Чудовищную эту бумажку надо понять так: после того, как мною был сдан материал «Огоньку» и Литгазете, после того, как суду было послано официальное уведомление о прекращении дела — Ликвидком (или другое неизвестное мне учреждение) снова потребовал от судебного исполнителя описи и продажи моего имущества. Если раньше, упрекая в глубине души издательство в некотором отсутствии лиричности, я молчал, п[отому] ч[то] на стороне его была обыкновеннейшая правда, то нынешний образ действий является классически выраженным проявлением

злостной, преднамеренной травли и неслыханного в истории советских литературных нравов издевательства.

Вы мой друг и «заложник» в «Огоньке». Поэтому я прошу Вас принять на себя (на очень короткое время) посреднические функции и передать издательству или Ликвидкому (не знаю, кто теперь этим ведает) следующее: если в течение ближайших часов я не получу извещения о прекращении иска, то я вынужден буду искать защиты от преследований в партийном, общественном и судебном порядке. Я немедленно обращусь в Отдел Печати ЦК и в Президиум Союза писателей с просьбой вмешаться в это поистине возмутительное дело.

Извините, Зозулечка, за это неприятное поручение. Я не решился бы затруднить Вас, если бы оно не представляло общественный интерес.

Меня вызывают телеграммой на совещание в Гослитиздате по поводу тематического плана, буду в Москве сегодня вечером.

Ваш *И. Б.*

368. А. Г. СЛОНИМ

30 ноября 1938 г., Переделкино

Entre nous soit dit* — очень плохо живется; и душевно, и физически — не с чем показаться к хорошим людям. Рассудок пока не затемнен — понимаю, что все причины в себе самом и что главная победа — над самим собой... Главная и самая трудная.

---

* Между нами говоря (*фр.*).

В Москве я захватан, истерзан, мелко озабочен; здесь маленько расправляюсь душой, что-то накапливаю; собираюсь немного посвежеть, приехать 5-го в Москву, поплетусь к Вам на основную свою квартиру...

И. Б.

Переделкино, 30.11.38

369. Ф. А. БАБЕЛЬ

<20 апреля 1939 г., Ленинград>

<...> Уф!.. Гора свалилась с плеч... Только что закончил работу — сочинил в 20 дней сценарий... Теперь, пожалуй, примусь за «честную жизнь»... В Москву уеду 22-го вечером.

В Эрмитаже был уже — завтра поеду в Петергоф. Окончание моих трудов совпало с первым днем весны — сияет солнце... Пойду погулять после трудов праведных <...>

370. Ф. А. БАБЕЛЬ

<22 апреля 1939 г., Ленинград>

<...> Второй день гуляю — к тому же весна... Вчера обедал у Зощенко, потом до 5 часов утра сидел у своего горьковского — времен 1918 года — редактора и на рассвете шел по Каменноостровскому — через Троицкий мост, мимо Зимнего дворца — по затихшему и удивительному городу.

Сегодня ночью уезжаю <...>

И.

371. Ф. А. БАБЕЛЬ И М. Э. ШАПОШНИКОВОЙ

<10 мая 1939 г., Переделкино>

<...> К вашему сведению — сообщаю, что второй день идет снег... Вот вам и десятое мая... Это, пожалуй, и брюссельскому климату завидно станет... Я уже обосновался за городом и чувствую себя превосходно — надоело только печи топить. Завтра поеду на день в Москву. Думаю, не найду ли письма от Мери — как она съездила? Жаль, что мама не могла совершить с ней эту прогулку... Отправил Наташе несколько книг — внучку обеспечил, теперь надо подумать о бабушке, постараюсь достать завтра новой беллетристики... У меня ничего нет — в трудах; заканчиваю последнюю работу кинематографическую (это будет фильм о Горьком) и скоро приступаю к окончательной отделке заветного труда — рассчитываю сдать его к осени. Пишите почаще, потому что длинных книг читать нет времени — и ваши послания — самое лучшее для меня чтение. Как Гриша, как Борис — часто ли вы с ним видитесь? <...>

И.

Приложение

Антонина Пирожкова
СЕМЬ ЛЕТ С ИСААКОМ БАБЕЛЕМ

Воспоминания жены

Я пытаюсь восстановить некоторые черты человека, наделенного великой душевной добротой, страстным интересом к людям и чудесным даром их изображения, так как мне выдалось счастье прожить с ним рядом несколько лет.

Эти воспоминания, простая запись фактов, малоизвестных в литературе о Бабеле, его мыслей, слов, поступков и встреч с людьми разных профессий — всего, чему свидетельницей я была.

Я познакомилась с Бабелем летом 1932 года, спустя примерно год после того, как впервые прочла его рассказы.

Это знакомство произошло в Москве у Ивана Павловича Иванченко — председателя Востокостали, большого поклонника Бабеля. И Бабель, и я были одновременно приглашены к Иванченко на обед.

Иван Павлович знал меня по Кузнецкстрою, где я работала после окончания Сибирского института инженеров

транспорта. Жил он, когда приезжал в Москву, на Петровке, 26, в доме Донугля, вместе со своей сестрой.

К обеду Бабель явился с некоторым опозданием и объяснил, что пришел прямо из Кремля, где получил разрешение на поездку к семье во Францию.

Иван Павлович представил меня Бабелю:

— Это — инженер строитель, по прозванию Принцесса Турандот.

Иванченко не называл меня иначе с тех пор, как, приехав однажды на Кузнецкстрой, прочел обо мне в стенной газете критическую заметку под названием:

«Принцесса Турандот из конструкторского отдела»...

Бабель посмотрел на меня с улыбкой и удивлением, а во время обеда все упрашивал выпить с ним водки.

— Если женщина — инженер, да еще строитель, — пытался он меня уверить, — она должна уметь пить водку.

Пришлось выпить и не поморщиться, чтобы не уронить звания инженера-строителя.

За обедом Бабель рассказывал, каких трудов стоило ему добиться разрешения на выезд за границу, как долго тянулись хлопоты, а поехать было необходимо, так как семья его жила там почти без средств к существованию, из Москвы же очень трудно было ей помогать.

— Еду знакомиться с трехлетней француженкой, — сказал он. — Хотел бы привезти ее в Россию, так как боюсь, что из нее там сделают обезьянку.

Речь шла о его дочери Наташе, которую он еще не видел.

Через несколько дней, когда Иван Павлович уехал в Магнитогорск, Бабель пригласил меня и сестру Иванченко, Анну Павловну, к нему обедать, пообещав нам, что будут вареники с вишнями.

Название переулка, где жил Бабель, поразило меня: Большой Николо-Воробинский: откуда такое странное название?

Бабель объяснил:

— Оно происходит от названия церкви Николы-на-воробьях — она почти напротив дома. Очевидно, церковь была построена с помощью воробьев, то есть в том смысле, что воробьев ловили, жарили и продавали.

Я удивилась, но подумала, что это возможно: была же в Москве церковь Троицы, что на капельках, построенная, по преданию, на деньги от сливания капель вина, оставшегося в рюмках; ее построил какой-то купец, содержавший трактир. Позже я узнала, что название церкви и переулка происходит не от слова «воробьи», а от слова «воробы» — рода веретена для ткацкого дела в старину.

Жил Бабель в двухэтажном доме, построенном во времена НЭПа из деревянного каркаса с фибролитовым заполнением. Капитальной стеной дом делился на две половины, в одной из которых жил Бабель.

Квартира, в которой жил Бабель, была необычна, как и название переулка. Это была квартира в два этажа, где на первом располагались: передняя, столовая, кабинет и кухня, а на втором — спальные комнаты.

Бабель объяснил нам, что живет он вместе с австрийским инженером Бруно Штайнером, и рассказал историю своего

знакомства и совместной жизни с ним. Штайнер возглавлял представительство фирмы «Элин», торговавшей с СССР электрическим оборудованием. Представительство этой фирмы состояло из нескольких сотрудников и занимало всю квартиру. Затем наша страна не захотела больше покупать австрийское оборудование. Уговорились, что в Москве останется только один представитель фирмы, Штайнер, который будет давать советским инженерам некоторую консультацию. Оставшись один, Штайнер, из боязни, что квартиру, состоящую из шести комнат, у него отберут, стал искать себе компаньона, который сумел бы ее отстоять. Он был хорошо знаком с писательницей Лидией Сейфуллиной и просил ее найти ему такого соседа из писателей. Сейфуллина порекомендовала Бабеля, который в это время как раз был без квартиры и ютился у кого-то из друзей.

— Так я поселился здесь, на Николо-Воробинском, — закончил Бабель. — Мы разделили верхние комнаты по две на человека, а столовой и кабинетом внизу пользуемся сообща. У нас со Штайнером заключено «джентльменское соглашение», — все расходы на питание и на обслуживание дома — пополам, и никаких женщин в доме. Сейчас Штайнера нет в Москве, он недавно надолго уехал в Вену.

До отъезда Бабеля за границу я еще несколько раз бывала на Николо-Воробинском.

Однажды он мне сказал:

— Приходите завтра обедать, я познакомлю вас с остроумнейшим человеком.

На следующий день, придя к Бабелю, я застала у него гостя. Это был Николай Робертович Эрдман. Мой приход прервал их беседу, но она тотчас же возобновилась, и я с интересом услышала, что речь идет о пьесе Эрдмана, которую не хотят разрешать.

Бабель вкратце рассказал мне сюжет, а затем добавил:

— Пьеса с невеселым названием «Самоубийца» буквально набита остротами на темы современной жизни, ей пророчат судьбу «Горя от ума»...

За обедом Бабель все заставлял меня рассказывать о моей работе на Кузнецкстрое в 1931 году. Я рассказала, как однажды в конструкторский отдел строительства из конторы какой-то угольной шахты пришел запрос на консультанта-специалиста по основаниям и фундаментам. Начальник конструкторского отдела послал меня, предупредив, что там работают сосланные после «шахтинского дела» инженеры. Ехать надо было на лошади, в санях, километров тридцать. Меня встретили солидные, бородатые люди в форменных фуражках и полушубках. Дело оказалось пустяковым, им надо было построить одноэтажное здание новой конторы, но грунты были лессовые, а они отличаются тем, что размокают от воды.

Все домны и все цехи Кузнецкого металлургического завода возводились именно на лессовом основании, поэтому можно понять, как рассмешило меня требование маститых инженеров выслать им консультанта по такому пустяковому поводу. А консультанту не было и двадцати двух лет.

После того, как я письменно и с чертежом изложила им мои соображения по поводу закладки здания, меня пригласили

обедать, очевидно, к начальнику угольной шахты. Квартира была со старинной мебелью, с картинами на бревенчатых стенах и ковром на полу, даже с роялем; великолепно сервированный стол; дамы — жены инженеров в старомодных платьях с бриллиантовыми серьгами в ушах и солидные мужчины в форме горных инженеров — все это казалось невероятным для такой глуши.

Бабель, выслушав мой рассказ, сказал:

— Видите ли, Николай Робертович, эти инженеры, конечно, отлично сами все знали, но нарочно не хотели брать на себя никакой ответственности. Раз им не доверяют, пусть отвечают большевики. Поэтому они и разыграли эту комедию... Ну, расскажите еще что-нибудь...

И я рассказала, как на Кузнецкстрое зимой 1931 года велась кирпичная кладка одновременно двух дымовых труб доменных печей. На каждой трубе работала бригада каменщиков, и эти бригады соревновались. Не только мы, инженеры, но и рабочие всех участков, и все домохозяйки из окон своих квартир наблюдали за этим соревнованием. Всех охватило волнение, спорили — кто закончит раньше, заключали пари. Никто не оставался равнодушным, воодушевление было всеобщим. Бригады каменщиков были одинаково сильные, поэтому кладка поднималась чуть выше то на одной трубе, то на другой. И все это на большой высоте, и отовсюду видно.

После моего рассказа Бабель заметил:

— Вот если бы написать так, как она рассказывает, а то пишут о соревновании — скука одна...

Как-то раз Бабель попросил разрешения зайти ко мне домой. Я угостила его чаем, помню, не очень крепким (а он, как я потом узнала, любил крепчайший), но Бабель выпил чай и промолчал. А потом вдруг говорит:

— Можно мне посмотреть, что находится в вашей сумочке?

Я с крайним удивлением разрешила.

— Благодарю вас. Я, знаете ли, страшно интересуюсь содержимым дамских сумочек.

Он осторожно высыпал на стол все, что было в сумке, рассмотрел и сложил обратно, а письмо, которое я как раз в тот день получила от одного моего сокурсника по институту, оставил. Посмотрел на меня серьезно и сказал:

— А это письмо вы не разрешите ли мне прочесть, если, конечно, оно вам не дорого по какой-нибудь особой причине?

— Читайте, — сказала я.

Он внимательно прочел и спросил:

— Не могу ли я с вами уговориться?.. Я буду платить вам по одному рублю за каждое письмо, если вы будете давать мне их прочитывать. — И все это с совершенно серьезным видом.

Тут уж я рассмеялась и сказала, что согласна, а Бабель вытащил рубль и положил на стол.

Узнав, что я всего несколько месяцев как приехала в Москву, Бабель захотел познакомить меня с городом и почти каждый вечер приглашал погулять по улицам. Он показывал мне интересные места и замечательные здания, связанные с нашей историей. Во время прогулок я хотела идти с Бабелем только рядом, ни под руку, ни за руку взять меня было нельзя.

Бабель рассказал мне, что большую часть времени живет не в Москве, где трудно уединиться, чтобы работать, а в деревне Молодёново, поблизости от дома Горького в Горках. И пригласил меня поехать с ним туда в ближайший выходной день.

Он зашел за мной рано утром и повез на Белорусский вокзал. Мы доехали поездом до станции Жаворонки, где нас ждала лошадь, которую Бабель, очевидно, заказал заранее. Дорога шла сначала через дачный поселок, потом полями, потом через дубовую рощу. Он был в очень хорошем настроении и рассказал мне почему-то историю, как муж вез жену к себе домой после свадьбы и по дороге зарубил лошадь по счету «три», так как по счету «раз» и «два» она его не послушалась. На жену это произвело такое впечатление, что она, как только муж говорил «раз», сразу бросалась исполнять его приказание, помня, что последует после слова «три».

Дом в Молоденове, в котором жил Бабель, был крайним и стоял на крутом берегу оврага, по дну которого протекала маленькая речка, впадающая в Москву-реку. Сенями дом разделялся на две половины: одну, состоящую из кухни, горницы и спальни с окнами на улицу, занимал хозяин Иван Карпович с семьей, и другую, где жил Бабель, — из одной большой комнаты с окнами на огород. Обстановка в этой комнате была очень скромной. Простой стол, две-три табуретки и две узкие кровати по углам.

Бабелю хотелось показать мне все молоденовские достопримечательности, поэтому мы по приезде тотчас же отправились на конный завод. Там нам показали жеребят; один из

них родился в минувшую ночь и был назван «Вера, вернись», так как жена одного из зоотехников ушла от него к другому.

Осмотрев конный завод, где Бабеля все знали и все ему с подробностями рассказывали, что меня удивляло и почему-то смешило, мы отправились смотреть жеребых кобылиц — они паслись отдельно на лугу, на берегу Москвы-реки.

Разговор с зоотехником шел у Бабеля очень специальный; в нем слышались выражения, смысл которых мне стал ясен только значительно позже, например: «на высоком ходу», «хорошего экстерьера», «обошел на полголовы». Обо мне Бабель, как мне казалось, забыл. Наконец, приблизившись, он стал рассказывать о кобылицах. Одна, по его словам, была совершенная истеричка; другая — проститутка; третья — давала первоклассных лошадей даже от плохих жеребцов, то есть улучшала породу; четвертая, как правило, ухудшала ее.

И на пути к конному заводу, и по дороге обратно мы прошли мимо ворот белого дома с колоннами, в котором жил Алексей Максимович Горький. Пройдя дом, свернули к реке, а искупавшись, отправились в Молодёново через великолепную березовую рощу. Потом Бабель повел меня к старику-пасечнику, очень высокому, с большой бородой, убежденному толстовцу и вегетарианцу. Он угощал нас чаем и медом в сотах.

Возвращались на станцию тоже на лошади. По дороге Бабель спросил меня:

— Вот вы, молодая и образованная девица, провели с довольно известным писателем целый день и не задали ему ни

одного литературного вопроса. Почему? — Он не дал мне ответить и сказал: — Вы совершенно правильно сделали.

Позже я убедилась, что Бабель терпеть не мог литературных разговоров и всячески избегал их.

В Молоденове Бабель водил дружбу с хозяином Иваном Карповичем, с которым мог часами разговаривать, с очень дряхлым стариком Акимом, постоянно сидевшим на завалинке и знавшим множество занятных историй, с пасечником-вегетарианцем; у него был целый круг знакомых — бывалых старых людей.

Колхозные дела Молоденова Бабель знал очень хорошо, так как даже работал одно время, еще до знакомства со мной, в правлении колхоза. Не для заработков, конечно, а с единственной целью как можно доскональнее узнать колхозную жизнь. Крестьяне называли Бабеля Мануйлычем.

Незадолго до своего отъезда во Францию Бабель уговорил меня переехать на время его отсутствия на Николо-Воробинский. Он боялся, как бы в пустую квартиру (Штайнер в это время еще был за границей) кто-нибудь не вселился. Он надеялся, что я в случае необходимости найду лиц, которые помогут квартиру отстоять. Я заняла одну из верхних комнат Бабеля и месяцев пять или шесть прожила в квартире с милой девушкой Элей, работавшей у Штайнера.

Накануне отъезда Бабеля, прощаясь со мной, улыбаясь и как бы шутя, спросил:

— Вы будете меня ждать?

И я также шутя ответила:

— Один месяц.

Так как Бабель долго не возвращался из Франции, по Москве распространился слух, что он вообще не вернется. Я написала ему об этом, и он мне ответил: «Что могут вам, знающей все, сказать люди, не знающие ничего?»

Однажды весной 1933 года я поехала в Молодёново вместе с Ефимом Александровичем Дрейцером и написала Бабелю об этой нашей поездке.

«Нож ревности повернулся в моем сердце, — ответил мне Бабель, — когда я узнал, что вы были в Молоденове. В моей тоске по родине чаще всего у меня перед глазами это мое жилье». Он писал мне также, что ему заказали написать киносценарий об Азефе и что он согласился, чтобы заработать денег и оставить семье. Он упоминал об этом в письмах несколько раз, но когда много лет спустя я попыталась узнать у сестры Бабеля и у его дочери Наташи, живущих за границей, был ли написан этот сценарий и какова его судьба, они ничего не могли мне сказать. Только в 1966 году, когда в Москву из Парижа приехала Ольга Елисеевна Колбасина, вдова эсера В. М. Чернова, выяснилось, что Бабель начинал этот сценарий вместе с Ольгой Елисеевной потому, что Азеф когда-то часто бывал у Черновых и она его хорошо знала. Она рассказала мне, что были написаны, кажется, две сцены, Бабель их ей диктовал. Она обещала мне найти эти сцены в своих бумагах, но вскоре в Москве умерла. Все ее бумаги остались в Париже, у ее дочери, Натальи Викторовны Резниковой, которую я тоже просила их поискать. Насколько мне помнится, работа над этим сценарием прекратилась потому, что кто-то другой предложил кинематографической фирме

в Париже готовый сценарий на эту тему. Но, может быть, я и ошибаюсь.

Из Парижа Бабель писал мне очень часто. Писал обо всем, что видел, с кем встречался, куда ездил во Франции и Италии, когда был там в гостях у Горького на Капри. Я отвечала ему на вопросы, писала о московских новостях, и наше общение не прекращалось, несмотря на отсутствие Бабеля в течение 11 месяцев.

Бабель возвратился из-за границы в сентябре 1933 года. Он приехал один, без семьи. Я оформляла в это время свой уход со службы, чтобы после отпуска взяться за другую, более интересную для меня работу. Отпуск я собиралась провести в доме отдыха в Сочи. Узнав об этом, Бабель посоветовал мне воспользоваться свободным временем и поездить по Кавказскому побережью. Он сам захотел показать мне это побережье, Минеральную группу и Кабардино-Балкарию. Мы условились, что Бабель приедет в Сочи к окончанию срока моего пребывания в доме отдыха.

Я встретила его на сочинском вокзале, и мы отправились на Ривьеру, чтобы снять еще на несколько дней номера в гостинице. Устроившись, мы обсудили наш маршрут.

Сначала мы решили поехать на машине в Гагры — там велись съемки картины «Веселые ребята» по сценарию Эрдмана и Масса. В этой картине снимался Утесов. Из Гагр было намечено проехать в Сухуми, а оттуда добираться до Кабардино-Балкарии. Я сказала Бабелю, что у меня есть билет для проезда в мягком вагоне от Сочи до Москвы и он пропадает.

— Очень хорошо, — ответил он, — мы его обменяем на два билета до Армавира.

На другой день мы пришли в ресторан обедать и сели за столик, занятый двумя пожилыми дамами, одна из них в этот момент жаловалась своей соседке, что никак не может достать билет до Москвы. И тут Бабель вдруг говорит:

— А у нас есть такой билет, но мы не можем им воспользоваться. Возьмите его.

Я, ни слова не говоря, вынимаю из сумочки билет и отдаю незнакомой даме.

— Сколько я вам должна? — спрашивает она.

— Нет, нет, он бесплатный, пожалуйста, возьмите. Он нам совершенно не нужен! — возражает Бабель.

Чувствую, что он страшно смущен, меня он еще достаточно хорошо не знает и не знает, как я к этому отнесусь. Ведь мы только вчера решили обменять этот билет на два до Армавира! Он сам не свой и все на меня поглядывает, а я болтаю о другом и виду не подаю, что все это имеет для меня какое-нибудь значение.

Доброта Бабеля граничила с катастрофой. В этом я убедилась позже, и случай с билетом был только первым таким примером. В подобных случаях он не мог совладать с собой. Он раздавал свои часы, галстуки, рубашки и говорил: «Если я хочу иметь какие-то вещи, то только для того, чтобы их дарить». Но он мог подарить также и мои вещи. Возвратясь из Франции, он привез мне фотоаппарат. Через несколько месяцев один знакомый кинооператор, уезжая в командировку на Север, с сожалением сказал Бабелю, что у него нет

фотоаппарата. Бабель тут же отдал ему мой фотоаппарат, который никогда ко мне уже не вернулся.

Даря мои вещи, он каждый раз чувствовал себя виноватым и смущенным, но я знала, что он с этим справиться не может, и никогда не показывала виду, что мне жалко вещей. А было, конечно, жалко.

Мы поехали в Гагры в теплый, солнечный день в открытой легковой машине. Было раннее утро. Навстречу нам попалась закрытая черная машина с зарешеченным маленьким окном. Мы обратили на нее внимание, и только. А, приехав в Гагры, застали расстроенной всю съемочную группу и узнали, что арестовали Эрдмана. За что? Может быть, за басню, которую он сочинил.

Еще в Сочи Бабель говорил мне, что для него особенно приятны две встречи в Гаграх — с Эрдманом и Утесовым. Известие об аресте Эрдмана просто ошеломило его. Он был очень расстроен.

В гостинице «Гагрипш» не было свободных номеров. Но маленькая комнатка Эрдмана под лестницей только что освободилась, и ее дали мне. Бабель поселился в комнате Утесова. В комнате Эрдмана на столике возле кровати еще лежали раскрытая книга и коробка папирос...

Все были подавлены. Машеньке Стрелковой хотелось плакать, но было невозможно, мешали длинные наклеенные ресницы. Мрачным ходил и Александр Николаевич Тихонов (Серебров).

И только много лет спустя Эрдман рассказал мне, что везли его в обыкновенном открытом автобусе, и что он видел

нас в открытой легковой машине. Мы же на встречный автобус не обратили внимания.

Эрдман рассказывал мне, что, когда его арестовали, он был в роскошных белых брюках и белой шелковой рубашке и долго ходил по пустой камере, не имевшей никакой мебели. Потом, решившись, улегся на спину прямо на грязный пол. По дороге в Сочи, когда автобус остановился, ему разрешили купить виноград, и это было единственное его питание до самого вечера. Зато в поезде он был вознагражден. Сопровождавшие его в Москву сотрудники НКВД угощали его черной икрой, семгой, ветчиной и даже коньяком.

В Гаграх съемки «Веселых ребят» продолжались, мы с Бабелем пропадали на них и смотрели, как снимают то Утесова, то Орлову, то как без конца бултыхается в воду очень милая актриса Тяпкина. Утесов хвалился все возрастающим числом своих поклонниц, и это меня так раздражало, что я наконец не выдержала и сказала ему:

— Не понимаю, что они в вас находят, ведь вы — некрасивый и вообще ничего особенного.

Утесов прямо взвился и к Бабелю:

— Она находит, что я некрасивый, объясните ей, пожалуйста, что я красивый и вообще какой я!

И я выслушала от Бабеля внушение:

— Нельзя быть такой прямолинейной. Он артистичен до мозга костей. Вы же видели, каков он, когда выступает, у него артистична даже спина.

Не согласившись с Бабелем, я ушла и бродила целый день. Жоэкварское ущелье поразило меня дикой своей

красотой, и я на другой день уговорила Бабеля пойти со мной в горы.

Потихоньку, ничего ему не говоря, я увлекла его в ущелье. Там было одно место, где приходилось идти по узкой тропинке, огибая выступ скалы, рядом с пропастью, а идти можно было, только прижавшись спиной к скале и передвигая ноги боком. И вдруг я так испугалась за Бабеля, что крепко схватила его за руку, и мы, не глядя вниз, прошли опасное место. Отдышались уже на ведущей к морю дороге, Бабель сказал: «Сусанин, куда меня завел?» Мы спустились с гор, когда уже стемнело, и были ужасно голодны. В первом же попавшемся нам духане заказали харчо и ели его с белым свежим пушистым хлебом. Казалось, что вкуснее этого ничего не может быть.

Бабель очень любил гулять, но должен был из-за мучившей его астмы сначала медленно-медленно «разойтись», а потом уж, когда с дыханием все было хорошо, мог ходить довольно много. Я ничего этого тогда не знала и увлекла его в длительную прогулку по горам, не дав ему раздышаться. Поэтому он чувствовал себя ужасно, задыхался, но от меня это скрывал.

Вечерами в Гаграх мы ходили к персу Курбану — пить чай под платанами. Чай был очень крепкий, горячий, с кизиловым вареньем.

Утесов в тот наш приезд был неистощим на рассказы. Тут я впервые узнала, что он не только музыкант, но и талантливый рассказчик и что он когда-то выступал с чтением рассказов Бабеля «Как это делалось в Одессе» и «Соль». Однаж-

ды он подарил Бабелю свою фотографию с шуточной надписью: «Единственному человеку, понимающему за жизнь...»

Как-то летом, году, наверное, в 1934-ом, мы с Бабелем были на джазовом концерте Утесова и остались в саду театра «Эрмитаж» после того, как вся публика разошлась и зал опустел. Бабель хотел встретиться с Утесовым. За столом под деревьями собралось несколько человек, в том числе и Ардов. Пили пиво и лимонад, и Утесов с Ардовым начали развлекать нас своими рассказами, переиначивая чудеса Христа. Как Христос накормил целую толпу людей пятью хлебами? Иисус говорит: «Ну, подходите!» — Из подошедших образовалась большая очередь. Каждого Иисус спрашивал: «Чем занимаетесь?» — и когда отвечали «Торгую в церкви свечами» или «Пеку и продаю просвирки», Христос заявлял: «Лишенец!» или: «Лишенка!» и отталкивал их в сторону. Ну, а тех, кто не торговал, было так мало, что пяти хлебов им хватило... Или Иисус говорит своим ученикам: «Пойдемте на свадьбу, сотворим там чудо — возьмем вино с собой». Или Иисус перед зеркалом выдергивает волоски из носа, мать Мария спрашивает: «Опять к синагоге шляться?», а сын отвечает: «Мама, ну что ты понимаешь в политике!» — И так переиначивались многие чудеса Христовы...

В Гаграх Бабель захотел встретиться с председателем ЦИКа Абхазии Нестором Лакобой. Я проводила Бабеля до дачи ЦИКа, где Лакоба отдыхал, и осталась ждать на скамейке возле входа.

Свидание с Лакобой продолжалось около часа, затем оба вышли, поговорили и попрощались. Меня удивил черный

костюм на Лакобе в солнечный день и шнурок из уха от слухового аппарата. На обратном пути Бабель сказал, что Нестор Лакоба «самый примечательный человек в Абхазии».

Из письма Станислава Лакобы, родственника Нестора, полученного мною в 1984 году, я узнала, что «Нестора отравил 26 декабря 1936 г. Берия, когда Лакоба находился в Тбилиси. Отравил с помощью своей жены во время ужина, подлив в бокал с вином яд. Подробно об этом говорил в 1956 г. на процессе в Тбилиси ген. прокурор Руденко. 31 декабря Нестора с почестями похоронили в Сухуми у входа в Ботанический сад. Но через некоторое время объявили “врагом народа”, выкопали тело и уничтожили». Всех его родных расстреляли.

Из Гагр на машине мы переехали в Сухуми, где прожили несколько дней. Кинорежиссер Абрам Роом снимал там на берегу моря картину с участием Ольги Жизневой. По утрам мы ходили на базар, а днем в обезьяний питомник или на пляж. В городе повсюду жарились шашлыки: и на базаре, и прямо на главной улице, в каких-то нишах домов, где устроены для этого специальные приспособления. Город был наполнен запахом жареной баранины. Вечерами встречались на набережной и пили в чайной крепкий чай с бубликами.

Из Сухуми пароходом мы добрались до Туапсе, а оттуда поездом отправились в Кабардино-Балкарию. Чтобы попасть в Нальчик, мы должны были сделать пересадку на станции Прохладная. Поезд пришел туда поздно вечером,

когда в станице все уже спали, а отправлялся он в Нальчик утром. Мы оставили вещи на вокзале и налегке пошли по улицам, выбрали удобную скамью под деревом и просидели на ней всю ночь.

Ночь была теплая, светлая от луны, тополя серебрились, пахло пылью и коровами. Когда взошло солнце, мы отправились на базар.

— Лицо города или села — его базар, — говорил мне Бабель. — По базару, по тому, чем и как на нем торгуют, я всегда могу понять, что это за город, что за люди, каков их характер. Очень люблю базары, и куда бы я ни приехал, я всегда прежде всего отправляюсь на базар.

На базаре было уже полно народу, много лошадей, торговали зерном, скотом. Вся продающаяся птица — живая. Мы купили горячие лепешки, пшенку (вареные кукурузные початки) и пошли на вокзал.

— Нет былого изобилия, сказывается голод на Украине и разорение села, — говорил Бабель.

Через несколько часов мы были в Нальчике, остановились в гостинице и заказали чаю. Я легла спать, а Бабель отправился к Беталу Калмыкову, первому секретарю обкома партии Кабардино-Балкарии...

Бабель разбудил меня. Войдя в мой номер, он сказал со смехом:

— Знаете, сколько вы проспали? Теперь утро следующего дня. Бетал приглашает вас переехать к нему в загородный его дом, где он сейчас живет, в Долинское.

Но я заупрямилась:

— С Беталом я не знакома, принять приглашение не могу, приглашает он вас, а не меня, и переезжать к нему я не хочу. Не хочу — и все!

Со мной ничего нельзя было поделать. Не помогло ни уверение в том, что у меня там будет своя комната, ни то, что у Бетала всегда живет много всякого народу — друзья, корреспонденты московских газет с женами и т. д. Я стояла на своем. Пришлось Бабелю снова пойти в обком, и там было решено, что он будет жить у Бетала, а я куплю путевку в дом отдыха как раз напротив дома Бетала. На это я согласилась, и мы переехали в Долинское. По дороге туда Бабель рассказал мне о своей встрече с Беталом Калмыковым в тот первый день в Нальчике, который я полностью проспала.

— Я встретил его на площади, он стоял перед новым зданием Госплана. Я подошел к нему и сказал: «Красивое здание, Бетал». Он ответил: «Здание — красивое, люди — плохие. Зайдемте!» Мы вошли, и я с удивлением услышал, как он сказал какой-то женщине, что хочет пройти в уборную, и чтобы там никого не было. Пригласил и меня туда. В уборной было нисколько не хуже, чем в уборной любого московского учреждения, но Бетал остался недоволен. Он прошел оттуда к заведующему, и, когда тот встал, встречая нас, сказал ему без всякого предисловия: «Вы дикий и некультурный человек! У вас в уборной грязно».

В Долинском Бабель познакомил меня с Беталом и его семьей.

Бетал Калмыков был высокого роста, довольно плотный и широкоплечий, с раскосыми карими глазами и круглым, скуластым лицом. Одевался он в серый костюм из простой ткани, которая называлась тогда «чертовой кожей». Брюки-галифе и рубашка с глухим воротником, подпоясанная узким ремешком. На ногах сапоги из тонкого шевро, а на голове кубанка из коричневого каракуля с кожаным верхом. Он почти никогда, даже за столом, не снимал своей кубанки, и только однажды я увидела его без шапки и узнала, что он лыс. Очевидно, своей лысины он стеснялся.

Жена Бетала, Антонина Александровна, была русская, крупная и красивая женщина. Она работала, кажется, по линии детских учреждений и народного образования. У них было двое детей: сын Володя примерно двенадцати лет и дочь Светлана (Лана) трех или четырех лет. Мальчик был очень красив и имел русские черты лица, а девочка похожа на Бетала, со скуластым личиком и черными, слегка раскосыми, лукавыми глазами. Лана была любимицей отца.

— Некрасивая будет у меня дочка, никто не умыкнет, — говорил Бетал, держа на коленях Лану.

— Она сама, кого захочет, умыкнет, — смеялся в ответ Бабель.

По утрам в Долинском Бабель работал или чаще уезжал куда-нибудь с Беталом. После обеда приходил ко мне, мы гуляли, и он рассказывал о Бетале или передавал услышанное от него за завтраком или обедом. Я запомнила кое-что так, как Бабель пересказал это мне.

«За мной гнались белые, — таков был один из рассказов Бетала, — я убегал в горы по знакомым тропинкам. Погоня длилась трое суток, меня уже было настигали, но я уходил. За мной охотились. Меня решили загнать, как загоняют зверя. Гнались по моим следам, я не мог остановиться. Сил оставалось все меньше, я ничего не ел, не спал. Наконец на третьи сутки погоня прекратилась. Я так устал, что упал, а когда поднялся, то увидел перед собой большого тура. Он был совсем близко, смотрел на меня, весь дрожал, а из глаз его текли слезы. Тур плакал. Он тяжело дышал и так же, как и я, не мог бы сделать больше ни шага. Белые гнались за мной, а я, сам того не зная, гнался за туром. И вот мы оба изнемогли и теперь стояли друг против друга и смотрели друг другу в глаза. Я первый раз в жизни видел, как плачет тур».

В Кабардино-Балкарии довольно большая площадь леса отведена под заповедник. Водятся там медведи, кабаны, лоси и много всякой птицы. Охота занимает значительное место в жизни здешних людей, и Бетал был страстным охотником. Его рассказы за столом чаще всего касались этой темы. Иногда приезжали поохотиться члены правительства из Москвы. И вот однажды на охоту приехала большая группа гостей во главе с Ворошиловым. И Бабель рассказал мне то, что слышал о Бетале от одного из его товарищей.

— Ружья были заряжены дробью. Во время охоты кто-то из неумелых гостей нечаянно всадил Беталу в живот весь заряд дроби. Но он и виду не подал, продолжал охотиться до конца. После охоты жарили птицу и ужинали, а когда все легли спать, Бетал обнажил живот и при свете костра сам и с

помощью товарищей вытащил перочинным ножом более двадцати засевших глубоко дробинок. Две дробинки остались, их вытащить не удалось. Никто так ничего и не заметил. На другое утро охотились на кабанов, и только после этого, проводив гостей домой, Бетал обратился к врачу. Каковы законы гостеприимства! — заметил Бабель.

В другой раз на охоте пуля одного из гостей-охотников попала Беталу в кость ноги. На следующий день ему надо было ехать в Москву на какое-то совещание. Он с трудом натянул на больную ногу сапог и, прихрамывая, дошел до вагона. В поезде нога начала распухать, сапог пришлось разрезать и снять. В Ростове его ссадили с поезда, чтобы немедленно везти в больницу. Бетал ни за что не захотел лечь на носилки, сам дошел до машины, а потом и до операционного стола. Ему хотели привязать к столу руки и ноги, но он воспротивился, от наркоза он также категорически отказался. «У нас на Кавказе не любят насилия над человеком, не прикасайтесь ко мне, я не вскрикну, я хочу сам видеть операцию!»

«Первый раз в жизни, — рассказывал Бетал, — я видел человеческую кость. Какая красивая! Белая, как перламутровая, с голубыми и розовыми прожилками. Я видел, как врач вытащил пулю и как зашил кожу. Закончив операцию, он мне сказал: “Ну, товарищ Калмыков, все в порядке, но охотиться на медведей вы больше не будете”. Я ответил: “Буду, доктор, и шкуру первого убитого мною медведя пришлю вам”. Я пролежал больше месяца, потом стал ходить, но нога не сгибалась в колене, ходить было неудобно.

Думал я, думал, как быть, и решил опускать ее в горячую воду и потихоньку сгибать. Каждый день я проделывал эти упражнения. Сначала было очень больно, а теперь — пожалуйста! — И он покачал ногой, легко сгибающейся в колене. — Шкуру первого убитого мной медведя я послал доктору в Ростов».

Кабардино-Балкария в 1933 году была областью казавшегося немыслимым изобилия. Там поражали базары, сытые лошади, тучные стада коров и овец.

Когда начался сбор кукурузы, Бетал не оставил в обкоме и учреждениях Нальчика ни одного человека. И сам он, и его жена Антонина Александровна отправились на поля. Работали целыми днями, Бетал был впереди всех, он выполнил норму по сбору кукурузы большую, чем самый опытный колхозник.

Из Нальчика Бабель писал своей матери: «Я все ношусь по области (Кабардино-Балкарской), жемчужине среди советских областей, и никак не нарадуюсь тому, что приехал сюда. Урожай здесь не только громадный, но и собран превосходно — и жить, наконец, в нашем русском изобилии приятно».

«Этот человек во всех отношениях первый в Кабардино-Балкарии, — говорил мне Бабель. — Он первый охотник, нет ему равного. Он — самый лучший сборщик кукурузы, никто с ним не может потягаться в сноровке, и он лучший в стране наездник... Бетал всегда окружен товарищами: бывшими партизанами, вместе с которыми в давние времена он дрался с белыми. В этом я убедился сам. Вчера поздно вечером мы гуляли вдвоем с Беталом по парку; дорожки его были засыпаны облетевшей листвой. Вдруг неизвестно кому

Бетал сказал: “Надо бы подмести дорожки”. И кто-то рядом из темноты ответил: “Будет сделано!..” Он всегда окружен личной охраной, состоящей из товарищей, бывших партизан, — повторил Бабель, — а когда Сталин распорядился, чтобы у Бетала была официальная охрана и чтобы его сопровождали телохранители, он с трудом переносил это и страшно над охранниками издевался. Недавно мы ездили с Беталом на строящуюся электростанцию. Вышли из машины и пошли по тропинке. Тотчас из другой машины, нагнавшей нас, вышли двое красноармейцев и пошли за нами. Вдруг мы увидели перед собой на тропинке свернувшуюся змею. Бетал обернулся и сказал одному из телохранителей: “А ну-ка, убей змею!” Тот остановился и растерялся, не зная, как к ней подойти. Бетал быстро шагнул вперед, наклонился, как-то по-особому схватил змею и швырнул на землю. Она была мертва. Обернувшись, он иронически сказал: “Как же вы будете защищать меня, когда вы змею убить боитесь?” — и пошел дальше».

Строящаяся электростанция была гордостью Бетала Калмыкова, он много говорил о ней и почти ежедневно сам бывал на стройке.

Бабель присутствовал в обкоме на специальном совещании инструкторов, которые отправлялись в Балкарию, чтобы ликвидировать те 15 процентов единоличных хозяйств, которые там еще оставались. Возвратившись, Бабель повторил мне речь, произнесенную Беталом перед инструкторами:

— Побрякушки, погремушки сбросьте, это вам не война. Живите с людьми на пастбищах, спите с ними в кошах, ешьте

с ними одну и ту же пищу и помните, что вы едете налаживать не чью-то чужую жизнь, а свою собственную. Я скоро туда приеду. Я знаю, вы выставите людей, которые скажут, что все хорошо, но... выйдет один старик и расскажет мне правду. Если вы все хорошо устроите, то с каким приятным чувством вы будете встречать день Седьмого ноября. Если же вы все провалите... унистожу, унистожу всех до одного! — (Хорошо говоря по-русски, Бетал некоторые слова немного искажал.)

— Угроза была нешуточной, инструкторы побледнели, — закончил Бабель свой рассказ...

Мне надоело мое безделье, и однажды, гуляя, я увидела женщин, убиравших в поле морковь. Я присоединилась к ним и проработала до обеда. Настроение у меня сразу поднялось, обедала я с аппетитом в первый раз за все время моего пребывания в Нальчике. Когда Бабель после обеда пришел ко мне, я ничего ему не сказала. Но Бетал уже все знал.

— Этот человек знает, что делается в его «владениях» в каждую минуту времени. Он не может иначе, — сказал Бабель.

И вскоре это подтвердилось еще раз. В конце октября Бетал предложил нам поехать в такое — единственное — место, откуда виден весь Кавказский хребет и одновременно две его вершины — Эльбрус и Казбек. Выехали верхом на лошадях в ясное, солнечное утро. И только на пути нашем туда нас дважды нагоняли верховые, которых посылал Бетал, чтобы узнать, все ли у нас хорошо.

Мы решили провести на горе Нартух ночь, увидеть Кавказский хребет на рассвете и на другой день к вечеру возвра-

титься в Нальчик. Никогда раньше не видела я альпийских лугов; высоко над уровнем моря на чуть холмистой местности расстилался зеленый ковер с цветами и стояли стога свежего сена. Было очень жарко. Невозможно было себе представить, что в Москве в это время деревья стоят голые и льет холодный дождь. Ночью все сидели у костра, в большом котле варились свежие початки кукурузы. То и дело вокруг раздавался звон и грохот — это сторожа кукурузного поля отгоняли медведей, покушавшихся на урожай.

Наконец из предрассветной мглы начали выступать горы — сумрачные, темно-синие и фиолетовые, они вдруг окрашивались в отдельных местах в розовый цвет, словно кто-то их зажигал. И вот все вспыхнуло в разнообразных переливах красок — взошло солнце. Весь Кавказский хребет был перед нами. Слева — Казбек, справа — Эльбрус, между ними — цепь горных вершин.

Бабель ушел с охотниками на вышку, где можно было видеть, как кабаны идут к водопою, а потом наблюдать и охоту на них.

В письме к матери Бабель по этому поводу писал: «Ездили на охоту с Евдокимовым и Калмыковым — убили несколько кабанов (без моего участия, конечно) на высоте 2000 метров среди альпийских пастбищ и на виду у всего Кавказского хребта, от Новороссийска до Баку — жарили целых».

Я не видела Бетала в тот день, но, наверное, он приезжал под утро, чтобы поохотиться, и затем уехал в Нальчик. Мы же оставались на горе Нартух до середины дня и возвратились в Долинское уже вечером.

Позже мы ездили вместе с Беталом также в Баксанское ущелье, к самому подножию Эльбруса. Солнце было горячее, и подтаивающий снег ледников стекал многочисленными ручьями в речку Баксан. Бабель, смеясь, рассказал мне:

— Беталу надоело читать, как альпинисты совершают подвиги восхождения на вершину Эльбруса и как об этом пишут в газетах, и он решил покончить с легендой о невероятных трудностях этого подъема раз и навсегда. Собрал пятьсот рядовых колхозников и без всякого особого снаряжения поднялся с ними на самую вершину Эльбруса. Теперь, когда его об этом спрашивают, он только посмеивается.

В Баксанском ущелье мы прожили несколько дней в зеленом домике Бетала, недалеко от балкарского селения. Гуляя, мы находили множество бьющих из-под земли нарзанных источников, узнавая их по железистой окраске вокруг.

«Несколько дней, — писал в это время Бабель своей матери, — провели в балкарском селении у подножия Эльбруса на высоте 3000 метров, первый день дышать было трудно, потом привык».

Вместе с Беталом Бабель и здесь разъезжал по балкарским селениям, возвращался уставшим, но наполненным разнообразными впечатлениями: «Какой народ! Сколько человеческого достоинства в каждом пастухе! И как они верят Беталу! Все его помыслы — о благе народа».

Из Баксанского ущелья мы хотели поехать верхом на лошадях на перевал Адыл-Су, чтобы взглянуть оттуда на море. Однако накануне ночью в горах разыгрался буран. Пришлось возвратиться в Нальчик.

Настало Седьмое ноября. С утра недалеко от города состоялись скачки с призами. Были приглашены все московские гости, расположившиеся на сколоченной по этому случаю деревянной трибуне.

Во время скачек на трибуну поднялась и прошла прямо к Беталу какая-то бедно одетая женщина, в шали, с ребенком на руках, и сказала ему несколько слов по-кабардински. Бетал быстро обернулся к председателю облисполкома и по-русски спросил:

— Она колхозница?

— Они — лодыри, — ответил тот.

Бетал что-то сказал женщине, она спустилась с трибуны и ушла. Я видела, как Бетал, до того очень веселый, стал мрачен. Бабель спросил своего соседа:

— Что сказала женщина?

Тот перевел:

— Бетал, мы колхозники, и мы голодаем. Нам выдали на трудодни десять килограммов семечек. Мой муж болен, у нас нечего есть.

— А что сказал Бетал? — спросил Бабель.

— Он сказал, что завтра к ним приедет.

После окончания скачек и раздачи призов мы подошли к стоянке машин, и Бетал, открыв дверцу одной из них, предложил мне сесть. Его жена Антонина Александровна села рядом со мной. В другую машину сел Бетал вместе с Бабелем, и они тронулись первыми, мы — за ними. Так как дорога была проселочная, пыльная, я спросила шофера:

— А мы не могли бы их обогнать?

— У нас это не полагается, — ответил он строго.

Я с недоумением посмотрела на Антонину Александровну.

— Я к этому привыкла, — улыбаясь сказала она.

Вечером нас пригласили на праздничный концерт. Когда один танцор в национальном горском костюме и в мягких, как чулки, сапогах вышел плясать лезгинку и стал как-то виртуозно припадать на колено, Бетал, сидевший в первом ряду, вдруг возмутился, встал и отчитал его за выдумку, нарушающую дедовский танец. Таких движений, какие придумал танцор, оказывается, в народном танце не было. После концерта Бабель шепнул мне:

— Вы видите, как по-хозяйски он вмешался даже в лезгинку!

На другой день утром Бетал выполнил свое обещание, данное женщине с ребенком, и поехал в селение, где она жила. Бабель поехал с ним. Возвратился он очень взволнованный и рассказал:

«По дороге в селение мы заехали сначала за секретарем райкома, а затем за председателем колхоза. И то, как Бетал открывал для них дверцу машины и с глубоким поклоном приглашал их сесть, заставило их побледнеть. По дороге к дому женщины Бетал сказал: “Неужели сердца ваши затопило жиром? Ведь эта женщина обошла всех вас, прежде чем ко мне подняться”. И немного погодя: “Какая разница между мной и вами? Вы будете ехать по мосту, будет тонуть ребенок — и вы проедете мимо, а я остановлюсь и спасу его. Неужели сердца ваши затопило жиром?”

Но председатель колхоза и секретарь райкома твердили одно и то же: “Эти люди — лодыри, они не хотят работать”.

Мы подъехали к маленькой, покосившейся хате, зашли во двор, сплошь заросший бурьяном, затем в дом. На постели лежал муж женщины, укрытый лохмотьями, и агонизировал. (Именно это слово — “агонизировал” — употребил Бабель.)

В комнате было прибрано, но почти пусто. На столе — мешок с семечками. Женщины с ребенком дома не было. Бетал все осмотрел, сказал несколько слов больному колхознику, спросил, давно ли болеет, сколько семья заработала трудодней и что получила на них в виде аванса. Затем, обернувшись к секретарю райкома, сказал: “Послезавтра я назначаю во дворе этого дома заседание обкома. Чтобы к этому времени здесь был построен новый дом, чтобы у этих людей была еда и им было выплачено все, что полагается на трудодни”. Затем, выйдя во двор, добавил: “Чтобы был скошен весь бурьян и там, — показав на дальний угол двора, — была построена уборная”. Затем сел в машину, и мы уехали», — закончил рассказ Бабель.

Назначенный Беталом день совещания был потом изменен, но все равно срок для постройки нового дома был так невелик, что все мы с волнением его ждали. Но было слишком много желающих поехать на это совещание, и мне было неудобно просить Бабеля взять меня с собой. Поэтому я с нетерпением ждала его возвращения.

«Перед нами стоял красивый новый дом, — рассказал мне, возвратясь, Бабель, — он был закончен, только внутри

печники еще клали печку. Во дворе был скошен весь бурьян, и в дальнем углу двора виднелась уборная. Не только весь двор был заполнен народом, но и все прилегающие к нему улицы и огороды. Беталу так понравились собственные слова, сказанные ранее, что он, обращаясь к членам обкома по-русски, снова произнес: “Неужели сердца ваши затопило жиром?” Затем заговорил по-кабардински. Я схватил за рукав ближайшего ко мне человека и спросил: “Что он говорит?” Оглянувшись, тот ответил: “Ругает один человек”. Голос Бетала звучал резко, глаза его сверкали, и через некоторое время я снова спросил соседа: “Что он говорит?” “Ругает все люди”, — ответил тот, повернув ко мне испуганное лицо. И наконец, когда Бетал стал что-то выкрикивать и я подумал, что он закончит речь, как это обычно бывает, словами: “Да здравствует Сталин!” — еще раз толкнул соседа и спросил: “Что говорит он?” — тот повернулся ко мне и сказал: “Он говорит, что надо строить уборные”». Именно этими словами закончил Бетал Калмыков свою речь.

Рассказы Бабеля о Бетале продолжались. Запомнился и такой:

«Бетал созвал девушек Кабардино-Балкарии и сказал им: “Лошадь или корову купить можно, а девушку — нельзя. Не позволяйте своим родителям брать за вас выкуп, продавать вас. Выходите замуж по любви”. Тогда вышла одна из девушек и сказала: “Мы не согласны. Как это так, чтобы нас можно было взять даром? Мы должны приносить доход своим родителям. Нет, мы не согласны”. Бетал рассердился, созвал юношей и сказал им: “Поезжайте на Украину и выбирайте

себе невест там, украинские девушки гораздо лучше наших, они полногрудые и хорошие хозяйки”. И послал юношей в ближайшие станицы, чтобы они оттуда привезли жен. Тогда делегация девушек пришла к Беталу и объявила, что они согласны».

О съезде стариков, который созывал Бетал, Бабель написал из Нальчика своей матери: «Завтра, например, открывается второй областной съезд стариков и старух. Они теперь главные двигатели колхозного строительства, за всем надзирают, указывают молодым, ходят с бляхами, на которых написано “Инспектор по качеству”, и вообще находятся в чести. Такие съезды созываются теперь по всей России, гремит музыка, а старикам аплодируют. Придумал это Калмыков, секретарь здешнего обкома партии (у которого я гощу), кабардинец по происхождению, а по существу своему великий, невиданный, новый человек. Слава о нем идет уже полтора десятилетия, но все слухи далеко превзойдены действительностью. С железным упорством и дальновидностью он превращает маленькую горную полудикую страну в истинную жемчужину».

Бетал Калмыков был одним из тех людей, которые владели воображением Бабеля. Иногда он в раздумье произносил:

— Хочу понять: Бетал — что он такое?

В другой раз, прохаживаясь по комнате, он говорил:

— Отношения с Москвой у него очень сложные. Когда к нему из Москвы приезжают уполномоченные из ЦК, они обычно останавливаются в специальном вагоне и приглашают туда Бетала. Он входит и садится у дверей на самый

краешек стула. Все это нарочито. Его спрашивают: «Правда ли, товарищ Калмыков, что у вас нашли золото в песке реки Нальчик?» Он отвечает: «Помолчим пока об этом». Он прибедняется и даже унижается перед ними, а ведь он гордый человек, и мне кажется, что не очень их уважает. Москва платит ему тем же. Ему дают очень мало денег, очень мало товаров. А он втайне от Москвы покрыл свою маленькую страну сетью великолепных асфальтированных дорог. Я спросил его однажды — на какие деньги? Оказалось, заставил население собирать плоды дичков (груш и яблонь), которых в лесах очень много, и построил вареньеварочные заводы. Делают там джем и варенье, продают и на эти деньги строят дороги. Кстати, нас приглашают посетить один такой завод...

И мы поехали. Повез нас туда вместе с другими гостями сам Бетал, показал все оборудование. Любимым его выражением для похвалы было: «Добропорядочный работник», а для порицания — «Дикий, некультурный человек». На вареньеварочном заводе он никого не ругал, наоборот, раза два про кого-то сказал: «Добропорядочный работник».

Всем гостям Бетал предлагал варенье и джем в банках. Многие взяли, а мы с Бабелем отказались. Позже мне Бабель сказал:

— Бетал о вас говорит очень уважительно; наверно, потому, что вы отказались взять варенье, — засмеялся и добавил: — А может быть, потому, что вы здесь ведете такой обособленный образ жизни. Он даже собирается пригласить вас к себе на работу инженером, на строительство электростанции. Ну, как, вы бы согласились?

— Нет, — ответила я. — Я собираюсь работать по проектированию метро...

Покидая Нальчик, Бабель задумал перекочевать в колхоз, в станицу Пришибскую, где хотел собирать материал и писать. Он решил проводить меня и попутно показать мне Минеральную группу. Мы побывали в Железноводске, недалеко от которого находился очень интересовавший Бабеля Терский конный завод.

— Терский конный завод существует уже несколько лет, — рассказывал по дороге туда Бабель, — основан он специально для того, чтобы получить потомство от Цилиндра — замечательного арабского жеребца. Но вся беда в том, что от него рождаются только кобылицы. И каких бы маток к нему ни подводили, получить жеребчика пока не удается...

На заводе нам показали Цилиндра. В жизни я не видела лошади красивее. Совершенно белый, с изогнутой, как у лебедя, шеей, с серебристыми гривой и хвостом. Бабель успел уже показать мне очень породистых лошадей и на конном заводе вблизи Молоденова, и на московском ипподроме, но там была рысистая порода; арабского жеребца я видела впервые. Я даже не думала, что такие красивые кони могут существовать на самом деле.

— Ну, что? — улыбаясь, спросил Бабель. — Стоило устраивать ради него завод?

Мы провели на конном заводе почти целый день. Осматривали жеребят, перед нами проводили потомство «араба» — двухлеток и трехлеток. Ни одна из его дочерей не унаследовала даже масти отца.

В Пятигорске Бабель показал мне все лермонтовские места.

Он бывал здесь и в прошлые годы, навещая своих «бойцовских ребят», как он называл тех товарищей, с которыми встречался в 1920 году в Конармии, поэтому рассказывал мне о лермонтовских местах, как настоящий экскурсовод.

— Для путешествий страна наша пока совсем не приспособлена, — говорил он. — Гостиницы ужасные, кровати плохие, с серыми убогими одеялами, ничем не покрытые столы.

Я так много слышала о чудесном действии нарзанных ванн, что решила попробовать и приняла одну такую. Когда после этого я зашла в номер к Бабелю, где он сидел за большим столом со своими товарищами, «бойцовскими ребятами», собравшимися у него, и сказала, что ничего особенного не испытала от нарзанной ванны, они все дружно рассмеялись:

— Да, конечно, на двадцатичетырехлетних нарзан совсем не действует!

Из Кисловодска Бабель проводил меня в Минеральные Воды и посадил в двухместное купе мягкого вагона. Увидев, что со мной едет военный с ромбами на погонах, Бабель сказал: «Ну, я спокоен за Вас, поедете под защитой нашей доблестной Красной Армии!» Как он ошибся! Как только поезд тронулся, мой сосед вытащил бутылку водки, у проводника потребовал два стакана и решил, что я составлю ему компанию. Я отказалась. Он все меня уговаривал и тем временем пил один стакан за другим, и чем больше он пил, тем стано-

вился развязнее. Пришлось мне выйти и попросить проводника устроить меня где-нибудь спать.

Проводник открыл четырехместное купе и постелил мне на верхней полке. Мои новые соседи в этом купе уже спали. Наутро оказалось, что мой бывший сосед буянил всю ночь, кричал «Где она?» и даже разбил что-то в вагоне-ресторане. Я рассказала моим новым соседям, тоже мужчинам, о ночном происшествии, и они не позволяли мне выходить из купе, пока кто-нибудь из них не проверит, где военный.

Так ошибся Бабель, давая характеристику доблестной Красной Армии.

Уже зимой, а может быть, весной 1934 года, находясь в Москве, Бабель узнал, что на спортивных соревнованиях в Пятигорске, куда съехались спортсмены всех северокавказских областей, кабардинобалкарцы завоевали все первые места. С этой новостью он вошел ко мне в комнату.

— Среди народностей Северного Кавказа, — сказал он, — ни кабардинцы, ни балкарцы не отличаются особенной физической силой, тем не менее все первые места взяты ими. Что мог сказать, отправляя спортсменов на соревнования, Бетал? Дорого бы я заплатил за то, чтобы узнать это.

В феврале 1935 года Бабель — написал своей матери: «В Москве — съезд Советов; из разных концов земли прибыли мои товарищи — Евдокимов с Сев. Кавказа. Из Кабарды — Калмыков, много друзей из Донбасса. На них уходит много времени. Ложусь спать в четыре-пять утра. Вчера повезли с Калмыковым кабардинских танцоров к Алексею Максимовичу, плясали незабываемо!»

Когда позже, кажется, в 1936 году, Бетал снова приехал в Москву, Бабель мне сказал:

— Пойдите к Беталу в гостиницу и уговорите его показаться здесь врачу. Мне известно, что он болен, у него, по всей вероятности, язва желудка, а к врачу пойти не хочет. Быть может, вас он послушается. Кстати, захватите для Ланы апельсины.

И вот я с пакетом апельсинов отправилась к Беталу. Он сидел в гостиничном номере на диванчике у стола все в той же каракулевой шапке и ел со сковородки яичницу. Встретил меня с улыбкой. После обмена общими фразами, я, нарочно пользуясь его излюбленным выражением, сказала:

— Бетал — вы дикий и некультурный человек, почему вы не хотите посоветоваться с врачами по поводу вашей болезни?

Он рассмеялся и сказал:

— Да они все выдумали, я совершенно здоров.

На том мои уговоры и закончились.

А какое-то время спустя, наверно, уже в 1937 году, Бабель сообщил мне об аресте Бетала: «Его вызвали в Москву, в ЦК, и, когда он вошел в одну из комнат, на него набросились четыре или пять человек. При его физической силе не рисковали арестовать его обычным способом; его связали, обезоружили. И это Бетала, который мог перенести любую боль, но только не насилие над собой! После его ареста в Нальчике был созван партийный актив Кабардино-Балкарии. Поезд, которым приехали представители ЦК, был заполнен военными — охраной НКВД. От вокзала до здания обкома, где со-

брался актив, был образован проход между двумя рядами вооруженных людей. На партактиве было объявлено о том, что Бетал Калмыков — враг народа и что он арестован, а после окончания заседания весь партактив по проходу, образованному вооруженными людьми, был выведен к поезду, посажен в вагоны и увезен в московские тюрьмы...»

Бетал погиб. И остался ненаписанным цикл рассказов Бабеля о Кабардино-Балкарии...

После моего отъезда в Москву Бабель, как и обещал, переехал из Нальчика в станицу Пришибская, и оттуда стали приходить его письма. В одном из них хорошо запомнились строки:

«Живу в мазаной хате с земляным полом. Тружусь. Вчера председатель колхоза, с которым мы сидели в правлении, когда настали сумерки, крикнул: “Федор, сруководи-ка лампу!”»

В Москве я снова попала в окружение своих друзей и знакомых, но все они показались мне неинтересными, их разговоры не занимали меня. Я поняла, что очень скучаю без Бабеля.

А незадолго до Нового года я получила письмо, в котором Бабель писал:

«Я человек суеверный и непременно хочу встретить Новый год с вами. Подождите устраиваться на работу и приезжайте 31-го в Горловку, буду встречать».

Приглашение Бабеля было предложением жить в будущем вместе. И мой приезд в Горловку 31 декабря 1933 года означал, что я это предложение приняла.

Бабель встретил меня в Горловке в дубленом овчинном полушубке, меховой шапке и валенках и повез к Вениамину Яковлевичу Фуреру, секретарю Горловского горкома, у которого остановился.

Фурер был знаменитым человеком, о нем много писали. Прославился он тем, что создал прекрасные по тем временам условия жизни для шахтеров и даже дорогу от их общежития до шахты обсадил розами. Бабель говорил:

— Тяжелый и грязный труд шахтеров Фурер сделал почетным, уважаемым. Шахтеры — первые в клубе, их хвалят на собраниях, им дают премии и награды; они самые выгодные женихи, и лучшие девушки охотно выходят за них замуж.

Вечером Бабель вдруг мне сказал: — «Когда Вы сошли с поезда, у Вас было лицо Анны Карениной». Очевидно, он понял, что во мне по отношению к нему произошла перемена. Мы объяснились, и я согласилась жить в будущем вместе.

Мы встречали Новый год втроем: Фурер, Бабель и я. Жена Фурера, балерина Харьковского театра Галина Лерхе, приехать на Новый год не смогла. Квартира Фурера в Горловке, большая и почти пустая, была обставлена только необходимой и очень простой мебелью. Хозяйство вела веснушчатая, очень бойкая девчонка, веселая и острая на язык. Она говорила Фуреру правду в глаза и даже им командовала; он покорно ей подчинялся, и это его забавляло.

— Преданный человек, и, как ни странно, помогает в моей работе — не дает стать чиновником, — говорил Фурер.

Он был очень красив. Высокий, хорошо сложенный, с веселыми светлыми глазами и белокурой головой. «Великолепное создание природы», — говорил про него Бабель.

За столом под Новый год Фурер смешно рассказывал, как его одолевают корреспонденты, какую пишут они чепуху и как один из них, побывавший у его родителей, написал: «У стариков Фуреров родился кудрявый мальчик». Бабель смеялся, а потом часто эту фразу повторял.

В Горловке Бабель захотел спуститься в шахту — посмотреть на работу забойщиков. К нам присоединился приехавший в Горловку писатель Зозуля. В душевой мы переоделись в шахтерские комбинезоны, на грудь каждому из нас повесили лампочку и в клети «с ветерком» спустили на горизонт 630. С нами были инженер и начальник смены. Разрабатывался наклонный, под углом 70°, пласт угля толщиной около двух метров, расположенный между горизонталями 630 и 720.

В очень небольшое отверстие первым спустился инженер, потом я, затем начальник смены, Бабель и последним Зозуля. Спускаться надо было в темноте, при свете наших довольно тусклых лампочек; воздух был насыщен угольной пылью, она сразу же забила нос, рот, глаза.

Бревна, распирающие породу там, где пласт угля был уже выработан, располагались с расстоянием от 1,5 до 1,7 метра одно от другого, поэтому спуск был чрезвычайно сложным для меня, приходилось все время пребывать в каком-то распятом состоянии, стараясь вытянуться как можно больше. При этом было совершенно нечем дышать и

почти ничего не видно. Руки и ноги вскоре онемели, сердце заколотилось, и я, например, была в таком отчаянии, что готова была опустить руки и упасть вниз. Но идущий впереди все-таки помогал мне и в отдельных случаях просто брал мою ногу и силой ставил ее на бревно. Поневоле руки мои отрывались от верхних бревен. Так, дойдя до полного отчаяния, я вдруг коснулась спиной породы и почувствовала облегчение. Опираясь спиной, спускаться было уже намного легче, но никто раньше об этом мне не сказал. Волнуясь за Бабеля (рост его ненамного превышал мой, к тому же он страдал астмой), я просила идущего за мной начальника смены помочь ему и сказать, чтобы он опирался спиной.

Справа от нас рубили уголь; он сыпался вниз; везде, где были рабочие, ругань стояла невообразимая. Это было традицией, без этого не умели добывать уголь. В одном месте мы передвинулись ближе к забою. Уголь искрился и сверкал при свете лампочек. Это был настоящий антрацит.

Бабель с забойщиками не разговаривал — очевидно, говорить ему было трудно. Я взглянула на него. Лицо его было совершенно черное, как и у всех остальных, белели только белки глаз и зубы. Он тяжело дышал.

Мы начали спускаться дальше; показалось, что стало легче, может быть, стал более наклонным пласт. Последние несколько метров съехали просто на спине в кучу угля и чуть-чуть не угодили в вагонетку. Спустившись по приставной лесенке, мы оказались в довольно большой штольне, потолок и стены ее были побелены и воздух чист. Как ни предупреж-

дал начальник смены откатчиков: «Тише: женщина!» — мат не прекращался. А какой-то веселый паренек, увидев, что появились гости, с восторгом закричал:

— Идите в насосную, вот где ругаются, красота!

Бабель сказал:

— Там, в насосной, более образованные люди, поэтому и ругань изысканней!

Смысл ругательств здесь полностью утрачивался, оставалась только внешняя форма, не лишенная изобретательности, даже поэтичности: в насосной виртуозно ругались стихами, кто под Пушкина, а кто под Есенина; можно было различить размер и стиль.

Поднялись на поверхность и пошли отмываться в душевую, где вода была какая-то особенная — конденсат отработанного пара, поэтому уголь смывался очень хорошо. У всех остались только ободки вокруг глаз, что могло отмыться только через несколько дней. Сели в машину и поехали осматривать коксохимический завод.

Большие цехи с какими-то агрегатами, покрытыми инеем, работали автоматически; рабочих нигде не было, только наблюдающий инженер. Температура в этих агрегатах, наполненных аммиаком, очень низкая. В результате их работы получалось удобрение для полей. Я ходила с трудом — так ныло у меня все тело, особенно трудно давались спуски и подъемы — хождение по этажам.

Лицо Бабеля было спокойно, и вид такой, как будто он и не проходил только что через угольный ад. Он всем интересовался и задавал инженеру вопросы.

Фурер отсутствовал два дня — ездил к жене в Харьков. Возвратившись, он с воодушевлением рассказывал о своих планах преобразования Горловки: здесь будет больница, там — городской парк, а там — театр. Он мечтал о сокращении рабочего дня шахтера до четырех часов в день.

Из Горловки 20 января 1934 года Бабель писал своей матери:

«Очень правильно сделал, что побывал в Донбассе, край этот знать необходимо. Иногда приходишь в отчаяние — как осилить художественно неизмеримую, курьерскую, небывалую эту страну, которая называется СССР. Дух бодрости и успеха у нас теперь сильнее, чем за все 16 лет революции».

Планов своих в Горловке Фуреру осуществить не пришлось. Каганович потребовал его в Москву для работы в МК.

В том же 1934 году мы вместе с ним и Галиной Лерхе были на авиационном параде в Тушино. Проезжая по какой-то боковой улочке, чтобы избежать потока машин, направлявшихся в Тушино, мы увидели склад с надписью: «Брача песка строго воспрещена». Эта надпись дала повод Бабелю вспомнить целый ряд таких же курьезных объявлений вроде: «Рубить сосны на елки строго воспрещается», виденных им в Крыму.

Парад смотрели с крыши административного здания, где собрались знатные гости, и стояли рядом с А. Н. Туполевым, который тогда был в зените своей славы, впоследствии чуть не угасшей совсем. Впереди, ближе к парапету, стояли Сталин и другие члены правительства.

Некоторое время спустя мы еще раз встретились с Фурером, когда были приглашены на творческий вечер Галины Лерхе.

Вечер был устроен в каком-то клубе, кажется на улице Разина: зал был небольшой, но набит битком. Танцы Галины Лерхе, характерные и выразительные, казались тогда очень современными по сравнению с классическим балетом. Бабель сказал, что они «в стиле Айседоры Дункан», которую он знал.

В последний раз я видела Фурера осенью 1936 года. Бабель незадолго перед этим уехал в Одессу, а я в его отсутствие решила, что ему не следует больше жить в одной квартире с иностранцами. Поэтому я позвонила Фуреру и сказала, что мне нужно с ним поговорить, не откладывая; он пригласил меня прийти вечером. Дверь мне открыла все та же бойкая девчонка из Горловки. Я застала хозяина в кабинете за письменным столом. Целью моего визита было объяснить ему, что Бабелю, в связи с общей сложившейся тогда ситуацией (шли судебные процессы над «врагами народа»), неудобно жить вместе с иностранцами и что ему нужна отдельная квартира. Бабель, наверное, высмеял бы мои соображения, если бы был дома. Однако Фурер во всем со мной согласился и обещал о квартире подумать. Я обратила внимание, что ящики его письменного стола были выдвинуты и что он, слушая меня, извлекал письма и какие-то бумаги из ящиков и рвал их на мелкие клочки. На столе был уже целый ворох изорванной бумаги. Меня не очень удивила эта операция, я решила, что он просто наводит порядок в своем письменном столе.

Но вскоре получила от Бабеля письмо из Одессы, в котором он писал: «Сегодня узнал о смерти Ф. Как ужасно!» Почему-то я долго ломала себе голову: кто из наших знакомых

имеет имя или фамилию на букву «Ф» — и никого не нашла. Я и не подумала о Фурере, так как никак не могла заподозрить в неблагополучии стоящего у власти, и так близко к благополучному Кагановичу человека, а искала это имя (или фамилию) совсем в других кругах наших знакомых.

Когда же весть о смерти Фурера дошла и до меня, я поняла, что разговаривала с ним в последний раз накануне его самоубийства. Это было в субботу, а в воскресенье он уехал на дачу и там застрелился. От Бабеля я позже узнала, что Сталин был очень раздосадован этим и произнес: «Мальчишка! Застрелился и ничего не сказал». Человек слишком молодой, чтобы принадлежать в прошлом к какой-либо оппозиции, ничем не запятнанный, числившийся на отличном счету, понять причину угрожавшего ему ареста было просто немыслимо. А я тогда все же искала причину, наивно полагая, что без нее человека арестовать нельзя.

Но в январе 1934 года, когда мы с Бабелем уезжали из Горловки, веселый и полный надежд Фурер провожал нас на вокзал...

На Николо-Воробинском нас встретил Штайнер, очевидно, уже подозревавший, что «джентльменское соглашение» с Бабелем (никаких женщин в доме) грозит нарушиться. Мы же решили, что надо подготовить его к этому постепенно, и поэтому через несколько дней сняли для меня комнату на 3-й Тверской-Ямской к трехкомнатной квартире одного инженера. Кроме супругов, в этой квартире жила домработница Устя, веселая, уже немолодая женщина. Она любила

порассказать о жизни своих хозяев, и тогда Бабеля нельзя было от нее увести. Особенно веселил его обычный ответ Усти на мой вопрос по телефону: «Как дома дела?» — «Встренем — поговорим».

Раздельная жизнь наша продолжалась несколько месяцев. Штайнер сам предложил Бабелю, чтобы я переехала на Николо-Воробинский, и уступил мне одну из своих двух верхних комнат, считая ее более для меня удобной, чем вторая комната Бабеля. Очень скоро после этого вторую комнату Бабель отдал соседу из другой половины дома. Дверь из нее была заложена кирпичом, и наверху остались три комнаты.

Рабочая комната Бабеля служила ему и спальней; она была угловой, с большими окнами. Обстановка этой комнаты состояла из кровати, замененной впоследствии тахтой, платяного шкафа, рабочего стола, возле которого стоял диванчик с полужестким сиденьем, двух стульев, маленького столика с выдвижным ящиком и книжных полок. Полки были заказаны Бабелем высотой до подоконника и во всю длину стены, на них устанавливались нужные ему и любимые им книги, а наверху он обычно раскладывал бумажные листки с планами рассказов, разными записями и набросками. Эти листки, продолговатые, шириной 10 и длиной 15–16 сантиметров, он нарезал сам и на них все записывал. Работал он или сидя на диване, часто поджав под себя ноги, или прохаживаясь по комнате. Он ходил из угла в угол с суровой ниткой или тонкой веревочкой в руках, которую все время то наматывал на пальцы, то разматывал. Время от времени

он подходил к столу или полке и что-нибудь записывал на одном из листков. Потом хождение и обдумывание возобновлялось. Иногда он выходил за пределы своей комнаты; а то зайдет ко мне, постоит немного, не переставая наматывать веревочку, помолчит и уйдет опять к себе. Однажды в руках у Бабеля появились откуда-то добытые им настоящие четки, и он перебирал их, работая; но дня через три они исчезли, и он снова стал наматывать на пальцы веревочку или суровую нить. Сидеть с поджатыми под себя ногами он мог часами; мне казалось, что это зависит от телосложения.

Бабель никогда не имел пишущей машинки и не умел на ней печатать. Писал он пером с чернилами, а позднее ручкой, которая заполнялась чернилами и могла служить долго, почему и называлась «вечное перо». Вечной она, конечно, не была, ее надо было наполнять чернилами каждый раз, когда она переставала писать. Свои рукописи Бабель отдавал печатать машинистке, и какое-то время это делала Татьяна Осиповна Стах, пока она жила под Москвой, а работала в Москве.

Рукописи Бабеля хранились в нижнем выдвижном ящике платяного шкафа, и только дневники и записные книжки находились в металлическом, довольно тяжелом ящичке с замком.

Относительно своих рукописей Бабель запугал меня с самого начала, как только я поселилась в его доме. Он сказал мне, что я не должна читать написанное им начерно и что он сам мне прочтет, когда это будет готово. И я никогда не нарушала этот запрет. Сейчас я даже жалею об этом. Но проницательность Бабеля была такова, что мне казалось — он ви-

дит все насквозь. Он сам признавался мне, как Горький, смеясь, сказал как-то:

— Вы — настоящий соглядатай. Вас в дом пускать страшно.

И я, даже когда Бабеля не было дома, побаивалась его проницательных глаз.

К тому времени я уже поступила на работу в Метропроект, занимавшийся тогда проектированием первой очереди Московского метрополитена.

Бабель относился к моей работе очень уважительно и притом с любопытством. Строительство метрополитена в Москве шло очень быстро, проектировщиков торопили, и случалось, что я брала расчеты конструкций домой, чтобы дома закончить их или проверить. У меня в комнате Бабель обычно молча перелистывал папку с расчетами, а то утаскивал ее к себе в комнату и если у него сидел кто-нибудь из кинорежиссеров, то показывал ему и хвастался: «Она у нас математик, — услышала я однажды. — Вы только посмотрите, как все сложно, это вам не сценарии писать...»

Составление же чертежей, что мне тоже иногда приходилось делать дома, казалось Бабелю чем-то непостижимым.

Но непостижимым было тогда для меня все, что умел и знал он.

До знакомства с Бабелем я читала много, но без разбору, что попадется под руку. Заметив это, он сказал:

— Это никуда не годится, у вас не хватит времени прочитать стоящие книги. Есть примерно сто книг, которые каждый образованный человек должен прочесть обязательно. Я как-нибудь составлю вам список этих книг.

И через несколько дней он принес мне этот список. В него вошли древние (греческие и римские) авторы — Гомер, Геродот, Лукреций, Светоний, а также все лучшее из более поздней западноевропейской литературы, начиная с Эразма Роттердамского, Свифта, Рабле, Сервантеса и Костера, вплоть до таких писателей XIX века, как Стендаль, Мериме, Флобер.

В этот список не входили произведения русских классиков и современников, так как с ними я была хорошо знакома, и Бабель это знал.

Однажды Бабель принес мне два толстых тома Фабра «Инстинкт и нравы насекомых».

— Я купил это для вас в букинистическом магазине, — сказал он. — И хотя в список я эту книгу не включил, прочитать ее необходимо. Вы прочтете с удовольствием.

И действительно, написана она так живо и занимательно, что читалась как детективный роман.

У Бабеля было постоянное желание мне что-то показать, с кем-то меня познакомить. Он говорил: — Это Вам будет интересно, занятно, полезно.

Зная, что я читала книги на немецком языке, Бабель заставил меня изучить классическую немецкую литературу, для чего нанял преподавательницу. С ней я прочла многие из произведений Лессинга, Шиллера, Гете, Гейне и выучила десятки стихотворений наизусть.

В прозе Гейне встречалось много французских слов, и Бабель решил, что мне надо изучить и французский язык. Договорился с преподавательницей из Института иностранных

языков, и занятия начались. Эти уроки мне очень нравились, но, к сожалению, продолжались недолго и прекратились весной 1939 года.

При этом Бабель не хотел, чтобы я лишилась каких-нибудь удовольствий, свойственных молодости. Искал мне компаньонов для катания на коньках, нашел группу лыжников, с которыми я уезжала в воскресенье на дачу под Москвой, чтобы ходить на лыжах в лесу. Иногда спрашивал тех, кто к нему приходил — танцуют ли они — и просил: «Потанцуйте с Антониной Николаевной, она очень любит танцевать». Сам заводил нам патефон и с удовольствием смотрел, как мы танцуем.

Летом 1934 года и в последующие годы мне часто приходилось бывать с Бабелем на бегах, но я никогда не видела, чтобы он играл. У него был чисто спортивный интерес к лошадям.

Он бывал на тренировках и в конюшнях гораздо чаще, чем на самих бегах. Скачками он интересовался меньше. Но люди, встречавшиеся на бегах, азартно играющие, и разговоры их между собой очень его интересовали. На ипподроме он жадно ко всему прислушивался, внимательно присматривался и часто тащил меня из ложи куда-то наверх, где толпились игроки наиболее азартные, складывавшиеся по нескольку человек, чтобы купить один, но, как им казалось, беспроигрышный билет.

Впоследствии по одной домашней примете я научилась безошибочно узнавать, что Бабель уехал к лошадям: в эти дни из сахарницы исчезал весь сахар.

Кроме лошадей, Бабель с детства любил голубей. Он был знаком со многими московскими голубятниками и с большим удовольствием с ними общался. Часто он ходил к ним один, когда я была на работе, но раза три брал меня с собой.

Мы поднимались к голубям на чердаки домов или залезали по крутой лестнице в специально построенные голубятни. Хозяева голубей встречали Бабеля радушно, тут же выпускали голубей в небо, и мы смотрели, как красиво кружатся они над домом, то белые, то вишневые, то обычной голубиной окраски, но всегда какие-то особенные, которых хозяин выводил путем скрещивания разных пород с хорошими летными качествами. При этом было много разговоров об их кормлении, уходе за ними и наблюдениях, а также рассказов о всяких историях, связанных особенно с почтовыми голубями. Бабель с большим любопытством слушал голубятников, и когда мы уходили, выглядел вполне довольным этим общением.

Мне кажется, что к собакам Бабель был равнодушен, при мне у него не было собаки. Но когда собака Штайнера, доберман-пинчер по кличке Дези, однажды родила одного щенка от какого-то пса-дворняги, Бабель охотно возился с ним, назвав его Чуркин — по имени известного в былые времена разбойника Чуркина. Щенок, которым Штайнер совсем не интересовался, однажды куда-то исчез: наверное, Бабель подарил его кому-нибудь, а Дези отправили к Штайнеру в Вену, когда ему в 1937 году запретили возвращаться в СССР.

Театр Бабель посещал не очень часто, с большой осторожностью, но зато на «Мертвые души» в Художественный ходил каждый сезон.

Хохотал он во время представления «Мертвых душ» так, что мне стыдно было сидеть с ним рядом. Я не знаю другой пьесы, которую Бабель любил бы больше этой.

Когда Бабель возвратился после читки своей пьесы «Мария» в Художественном театре, то рассказывал мне, что актрисам очень не терпелось узнать, что же это за главная героиня и кому будет поручена ее роль.

Оказалось, что главная героиня отсутствует. Бабель считал, что пьеса ему не удалась, но, впрочем, сам он ко всем своим произведениям относился критически.

Ни оперу, ни оперетту Бабель не любил. Пение же, особенно камерное, слушал с удовольствием и однажды пришел откуда-то восхищенный исполнением Кето Джапаридзе.

— Эта женщина, — рассказывал он, — была женой какого-то крупного работника в Грузии и пела только дома, для гостей. Но мужа арестовали. И она осталась без всяких средств к существованию. Тогда кто-то из друзей посоветовал ей петь. Она выступила сначала в клубе, и успех имела невероятный. После этого сделалась певицей. Поет она с чувством необыкновенным.

А когда Кето Джапаридзе давала концерт в Москве, он повел меня ее послушать.

Хорошие музыкальные концерты Бабель никогда не пропускал, и очень любил концерты фортепианной игры замечательной пианистки Юдиной.

Однажды я возвратилась из театра и застала у Бабеля гостей, то были журналисты, среди которых знаком мне был только В. А. Регинин. Я увидела Бабеля бледного от усталости, прижатого к стене журналистами, о чем-то его выспрашивавшими. Я набралась храбрости, подошла к ним и сказала:

— Разве вы не знаете, что Бабель не любит литературных разговоров?!

Они отошли, а Регинин сказал:

— Ну, поговорим в другой раз.

И все ушли. Тогда Бабель сказал мне:

— Мойте ноги, выпью ванну воды...

А в театре, откуда я возвратилась в тот вечер, показывали пьесу «Волки и овцы»; в перерыве между действиями присутствовавший на спектакле Авель Сафронович Енукидзе объявил зрителям только что полученную им новость — в СССР, прямо с Лейпцигского процесса, прилетел Димитров.

Нелюбовь Бабеля к литературным интервью граничила с нетерпимостью. От дочери М. Я. Макотинского, Валентины Михайловны, мне известен, например, такой эпизод: когда В. М. Инбер попыталась однажды (в 1927 или 1928 году) расспросить Бабеля и узнать, каковы его ближайшие литературные планы, он ответил:

— Собираюсь купить козу...

Киноэкран привлекал Бабеля всегда.

Фильм «Чапаев» мы с ним ходили смотреть на Таганку. Он вышел из кинотеатра потрясенный и сказал:

— Замечательный фильм! Впрочем, я — замечательный зритель: мне постановщики должны были бы платить день-

ги как зрителю. Позже я могу разобраться — хорошо или плохо сыграно и как фильм поставлен, но пока смотрю — переживаю и ничего не замечаю. Такому зрителю нет цены.

Летом 1935 года в Москву впервые приехал из Парижа известный французский писатель Андре Мальро. Это был довольно высокий и очень изящный человек, слегка сутулившийся, с тонким лицом, на котором выделялись большие, всегда серьезные глаза. Нервный тик то и дело проходил по его лицу. У него были темно-русые, гладко зачесанные назад волосы, одна прядь их часто падала на лоб. Движением руки или головы он отбрасывал ее назад.

Втроем — Мальро, Бабель и я — мы смотрели физкультурный парад на Красной площади, с трибуны для иностранных гостей. Недалеко от нас стоял Герберт Уэллс. Со мной был фотоаппарат, и захотелось снять Уэллса. Подвигаясь поближе к нему и смотря в аппарат, я нечаянно наступила на ногу японскому послу и смутилась. Бабель, заметив это и стремясь сгладить мою неловкость, с улыбкой спросил его:

— Скажите, правда ли, что у вас в Японии размножаются почкованием?

Тот засмеялся, что-то шутливо ответил, и все было замято. Мне же Бабель тихо сказал:

— Из-за вас у нас могли быть неприятности с японским правительством. Надо быть осторожнее, когда находишься среди послов.

Снимать я больше не пыталась. Трибуна для иностранных гостей находилась близко от мавзолея, и стоявшим на

ней был хорошо виден Сталин в профиль. После парада мы направились в ресторан «Националь» обедать. За обедом Мальро все обращался ко мне с вопросами о том, какое место занимает любовь в жизни советских женщин, как они переживают измену, как относятся к девственности? Я отвечала, как могла. Бабель переводил мои ответы и, наверно, придавал им более остроумную форму. Во всяком случае, Мальро с самым серьезным видом кивал головой.

В тот же приезд Мальро сказал, что «писатель — это не профессия». Его удивляло, что в нашей стране так много писателей, которые ничем, кроме литературы, не занимаются, живут в обособленных домах, имеют дачи, дома отдыха, свои санатории. Об этом образе жизни писателей Бабель как-то раз сказал:

— Раньше писатель жил на кривой улочке, рядом с холодным сапожником. Напротив обитала толстуха-прачка, орущая во дворе мужским голосом на своих многочисленных детей. А у нас что?

Летом 1935 года в Париже состоялся Конгресс защиты культуры и мира. От Советского Союза туда была послана делегация писателей, к ней присоединился находившийся тогда во Франции Илья Эренбург. Когда эта делегация прибыла в Париж, французские писатели заволновались: где Бабель? Где Пастернак? В Москву была направлена просьба, чтобы эти двое вошли в состав делегации. Сталин распорядился отправить Бабеля и Пастернака в Париж. Оформление паспортов, которое длилось обычно месяцами, было совершено за два часа. Это время в ожидании паспорта мы с Бабе-

лем просидели в скверике перед зданием МИДа на Кузнецком мосту.

Возвратившись из Парижа, Бабель рассказывал, что всю дорогу туда Пастернак мучил его жалобами: «Я болен, я не хотел ехать, я не верю, что вопросы мира и культуры можно решать на конгрессах... Не хочу ехать, я болен, я не могу!» В Германии каким-то корреспондентам он сказал, что «Россию может спасти только Бог».

«Я замучился с ним, — говорил Бабель, — а когда приехали в Париж, собрались втроем: я, Эренбург и Пастернак — в кафе, чтобы сочинить Борису Леонидовичу хоть какую-нибудь речь, потому что он был вял и беспрестанно твердил: "Я болен, я не хотел ехать". Мы с Эренбургом что-то для него написали и уговорили его выступить. В зале было полно народу, на верхних ярусах толпилась молодежь. Официальная, подготовленная в Москве речь Всеволода Иванова была в основном о том, как хорошо живут писатели в Советском Союзе, как много они зарабатывают, какие имеют квартиры, дачи и т. п. Это произвело на французов очень плохое впечатление. Именно об этом нельзя было им говорить.

Мне было так жалко беднягу Иванова... А когда вышел Пастернак, растерянно и по-детски оглядел всех и неожиданно сказал: "Поэзия... ее ищут повсюду... а находят в траве..." — раздались такие аплодисменты, такая буря восторга и такие крики, что я сразу понял: все в порядке, он может ничего больше не говорить...»

О своей речи Бабель мне не рассказывал, но впоследствии от И. Г. Эренбурга я узнала, что Бабель произнес ее на

чистейшем французском языке, употребляя много остроумных выражений, и что аплодировали ему бешено и кричали, особенно молодежь. Бабель написал матери и сестре из Парижа 27 июня: «Конгресс закончился, собственно, вчера. Моя речь, вернее, импровизация (сказанная к тому же в ужасных условиях, чуть ли не в час ночи), имела у французов успех. Короткое время положено мне для Парижа, буду рыскать, как волк, в поисках материала — хочу привести в систему мои знания о ville lumiere и, м<ожет> б<ыть>, опубликовать их».

Однажды я попросила Эренбурга, уезжавшего во Францию, узнать, не сохранилась ли стенограмма речи Бабеля на конгрессе. Он говорил об этом с Мальро, одним из организаторов конгресса, но оказалось, что все материалы погибли во время оккупации Парижа немцами.

В апреле 1936 года Бабель ездил к Алексею Максимовичу Горькому в Тессели вместе с Андре Мальро, его братом Ролланом и Михаилом Кольцовым. Возвратившись, он рассказал мне, что Мальро обратился к Горькому с предложением о создании «Энциклопедии XX столетия», которая имела бы такое же значение для духовного развития человечества, как «Энциклопедия XVIII столетия», основателем и главным редактором которой был Дени Дидро. Такая энциклопедия должна была, по плану Мальро, стать основным литературным, историческим и философским оружием в борьбе за гуманизм против фашизма. Предполагалось, что в составлении такого грандиозного труда примут участие ученые и писатели почти всех стран мира и что энциклопедия будет

издана одновременно на четырех языках — русском, французском, английском и испанском. А. М. Горький, по словам Бабеля, одобрил идею создания такой энциклопедии и в качестве редактора от Советского Союза предложил Н. И. Бухарина. На это Мальро ответил, что не знает другой личности с кругозором подобной широты.

Однако полное взаимопонимание между Горьким и Мальро обнаружилось только в том, что энциклопедию надо создавать. По всем остальным вопросам, которые задавал Мальро Горькому и которые касались свободы искусства и личности, а также оценки произведений таких писателей, как Достоевский и Джойс, Горький и Мальро оказались почти на противоположных позициях.

Переводчиками Мальро в этих беседах были Михаил Кольцов и Бабель. Бабель жаловался мне, что эта миссия была трудной, приходилось быть и переводчиком, и дипломатом в одно и то же время. «Горькому нелегко дались эти беседы, — говорил Бабель, — а Мальро, уезжая из Тессели, был мрачен: ответы Горького не удовлетворили его...»

В этот второй свой приезд в СССР Андре Мальро несколько раз бывал у нас дома. Бабель любил подшутить над ним и называл его по-русски то Андрюшкой, то Андрюхой, а то подвинет к нему какое-нибудь блюдо, уговаривая: «Лопай, Андрюшка!» Тот же, не понимая по-русски, только улыбался и продолжал говорить. Как человек нервный и очень темпераментный, он говорил всегда быстро и взволнованно. Его интересовало все: и отношение у нас к поэту Пастернаку, и критика музыки Шостаковича,

и обсуждение на писательских собраниях вопросов о формализме и реализме.

Как-то у нас дома я задала Мальро банальный вопрос: как понравилась ему Москва? В то время в Москве недавно открыли первую линию метро и всем иностранцам непременно ее показывали. Мальро ответил на мой вопрос кратко: «Un peu trop de metro» (многовато метро).

Позднее Бабель рассказывал мне, что во время испанских событий Мальро был командиром эскадрильи самолетов в Интернациональной бригаде; кроме того, он летал в Нью-Йорк, где пламенными речами перед американцами собрал миллион долларов в пользу борющейся Испании.

В один из приездов в Москву, наверное, в 1936 году, Андре Мальро взял с собой своего младшего брата Роллана. Бабель очень смешно рассказывал мне, что, приехав в Советский Союз, Роллан сказал брату: «Если ты думаешь, что я могу прожить без женщины двое суток, то ты ошибаешься». Он познакомился с какой-то русской девушкой, пригласил ее в ресторан и попытался обнять ее уже в такси, но тут же получил по физиономии. Девушка приказала шоферу остановиться и убежала. Ошарашенный Роллан пришел к Бабелю со словами: «Не понимаю, откуда в вашей стране повышается деторождаемость, как пишут в ваших газетах». Бабель перевел мне эти слова Роллана, и мы оба ликовали, что наша девушка дала такой отпор этому французу.

Роллан часто приходил к нам, и Бабель приводил его ко мне в комнату и говорил: «Передаю вам этого идиота, кото-

рый до смерти мне надоел. Займите его чем-нибудь, ради Бога». При этом Бабель мило улыбался Роллану. Я должна была сдерживать смех. В то время я начала изучать французский язык, но самостоятельно; учебник почему-то достать было трудно; мне попался учебник A L'Academie Militaire (для Военной Академии), и я его купила. В попытках разговора с Ролланом оказалось, что я не знаю, как по-французски цветы и духи, но зато знаю — как пушки и пулеметы, и знаю много других военных слов. Бабель очень смеялся, когда Роллан ему об этом рассказал.

Иногда Бабель отправлял нас с Ролланом в какой-нибудь театр. Помучившись в попытке разговаривать по-французски, мы вдруг установили, что можно кое-как объясняться по-немецки. Оказалось, что Роллан окончил в Германии какое-то учебное заведение по кинематографии и хотел работать по этой специальности у нас в СССР. Впоследствии его устроили на Мосфильм, где снималась картина под названием «Зори Парижа». Жил он тогда в гостинице или на частной квартире и у нас бывал реже. Русским языком он овладел довольно быстро. Однажды зимой пришел к нам в теплых рукавицах, и когда моя мама, гостившая у нас, спросила его: «Вам тепло?», Роллан вдруг сказал: «Мне не холодно и не жарко». Это было достижение. Дальнейшая судьба Роллана мне точно не известна, но кто-то из приехавших из Парижа как будто рассказывал, что Роллан был расстрелян как немецкий шпион. Я думаю, что это было уже после войны 1941–1945 годов.

Летом 1935 года Бабель отправился в поездку по Киевщине для сбора материалов в журнал «СССР на стройке». Готовился специальный тематический номер по свекле. У меня как раз предстоял отпуск.

Мы приехали в Киев, остановились в гостинице «Континенталь». Бабель встретился там с П. П. Постышевым, который выделил ему для поездки две машины и сопровождающих. Бабель сказал мне, что Постышев на Украине пользуется большой популярностью, что он — добрый человек, любит детей и делает для них много хорошего.

Мы направились в те колхозы, где выращивали свеклу. С нами из Москвы ехал фотограф Г. Петрусов, главное действующее лицо, так как журнал «СССР на стройке» обычно состоял из одних фотоснимков с пояснительным текстом; Бабель должен был участвовать в общей композиции номера и написать к фотоснимкам «слова».

Останавливались мы в колхозах. Бабель с Петрусовым и представителями ЦК Украины заходили в колхозные правления и вели там обстоятельные беседы о том, что, где и как снимать.

Однажды нас привезли на ночлег в какой-то колхоз, который был так богат, что имел в сосновом лесу собственный санаторий. Лес был саженный рядами на белом песке — в нем утопали ноги. Бабель рассказал мне, что этот колхоз имел очень мало пахотной земли, и его председатель придумал выращивать на этой земле только семена овощей и злаков; теперь колхоз поставляет семена всей области, а взамен получает хлеб и все, что ему нужно. Мы переночевали в этом

пустом санатории, пустом потому, что он летом служил для отдыха детей, а зимой там отдыхали взрослые; но дети уже пошли в школу, а взрослые еще не управились с уборкой.

Утром мы пошли завтракать в колхозную столовую. Село состояло из белых хат, утопающих в зелени садов, огороженных плетнями. Возле каждого дома — широкая скамья. Встретили женщину в украинском наряде, очень чистом. Она бежала домой с поля покормить ребенка. Бабель с нею немного поговорил, пока нам было по пути, и она рассказала, что работать в колхозе много легче и веселее, чем раньше, когда хозяйство было свое.

Столовая была расположена в центре колхозного двора, сплошь забитого гусями, утками и курами.

На завтрак нам дали по тарелке жирного супа с гусятиной и картошкой, затем жареного гуся, тоже с картошкой, и потом арбуз. На обед и ужин было то же самое, так что на следующий день мы больше уже не могли смотреть даже на живых гусей.

На следующий день утром, прихватив с собой чай и ложечку для заварки, которую Бабель всегда возил с собой, он отправился на кухню, и, после переговоров с поварихой, мы наконец получили крепкий чай и набросились на него с жадностью.

Мы оставались в этом колхозе три дня. Бабель изучал хозяйство, на этот раз не имеющее отношения к свекле. Присутствовали мы также на празднике открытия в колхозе школы-десятилетки. Праздник происходил в большом зале школы на втором этаже. Был накрыт длинный стол, приглашены все

учителя, приехали гости из Киева. Произносились речи, где говорилось о том, что в школе преподают большей частью свои, выучившиеся в Киеве или Москве и возвратившиеся в село юноши и девушки. Их заставляли показаться; они вставали и смущались.

На другое утро, покинув этот колхоз, мы проезжали полями, шла уборка свеклы: она была навалена всюду целыми горами. Уборка и обрезка ее ботвы производились вручную. Женщины острыми ножами ловко отсекали ботву и корешки.

Обратный путь в Киев пролегал роскошным лесом. Остановились в одном бывшем помещичьем имении на берегу прелестной реки Рось, текущей по крупным валунам. Поместье было превращено в санаторий для железнодорожников: нам показали дом, парк и лиловую горку — большой холм, сплошь усаженный кустами сирени, с тропинками и скамьями между кустов.

В Киеве Бабель встречался со старыми своими друзьями — Шмидтом, Туровским и Якиром. В сентябре этого года там проводились военные маневры, и Якир пригласил на них Бабеля. Маневры продолжались несколько дней. Бабель возвращался усталый и говорил, что было «внушительно и интересно». Особенное впечатление произвели на него маневры танков и воздушный десант с огромным числом участвующих в нем парашютистов. И еще запомнился мне один рассказ Бабеля, как на маневрах провинился чем-то командир полка Зюка. Якир вызвал его и отчитал, а тот обиделся.

— Товарищ начарм, — сказал он, — поищите себе другого комполка за триста рублей в месяц, — откозырял и ушел.

Якир и всеобщий любимец веселый Зюка были большими друзьями.

После маневров мы были приглашены к командиру танковой дивизии Дмитрию Аркадьевичу Шмидту, в его лагерь на Днепре. Утром за нами в гостиницу «Континенталь» заехала военная машина, похожая на пикап. Дом, где жил Шмидт и его комсостав, был расположен в лесу. Там мы познакомились с его молодой женой Шурочкой, красивой шатенкой, она тогда была беременна. Нас угощали солдатской кашей из пшена, сваренной на костре при нас и чуть подгорелой. Для полной иллюзии ели из солдатских котелков, чай пили из солдатских кружек.

Днем поехали на рыбную ловлю, до реки Днепр доехали на машине, хотя это было совсем близко от лагеря; потом на лодке плыли к какому-то омуту. Настоящей рыбной ловли не было, а просто взорвали несколько динамитных шашек, и мы с лодки увидели всплывающих кверху брюшками рыб, среди которых одна была очень большая. Это был сом. Собрали рыбу, какая была покрупнее, мелочь всю оставили. Я с детства любила рыбную ловлю удочками и была возмущена таким варварским способом истребления рыбы. Бабель тоже нахмурился. Вечером наш сом ожил и укусил повариху за палец, когда она взяла его в руки. На ужин была подана сковорода жареной рыбы и блюдо с роскошными сливами, черными, спелыми, сладкими. Сливу ели, в основном, мы с Шурочкой. После ужина мы с Бабелем уехали в Киев.

В Киеве, проходя со мной по бульвару Шевченко, Бабель показал мне дом, где была квартира Макотинских, служившая ему пристанищем в 1929–1930 годах.

О Михаиле Яковлевиче Макотинском он рассказывал: при белых в Одессе были расклеены объявления, что за голову большевика Макотинского будет выплачено 50 тысяч золотых рублей. Чтобы не попасть в тюрьму, он симулировал сумасшествие, и врачебная экспертиза Одесской психиатрической больницы не могла распознать обмана.

— Он удивительный человек, не человек, а поэма! Находясь в рядах партии, он увлекся программой «рабочей оппозиции», за что впоследствии и пострадал.

— Когда его сняли с работы, — говорил Бабель, — он нанялся дворником на ту улицу, где было его учреждение. Его бывшие сотрудники шли на работу, а он, их бывший начальник, в дворницком переднике подметал тротуар.

В ноябре 1932 года, когда Бабель был за границей, Макотинского арестовали, и больше они не встретились. Его жена Эстер Григорьевна, после ареста и дочери в 1938 году, стала жить у нас. Приглашая ее, Бабель сказал:

— Мне будет спокойнее, если она будет жить у нас.

Из Киева мы отправились поездом в Одессу. Вещи оставили в камере хранения и поехали в Аркадию искать жилье. Сняли две комнаты, расположенные в разных уровнях с двумя выходами. Участок был очень большой, совершенно голый, без деревьев и кустарника; его ограничивал деревянный забор по самому краю обрыва к морю, и узкая дере-

вянная лесенка со множеством ступеней вела прямо на пляж. Завтраком кормила нас хозяйка, муж которой был рыбаком, а обедать мы ходили в город, обычно в гостиницу «Красная», а иногда в «Лондонскую».

В Одессе в то лето шли съемки нескольких кинокартин. В гостинице «Красная» на Пушкинской улице разместилось много московских актеров и несколько режиссеров. В гостинице «Лондонская» на нижнем этаже в узкой комнате рядом с главным входом жил Юрий Карлович Олеша.

После завтрака Бабель обычно работал, расхаживая по комнате или по обширному участку вдоль моря. Как-то я спросила его, о чем он все время думает?

— Хочу сказать обо всем этом, — и он обвел рукой вокруг, — минимальным количеством слов, да ничего не выходит; иногда же сочиняю в уме целые истории...

На столе в комнате лежали разложенные Бабелем бумажки, и он время от времени что-то на них записывал. Но, даже проходя мимо стола, я на них не смотрела, так строг был бабелевский запрет.

Иногда Бабель отправлялся с хозяином-рыбаком в море ловить бычков. Происходило это так рано, что я и не просыпалась, когда Бабель уходил из дому, а будил он меня завтракать, когда они уже возвращались. В те дни на завтрак бывали жаренные на постном масле бычки. Обедать мы уходили в город, когда слегка спадала жара. Тогда еще можно было получить в Одессе такие местные великолепные и любимые Бабелем блюда, как баклажанная икра со льда, баклажаны по-гречески и фаршированные перцы и помидоры.

После обеда мы гуляли вдвоем с Бабелем или большой компанией, или заходили за Олешей и отправлялись на Приморский бульвар. Иногда мы забирались в очень отдаленные уголки города, и Бабель показывал мне дома, где жили его знакомые или родственники и где он бывал.

В Одессе в 1935 году Бабель водил меня на кинофабрику посмотреть его фильм «Беня Крик», снятый режиссером В. Вильнером. Картину эту он считал неудавшейся.

Бабель любил Одессу и хотел там со временем поселиться. Он и писатель Л. И. Славин взяли рядом по участку земли где-то за 16-й станцией. К осени 1935 года на участке Бабеля был проведен только водопровод; дом так и не был построен. Место было голое, на крутом берегу моря. Спуск к воде вел по тропинке в глинистом грунте. Аромат в тех местах какой-то особенный; кругом — море и степь...

Бабель часто бывал у А. М. Горького, и тогда, когда жил в Молоденове, и когда приходилось ездить туда из Москвы. Но он каждый раз незаметно исчезал, если в доме собиралось большое общество и приезжали «высокие» гости. Один раз из-за этого он вернулся в Москву очень рано, я была дома и открыла на звонок дверь. Передо мной стоял Бабель с двумя горшками цветущих цинерарий в руках.

— Мяса не привез, цветы привез, — объявил он.

Возвращаясь от Горького из Горок, Бабель иногда передавал мне слышанные от Алексея Максимовича его воспоминания о прошлом, рассказанные за обеденным или чайным столом.

Старый быт дореволюционного Нижнего и Нижегородского Поволжья владел памятью Горького, и она была неистощима. То вспоминал он об одном купце, который предложил красивой губернаторше раздеться перед ним донага за сто тысяч. «И ведь разделась, каналья!» — восклицал Горький. То рассказывал, что в Нижнем была акушерка по фамилии Нехочет. «Так на вывеске и было написано: «Нехочет». Ну, что ты с ней поделаешь — не хочет, и все тут», — посмеялся Горький. Вспоминал также об одном селе, где жители изготовляли только казацкие нагайки; и там же, в этом селении, услышал он «крамольную» песню и приводил ее слова с особыми ударениями, более обычного налегая на «о»:

Как на улице новой
Стоит столик дубовой,
Стоит столик дубовой,
Сидит писарь молодой.
Пишет писарь полсела
В государевы дела,
Государевы дела —
Они правы завсегда...

Все это рассказывалось в узком кругу лиц, близких или же просто приятных Горькому, когда он неизменно бывал веселее. В другой раз, приехав из Горок, Бабель с возмущением рассказал:

— Когда ужинали, вдруг вошел Ягода, сел за стол, осмотрел его и произнес: «Зачем вы эту русскую дрянь пьете? Принести

сюда французские вина!» Я взглянул на Горького, тот только забарабанил по столу пальцами и ничего не сказал.

Весной 1934 года совершенно неожиданно заболел и умер сын Горького Максим. По этому поводу Бабель, незадолго перед тем похоронивший своего друга Эдуарда Багрицкого, писал 18 мая своей матери и сестре: «Главные прогулки попрежнему на кладбище или в крематорий. Вчера хоронили Максима Пешкова. Чудовищная смерть. Он чувствовал себя неважно, несмотря на это, выкупался в Москве-реке, молниеносное воспаление легких. Старик еле двигался на кладбище. Нельзя было смотреть, так разрывалось сердце. С Максимом мы очень подружились в Италии, сделали вместе на автомобиле много тысяч километров, провели много вечеров за бутылкой Кианти...»

Иногда Бабель по нескольку дней жил в доме Алексея Максимовича в Горках. Это бывало тогда, когда он выполнял по поручению Горького какую-нибудь работу. В такие дни общение Бабеля с ним было наиболее тесным и разговоры касались главным образом литературы. Мне запомнилось одно признание Горького, переданное мне Бабелем:

— Сегодня старик вдруг разговорился со мной и сказал: «Написал, старый дурак, одну по-настоящему стоящую вещь — “Рассказ о безответной любви”, а никто и не заметил».

Об этом периоде 18 июля Бабель писал своим близким: «Живу на прежнем месте — у А. М. Как говорят в Одессе — тысяча и одна ночь. Воспоминаний хватит на всю жизнь. Продолжаю подыскивать укромное место под Москвой. Кое-

что намечалось; в течение ближайшей недели на чем-нибудь остановлюсь. По поручению А. М. занимался все время редакционной работой и забросил сценарий». В этом письме речь идет о сценарии по поэме Багрицкого «Дума про Опанаса», который Бабель тогда начал писать.

Как-то, возвратившись от Горького, Бабель рассказал:

— Случайно задержался и остался наедине с Ягодой. Чтобы прервать наступившее тягостное молчание, я спросил его: «Генрих Григорьевич, скажите, как надо себя вести, если попадешь к вам в лапы?» Тот живо ответил: «Все отрицать, какие бы обвинения мы ни предъявляли, говорить “нет”, только “нет”, все отрицать — тогда мы бессильны».

Позже, когда уже при Ежове шли массовые аресты, вспоминая эти слова Ягоды, Бабель говорил:

— При Ягоде по сравнению с теперешним, наверное, было еще гуманное время.

Зиму и весну 1936 года Горький провел в Крыму на своей даче в Тессели. Возвратившись оттуда в середине мая, он, как известно, заболел гриппом, который быстро перешел в воспаление легких. Положение стало угрожающим.

Еще 17 июня Бабель писал своей матери: «Здоровье Горького по-прежнему неудовлетворительно, но он борется как лев — мы все время переходим от отчаяния к надежде. В последние дни доктора обнадеживают больше, чем раньше. Сегодня прилетает Андре Жид. Поеду его встречать!»

Как и многие друзья Горького, Бабель в эти дни испытывал мучительную тревогу и часто звонил на Малую Никитскую,

надеясь узнать что-либо утешительное. Надежды — увы! — не оправдались, и 18 июня наступил конец.

На другой день Бабель написал об этом матери:

«Великое горе по всей стране, а у меня особенно. Этот человек был для меня совестью, судьей, примером. Двадцать лет ничем не омраченной дружбы и любви связывают меня с ним. Теперь чтить его память — это значит жить и работать. И то и другое делать хорошо. Тело А. М. выставлено в колонном зале, неисчислимые толпы текут мимо гроба...»

Мне не раз приходилось слышать, что Бабель будто бы встречался у Горького со Сталиным, или же что он с Горьким ездил к Сталину в Кремль. Мне Бабель никогда об этом не говорил. А вот придумать беседу со Сталиным и весело рассказать о ней какому-нибудь доверчивому человеку — это Бабель мог. Так, видимо, родились легенды о том, как Сталин, беседуя с Бабелем, предложил написать о себе роман, а Бабель будто бы сказал: «Подумаю, Иосиф Виссарионович», или о том, как Горький в присутствии Сталина якобы заставил Бабеля, только что вернувшегося из Франции, рассказать о ней, как Бабель остроумно и весело рассказывал, а Сталин с безразличным выражением лица слушал и потом что-то произнес невпопад...

Бабель не понимал, зачем допускает Горький в свой дом вмешательство органов, и очень не одобрял всего, что делалось в этом доме в те годы. Когда умер сын Горького Максим, да еще разбился самолет его имени, Бабель говорил: «Несчастный старик, гибель сына он переживает тяжело».

Про Максима — что он небесталанный человек, но обстановка отца губила его.

Нелегко было переживать все это и Екатерине Павловне. Она любила Бабеля и говорила с ним откровенно: «Ну почему Алексей допускает все это, зачем ему это надо? Началось все с Марии Федоровны Андреевой. Этот Крючков (секретарь Горького) — это ставленник Марии Федоровны». Когда Бабель гостил у Горького на Капри, он присылал мне много снимков Италии, различных интересных памятников Рима, Флоренции и Венеции. А в одном из писем прислал две фотографии Алексея Максимовича, стоящего у костра в саду своего дома на Капри. На обеих фотографиях сбоку виднелся П. П. Крючков.

После смерти Горького Екатерина Павловна начала собирать материалы для архива. Бабель мне сказал: «У Вас есть фотографии Горького, снятые мною на Капри, Вы должны отдать их Екатерине Павловне». Я ответила: «Да, но на них изображен Крючков, видеть его будет для Е. П. неприятно». А тогда в Москве шли разговоры, что Крючков способствовал в смерти Максима, подговорив его в апреле-месяце выкупаться в Москве-реке, и причастен к смерти самого Горького. Но на это Бабель мне сказал: «Там другое к этому отношение». И забрал для Екатерины Павловны эти фотографии. И я поняла, что в доме Пешковых не верят в насильственную смерть ни Максима, ни Алексея Максимовича.

После смерти А. М. Горького мы с Бабелем часто бывали в Горках на его даче. Екатерина Павловна или Надежда Алексеевна приглашали нас, а также Соломона Михайловича

Михоэлса с женой, на праздничные дни в мае или в ноябре. Для гостей в доме было целое крыло с гостевыми комнатами, где можно было переночевать одну или иногда две ночи. В один из таких приездов в Горки Бабель повел меня на второй этаж, чтобы показать комнату Алексея Максимовича, где он работал и где умер. В просторной светлой комнате стоял очень большой простой стол в идеальном порядке, с хорошо заточенными карандашами всех цветов и ручками. Была ли пишущая машинка, не помню, мне кажется, на столе ее не было. Кровать узкая, застеленная пледом, и над кроватью картина, изображающая молодую девушку, умирающую от чахотки, с бледным и печальным лицом. Выражение лица было такое грустное и безнадежное, что у меня содрогнулось сердце, когда я на нее смотрела. Запомнила навсегда.

Сосед Бабеля по московской квартире Бруно Алоизович Штайнер, холостяк, отличавшийся необыкновенной аккуратностью, был предметом многих насмешек и выдумок Бабеля. Одна из них была придумана в ответ на мой вопрос, почему Штайнер не женат.

— В юности он, — рассказывал мне Бабель, — очень любил одну девушку. Родители держали ее в такой строгости, что никогда не оставляли наедине с молодым Штайнером. Но однажды, когда прошел уже год или два, как они были знакомы, случилось так, что молодые люди все же остались наедине. И, понимаете, когда Штайнер ее раздел, то оказалось, что у нее одна грудь нормальная, а другая — недоразвитая. При своем немецком педантизме Штайнер не мог вы-

нести такой асимметрии и убежал. Больше с этой девушкой он никогда не встречался. А так как он ее любил, то и не мог ни на ком жениться.

Педантизм Штайнера, его умение вести хозяйство и все, что надо, в доме исправлять и чинить — все это служило темой для веселых рассказов Бабеля. Меня он тоже не щадил. Узнав, что мой отец рано осиротел и был взят в дом священника, где воспитывался от 13 до 17 лет, он тотчас же переделал моего отца в попа и всем рассказывал, что женился на поповской дочке, что поп приезжает к нему в гости и они пьют из самовара чай. Паустовский долгое время был убежден, что это — правда. Однако мой отец умер в 1923 году, то есть задолго до того, как я познакомилась с Бабелем, и никогда не имел никакого отношения к церкви. Но Бабеля это не остановило. Ему нравилась сама ситуация — еврей и поп. А когда он меня с кем-нибудь знакомил, то любил представлять так: «Познакомьтесь, это — девушка, на которой я хотел бы жениться, но она не хочет», хотя я давно уже была его женой.

Бабель часто говорил, что он «самый веселый человек из членов Рабиса». Веселью он придавал большое значение. Поздравляя кого-нибудь с Новым годом, он мог написать: «Желаю вам веселья, как можно больше веселья, важнее ничего нет на свете...»

Жизнь наша в Москве протекала размеренно. Я рано утром уходила на работу, когда Бабель еще спал. Вставая же, он пил крепкий чай, который сам заваривал, сложно над ним колдуя... В доме был культ чая. «Первач» — первый ста-

кан заваренного чая — Бабель редко кому уступал. Обо мне не шла речь вообще: я была к чаю равнодушна и оценила его много позже. Но если приходил уж очень дорогой гость, Бабель мог уступить ему первый стакан со словами: «Обратите внимание: отдаю вам первач». Завтракал Бабель часов в двенадцать дня, а обедал — часов в пять-шесть вечера. К завтраку и обеду очень часто приглашались люди, с которыми Бабель хотел повидаться, но мне приходилось присутствовать при этом редко, только в выходные дни. Обычно я возвращалась с работы поздно — в Метропроекте, где я тогда работала, засиживалась, как правило, часов до восьми-девяти.

Из Метропроекта я часто звонила домой, чтобы узнать, все ли благополучно, особенно после рождения дочери. Я спрашивала: «Ну, как дома дела?» — на что Бабель мог ответить:

— Дома все хорошо, только ребенок ел один раз.

— Как так?!

— Один раз… с утра до вечера…

Или о нашей домашней работнице Шуре:

— Дома ничего особенного, Шура на кухне со своей подругой играет в футбол… Грудями перебрасываются.

Иногда Бабель сам звонил мне на работу, но подошедшему к телефону говорил, что «звонят из Кремля».

— Антонина Николаевна, вам звонят из Кремля, — передавали мне шепотом.

Настораживалась вся комната. А Бабель весело спрашивал:

— Что, перепугались?

Бабель не имел обыкновения говорить мне: «Останьтесь дома» или «Не уходите». Обычно он выражался иначе:

— Вы куда-нибудь собираетесь пойти вечером?

— Да.

— Жаль, — сказал он однажды. — Видите ли, я заметил, что нравитесь только хорошим людям, и я по вас, как по лакмусовой бумажке, проверяю людей. Мне очень важно было проверить, хороший ли человек Самуил Яковлевич Маршак. Он сегодня придет, и я думал вас с ним познакомить.

Это была чистейшей воды хитрость, но я, конечно, осталась дома. Помню, что Маршак в тот вечер не пришел, и проверить, хороший ли он человек, Бабелю не удалось.

Иногда он говорил:

— Жалко, что вы уходите, а я думал, что мы с вами устроим развернутый чай...

«Развернутым» у Бабеля назывался чай с большим разнообразием сладостей, особенно восточных. Против такого предложения я никогда не могла устоять. Бабель сам заваривал чай, и мы садились за стол.

— Настоящего чаепития теперь не получается, — говорил Бабель. — Раньше пили чай из самовара и без полотенца за стол не садились. Полотенце — чтобы пот вытирать. К концу первого самовара вытирали пот со лба, а когда на столе второй самовар, то снимали рубаху. Сначала вытирали пот на шее и на груди, а когда пот выступал на животе, вот тогда считалось, что человек напился чаю. Так и говорили: «Пить чай до бисера на животе».

Пил Бабель чай и с ломтиками антоновского яблока, любил также к чаю изюм.

Часто бывал он в народных судах, где слушал разные дела, изучая судебную обстановку. Летом 1934 года он повадился ходить в женскую юридическую консультацию на Солянке, где юрисконсультом работала Е. М. Сперанская. Она рассказывала, что Бабель приходил, садился в угол и часами слушал жалобы женщин на своих соседей и мужей.

Я запомнила приблизительное содержание одного из рассказов Бабеля по материалам судебной хроники, который он мне прочел. Это рассказ о суде над старым евреем-спекулянтом. Судья и судебные заседатели были из рабочих, безо всякого юридического образования, не искушенные в судопроизводстве. Еврей же был очень красноречив. В этом рассказе еврей-спекулянт произносил такую пламенную речь в защиту Советской власти и о вреде для нее спекуляции, что судьи, словно загипнотизированные, вынесли ему оправдательный приговор.

Однажды с какими-то знакомыми Бабеля, журналистами из Стокгольма, приехал в СССР молодой швед Скуглер Тидстрем. Его нельзя было бы назвать даже блондином, до того он был беловолос: высокий, с розовым лицом и изжелта-белыми, как седина, волосами. Журналисты сказали Бабелю, что Скуглер приехал как турист, но, придерживаясь коммунистических взглядов, хотел бы остаться в Советском Союзе. Бабель почему-то оставил его жить у нас и сбросил на мое попечение.

Молодой человек целыми днями сидел в комнате, читал и что-то записывал в толстые, в черной клеенке, тетради. Однажды я спросила его, что он пишет. Оказалось, что он по-русски конспектирует труды Ленина. Русский язык он учил еще в Стокгольме, а говорить по-русски научился уже в СССР.

Бабель рассказал мне, что Скуглер происходит из богатой семьи; его старший брат — крупный фабрикант. Но Скуглер увлекся марксизмом и отказался от унаследованного богатства; он ненавидит своего брата-эксплуататора, приехал к нам изучать труды Ленина и хочет жить и работать в СССР.

— Прямо не знаю, что с ним делать, — сказал Бабель.

Он несколько раз продлевал шведу визу, упрашивая об этом кого-то из влиятельных своих друзей.

Вскоре Скуглер, познакомившись с какой-то очень невзрачной девушкой, со щербинками на лице и черной челкой, влюбился в нее. Мы с Бабелем видели как-то их вместе на ипподроме. Затем эта девушка изменила Скуглеру, и он сошел с ума. Помешательство было буйным, его забрали в психиатрическую лечебницу. Бабель нанял женщину, которая готовила Скуглеру еду и носила в больницу. Сам Бабель тоже часто навещал его. Как-то раз приходит из больницы и говорит:

— Врачи считают, что Скуглер неизлечим. Придется вызвать брата.

Брат приехал вместе с санитаром. Санитар был одет так, что мы сначала приняли его за брата-фабриканта. Скуглера надо было забрать из лечебницы, привезти на вокзал и посадить в международный вагон. Опасен был путь пешком от

машины до вагона. Бабель предложил мне пройти со Скуглером этот путь. Санитар должен был ждать его в купе, а брат находился в другом купе этого же вагона и до времени ему не показывался. Я волновалась ужасно: не шутка вести под руку буйного сумасшедшего.

Скуглер вышел из машины, я взяла его под руку, он был весел, рад встрече, спрашивал меня о моей работе. Так, болтая, мы потихоньку дошли до вагона и вошли в купе.

Я и Бабель попрощались с ним, просили писать; все сошло благополучно. А позже Бабель узнал и рассказал мне:

— Когда поезд тронулся и брат вошел к Скуглеру в купе, тот на него набросился, буйствовал так, что разбил окно, пришлось его связать и так довезти до Стокгольма. Там его поместили в психиатрическую лечебницу.

А примерно через месяц Бабель стал получать от Скуглера письма, в которых он писал о своей жизни в лечебнице, о распорядке дня, о том, какие кинокартины он смотрел. Подписывался он всегда так: «Ваш голубчик Скуглер». Дело в том, что когда он жил у нас, Бабель за обедом часто говорил: «Голубчик Скуглер, передайте соль» — или еще что-нибудь в этом же роде.

Через несколько месяцев Скуглер совершенно вылечился, и его отпустили домой. Он тут же записался в интернациональную бригаду и уехал воевать в Испанию. Спустя, может быть, месяц после этого Бабель вошел ко мне в комнату с письмом и газетной вырезкой:

— Скуглер, — сказал он, — погиб в Испании как герой. Франкисты окружили дом, где было человек сто республи-

канцев, и Скуглер один, гранатами, расчистил им путь к бегству из этого дома, а сам погиб. Так написано в этой испанской газете.

Вениамин Наумович Рыскинд, веселый рассказчик и любимец Бабеля, впервые явился к нему в 1935 году летом и принес свой рассказ «Полк», написанный на идиш. Впоследствии Бабель перевел этот рассказ на русский язык, артист О. Н. Абдулов читал его со сцены и по радио.

После первого визита Рыскинда Бабель сказал мне:

— Прошу обратить внимание на этого молодого человека еврейской наружности. Пишет он очень талантливо, из него будет толк.

Рыскинд то приезжал в Москву, то исчезал куда-то, а когда приезжал, всегда появлялся в нашем доме, и Бабель охотно встречался с ним.

Рыскинд написал детскую пьесу об одном мальчике-скрипаче, живущем в Польше вблизи от нашей границы. Благодаря дружбе с польским пограничником, мальчик слушал советские песни, а затем играл их польским ребятам. Об этом узнал польский пристав, и мальчик погиб. Сначала пьеса называлась «Берчик», потом была переименована в «Случай на границе». Театры в Харькове и Одессе подготовили постановку этой пьесы, но показать ее помешала вспыхнувшая война.

Рыскинд писал и рассказы и песни, хорошо пел и сам иногда сочинял музыку. Сюжеты его рассказов и песен всегда были очень трогательными, с налетом печали, которая

никак не устраивала редакторов наших журналов, где безраздельно господствовали бодрость и энтузиазм.

Рыскиндом было задумано много киносценариев, но довести их до конца ему не удавалось.

Однажды Рыскинд нашел случай поздравить меня оригинальным способом. Я получила правительственную награду как раз в тот год, когда награждали писателей. Ордена получили, кажется, все известные писатели, кроме Бабеля, Олеши и Пастернака. В день, когда я из газеты узнала о своем награждении, вдруг открылась дверь в мою комнату и появилась сначала рука с кругом колбасы, а потом Рыскинд.

— Орденоносной жене неорденоносного мужа, — произнес он и вручил мне колбасу.

Мы тут же втроем организовали чай с колбасой необыкновенного вкуса — такую, помнилось мне, я ела только в раннем детстве. Оказалось, что брат Рыскинда, колбасник, собственноручно приготовил эту колбасу.

Проделки Рыскинда были разнообразны.

В один из его приездов зимой Бабель, смеясь, рассказал мне, что Рыскинд зашел в еврейский театр; актеры репетировали в шубах и жаловались на холод; тогда он позвонил в райжилотдел и от имени заведующего метеорологическим бюро чиновным голосом сказал: «На Москву надвигается циклон и будет значительное понижение температуры. Необходимо как следует топить в учреждениях и особенно в театрах». На следующий день печи в театре пылали...

Приезжая в Москву, Рыскинд останавливался в гостинице и очень смешно рассказывал, как его номером пользуются друзья.

Жизнь Рыскинда была беспорядочной, и Бабелю очень хотелось приучить его к организованности и к ежедневному труду.

— Подозреваю, Вениамин Наумович, — сказал как-то Бабель, — что вы ведете в Москве беспутный образ жизни, тогда как должны работать. Я поручился за вас в редакции, что ваш рассказ будет сдан к сроку. Поэтому сегодня я ночую у вас в номере и проверю, спите ли вы по ночам.

— Исаак Эммануилович, — рассказал мне потом Рыскинд, — действительно пришел, и мы ровно в двенадцать часов легли спать. Надо сказать, что я страшно беспокоился, как бы кто-нибудь из моих беспутных друзей-гуляк не вздумал притащиться ко мне среди ночи или позвонить по телефону. Беспокоился и не спал. И вдруг, во втором часу ночи, — звонок. Бабель проснулся и произнес: «Начинается». А я, готовый убить приятеля, который позорит меня перед Бабелем, подбежал к телефону. Снял трубку и услышал, как незнакомый мне женский голос спрашивает... Бабеля. Я торжествуя позвал: «Исаак Эммануилович — вас!» Он был смущен, надел очки и взял трубку. Слышу — говорит: «Где он — не знаю, но что он в данный момент не слушает Девятую симфонию Бетховена — за это я могу поручиться». Затем, положив трубку, сказал: «Жена разыскивает своего мужа, кинорежиссера, с которым я днем работал. Должно быть, Антонина Николаевна дала ей ваш телефон...»

Этот бездомный, нищий, с вечной игрой воображения человек был интересен и близок Бабелю.

Однажды Рыскинд рассказал мне эпизод, свидетельствующий о том, как он сам ценил такую же игру воображения у других.

Когда ему наконец дали в Киеве комнату в новом доме, он решил устроить новоселье, хотя мебели у него не было никакой. Он купил несколько бутылок водки, колбасы и буханку хлеба, разложил все это на газете, на полу, посредине комнаты, и пригласил друзей.

«Гости приходили, — рассказывал Рыскинд, — складывали шубы и шапки в угол комнаты и усаживались на пол вокруг газеты. Гостей было много, и сторож дома решил, что новоселье справляет не какой-то бедняк, недавно въехавший сюда с одним чемоданчиком, а получивший квартиру в этом же подъезде секретарь горкома. И вдруг входит актер Бучма. И происходит чудо. Он снимает роскошную шубу и вешает ее на вешалку (шуба, конечно, падает на пол): на вешалку сверху кладет шапку, потом подходит к стене, вынимает расческу, причесывается, как бы смотрясь в зеркало, поправляет костюм и галстук, поворачивается (создается впечатление, что у стены большое трюмо). Потом делает вид, что открывает дверь и проходит из передней в гостиную. Начинает осматривать картины, развешанные на стенах (стены голые), подходит ближе, отдаляется, подходит к окну, отдергивает шторы, смотрит на улицу, затем задергивает их; они тяжелые, на кольцах. Поворачивается, подходит к столику, берет книгу, листает, затем идет к камину, греет руки, снимает с каминной полочки статуэтку и держит бережно, как очень дорогую вещь. Так Бучма, великий ак-

тер, создал у всех присутствующих иллюзию богато обставленной квартиры...»

Бабель очень любил Соломона Михайловича Михоэлса и дружил с ним. О смерти его первой жены говорил:

— Не может забыть ее, открывает шкаф, целует ее платья.

Но прошло несколько лет, Михоэлс встретился с Анастасией Павловной Потоцкой и женился на ней. Мы с Бабелем бывали у них дома на Тверском бульваре, у Никитских ворот. Приходили вечером, Михоэлс зажигал свечи; у него были старинные подсвечники, и он любил сидеть при свечах. Комната была с альковом, заставленная тяжелой старинной мебелью. Мне она казалась мрачной. Иногда Михоэлс приходил к нам и пел еврейские народные песни. Встречались мы и в ресторанчике почти напротив его дома, — иногда он приглашал нас туда на блины. Бывали мы с ним и Анастасией Павловной и в доме Горького, в Горках, уже после смерти Алексея Максимовича, гостили там по два-три дня в майские и ноябрьские праздники. Веселые рассказы Михоэлса перемежались остроумными новеллами Бабеля. У Михоэлса был дар перевоплощения, он мог изобразить любого человека, и хотя внешне был некрасив, его необыкновенная одаренность позволяла это не замечать.

Бабель научил меня любить еврейский театр, директором и главным актером которого был Михоэлс. Он говорил:

— Играют с темпераментом у нас только в двух театрах — в еврейском и цыганском.

Он любил игру Михоэлса в «Путешествии Вениамина III», а пьесу «Тевье-молочник» мы с ним смотрели несколько раз,

и я очень хорошо помню Михоэлса в обоих этих спектаклях; помню и какой он был замечательный король Лир.

Бабель часто заходил за мной к концу рабочего дня в Метропроект, и обычно не один, а с кем-нибудь, просматривал нашу стенную газету, а потом смешно комментировал текст. Однажды Бабель зашел за мной вместе с Соломоном Михайловичем, а в стенной газете как раз была помещена статья под заголовком: «Равняйтесь по Пирожковой». Не помню уж, за что меня тогда хвалили.

Я закончила работу, и мы втроем отправились куда-то обедать. Я и не знала, что Бабель и Михоэлс успели прочесть в газете статью. И двое моих спутников всю дорогу веселились, повторяя на все лады фразу: «Равняйтесь по Пирожковой». Перебивая друг друга, с разными интонациями, они то и дело вставляли в свои речи эти слова.

Летом 1936 года мы с Бабелем уговорились, что он уедет в Одессу, а потом — в Ялту для работы с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном над картиной «Бежин луг» и я в свой декретный отпуск приеду туда.

Из Одессы я получила телеграмму: «Как здоровье и как фигура?» Проводить меня на вокзал Бабель поручил своему другу Исааку Леопольдовичу Лившицу.

Как только я приехала в Ялту, мне сразу сообщили, что Бабель не отходит от одной пожилой дамы, сидит с ней по вечерам в кафе, подходит к ней на бульваре и садится на скамейку рядом. Ведет с ней нескончаемые разговоры. Я, смеясь, спросила Бабеля, с какой из дам он тут проводил время.

И он мне рассказал: «Это мать одной актрисы, ее зять участвует в создании картины “Бежин луг”», — и рассказал, что она очень интересно разговаривает. Протягивает, например, прямо к твоему лицу сумочку и говорит: «Папа, папа, хочу кушать — обедаю». Этим она хочет сказать, что имеет свои деньги, муж ей их дал, а не живет на деньги зятя и дочери. Зятя своего она не уважает за то, что он мало зарабатывает, но она говорит об этом так: «Машка в сберкашку сбегает, деньги ему в карман сунет, а он — гости дорогие, кушайте, пейте! Как это называется — альфонс?» А этот зять, однажды уехавший в Москву по делам, прислал нам, уже не помню по какому случаю, быть может, к 7 ноября, поздравительную телеграмму и подписался «Альфонс Доде». Так что отлично знал о том, как обзывает его теща.

Бабель так смешил меня, рассказывая об этой женщине, что я охотно отпускала его с ней посидеть и поговорить. Он возвращался и рассказывал: «Эдуард Тиссэ — римский профиль, броненосец Потемкин, а наш — подмастерье у Эйзенштейна». И, конечно, Бабель от этой женщины не отходил, пока наконец до ее детей не дошли слухи, что она говорит, и они срочно не отправили ее домой.

Работа Бабеля с Эйзенштейном над картиной «Бежин луг» началась еще зимой 1935–1936 гг. Сергей Михайлович приходил к нам с утра и уходил после обеда. Работали они в комнате Бабеля, и когда я однажды после ухода Эйзенштейна хотела войти в комнату, Бабель меня не пустил:

— Одну минуточку, — сказал он, — я должен уничтожить следы творческого вдохновения Сергея Михайловича...

Несколько минут спустя я увидела в комнате Бабеля горящую в печке бумагу, а на столе — газеты с оборванными краями...

— Что это значит? — спросила я.

— Видите ли, когда Сергей Михайлович работает, он все время рисует фантастические и не совсем приличные рисунки. Уничтожать их жалко — так это талантливо, но непристойное их содержание — увы! — не для ваших глаз. Вот и сжигаю...

Потом я уже знала, что сразу после ухода Эйзентшейна входить в комнату Бабеля нельзя...

Я выехала из Москвы в начале октября, в дождливый, холодный, совсем уже осенний день. Бабель встретил меня в Севастополе, и мы поехали в Ялту в открытой легковой машине по дороге с бесчисленным количеством поворотов. Бабель не предупредил, когда откроется перед нами море. Он хотел увидеть, какое впечатление произведет на меня панорама, открывшаяся неожиданно из Байдарских ворот. От восторга у меня перехватило дыхание. А Бабель, очень довольный моим изумлением, сказал:

— Я нарочно не предупредил вас, когда появится море, и шофера просил не говорить, чтобы впечатление было как можно сильнее. Смотрите, вот там внизу — Форос и Тессели, где была дача Горького, а вот здесь когда-то находился знаменитый на всю Россию и даже за ее пределами фарфоровый завод.

Сверкающее море, солнце, зелень и белая извивающаяся лента дороги — все это казалось невероятным после дождливой и холодной осени в Москве.

В первый же день по приезде, когда мы пошли в ресторан обедать, Бабель мне сказал:

— Пожалуйста, не заказывайте дорогих блюд. Мы обедаем вместе с Сергеем Михайловичем, а он, знаете ли, скуповат.

То была очередная выдумка Бабеля. У входа в ресторан мы встретились с Эйзенштейном и вместе вошли в зал. Тотчас какие-то туристы-французы вскочили с мест и стали скандировать: «Виве Эйзенштейн! Виве Бабель!» Оба были смущены.

Эйзенштейн, как одинокий в то время человек, завтракал то у нас, то у оператора снимающейся кинокартины Эдуарда Казимировича Тиссэ и его жены — Марианны Аркадьевны. За завтраком у нас Сергей Михайлович говорил: «А какие бублики я вчера ел у Марианны Аркадьевны!» И я с утра бежала в булочную, чтобы купить к завтраку горячих бубликов. В следующий раз он объявлял: «Роскошные помидоры были вчера на завтрак у Тиссэ!» И я вставала чуть свет, чтобы купить на базаре самых лучших помидоров. Так продолжалось до тех пор, пока мы не разговорились однажды с Марианной Аркадьевной и не выяснили, что Сергей Михайлович точно так же ведет себя за завтраком у них. Раскрыв эти проделки Эйзенштейна, мы с Марианной Аркадьевной уже больше не старались превзойти друг друга.

После завтрака Бабель и Эйзенштейн работали над сценарием. Бабель писал к этой картине диалоги, но участвовал и в создании сцен. Обычно я, чтобы не мешать, отправлялась гулять или выходила на балкон и читала. Часто они спорили и даже ссорились. После одной из таких довольно

бурных сцен я, когда Эйзенштейн ушел, спросила Бабеля, о чем они спорили.

— Сергей Михайлович то и дело выходит за рамки действительности. Приходится водворять его на место, — сказал Бабель.

Он объяснил мне, что была придумана сцена: старуха, мать кулака, сидит в избе — в руках у нее большой подсолнух, она вынимает из него семечки, а вместо них вставляет спички, серными головками вверх; кулаки поручили эту работу старухе, подсолнух должен быть подброшен возле бочек с горючим на МТС, а затем один из кулаков бросит на подсолнух зажженную спичку или папиросу; серные спичечные головки воспламенятся, вспыхнет горючее, а затем и вся МТС.

— И вот старуха сидит в избе, — продолжает Бабель, — вынимает из подсолнуха семечки, втыкает вместо них головки спичек, а сама посматривает на иконы. Она понимает, что дело, которое она делает, совсем не божеское, и побаивается кары всевышнего. Эйзенштейн, увлеченный фантазией, говорит: «Вдруг потолок избы раскрывается, разверзаются небеса, и бог Саваоф появляется в облаках... Старуха падает». Эйзенштейну так хотелось снять эту сцену, — сказал Бабель, — у него и раненый Степок бродит по пшеничному полю с нимбом вокруг головы. Сергей Михайлович сам мне не раз говорил, что больше всего его пленяет то, чего нет на самом деле, — «чегонетность». Так сильна его склонность к сказочному, нереальному. «Но нереальность у нас нереальна», — закончил он.

Днем в хорошую погоду производились съемки «Бежина луга». Была выбрана площадка, построено здание для сельскохозяйственных машин, возле него поставлены черные смоленые бочки с горючим. Кругом была разбросана солома, валялось какое-то железо. Здание МТС имело надстройку-голубятню. У Эйзенштейна было режиссерское место и рупор. Мы с Бабелем иногда сидели вдали и наблюдали. Помню, участвовало в съемках много статистов, набранных из местных жителей.

Вечерами мы ходили в кинозал на просмотр заснятых днем кадров. Они были необыкновенно хороши. На фоне черного клубящегося дыма горящей МТС взлетающие белые голуби, белые лошади, белая рубаха Аржанова, играющего роль начполита МТС. Эйзенштейну хотелось этот фильм сделать в черно-белой гамме, как цветовое противопоставление светлого, счастливого и темного, мрачного. Он искал белых голубей, белых козочек, белых лошадей.

— Когда мы смотрели с вами пожар МТС, — сказал мне Бабель, — во время съемок нельзя было даже предположить, что получатся такие великолепные кадры, — вот что значит мастерство!..

Еще до поездки в Ялту, весной 1935 года, Эйзенштейн, Бабель и я ходили на спектакль китайского театра Мэй Ланьфаня. В антракте Сергей Михайлович решил пойти за кулисы.

— Возьмите с собой Антонину Николаевну, ей это будет интересно, — сказал Бабель.

И мы пошли.

Актеры были в отдельных маленьких комнатках — актерских уборных, босые, в длинных одеяниях — театральных и простых темных. Двери всех комнаток были открыты, актеры прохаживались или сидели. Сергей Михайлович, а за ним и я, со всеми здоровался, а они низко кланялись. С самим Мэй Ланьфанем Сергей Михайлович заговорил, как я поняла, по-китайски, и говорил довольно долго. Мэй Ланьфань улыбался и кланялся.

Я была потрясена. До сих пор я знала только, что Эйзенштейн владеет почти всеми европейскими языками. Возвратившись, я сказала Бабелю:

— Сергей Михайлович говорил с Мэй Ланьфанем по-китайски и очень хорошо.

— Он так же хорошо говорит по-японски, — ответил Бабель, рассмеявшись.

Оказалось, что Эйзенштейн говорил с Мэй Ланьфанем по-английски, но с такими китайскими интонациями, что неискушенному человеку было трудно это понять. Бабель же отлично знал, как блестяще Сергей Михайлович мог, говоря на одном языке, производить впечатление, что говорит на другом.

Однажды мы с Бабелем пришли к Эйзенштейну на Потылиху, где он жил. Нас встретила домашняя работница и когда мы, пройдя коридор и столовую, постучали к нему в кабинет, Сергей Михайлович спросил: «Бабель, вы один или с Антониной Николаевной?» Узнав, что Бабель привел меня, он произнес: «Одну минуточку» — и через некоторое время нас впустил. Комната была большая, с большим письмен-

ным столом; стены увешаны картинами и фотоснимками. И вдруг я увидела, что некоторые из них перевернуты обратной стороной. Так вот что делал Сергей Михайлович, прежде чем нас впустить! Любопытство меня одолевало, и, улучив момент, когда они увлеклись беседой, я быстро перевернула одну из картин лицевой стороной. На ней был изображен голый мужчина, очень толстый и волосатый, сидящий на стуле спиной к зрителю. Зрелище было неприятное, и я повернула изображение снова к стене.

В этот наш визит Сергей Михайлович показал нам разные сувениры, привезенные им из Мексики, и в том числе настоящих блох, одетых в свадебные наряды. На невесте — белое платье, фата и флердоранж; на женихе — черный костюм и белая манишка с бабочкой. Все это хранилось в коробочке чуть поменьше спичечной. Рассмотреть это можно было только при помощи увеличительного стекла.

— Это, конечно, не то что подковать блоху, но все же! Приоритет остается за нами, — пошутил Бабель.

В тот вечер Сергей Михайлович рассказывал много интересного о Мексике и о Чаплине, с которым был хорошо знаком. Запомнилось, как Чаплин на съемках не щадил себя и если в картине он должен был упасть или броситься в воду, то десятки раз проделывал это, отрабатывая каждое движение.

— Так же беспощаден он, — говорил Эйзенштейн, — и к другим актерам.

Сергея Михайловича Эйзенштейна, которого Бабель в письмах ко мне именовал «Эйзен», он очень уважал, считал

его гениальным человеком во всех отношениях и называл себя его «смертельным поклонником». Эйзенштейн платил Бабелю тем же: он высоко расценивал его литературное мастерство и дар рассказчика; очень хвалил пьесу «Закат», считал, что ее можно сравнить по социальному значению с романом Золя «Деньги», так как в ней на частном материале семьи даны капиталистические отношения, и очень ругал театр (МХАТ II), который, по мнению Эйзенштейна, плохо поставил пьесу и не донес до зрителя каждое слово, как того требовал необычайно скупой текст.

Еще в Ялте мы с Бабелем однажды, прогуливаясь, увидели, как жена везет мужа-калеку в коляске. Ноги его были укрыты пледом, лицо бледно. Бабель сказал:

— Посмотрите, как это трогательно. Вы были бы на это способны?

И я подумала тогда: «Неужели он задумывается о такой участи для себя?»

Из Ялты мы выехали в Одессу уже в ноябре на теплоходе. На море был очень сильный, чуть ли не двенадцатибалльный шторм. Всю дорогу Бабель чувствовал себя ужасно, лежал в каюте совершенно зеленый, сосал лимон. На меня же шторм не действовал, я пошла ужинать в ресторан и оказалась там в единственном числе. Когда я рассказала Бабелю, что в ресторане, кроме меня, никого не было, он заметил:

— Уникум, чисто сибирская выносливость!

В Одессе мы поселились в пустой двухкомнатной квартире недалеко от Гоголевской улицы и Приморского бульвара.

Завтрак себе готовили сами, а обедать ходили в какой-то дом, где можно было столоваться частным образом.

По утрам я уходила из дома и кружила по одесским улицам, а Бабель работал. После обеда и по вечерам он гулял вместе со мной.

На Гоголевской улице была булочная, где мы брали хлеб, а рядом — бубличная, где всегда можно было купить горячие, осыпанные маком бублики; Бабель очень любил их и обычно ел тут же, в магазине, или на улице.

Однажды мы зашли в бубличную. Одновременно с нами вошел покупатель, мужчина средних лет, огляделся с недоумением по сторонам и спросил продавщицу:

— Гражданка, а хлеб здесь думает быть?

Бабель шепнул мне:

— Это — Одесса.

В другой раз мы прошли мимо молодых ребят как раз в тот момент, когда один из них, сняв пиджак, говорил другому:

— Жора, подержи макинтош, я должен показать ему мой характер.

Тут же завязалась драка. Бабель до того приучил меня прислушиваться к одесской речи, что я сама начала сообщать ему интересные фразы, а он их записывал. Например, идут по двору нашего дома школьники, и один говорит:

— Ох, мать устроит мне той компот!

Бабель каждый раз очень веселился.

Бывали дни, когда мы отправлялись в далекие путешествия и заходили к рыбакам и старожилам, знакомым Бабеля с давних пор. Один старик — виноградарь и философ —

развел чуть ли не 200 сортов виноградных лоз и был известен далеко за пределами своего города; другой был внучатым племянником самого де Рибаса, основателя Одессы, женатым на первой жене Ивана Бунина, красавице Анне Цакни.

Беседы с рыбаками велись самые профессиональные: о ловле бычков, кефали, барабульки, о копчении рыбы, о штормах, о всяких приключениях на море. В Одессе Бабель вспоминал детство.

— Моя бабушка, — рассказывал он, — была абсолютно уверена в том, что я прославлю наш род, и поэтому отличала меня от сестры. Если, бывало, сестра скажет: «Почему ему можно, а мне нельзя?» — бабушка по-украински ей отвечала: «Ровня коня да свиня!» — то есть, сравнила коня со свиньей.

Как-то раз Бабель начал неудержимо смеяться, а затем сквозь смех мне объяснил, что вспомнил, как однажды стащил из дому котлеты и угостил мальчишек во дворе; бабушка, увидев это, выбежала во двор и погналась за мальчишками; ей удалось поймать одного из них, и она начала пальцами выковыривать котлету у него изо рта.

Рассказ этот мог быть и чистейшей выдумкой. К тому времени я уже отлично знала, что ради острой или смешной ситуации, которая придет Бабелю в голову, он не пощадит ни меня, ни родственников, ни друзей.

Очень часто в Одессе он вспоминал свою мать.

— У моей матери, — говорил он, — был дар комической актрисы. Когда она, бывало, изобразит кого-либо из наших соседей или знакомых, покажет, как они говорят или ходят,

сходство получалось у нее поразительное. Она это делала не только хорошо, но талантливо. Да! В другое время и при других обстоятельствах она могла бы стать актрисой...

К своим двум теткам (сестрам матери), жившим в Одессе, Бабель ходил редко и всегда один; мало общался он и со своей единственной двоюродной сестрой Адой. Более близкие отношения у него были только с московской тетей Катей, тоже родной сестрой матери. Эта тетя Катя, бывало, приходила к людям, которым Бабель имел неосторожность подарить что-нибудь из мебели, и говорила:

— Вы извините, мой племянник — сумасшедший, этот шкаф — наша фамильная вещь, поэтому, пожалуйста, верните ее мне.

Так ей удалось собрать кое-что из раздаренной им семейной обстановки.

Однажды в Одессе Бабеля пригласили выступить где-то с чтением своих рассказов. Пришел он оттуда и высыпал на стол из карманов кучу записок, из которых одна была особенно в одесском стиле и поэтому запомнилась: «Товарищ Бабель, люди пачками таскают “Тихий Дон”, а у нас один только “Беня Крик”!?» Нарушив обычное правило не говорить с Бабелем о его литературных делах, в Одессе я как-то спросила, автобиографичны ли его рассказы?

— Нет, — ответил он.

Оказалось, что даже такие рассказы, как «Пробуждение» и «В подвале», которые кажутся отражением детства, на самом деле не являются автобиографическими. Может быть, лишь некоторые детали, но не весь сюжет. На мой вопрос,

почему же он пишет рассказы от своего имени, Бабель ответил:

— Так рассказы получаются короче: не надо описывать, кто такой рассказчик, какая у него внешность, какая у него история, как он одет...

О рассказе «Мой первый гонорар» Бабель сообщил мне, что этот сюжет был ему подсказан еще в Петрограде журналистом П. И. Сторицыным. Рассказ Сторицына заключался в том, что однажды, раздевшись у проститутки и взглянув на себя в зеркало, он увидел, что похож «на вздыбленную розовую свинью»: ему стало противно, и он быстро оделся, сказал женщине, что он — мальчик у армян, и ушел. Спустя какое-то время, сидя в вагоне трамвая, он встретился глазами с этой самой проституткой, стоявшей на остановке. Увидев его, она крикнула: «Привет, сестричка!» Вот и все.

Однажды, году, наверное, в 37-ом, к нам из Одессы приехала Анна Николаевна де Рибас, жена Александра Михайловича де Рибаса, племянника известного адмирала Иосифа де Рибаса, основателя Одессы. Бабель знал их с давних пор и рассказал мне, что Анна Николаевна — гречанка, девичья фамилия ее Цакни, и что она была первой женой писателя Ивана Алексеевича Бунина. От нее у Бунина был сын, который в семь лет умер от дифтерита, после чего супруги расстались.

Анна Николаевна вторично вышла замуж за Александра Михайловича де Рибаса, много лет заведовавшего Одесской публичной библиотекой.

Она поразила меня классической красотой лица, очень высоким ростом, а также высокими черными ботинками на

шнуровке; одета была в строгое черное платье, так как совсем недавно похоронила своего мужа. Анна Николаевна привезла Бабелю в подарок книгу, написанную ее мужем: «Старая Одесса. Исторические очерки и воспоминания». Книга вышла в Одессе в 1913 году тиражом всего 1075 экземпляров.

Из этой книги я узнала, что адмирал Иосиф де Рибас с подчиненным ему отрядом в 1789 году штурмом захватил турецкую крепость Хаджибей, а в 1795 году переименовал ее в Одессу. Никто не знает точно, откуда возникло это название, но оказалось, что на месте крепости Хаджибей когда-то существовала греческая колония Одессус, о чем знал грек митрополит Гавриил. Возможно, что от этого древнего топонима и произошло название города Одессы, это объяснение кажется наиболее вероятным.

Книга «Старая Одесса» сохранилась у меня, несмотря на обыск после ареста Бабеля и на полное разорение квартиры во время войны.

На улице Обуха, недалеко от нашего дома, находился дом политэмигрантов. Из этого дома к нам часто приходили гости разных национальностей. Все они были коммунистами, преследовавшимися в собственных странах. Собирались обычно на нижнем этаже, на кухне. Возвращаясь с работы, я заставала там целое общество, говорящее на разных языках. Бабель и Штайнер варили кофе, из холодильника доставалась какая-нибудь еда, и шла нескончаемая беседа. В один из таких вечеров на кухне появился китайский поэт Эми Сяо, небольшого роста, стройный, с приятными чертами лица.

Будучи коммунистом, он бежал из чанкайшистского Китая и жил временно в Советском Союзе, в доме политэмигрантов. Он стал к нам приходить. Читал свои стихи по-китайски, так как Бабелю хотелось услышать их звучание, читал их и в переводе на русский язык. Эми Сяо очень хорошо говорил по-русски. Он с нетерпением ждал возможности возвратиться на родину, но Коммунистическая партия Китая берегла его как своего поэта и не разрешала до времени приезжать.

Этот человек вдохновенно мечтал о коммунистическом будущем Китая. Однажды за обедом Бабель спросил его: «Скажите, Сяо, каков идеал женщины для китайского мужчины?» — Эми Сяо ответил: «Женщина должна быть так изящна и так слаба, что должна падать от дуновения ветра». Я запомнила это очень хорошо.

Летом 1937 года Эми Сяо уехал отдыхать на черноморское побережье. Возвратившись осенью, он пришел к нам с полной девушкой по имени Ева и представил ее как свою жену. У нее было прелестное лицо с глазами синего цвета и стриженая под мальчика головка на довольно грузном теле. Когда они ушли, Бабель сказал:

— Идеалы одно, жизнь — другое.

Вскоре после этого Эми Сяо пригласил нас на обед по-китайски, который он приготовил сам. Мы впервые были в доме политэмигрантов, где Эми Сяо занимал одну из комнат. Теперь с ним жила и Ева. Немецкая еврейка, она бежала из Германии в Стокгольм к своему брату, известному в Швеции музыканту. В Советский Союз она приехала уже из Швеции

как туристка; познакомилась на Кавказе с Эми Сяо и вышла за него замуж.

Обед по-китайски состоял из супа с трепангами, рыбы и жареной курицы с рисом. И рыба и курица были мелко нарезаны и заправлены какими-то китайскими специями. Нам были предложены для еды палочки, но ни у нас с Бабелем, ни даже у Евы ничего не получалось, и мы перешли на вилки. Только Эми управлялся с палочками великолепно. На десерт Ева приготовила сладкую сметану с вином и ванилью, в которую перед самой едой всыпались понемногу кукурузные хлопья. Это блюдо было европейским.

К зиме 1937 года Эми Сяо получил квартиру в доме писателей в Лаврушинском переулке. Мы с Бабелем были приглашены на новоселье. Ужин был также из китайских блюд, приготовленных Эми, но нас поразил только чай. Подали маленькие чашечки и внесли наглухо закрытый большой чайник, а когда открыли пробку, затыкавшую нос чайника, и стали разливать чай, по комнате распространился непередаваемый аромат. Нельзя было понять, на что похож этот удивительный и сильный запах. Чай пили без сахара, как это принято в Китае.

Зимой 1938-го или в начале 1939 года Эми Сяо с семьей (у него уже был сын) уехал в Китай, сначала в коммунистическую его часть, а затем в Пекин. Там у них родилось еще два сына. Ева стала отличным фотокорреспондентом какой-то пекинской газеты и раза два приезжала ненадолго в Советский Союз.

Двухлетняя дочь Валентина Петровича Катаева, вбежав утром к отцу в комнату и увидев, что за окнами все побелело от первого снега, в изумлении спросила:

— Папа, что это?! Именины!?

Бабель, узнав об этом, пришел в восторг. Он очень любил детей, а жизнь его сложилась так, что ни одного из своих троих детей ему не довелось вырастить.

Бабель женился в 1919 году на Евгении Борисовне Гронфайн. Ее отец был богатым человеком в Киеве, имел там заводы, производящие сельскохозяйственные машины.

Отец Бабеля покупал эти машины и затем продавал их в своем магазине в Одессе. В связи с этим, по всей вероятности, состоялось знакомство молодых людей в те годы, когда Бабель стал студентом Коммерческого института в Киеве, а Евгения Борисовна, закончив гимназию, там же училась живописи в частной художественной школе.

Окончив институт, Бабель уже в 1916 году уехал в Петроград, где познакомился с М. Горьким; печатался в его журнале «Летопись», работал в 1918 году в газете «Новая жизнь» и переводчиком в ЧК, и только после этого возвратился в Одессу и женился. В мае 1920 года Бабель уехал в Конармию как корреспондент газеты «Красный кавалерист», имея документы от ЮГРОСТА на имя Кирилла Васильевича Лютова.

В 1922 году он уезжает на Кавказ в качестве специального корреспондента газеты «Заря Востока», но теперь уже с женой и сестрой.

Когда в 1923 году заболел его отец, Бабель был в Петрограде и, возвратившись в начале 1924 года в Одессу, уже не застал его в живых.

После смерти отца Бабель с семьей — женой, матерью и сестрой — переехал в Москву, где остановился поначалу у своего друга Исаака Леопольдовича Лившица, но вскоре поселился под Москвой в небольшом городке Сергиев Посад.

В декабре 1924 года сестра Бабеля Мария (Мера) уехала в Брюссель к своему жениху, Григорию Романовичу Шапошникову. А уже в августе 1926 года к ней отправилась мать Бабеля. В этом же году его жена, Евгения Борисовна, уехала в Париж. Поводом для отъезда жены считалось ее желание продолжить там обучение живописи, но были, вероятно, и другие причины.

Во всяком случае известно, что еще до отъезда Евгении Борисовны Бабель в декабре 1925 года переехал из Сергиева Посада в Москву к Тамаре Владимировне Кашириной.

13 июля 1926 года у Бабеля и Тамары Владимировны родился мальчик, кстати, того же числа и месяца, когда родился и сам Бабель. Мальчику дали имя Эммануил в честь деда.

В 1927 году, похоронив в Киеве отца Евгении Борисовны и ликвидировав там обстановку квартиры, Бабель должен был отвезти старую и больную мать к дочери в Париж.

Семейная жизнь с Тамарой Владимировной не сложилась, и, уезжая в Париж, он надеялся наладить свои отношения с Евгенией Борисовной.

Бабель пробыл в Париже до конца 1928 года, и за это время Тамара Владимировна вышла замуж за писателя Всеволода

Иванова, который усыновил мальчика, дав ему свою фамилию и переменив имя Эммануил на Михаил. Так Бабель потерял своего первого ребенка, с которым ему не разрешалось даже видеться.

В Париже отношения Бабеля с Евгенией Борисовной наладились, но переехать в Москву она, очевидно, не захотела, и Бабель возвратился домой один, без семьи. В июле 1929 года у Евгении Борисовны родилась дочь Наташа, с которой Бабель смог встретиться только в 1932 году, когда снова приехал в Париж.

Про Тамару Владимировну и мальчика Бабель, познакомившись со мной, никогда не говорил, но, пока он был в Париже, его ближайшие друзья мне все рассказали. Уважая его желание, чтобы я ничего об этом не знала, я никогда не заводила с ним разговоров на эту тему.

Но зато о Наташе я знала все, Бабель всегда показывал мне ее фотографии, рассказывал о том, что о ней пишет Евгения Борисовна, просил меня покупать ей игрушки и книжки.

Наташа была очаровательным ребенком, и так мне нравилась, что я захотела иметь такую же веселую и лукавую девочку.

В январе 1937 года наша девочка родилась. Мне хотелось дать ей имя Мария, но Бабель сказал, что у евреев не полагается давать детям имена живых родственников, сестру же Бабеля звали Марией. Однажды в роддом Бабель принес мне книгу Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», в ней я встретила имя Лидия и решила, что девочку назовем этим именем, с чем Бабель согласился.

Помню день, когда Бабель приехал в роддом за мной и дочерью. Уже одетая в свое обычное платье, я вдруг увидела, как открылась входная дверь вестибюля и вошел Бабель с таким количеством коробок с шоколадными конфетами в руках, что должен был эту стопку поддерживать подбородком. И тут же стал раздавать эти коробки врачам и сестрам, которые попадались ему на пути. Кому надо и кому не надо. В этом был весь Бабель! Домой поздравить нас с рождением дочери первым пришел Сергей Михайлович Эйзенштейн. Пришел и поставил на стол какой-то предмет, упакованный в бумагу и перевязанный красной ленточкой с бантом. Когда бумагу развернули, в нем оказался детский белый горшочек, а внутри букетик фиалок. И где он в январе достал фиалки? Кстати, купить в магазине такой необходимый предмет, как детский горшочек, в нашей стране и тогда было невозможно.

Летом 1937 года, когда нашей дочери Лиде было пять месяцев, Бабель снял дачу в Белопесоцкой, под Каширой.

Белопесоцкая расположена на берегу Оки. Купаться и греться на берегу реки, на чистейшем белом песке, было одним из самых больших удовольствий Бабеля.

Вдвоем с ним мы часто ходили гулять в лес, но, едва только мы в него углублялись хоть немного, он начинал беспокоиться и говорил:

— Все! Мы заблудились, и теперь нам отсюда не выбраться.

Привыкший к степным местам, он явно побаивался леса и, как мне казалось, не очень хорошо себя в нем чувствовал. С большим удивлением и даже почтительностью относился

он к тому, что, куда бы мы ни зашли, я всегда находила дорогу и была в лесу как дома.

— Вы колдунья? — спрашивал он. — Вам птицы подсказывают дорогу.

А дело было в том, что я выросла в сибирской тайге...

Рассказ Бабеля мне: «Два молодых человека с ранней юности были очень дружны, неразлучны и очень любили друг друга. И вдруг один из них женился и, как казалось другу, на женщине, ничем не примечательной и даже не очень красивой. Но когда он начинал говорить о ней плохо своему другу, тот от него отдалялся, и, наконец, дружба их прекратилась. Огорченный друг пришел к раввину и рассказал ему обо всем. Раввин ответил: “Не пытайся, друг мой, развязать днем узел, завязанный ночью”».

А в другой раз Бабель рассказал мне, что как-то зашел домой к одному поэту. Дома был только отец поэта, и Бабель решил подождать сына. Чтобы польстить старику, он сказал: «Ваш сын пишет очень хорошие стихи!» Седовласый старик помолчал, а потом ответил: «Соломон писал меньше и лучше». — «Все понимает старик», — заключил Бабель.

Перелистывая как-то на даче только что вышедшую и очень толстую книгу одного из известных наших писателей, Бабель сказал:

— Так я мог бы написать тысячу страниц. — А потом, подумав: — Нет, не мог бы, умер бы со скуки. Единственно, о чем я мог бы писать сколько угодно, это о болтовне глупой женщины...

Лида начала ходить в 10 месяцев и к году уже отлично бегала. Она еще не говорила, но преуморительно гримасничала и, видимо, понимая, что окружающих это смешит, становилась все более изобретательной.

— Нам теперь хорошо, — сказал как-то по этому поводу Бабель, — придут гости, занимать не надо. Мы выпустим Лиду, она будет гостей забавлять...

А иногда, смеясь, говорил:

— Подрастет, одевать не буду. Будет ходить в опорках, чтобы никто замуж не взял, чтобы при отце осталась...

Лион Фейхтвангер приехал в Москву и пришел к Бабелю в гости. Это был светло-рыжий человек, небольшого роста, очень аккуратный, в костюме, который казался чуть маловатым для него.

Разговор шел на немецком языке, которым Бабель владел свободно. Я же, знавшая неплохо немецкий язык, читавшая немецкие книги и даже изучавшая в то время, по настоянию Бабеля, немецкую литературу с преподавательницей, понимала Фейхтвангера очень плохо, никак не могла связать отдельные знакомые слова. Мне было очень досадно, так как Бабель, когда писал кому-нибудь по-немецки письмо, спрашивал у меня, как написать то или иное слово. А вот в разговорном языке у меня не было никакой практики, и я не могла ловить речь на слух. Бабель сказал Фейхтвангеру: «Антонина Николаевна изучает немецкий язык в вашу честь», — на что Фейхтвангер ответил, что раз так, то он пришлет мне из Германии в подарок свои книги. И он прислал мне несколько томов в темно-синих переплетах, изданных, если не ошибаюсь,

в Гамбурге. Но из этих книг я успела прочитать только роман «Успех»: Бабель отдал их жене художника Лисицкого, Софье Христиановне; не мог удержаться, так как она была немка. А ее вскоре выслали из Москвы в 24 часа...

После ухода Фейхтвангера я спросила Бабеля, что особенно интересного сообщил наш гость.

— Он говорил о своих впечатлениях от Советского Союза и о Сталине. Сказал мне много горькой правды.

Но распространяться Бабель не стал.

Писатели, приезжавшие в те годы в Советский Союз, всегда приходили к Бабелю. Однажды у нас обедал Андре Жид, угощали его форелью под белым соусом и русским квасом, приготовленным дома; про этого человека Бабель мне сказал: «Умен, черт, Горький по сравнению с ним кажется сельским священником».

Бывали также писатели Леон Муссинак и Оскар Мария Граф, пришедший в национальном костюме — короткой юбочке, французский общественный деятель Эррио, который подарил нам большую круглую коробку с кофе в зернах. Когда мы приготовили этот кофе, удивительно ароматный и вкусный, Бабель сказал: «Считается, что люди в России ничего не понимают в кофе; поэтому государство закупает только дешевый 4-й сорт бразильского. Теперь вы знаете, что такое кофе первого сорта».

К Бабелю тянулись разнообразные люди, и не потому только, что был он человеком высокой культуры, великолепным рассказчиком, но и благодаря свойствам его характера. Его обаяние, его шарм действовали неотразимо. Ба-

бель любил жизнь, считал, что человек рождается для веселья и наслаждения жизнью, любил смешные истории и ситуации, сам их придумывал и при этом очень веселился. Иногда своими розыгрышами ставил людей в неловкое положение.

Однажды за столом, где была его родная тетя, зубной врач, очень серьезная и воспитанная дама, один из гостей рассказывал, что во время революции, скрываясь от преследований, ему приходилось ночевать даже в публичных домах. Бабель вдруг говорит: «Знаю, моя тетя содержала такой дом в Одессе». Что было с тетей! Она онемела, все ее лицо покрылось красными пятнами.

У меня в гостях школьная подруга из Сибири. Вдруг входит Бабель и садится на стул. Поговорил с нами, посмешил нас, а потом встал и начал пятиться задом к двери. Мы с изумлением на него смотрим, а он говорит: «Извините, но я не могу повернуться к вам спиной, у меня сзади большая дыра на брюках». Так и выпятился из комнаты.

В 1938 году в Киеве Бабель однажды был приглашен на обед к своему школьному товарищу Мирону Наумовичу Беркову. После обеда, как рассказывала мне вдова Мирона Наумовича Клавдия Яковлевна, мужчины пошли в спальню отдохнуть. Потом пили чай, и уже вечером хозяева решили проводить Бабеля до гостиницы, где он жил. Шли, разговаривали, у гостиницы остановились и стали прощаться: «И вдруг, — рассказывает Клавдия Яковлевна, — я вижу, что на руке у Бабеля что-то блестит, и узнаю знакомые пуговицы».

— Бабель! Это же мое платье! — А Бабель говорит:

— У меня, знаете ли, есть тут одна знакомая дама, она все время требует от меня подарков, а так как денег у меня нет, я решил подарить ей это платье.

Клавдия Яковлевна отобрала у Бабеля свое платье, и они долго смеялись над его проделкой.

Платье висело в спальне, и как-то Бабель сумел его оттуда вытащить в переднюю и захватить с собой так, что хозяева не заметили.

Такие проделки Бабель позволял себе часто, и чем неправдоподобней выглядела его выдумка, тем было смешней.

Свою мать мог представить кому-нибудь: «А это моя младшая сестра», а о сестре сказать: «А это наш недоносок». Писателя С. Г. Гехта представил Есенину как своего сына и т. д. Бабель любил разыгрывать людей, сам играл при этом разные роли — то хромого, то скупого, то больного, то ревнивого. Идет со мной гулять по городу и вдруг начинает хромать. Хромает очень разнообразно: то как человек, у которого одна нога короче другой, то как будто нога вывернута, то она волочится. Встречные люди изумляются, а он идет с самым серьезным выражением лица, тогда как я умираю со смеху.

Если играет роль больного, то начинает стонать на разные лады. Я вбегаю в его комнату обеспокоенная, а он, постонав при мне еще некоторое время, вдруг рассмеется и скажет: «Я разыгрывал перед вами “еврейские стоны”».

Играя роль скупого, он не брал в трамвае билета и выпрыгивал на ходу при появлении контролера. Мне приходи-

лось выпрыгивать за ним. Мог попросить едущую с ним даму купить ему билет, так как якобы у него совершенно нет денег.

Играл и в суеверного. Дома держал подкову на счастье, мог вернуться домой, если дорогу ему перебежит черная кошка или если кто-то из домашних спросит, куда он идет.

Как-то в выходной день, наверное, в 1937 году, Бабель сказал мне: «Сегодня дома не обедаю, обедаю в ресторане с Любовью Михайловной Эренбург. Они часто кормили меня в Париже».

Я спросила Бабеля, сколько у него есть денег. Он вытащил бумажник и сказал: «Сто рублей». — «Мало для того, чтобы угостить такую даму, как Любовь Михайловна», — и дала ему еще сто рублей.

Продолжение этого эпизода позже мне рассказала сама Любовь Михайловна: «Я жила тогда в гостинице, и Бабель ни за что не захотел туда за мной зайти, он назначил мне свидание где-то за углом и повел в ресторан московской гостиницы на площади Революции. Когда сели, он взял карточку меню и спросил: “Икры хотите?” — Я сказала: “Нет”. — “Семги хотите?” — “Нет”. — “Пирожных хотите?” — “Нет”. Так было задано мне несколько вопросов, Бабель предлагал мне самые дорогие блюда и вина, а я от всего отказывалась. Заказали мало и что-то из не очень дорогих блюд, а после обеда Бабель мне говорит: “Сразу видно, что вы хороший товарищ. Другая бы потребовала от меня и икры, и семги, и крабов, и тортов, и мороженого, а Вас накормить стоило совсем не дорого!”»

Действительно ли Бабель боялся заходить в гостиницу, где, конечно, в 1937 году велось наблюдение за каждым приходящим туда, или он разыгрывал перед Любовью Михайловной трусливого Бабеля? Думаю, что второе.

В начале 1936 года Штайнер уезжал по делам в Вену и на время своего отсутствия предложил своим знакомым венграм, супругам Шинко, остро нуждавшимся в жилье, поселиться в его квартире. Он согласовал это с Бабелем, и было решено, что они займут кабинет на нижнем этаже.

Когда мы поближе познакомились, Бабель рассказал мне их историю. Эрвин Шинко — политэмигрант со времени разгрома Венгерской коммуны, участником которой он был. Эмигрантом он жил во Франции, Австрии, Германии, там написал роман под названием «Оптимисты» и пытался его издать. С этой же целью он приехал в СССР, имея рекомендательное письмо Ромэна Роллана, и был гостем организации культурных связей с заграницей в течение полугода. Этот срок благодаря Горькому был продлен на полгода. А потом Эрвин Шинко попал в тяжелое положение, так как роман «Оптимисты» никто не соглашался издать. Его жена Ирма Яковлевна, врач-рентгенолог, устроилась работать в один из московских институтов.

Бабель откуда-то знал историю их женитьбы и рассказал мне. В годы Первой мировой войны Эрвин и Ирма были в Венгрии революционерами-подпольщиками, задумавшими издавать журнал в духе Циммервальдской программы. Для этого должны были послужить деньги из приданого Ирмы, дочери богатых родителей. Но отец Ирмы не хотел отдавать

дочь замуж за бедного студента, каким был Эрвин. Тогда один из членов организации, инженер Дьюла Хевеши, решился сыграть роль жениха. В то время он был уже известным в Венгрии изобретателем, руководителем научно-исследовательской лаборатории крупного электролампового завода. Мнимый жених Дьюла Хевеши был представлен отцу невесты, и тот вполне одобрил кандидатуру такого положительного человека.

Через какое-то время сыграли свадьбу, молодые отправились в свадебное путешествие; на ближайшей от Будапешта маленькой станции «фальшивый жених» сошел с поезда, а Эрвин Шинко занял его место в купе.

Бабель очень уважал Ирму Яковлевну, а про Эрвина говорил:

— Разыгрывает из себя непонятого гения и не хочет устроиться на работу, живет за счет жены.

Роман Эрвина «Оптимисты» Бабель находил скучным, но все же старался помочь пристроить его в какое-нибудь издательство или инсценировать для кино; но из этого ничего не вышло.

В самом начале 1937 года супруги Шинко уехали во Францию, а затем переехали в Югославию, где Эрвин стал преподавать в университете в городе Нови-Сад.

В том же 1937 году Штайнеру, уехавшему временно по делам в Австрию, не разрешили возвратиться в Советский Союз. Таким образом, мы остались одни в квартире на Николо-Воробинском. Оставили за собой три комнаты на втором этаже, в двух же комнатах внизу появились новые жильцы.

Рассказу Бабеля о романтической истории Эрвина и Ирмы Шинко я сначала верила, а потом начала сомневаться и решила, что это очередной придуманный им сюжет. Каково же было мое удивление, когда в 1966 году, будучи в Будапеште, я познакомилась с «фальшивым женихом» Ирмы Яковлевны, Дьюлой Хевеши. Он сам повторил мне рассказ о женитьбе Эрвина Шинко. Из этого примера можно сделать вывод, что рассказы Бабеля не всегда были чистейшей выдумкой.

В 1968 году от одного югославского преподавателя университета я узнала, что Эрвин Шинко умер в Загребе от кровоизлияния в мозг. Ирма Яковлевна выполнила завещание своего мужа: богатую библиотеку Шинко подарила философскому факультету Нови-Садского университета, где он читал лекции и был заведующим кафедрой; его рукописи передала Академии наук в Загребе, членом которой был Эрвин Шинко. Из всех сбережений, какие у них были, она создала Фонд Эрвина Шинко для поощрения студентов-отличников кафедры венгерского языка и литературы. После этого она отравилась.

Бабель, который так не хотел жить ни в писательском доме, на Лаврушинском, ни в Переделкине, только из-за ребенка решился взять там дачу. Матери и сестре 16 апреля 1938 года он об этом писал:

«Я борюсь с желанием поехать в Одессу и делами, которые задерживают меня в Москве. Через несколько дней переезду на собственную в некотором роде дачу — раньше не хотел селиться в так наз. Писательском поселке, но когда уз-

нал, что дачи очень удалены друг от друга и с собратьями встречаться не придется — решил переехать. Поселок этот в 20 км от Москвы и называется Переделкино, стоит в лесу (в котором, кстати сказать, лежит еще компактный снег)... Вот вам и наша весна. Солнце — редкий гость, пора бы ему расположиться по-домашнему».

Дача была еще недостроенной, когда мы впервые туда переехали. Мне было поручено присмотреть за достройкой и теми небольшими изменениями проекта, которые Бабелю захотелось сделать. По заказу Бабеля была поставлена возле дома голубятня. На даче он выбрал себе для работы самую маленькую комнату.

Мебели у нас не было никакой. Но случилось так, что вскоре Бабелю позвонила Екатерина Павловна Пешкова и сообщила, что ликвидируется комитет Красного Креста и распродается мебель. Мы поехали туда и выбрали два одинаковых стола, не письменных, а более простых, но все же со средними выдвижными ящиками и точеными круглыми ножками. Указав на один из них, Екатерина Павловна сказала: «За этим столом я проработала здесь двадцать пять лет». Были выбраны также диван с резной деревянной спинкой черного цвета, небольшое кресло с кожаным сиденьем и еще кое-что.

Довольные, мы отправились домой вместе с Екатериной Павловной, которую отвезли на Машков переулок (теперь улица Чаплыгина), где она жила.

С этого времени началось мое личное знакомство с Екатериной Павловной.

Стол Екатерины Павловны и диван Бабель оставил в своей комнате на Николо-Воробинском. В дачной же его комнате почти вся мебель была новой — из некрашеного дерева, заказанная им на месте столяру. Там стояли: топчан с матрацем — довольно жесткая постель, это любил Бабель; у окна большой, простой, во всю ширину комнаты стол для работы; низкие книжные полки и купленное в Красном Кресте кресло с кожаным сиденьем. На полу небольшой текинский ковер.

С 1936 года в Москве проходили процессы над так называемыми «врагами народа», и каждую ночь арестовывали друзей и знакомых. А знаком был Бабель, и близко, со многими, среди которых были и крупные политики, и военные, и журналисты, и писатели.

Он говорил мне: «Я не боюсь ареста, только бы дали возможность писать», и еще раньше, после смерти Горького, как-то сказал: «Теперь мне жить не дадут».

Двери нашего дома не закрывались в то страшное время. К Бабелю приходили жены товарищей и жены незнакомых ему арестованных, их матери и отцы. Просили его похлопотать за своих близких и плакали. Бабель одевался и, согнувшись, шел куда-то, где оставались его бывшие соратники по фронту, уцелевшие на каких-то ответственных постах. Он шел к ним просить или узнавать. Возвращался мрачнее тучи, но пытался найти слова утешения для просящих. Страдал он ужасно... а я тогда зримо представляла себе сердце Бабеля. Мне казалось оно большим, израненным, кровоточащим. И хотелось

взять его в ладони и поцеловать. Со мной Бабель старался не говорить обо всем этом, не хотел, очевидно, меня огорчать.

А я спрашивала:

— Почему на процессах все они каются и себя позорят? Ведь ничего подобного раньше никогда не было. Если это политические противники, то почему они не воспользуются судебной трибуной, чтобы заявить о своих взглядах и принципах, сказать об этом на весь мир?

— Я этого и сам не понимаю, — отвечал он. — Это все — умные, смелые люди, неужели причиной их поведения является партийное воспитание, желание спасти партию в целом?..

И только один из осужденных, большой друг Бабеля, Ефим Александрович Дрейцер в своем последнем слове гордо сказал: — «Я не из тех, кто будет просить пощады».

Я знала, что он не верит обвинениям, но знала также, что он не понимает — почему все эти люди в этих чудовищных обвинениях признаются. Не понимали этого тогда многие. Дело в том, что в те годы никому из нас не приходила в голову мысль о возможности пыток в советских тюрьмах. В царских тюрьмах — да, это было возможно, но чтобы в советских!? Нет, это казалось немыслимым. Под таким гипнозом были даже те из нас, которые не доверяли ничему и со многим не соглашались.

Когда арестовали Якова Лившица, руководившего тогда Наркоматом путей сообщения, Бабель не выдержал и с горечью сказал:

— И меня хотят уверить, что Лившиц жаждал реставрации капитализма в нашей стране! Не было в царской России

более бедственного положения, чем положение еврея-чернорабочего. Именно таким был Яков Лившиц, и во время революции его надо было удерживать силой, чтобы он не рубил буржуев направо и налево, без всякого суда. Такова была его ненависть к ним. А сейчас меня хотят уверить, что он жаждал реставрации капитализма. Чудовищно!

Часто Бабель повторял: — «Я не боюсь ареста, только дали бы возможность работать». Были случаи, и в царских тюрьмах, и в советских до 1936 года, когда заключенным удавалось там писать. И Бабель об этом думал, сомневался, но надеялся. Никаких лишений, связанных с арестом, он не боялся.

В январе 1939 года был снят со своего поста Ежов. В доме этого человека Бабель иногда бывал, будучи давно знаком с его женой, Евгенией Соломоновной.

Выйдя замуж за Ежова и, таким образом, став сановницей, она захотела иметь свой литературный салон. Поэтому Бабеля приглашали к Ежовым в те дни, когда там собирались гости. Сам Ежов редко присутствовал на этих приемах, чаще приходил к самому концу.

Туда же приглашали и Михоэлса, и Утесова, и некоторых других гостей из мира искусства, людей, с которыми было интересно провести вечер, потому что они были остроумны и умели повеселить.

«На Бабеля» можно было пригласить кого угодно, никто прийти бы не отказался. У Бабеля же был свой, чисто профессиональный интерес к Ежову. Через этого человека он, видимо, пытался понять явления, происходящие на самом верху...

Зимой 1938 года Е. С. Ежова отравилась. Причиной ее самоубийства Бабель считал арест близкого ей человека, постоянно бывавшего у них в доме; но это было каплей, переполнившей чашу...

— Сталину эта смерть непонятна, — сказал мне Бабель. — Обладая железными нервами, он не может понять, что у людей они могут сдать...

В последние годы желание писать владело Бабелем неотступно.

— Встаю каждое утро, — говорил он, — с желанием работать и работать, и когда мне что-нибудь мешает, злюсь.

А мешало многое. Прежде всего графоманы. По своей доброте Бабель не мог говорить людям неприятные для них истины и тянул с ответом, заикался, а в конце концов в утешение говорил: «В вас есть искра божья», или: «Талант проглядывает, хотя вещь и сырая», или что-нибудь в этом же роде. Обнадеженный таким образом графоман переделывал свое произведение и приходил опять. Ему все говорили, что пишет он плохо, что нужно это занятие бросить, а вот Бабель подавал надежду...

Телефонные звонки не прекращались. Работать дома становилось невозможно. И тогда Бабель, замученный, начинал скрываться. По телефону он говорил только женским голосом. Женский голос Бабеля по телефону был бесподобен. Мне тоже приходилось его слышать, когда я звонила домой. А когда начала говорить наша дочь Лида, он заставлял ее брать трубку и отвечать: «Папы нет дома». Но так как

фантазия Лиды не могла удовлетвориться одной этой фразой, она прибавляла что-нибудь от себя, вроде: «Он ушел гулять в новых калошах».

Но случалось и так, что, скрываясь от графоманов, Бабель убегал из дому, захватив чемоданчик с необходимыми рукописями. Он не упускал случая снять на месяц освобождающуюся где-нибудь комнату или номер в гостинице. Причиной, хотя и очень редкой, для бегства из дому был приезд моих родственников. Тогда он всем с удовольствием говорил:

— Белокурые цыгане заполонили мой дом, и я сбежал.

Мешала ему работать и материальная необеспеченность. Но только в последние два года моей совместной жизни с Бабелем я начала это понимать. Вначале он тщательно скрывал от меня недостаток денег, и даже матери моей, когда она у нас гостила, говорил:

— Мы должны встречать ее с улыбкой. Ни о каких домашних затруднениях мы не должны говорить ей. Она много работает и устает.

Деньги Бабелю нужны были не только для содержания московского нашего дома, но и для помощи дочери и матери, находившимся за границей. Кроме того, у Бабеля чрезвычайно легко можно было занять деньги, когда они у него были, чем постоянно пользовались его друзья и просто знакомые.

Долгов же Бабелю никто не отдавал. Из-за этой постоянной потребности в деньгах Бабель вынужден был брать литературную работу для заработка.

Такой работой были заказы для кино. Иногда Бабель писал к кинокартине слова для действующих лиц при готовом сценарии, но чаще всего переделывал и сценарий или просто писал его с кем-нибудь из режиссеров заново.

Бабель заново переводил рассказы Шолом-Алейхема, считая, что они очень плохо переведены на русский язык. Переводил он из Шолом-Алейхема и то, что никем не переводилось ранее, и однажды прочел мне один из таких рассказов. Два украинца-казака варили кашу в степи у костра. Шел мимо по дороге оборванный, голодный еврей. Захотели они повеселиться и позвали его к своему костру отведать каши. Еврей согласился, и ему дали ложку, но как только он, зачерпнув кашу, поднес ложку ко рту, один из казаков ударил его своей ложкой по голове и сказал другому: «Твой еврей объедает моего, так он съест всю кашу, и моему еврею ничего не достанется». Другой тоже стукнул еврея ложкой по голове и сказал: «Это твой еврей не дает моему поесть». И так они его били, причем каждый из них делал вид, что заботится о своем еврее, а бьет чужого...

Работа Бабеля по переводу рассказов Шолом-Алейхема была, как он выражался, «для души». «Для души» писались и новые рассказы, и повесть «Коля Топуз».

— Я пишу повесть, — говорил он, — где главным героем будет бывший одесский налетчик типа Бени Крика, его зовут Коля Топуз. Повесть пока что тоже так называется. Я хочу показать в ней, как такой человек приспосабливается к советской действительности. Коля Топуз работает в колхозе в период коллективизации, а затем в Донбассе на угольной

шахте. Но так как у него психология налетчика, он все время выскакивает за пределы нормальной жизни. Создается много веселых ситуаций...

Бабель писал много, много написал, и только арест помешал появлению его новых произведений...

В апреле 1939 года Бабель уехал в Ленинград. Через несколько дней я получила телеграмму от И. А. Груздева: «У Бабеля сильнейший приступ астмы. Срочно приезжайте. Груздев».

У меня возникло сомнение — не розыгрыш ли этот приступ астмы. Я помнила, как Бабель в 1935 году, когда мы были в Одессе и мой отпуск кончился, захотел оставить меня еще на неделю и раздобыл больничный бюллетень. В кафе гостиницы «Красная» в кругу друзей долго обсуждался вопрос — какую болезнь мне придумать. Перечислялись всякие болезни, пока наконец кто-то не предложил — воспаление среднего уха, что вызвало веселый смех всей компании и было принято. Этот бюллетень я тогда показала начальству в оправдание своего опоздания, но в бухгалтерию его не сдавала.

Так и теперь, сомневаясь в болезни Бабеля, я все же показала телеграмму начальнику Метропроекта, и он тут же отпустил меня на несколько дней.

В Ленинграде на вокзале меня встретил веселый и вполне здоровый Бабель вместе с моей подругой, Марией Всеволодовной Тыжновой (Макой). При отъезде Бабеля из Москвы я поручила ему передать Маке письмо. Это поручение превратилось в их прочное знакомство. Бабель не только подружился с Макой, но и по особой причине зачастил к ним в дом. Де-

ло в том, что мать Маки была урожденная Лермонтова, отец ее был двоюродным братом Михаила Юрьевича Лермонтова.

В старинном доме на углу Мастерской улицы и канала Грибоедова, где сохранилась еще большая комната с лепными амурами на потолке, зеркальными простенками с позолоченным обрамлением и гипсовой маской Петра Первого на стене, жили, помимо моей подруги Маки, ее бабушка, тетка с семьей и холостяк дядя Владимир Владимирович Лермонтов.

Из разговоров с Владимиром Владимировичем Бабель узнал, что в доме их хранится архив дяди поэта Лермонтова, и, конечно, захотел его посмотреть. А потом стал часто приходить, чтобы читать бумаги из этого архива. Помню, он рассказывал мне, что дядя Лермонтова был женат два раза и в своем дневнике записал: «Первая жена — от бога, вторая — от людей, третья — от дьявола», что после смерти очень любимой им первой жены он остановил часы, которые с тех пор не заводились ни при его жизни, ни после его смерти, что очень интересно было читать расходные книги Лермонтовых, где было записано, сколько заготовлено на зиму возов дров, сена, мяса, свечей и что почем. Среди прочих расходов Бабель нашел запись: «1 рубль жидам на свадьбу». Эта запись очень его развеселила, и он потом часто ее вспоминал. Этот архив хранится теперь в Пушкинском доме.

В Ленинграде Бабель закончил работу над киносценарием «Старая площадь, 4», над которым работал еще в Москве вместе со сценаристом В. М. Крепсом.

Мы пробыли в Ленинграде несколько дней, были в гостях у И. А. Груздева, жена которого оказалась, как и я, сибирячкой

и угощала нас домашними пельменями. Проводили время у Маки, много гуляли по городу, ездили в Петергоф и посещали Эрмитаж. Ходили туда три дня подряд после завтрака до обеда. Никогда после этого я не осматривала Эрмитаж обстоятельнее, чем с Бабелем в том году. В эти дни (20 апреля) Бабель писал своей матери:

«Уф! Гора свалилась с плеч... Только что закончил работу — сочинил в 20 дней сценарий. Теперь, пожалуй, примусь за частную жизнь... В Москву уеду 22-го вечером. В Эрмитаже был уже — завтра поеду в Петергоф. Окончание моих трудов совпало с первым днем весны — сияет солнце... Пойду гулять после трудов праведных...»

И 22 апреля: «Второй день гуляю — к тому же весна. Вчера обедал у Зощенко, потом до 5 часов утра сидел у своего горьковского — времени 1918 года — редактора и на рассвете шел по Каменноостровскому — через Троицкий мост, мимо Зимнего дворца — по затихшему и удивительному городу. Сегодня ночью уезжаю».

Перед отъездом в Переделкино в начале мая 1939 года Бабель сказал мне, что будет жить теперь там постоянно и только в исключительных случаях приезжать в Москву:

— Мне надо к осени закончить книгу новых рассказов. Она так и будет называться «Новые рассказы». Вот тогда мы разбогатеем.

Условились, что в конце мая, когда установится теплая погода, переедем на дачу все.

Работа над сценарием «Мои университеты» подходила к концу, съемки уже начались.

— Не надо было делать и этого, да не могу, чувствую себя обязанным перед Горьким, — говорил Бабель.

В какой-то мере он принимал участие во всех картинах по произведениям Горького — кинофильмах: «Детство», «В людях» и, наконец, «Мои университеты». Он говорил:

— Другие мысли меня сейчас занимают, но Екатерина Павловна меня просила проследить за ними, чтобы не было безвкусицы и отсебятины.

Бабель уехал в Переделкино; прощаясь, он сказал весело:

— Теперь не скоро вернусь в этот дом.

Он попросил меня 15 мая привезти к нему Марка Донского, кинорежиссера картины «Мои университеты», и его ассистентов. Они должны были заехать за мной в Метропроект в конце рабочего дня.

Дома в Москве в то время, кроме меня, оставалась Эстер Григорьевна Макотинская, возившаяся с маленькой Лидой, и домашняя работница Шура.

Тогда я еще не знала, что у нас в комнате Бабеля ночевала наша приятельница Татьяна Осиповна Стах. Засидевшись у кого-то в гостях, Татьяна Осиповна опоздала на последнюю электричку, которая могла бы увезти её домой за город, где Стахи в то время жили. С вокзала Татьяна Осиповна позвонила нам, и Эстер Григорьевна Макотинская пригласила ее приехать. Я спала в другой комнате, и меня будить они не стали.

15 мая 1939 года в 5 часов утра меня разбудил стук в дверь моей комнаты. Когда я ее открыла, вошли двое в военной

форме, сказав, что они должны осмотреть чердак, так как разыскивают какого-то человека.

Оказалось, что пришедших было четверо, двое полезли на чердак, а двое остались. Один из них заявил, что им нужен Бабель, который может сказать, где этот человек, и что я должна поехать с ними на дачу в Переделкино. Я оделась, и мы поехали. Шофер отлично знал дорогу и ни о чем меня не спрашивал. Поехали со мной двое.

Приехав на дачу, я разбудила сторожа и вошла через кухню, они за мной. Перед дверью комнаты Бабеля я остановилась в нерешительности; жестом один из них приказал мне стучать. Я постучала и услышала голос Бабеля:

— Кто?

— Я.

Тогда он оделся и открыл дверь. Оттолкнув меня от двери, двое сразу же подошли к Бабелю. «Руки вверх!» — скомандовали они, потом ощупали его карманы и прошлись руками по всему телу — нет ли оружия.

Бабель молчал. Нас заставили выйти в другую, мою комнату: мы сели рядом и сидели, держа друг друга за руки. Говорить мы не могли.

Когда кончился обыск в комнате Бабеля, они сложили все его рукописи в папки, заставили нас одеться и пойти к машине. Бабель сказал мне:

— Не дали закончить... — И я поняла, что речь идет о книге «Новые рассказы». И потом тихо: — Сообщите Андрею. — Он имел в виду Андре Мальро.

В машине мы разместились так: на заднем сиденье — мы с Бабелем, а рядом с ним — один из них. Другой сел вместе с шофером. «Ужаснее всего, что мать не будет получать моих писем», — проговорил Бабель и надолго замолчал.

Я не могла произнести ни слова. Сопровождающего он спросил по дороге:

— Что, спать приходится мало? — и даже засмеялся.

Уже когда подъезжали к Москве, я сказала Бабелю:

— Буду вас ждать, буду считать, что вы уехали в Одессу… Только не будет писем…

Он ответил:

— Я вас очень прошу, чтобы девочка не была жалкой.

— Но я не знаю, как сложится моя судьба…

И тогда сидевший рядом с Бабелем сказал:

— К вам у нас никаких претензий нет.

Мы доехали до Лубянки и въехали в ворота, машина остановилась перед закрытой массивной дверью, охранявшейся двумя часовыми.

Бабель крепко меня поцеловал, проговорил:

— Когда-то увидимся… — и, выйдя из машины, не оглянувшись, вошел в эту дверь.

Я окаменела и не могла даже плакать. Почему-то подумала — дадут ли ему там стакан горячего чая, без чего он никогда не мог начать день?

Меня отвезли домой на Николо-Воробинский, где все еще продолжался обыск. Ездивший в Переделкино подошел к

телефону и кому-то сообщил, что отвез Бабеля. Очевидно, был задан вопрос: «Острил?» — «Пытался», — последовал ответ.

Я попросила у них разрешения уехать, чтобы не опоздать на работу. Мне разрешили: я переоделась и ушла. Эстер Григорьевна Макотинская, которая ночевала у нас, успела мне шепнуть, что кое-что из одежды Бабеля сумела перенести в мой шкаф, чтобы сохранить для него на случай необходимости. Обыск все еще продолжался. Еще до моего ухода один из сотрудников НКВД куда-то звонил и согласовывал вопрос — сколько комнат мне оставить: одну или две. Потом, обратившись к другому, сказал:

— Есть распоряжение оставить две комнаты.

По тем временам это было даже удивительно: из трех комнат нашей московской квартиры мне с маленькой дочкой оставили две изолированные комнаты. Но тогда я даже не обратила на это внимания. Кроме того, мне сообщили номер телефона 1-го отдела НКВД, куда я могла бы обратиться в случае необходимости.

Опечатали комнату Бабеля, забрали рукописи, дневники, письма, листы с дарственными надписями, вырванные при обыске из подаренных Бабелю книг...

Теперь, вспоминая телефонные переговоры, перебирая в памяти подробности обыска и ареста, я прихожу к убеждению, что Бабель уже тогда, заранее, был осужден.

Я работала в Метропроекте целый день, собрав все силы, ездила договариваться с проектной организацией Дворца Советов, просила передать нам сталь марки ДС для конструкций станции «Павелецкая», которую я тогда проектировала.

Марк Донской с товарищами, которых я в тот день должна была привезти к Бабелю на дачу, ко мне в Метропроект не заехали, как было условлено: очевидно, уже знали, что Бабель арестован.

Когда рабочий день закончился, я добралась домой и только тогда разрыдалась. Случившееся было ужасно, хотя я не предвидела плохого конца. Я знала, что Бабель ни в чем не может быть виноват, и надеялась, что это ошибка, что там разберутся. Но многоопытная Эстер Григорьевна, у которой к тому времени были арестованы и муж, и дочь, не старалась меня утешить.

Позже я узнала: почти одновременно с Бабелем арестовали Мейерхольда и Кольцова.

Чувство беспомощности было всего ужаснее: знать, что самому близкому человеку плохо, и ничем ему не помочь!! Мне хотелось немедленно бежать на Лубянку и сказать то, чего они не знают о Бабеле, но знаю я. От этого шага меня уберегла все та же Эстер Григорьевна. Хорошо, что у меня была работа. Хорошо, что у меня была Лида. Возвращаясь домой, я брала ее на руки, прижимала к себе и шагала с ней часами из угла в угол. Эстер Григорьевна уходила домой: надо зарабатывать переводами деньги на посылки заключенным. А я оставалась одна.

Некоторое время спустя я написала обо всем своей матери в Томск и просила ее приехать. Когда она приехала и взяла на себя заботу о девочке, я стала работать как одержимая и еще поступила на курсы шоферов-любителей только затем, чтобы не иметь ни минуты свободного времени.

Никаких свиданий с арестованным не разрешалось, только один раз в месяц можно было передавать для него 75 рублей. Во дворе здания на Кузнецком мосту имелось небольшое окошечко, куда в очередь передавали эти деньги, называя фамилию арестованного. Никаких расписок не давалось. Длинные очереди растягивались от этого окошечка по всему двору до ворот и даже выходили за ворота. Я всегда была так удручена, что никого не замечала в отдельности. Публика в очереди интеллигентная, в основном женщины, но были и мужчины.

Единственным человеком, позвонившим мне через несколько дней после ареста Бабеля, была Валентина Ароновна Мильман, работавшая тогда секретарем у Эренбурга. Домой ко мне она прийти побоялась, назначила мне встречу у Большого театра и предложила деньги. От денег я отказалась, они у меня были, так как я продолжала работать, но этот ее поступок, редкий по тем временам, я никогда не забывала и с тех пор в течение многих лет была с ней в дружеских отношениях.

Не сразу, но позднее я догадалась, что деньги эти предлагал мне Эренбург; у его секретаря, получавшего небольшое жалованье, не могло быть такой суммы.

С Эренбургом меня познакомил Бабель. Было это в 1934 году, когда однажды вечером Илья Григорьевич пришел к Бабелю, с которым чаще встречался не у нас, а у себя дома или в каком-нибудь кафе.

Ни во время ужина, ни после него Эренбург не обращал на меня никакого внимания. Он курил сигару, пепел сыпался прямо на пиджак, разговаривал с Бабелем и даже не смот-

рел в мою сторону. Я к этому не привыкла, обычно все, с кем меня знакомил Бабель, всегда ко мне обращались, о чем-нибудь расспрашивали, проявляя ко мне особый интерес. Это объяснялось тем, что я была инженером-строителем, занималась проектированием московского метрополитена. Женщина-инженер в то время была редкостью, а строительством метро в Москве интересовались все.

И только с Эренбургом было иначе; и как ни старался Бабель пробудить у него интерес ко мне: сказал ему, что я работала на строительстве Кузнецкого металлургического завода, о чем Эренбург писал «День второй», ничего не помогало, он ко мне не обращался.

Само собой разумеется, что поэтому Эренбург мне сразу не понравился, и в последующем, если он приходил, я после ужина или обеда уходила в свою комнату.

Во время ареста Бабеля, в мае 1939 года, Эренбурга не было в Москве, он был за границей и вернулся в Москву в 1940 году.

Как мне рассказала Валентина Ароновна, распаковывая чемодан, Эренбург прежде всего вытащил из него книгу Бабеля, она лежала сверху.

Узнав об этом, я поняла, как Эренбург любит Бабеля, и это заставило меня изменить к нему прежнее отношение. Книги Бабеля изымались тогда из всех библиотек, хранить их дома тоже было небезопасно.

Месяца через два после ареста Бабеля меня начали одолевать судебные исполнители. У Бабеля были договоры с

некоторыми издательствами, и по этим договорам получены авансы. Вот эти-то авансы издательства в судебном порядке решили получить с меня. Ко мне один за другим являлись судебные исполнители и переписывали не только мебель в оставшихся двух комнатах, но и мои платья в шкафу. Я не знала, что делать, и решила обратиться за советом к нашему с Бабелем «очень хорошему приятелю» Льву Романовичу Шейнину, работавшему тогда в прокуратуре.

Когда он меня увидел, то страшно смутился, даже побледнел. А сколько вечеров до самого рассвета провел он в нашем доме, какие комплименты расточал и мне, и нашему дому! Придя в себя, Шейнин попросил меня пройти в соседнюю комнату и подождать. Через несколько минут он вошел, но не один, а с другим человеком в форме. Очевидно, решил для безопасности разговаривать со мной при свидетеле. Шейнин выслушал меня, успокоился, как мне казалось, от того, что мой приход не означал просьбы хлопотать за Бабеля. Совет позвонить в 1-й отдел НКВД дал мне не Шейнин, а человек, пришедший с ним. И когда я поднялась, чтобы уйти, Шейнин вдруг спросил: «А за что арестовали Бабеля?» Я сказала: «Не знаю», — и ушла.

Дома, воспользовавшись в первый раз телефоном, оставленным сотрудником НКВД во время обыска, я позвонила в 1-й отдел и рассказала о судебных исполнителях, переписывающих вещи. Мне ответили: — Не беспокойтесь, больше они не придут.

И действительно, с тех пор никто из них не приходил.

Пришлось мне звонить в НКВД и еще один раз. Дело в том, что однажды мне позвонили из Одинцовского отделения милиции и сообщили, что из опечатанной дачи в Переделкине украдены ковры. Один из них лежал на полу в моей комнате, другой, поменьше — на полу в комнате Бабеля. Украл их приехавший с Украины родной брат нашего сторожа. Его поймали тогда, когда он уже продал эти ковры, и отобрали у него 2 тысячи рублей. Эти деньги сотрудник из милиции Одинцова просил меня получить. Я позвонила в 1-й отдел, и там мне сказали: «Поезжайте и получите».

Я собралась поехать туда не сразу, прошел, быть может, целый месяц. И когда я приехала в Одинцово, оказалось, что за это время бухгалтер украл эти деньги, был судим и получил 5 лет тюрьмы.

Перед праздником 7 Ноября к нам на Николо-Воробинский пришел молодой сотрудник НКВД и попросил для Бабеля брюки, носки и носовые платки. (Не помню, звонил ли он по телефону, прежде чем зайти.)

Какое счастье, что Эстер Григорьевне во время обыска удалось перенести брюки Бабеля из его комнаты в мою. Носки и носовые платки имелись в моем шкафу. Я надушила носовые платки своими духами и все эти вещи передала пришедшему. Мне так хотелось послать Бабелю привет из дома! Хотя бы знакомый запах.

Раздумывая с мамой о визите сотрудника, мы пришли к выводу, что это — хороший признак, какое-то облегчение, как нам казалось.

Деньги для Бабеля у меня принимали начиная с июня до ноября, а потом сказали, что Бабель переведен в Бутырскую тюрьму и деньги нужно отнести туда. Там у меня взяли деньги в ноябре и декабре 1939 года, а в январе 1940 года сообщили, что Бабель осужден военным трибуналом.

Знакомый адвокат устроил мне встречу с прокурором из военного трибунала, худым, аскетичного вида генералом. Он, посмотрев бумаги, сказал, что Бабель осужден на 10 лет без права переписки и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

От кого-то, еще до свидания с этим генералом, я слышала, что формулировка «10 лет без права переписки» означает расстрел и предназначена для родственников.

Я спросила об этом генерала, сказав ему, что не упаду тут же в обморок, если он сообщит мне правду. И генерал ответил: «К Бабелю это не относится».

После визита к прокурору военного трибунала я ходила в приемную НКВД за официальным ответом. Помнится, это был второй этаж небольшого, быть может, двух- или трехэтажного и весьма невзрачного здания, которое стояло на месте теперешнего «Детского мира» на площади Дзержинского.

Помню мрачную приемную, из которой вела дверь в угловую комнату с картотекой. За столом сидел молодой и курносый, очень несимпатичный человек и давал ответ на вопрос, предварительно порывшись в картотеке. После официального ответа, уже известного мне, он сказал:

— Тяжелое наказание... Вам надо устраивать свою жизнь...

Рассердившись, я ответила:

— Я работаю, как еще я должна устраивать свою жизнь?

И даже такой явный намек не убедил меня тогда в том, что Бабель расстрелян.

Все лето 1939 года я с маленькой Лидой оставалась в Москве, вывезти ее за город не могла: я не брала отпуск, ждала изо дня в день каких-нибудь известий о Бабеле. В Москве то и дело возникали слухи: кто-то сидел с Бабелем в одной камере, кто-то передавал, что дело Бабеля не стоит выеденного яйца... Я пыталась встретиться с этими людьми, но каждый раз это не удавалось. Оказывалось, не сами они сидели с Бабелем, а какие-то их знакомые, которые либо уехали из Москвы, либо боятся со мной повидаться. А однажды летом ко мне пришла дочь Есенина и Зинаиды Райх Татьяна. Она слышала, что Мейерхольд и Бабель находятся вместе где-то, ей кто-то передал, и не знаю ли я чего-нибудь. Я ничего не знала. Как понравилась мне эта милая, юная девушка, такая белокурая и с такими чудными голубыми глазами! И не только своей внешностью, но этой готовностью поехать куда угодно, хоть на край света, — лишь бы узнать хоть что-нибудь о Всеволоде Эмильевиче, своем отчиме, и как-нибудь ему помочь. Такая готовность поехать за Бабелем на край света была и у меня. Но, поговорив о том, какие ходят слухи, как мы обе гоняемся за ними, а они рассыпаются в прах, мы расстались. Больше я никогда не видела эту девушку, но знала о ее нелегкой судьбе, о сыне, которого она, кажется, назвала Сережей.

У членов семьи осужденных было еще одно право — каждый год один раз подавать заявление в приемную НКВД на

Кузнецком мосту, 24, справляясь о судьбе заключенного, а потом в назначенное время приходить за ответом. Такие заявления опускались в ящик, висевший на этом здании, а за ответом приходили к окошку уже внутри помещения. И в ответ на мои заявления в 1940 и 1941 году весной ответ был одинаковый: «Жив, содержится в лагере».

Когда я впервые прочла список НКВД о том, что у Бабеля взяли из вещей во время ареста, я удивилась скрупулезности этого списка, в котором перечислены обрывки пленок, какой-то ремешок, старые сандалии и т. д. И тогда абсолютно не обратила внимания на то, что в списке нет часов, хотя у Бабеля их было двое — одни, принадлежавшие еще отцу, другие на руке, и часы были швейцарские. Отсутствовали в списке его сберегательные книжки, одна с небольшой суммой денег, другая — на две тысячи рублей: на эту книжку Бабель положил деньги Рыскинда. Когда Рыскинд получил гонорар за свою пьесу, Бабель ему сказал: «Я положу Ваши деньги на свою книжку и буду выдавать Вам по частям, иначе вы их сразу все растранжирите, а Вы должны спокойно работать, я поручился за Вас перед издательством, что пьеса Ваша будет закончена в срок». И кроме того, Бабель, конечно, имел наличные деньги, не так много, но он, уехав в Переделкино, должен был платить писательскому дому за обеды, платить жалование сторожам. Никаких следов ни часов, ни денег, ни сберегательных книжек в списке нет. Что это значит?

Просто во время обыска украли? И это было узаконенное воровство. Как они могли получить деньги Бабеля по сберкнижкам? Или органы все могли?..

В конце лета 1940 года к нам приехали за конфискованными вещами.

В это время дома была я и мой брат Олег, гостивший у меня; мама с Лидой жили на даче, снятой мной в это лето поблизости от станции Кубинка по Белорусской железной дороге. Приехавший сотрудник НКВД открыл дверь опечатанной комнаты Бабеля, сам перешел в столовую и начал составлять опись, попросив меня перечислять вещи.

Я удивилась, когда услышала, что брат вызвался помогать, то есть снимать шторы, свертывать ковер, перетаскивать костюмы и белье.

Сотрудник НКВД остался этим доволен и даже очень удивлен, что мы так спокойно относимся к такому событию. Спокойно, а потом и просто весело. Дело в том, что когда я вышла в свою комнату, то увидела, что Олег не только отрезал половину ковра, ту, что была на тахте и частично на стене, оставив там лишь ту, которая лежала на полу, но и подменил шторы. В моей комнате висели шторы из обыкновенной плотной ткани с нанесенным на нее рисунком, а в комнате Бабеля шторы были из прекрасной материи на подкладке и с фланелью внутри. Увидев эту замену, я рассмеялась; смех было трудно скрыть, отчего сотрудник НКВД удивлялся нашему веселью. Из столовой взяли очень красивый буфет черного дерева с вырезанными в нем фигурками. Буфет старинный, Бабель сам купил его у кого-то. Кроме того, из столовой были взяты еще какие-то мелкие вещи и картины. Оставили обеденный стол, стулья и диван. Мне было жалко отдавать тахту Бабеля, которую он сам заказывал,

и я попросила забрать диван из столовой и оставить тахту, на что сотрудник охотно согласился. Когда опись вещей была закончена, пришли рабочие и погрузили все в машину.

Комната Бабеля снова была заперта на ключ и долго оставалась пустой. Только весной 1941 года в ней поселился следователь НКВД с женой.

Для него мы были не люди, а враги народа. Иначе он нас и не называл.

По образованию этот следователь был инженером, но, очевидно, еще в институте был завербован в органы и по специальности не работал.

Что он делал на войне, я не знаю, но, наверно, чем-то провинился, так как вскоре после окончания войны был уволен из органов и должен был искать себе работу. Ему нашли место заведующего пивным залом в одном из районов Москвы. Туда приходили с водкой, угощали бесплатно. А районное начальство надо было угощать уже самому заведующему и с ними пить. Так он и спился, стал алкоголиком. Дважды ему угрожала конфискация имущества за растраты, но вещи и мебель срочно увозились из комнаты. Конфисковать было нечего.

Наконец его уволили. Он устраивался на работу еще несколько раз, все снижаясь в должности, был под конец даже ночным сторожем в каком-то складе, но и оттуда его уволили за пьянство.

Жена от него ушла.

Жить с ним в одной квартире было трудно и противно. Каждый день пьяный, то стучит в двери наших комнат, то

оставляет дверь на улицу открытой настежь, а газовые конфорки зажженными, то приводит всяких пьяниц с улицы. Заснуть до его прихода домой было опасно. Услышав его храп, я вставала, спускалась вниз, закрывала распахнутую дверь, тушила газовые горелки и освещение, и только тогда можно было спать.

И с таким человеком нам пришлось прожить в коммунальной квартире 17 лет.

Как добры русские люди к пьяницам, можно было судить на примере нашего соседа. Где бы он пьяный ни сваливался, его всегда кто-нибудь притаскивал домой. То это были какие-то женщины, то молоденький милиционер, то хорошо одетый мужчина, перепачкавший о него свою одежду. Приводили, звонили и говорили: «Забирайте своего пьяницу». И ни разу он не простудился и не заболел, пока наконец не умер от паралича сердца. Умер ночью в соседнем доме на кухонном столе.

Узнав об этом, я обрадовалась, так я устала от жизни с этим соседом.

В кабинете Бабеля за все 17 лет пребывания там этого бывшего следователя не было ни одной книги. Он ничего не читал вообще. Удивительно: человек учился в школе, закончил институт, а никакой потребности в чтении не приобрел. И такими людьми в нашей советской стране заменялись люди интеллигентные, образованные, талантливые.

Мне не хотелось писать обо всем этом, но тему эту — повседневной жизни семьи арестованных — я до сих пор не встречала в мемуарной литературе, хотя рассказов о

подобных вещах наслушалась достаточно. Ведь это еще одна сторона «культа личности».

Обстановка в Метропроекте для меня после ареста Бабеля не изменилась. Большинство из ближайших ко мне сотрудников ничего не знали, а кто и знал, со мной об этом не говорили.

Осенью 1939 года меня вызвали в партийный комитет Метропроекта и предложили работать агитатором в домах-общежитиях Метростроя. И когда я сообщила, что у меня арестован муж, секретарь парткома спокойно сказал:

— К вам это отношения не имеет.

Сам ли он так решил или получил какие-нибудь указания на мой счет от органов, так для меня и осталось тайной.

Во всяком случае, я не чувствовала к себе какого-нибудь недоверия и, как и все остальные, вела разную общественную работу в Метропроекте. Я осталась руководителем группы, занимавшейся проектированием станции «Павелецкая-радиальная» со всеми примыкающими к ней сооружениями.

Металлические конструкции станции «Павелецкая-радиальная» изготовлялись в Днепропетровске. Мне приходилось и раньше ездить туда в командировки, но в 1941 году в начале июня такая моя поездка приобрела особое значение. Конструкции были срочно нужны, а их изготовление завод задерживал.

На заводе оказалась сложная обстановка потому, что одновременно со мной туда прибыл еще один командированный, требовавший срочного изготовления конструкций для

мостов где-то на Севере. Убеждая меня уступить ему право первенства, он говорил: «Если не будут срочно построены мосты, у нас заключенные в лагерях останутся без питания». Какой болью в сердце отозвались для меня эти слова! Я ведь тогда не знала, где находится Бабель, быть может, в этих самых лагерях. Молодой человек, заботившийся о заключенных, стал мне сразу симпатичен, и мы мирно договорились с заводом — кому и в какие сроки будут изготовлены конструкции, чередуя эти сроки между собой. Он уступал мне, я ему. В Москву я возвратилась 14 июня, а 20-го выехала в командировку в Абхазию, где началось строительство железной дороги от Сочи до Сухуми с восемью тоннелями на ее пути. К тому времени в Новом Афоне уже имелась проектная группа Метропроекта, но ее требовалось усилить. Сначала я отказывалась ехать из-за того, что надо снимать дачу и вывозить дочку с мамой за город. Начальство, заинтересованное в моей поездке, посоветовало взять девочку и маму с собой, и я согласилась. Задание заключалось в привязке порталов тоннелей к местности, решении на месте вопросов борьбы с оползнями, отвода воды и других. Предполагалось, что с этой работой проектная группа справится за один-полтора месяца.

С собой мы взяли только летние вещи.

Когда поезд подходил к станции Лазаревская, мы узнали, что началась война. Прямо на платформе состоялся митинг. Возвращаясь с митинга в вагон, четырехлетняя Лида весело сказала: «Ну вот, война кончилась». Многие пассажиры, доехав до Сочи, возвратились в Москву. Мы же на автобусе

поехали в Новый Афон. Приехали ночью в кромешной тьме; огней зажигать было нельзя; немцы бомбили наши города.

Проектная группа занимала для работы один большой номер в гостинице. В этой же гостинице жили все наши сотрудники.

Управление строительством тоннелей находилось в Гудаутах, управление строительством железной дороги — в Сухуми.

Вместе с нами в Новом Афоне была размещена транспортная контора нашего строительства с автобазой.

Очень скоро после нашего приезда Новый Афон опустел. Старые курортники разъехались, новые не прибывали. Санатории закрылись, на пляжах никого.

Мы с утра работали, часто выезжали на строительство тоннелей для осуществления авторского надзора и иногда в Гудауты или Сухуми на различные совещания. Я поначалу занималась тоннелями 11 и 12 на Мюссерском перевале между Гаграми и Гудаутами, иногда приходилось ночевать в Гаграх в пустой гостинице «Гагрипш». Пробирались в номер со свечкой в полнейшей темноте. Заснуть было невозможно, мешали воспоминания о моем приезде в Гагры с Бабелем в 1933 году. Трудно представить себе Гагры с роскошной растительностью в цвету совершенно безлюдными. В Новом Афоне, кроме местного населения, были только строители тоннелей 13 и 14, сотрудники нашей проектной группы и транспортной конторы, шныряли туда и обратно полуторки, изредка появлялись легковые машины начальства.

Проектной работы оказалось гораздо больше, чем первоначально предполагалось, так как из-за плохих карт местности ни один из порталов тоннелей, запроектированных в Москве, в натуре не попадал в нужное место. Все чертежи порталов тоннелей пришлось проектировать заново.

Тоннели 15 и 16 в Эшерах частично попали в оползневую зону. Припортальные участки этих тоннелей значительно усложнились и потребовали коренного изменения.

Тоннель 14 в Новом Афоне одним концом выходил на территорию дачи Сталина, которой раньше не было. Пришлось изменить его трассу, отказаться от выемки, ввести галереи и траншеи как продолжение самого тоннеля, чтобы как можно меньше нарушить территорию участка, засаженного молодыми лимонными деревьями.

Когда выяснилось, что месячная командировка в Новый Афон переходит в необходимость работать там длительное время и в то же время наша проектная организация из Москвы эвакуируется в Куйбышев, мы получили распоряжение главного инженера Метростроя Абрама Григорьевича Танкилевича оставаться на месте. Но ни у кого из нас не было теплых вещей, и Метропроект организовал для нас посылку из Москвы. Так как у меня в Москве не оставалось родственников, я переслала ключи от квартиры приятельнице Валентине Ароновне Мильман с просьбой собрать наши теплые вещи и передать их в Метропроект. Так же поступили и другие сотрудники нашей группы.

Валентина Ароновна, работавшая тогда секретарем Эренбурга, получив ключи от нашей квартиры, догадалась

забрать большой ковер на полу в нашей комнате и отвезти его Эренбургу, чтобы утеплить пол комнаты, где он работал. Ему же она отвезла кофеварку, привезенную Бабелем в 1935 году из Парижа.

Мне было приятно, что ковер и кофеварка послужили Эренбургу, а кроме того, эти вещи, в отличие от украденных соседями, вернулись в дом после нашего приезда.

Первый год войны мы прожили на Кавказе почти спокойно. Но война затягивалась, и некоторые сотрудники нашей группы начали нервничать, стремиться уехать в Москву. Немцы к тому времени перерезали железную дорогу, соединяющую Сочи с Москвой. Уезжать нашим сотрудникам пришлось через Красноводск. Добирались до Москвы за 40 дней. Уехал и руководитель нашей группы Б. В. Грейц с женой. Я осталась во главе проектной группы. Мне с мамой и маленькой Лидой опасно было трогаться в такой далекий путь.

Когда строительство тоннелей прекратилось из-за отсутствия цемента, который мы получали из Новороссийска, был дан приказ законсервировать тоннели. На это требовался лес. Пришлось организовать лесоразработки вблизи от Пицунды.

Немцы подходили к Туапсе. Мы начали срочно строить железную дорогу в обход тоннелей. А пока вооружение из Ирана к Туапсе шло по извилистой шоссейной дороге, разбитой до предела. Во время дождей дорога портилась, колонны машин останавливались.

Немцы начали бомбить Тбилиси и Сухуми. Бомбы сбрасывали не особенно тяжелые, но и они приводили к жерт-

вам. Одна бомба упала вблизи от здания управления строительством железной дороги; известка с потолка посыпалась на голову начальнику управления А. К. Цатурову. Женщине-инженеру Ростомян, выбежавшей в сквер возле здания, оторвало кисть руки. Были убитые и среди населения Сухуми на других улицах. Управление строительством железной дороги переехало из Сухуми в Новый Афон.

Самолеты немцев начали летать и над Новым Афоном. По тревоге мы прятались в канавах, прорытых еще монахами для отвода воды со склона маслиновой рощи. Наши зенитки стреляли по самолетам, и пустые гильзы падали на нас.

Возможно, немцы узнали, что части морской пехоты расположились на отдых в пустых санаториях Нового Афона, а может быть, закрытые от морозов белыми колпаками молодые лимонные деревья принимали за палатки воинских частей. Во всяком случае, оставаться в гостинице мы побоялись и сняли для работы комнату в частном доме в поселке Псырцха и сами переехали в дома этого поселка.

Связь с Москвой прервалась, и мы перестали получать зарплату из Метропроекта. Пришлось работать по договорам с заказчиком или с другими организациями Абхазии. Нашей группе были заказаны проекты бомбоубежищ: маленького во дворе обкома и большого в городе.

Обстановка становилась все тревожнее. Немцы подошли к Туапсе на расстояние в 8 километров, но, кроме того, нависли над нами в горах. Войска наши отступали. Иногда на полу моей комнаты ночевало по нескольку солдат.

Однажды утром мой хозяин Арут Моргосович Янукян показал мне на дом абхазца, напротив нашего дома. Деревянная пятиконечная звезда, украшавшая фронтон дома, была за ночь снята, остался только след нового дерева под ней. Арут сказал:

— Ждет немцев… ничего не бойся, я уведу всех в лес, в горы. Знаю такие места, что ни один немец туда не доберется. Там и отсидимся, пока наши снова не придут.

И все-таки я однажды пошла к начальнику управления Александру Тиграновичу Цатурову посоветоваться: как быть?

Кроме мамы и Лиды, на моей ответственности были еще оставшиеся в Новом Афоне сотрудники группы, тоже с семьями.

Цатуров мне тогда сказал, показывая на свой стол:

— У меня под сукном лежит приказ за подписью Кагановича — в случае опасности эвакуироваться в Иран. Ведь транспорт в нашем распоряжении.

Скоро немцев в горах разгромили отряды добровольцев из местного населения под командованием военных. А когда наши строители закончили железную дорогу в обход тоннелей и первые поезда с военным снаряжением пошли по ней, немцев отогнали от Туапсе.

Радость военных по поводу постройки этой железной дороги была велика. Митинг закончился объятиями и поцелуями, подбрасыванием строителей в воздух.

Дорога, конечно, была аховая. Овраги пересекались на шпальных клетках, оползневые участки требовали ежеднев-

ной и бесконечной подсыпки под шпалы гравия, который тут же сползал в море. Этот сизифов труд выполняли рабочие бригады из штрафников, которых не посылали на фронт: не доверяли им.

Обстановка в Новом Афоне и настроение людей улучшились, военные сводки стали обнадеживающими. Живя у Арута, я часто думала, что если Бабеля освободят и не разрешат ему жить в Москве, то будет очень хорошо поселиться ему здесь, в этом саду с виноградной беседкой и с роскошным видом на море.

Наступил 1944 год. Пора было возвращаться в Москву. Лиде исполнилось 7 лет, нужно было подумать о ее образовании. В Новом Афоне Лида вела жизнь вполне деревенской девочки. По утрам с кукурузника (высокая башня с лесенкой) доставала кукурузные початки, ручной мельницей молола в крупу зерна кукурузы, кормила кур и цыплят. Цыплята настолько к ней привыкли, что смирно сидели у нее на голове, плечах и руках, и она в таком виде расхаживала с ними по двору. По вечерам пастух кричал не хозяйке Оле, а Лиде: «Лида, забирай свою корову!» Лида хватала веревку с гвоздя, бежала за ворота, наматывала веревку на рога коровы и вела ее по тропинке через сад в хлев. Лида чувствовала себя так же, как любой армянский или абхазский мальчишка. Ныряла и плавала великолепно. Уплывала в море так далеко, что ее совершенно не было видно, и пропадала там часами. Это стоило бы мне много нервов, если бы я всегда была свидетелем этих заплывов. Чаще всего я об этом узнавала потом.

В Москву мы возвратились в феврале 1944 года. Ехали через Сталинград, и пока поезд там стоял, мы с Лидой вышли на площадь. Зрелище полностью разбитого города было ужасающим. В некоторых местах высились только отдельные стены бывших кирпичных домов с проемами окон, все вокруг — сплошной битый кирпич. На вокзальной площади круглая раковина фонтана с полууцелевшими скульптурами детей вокруг. И по всей дороге в Москву видны были следы страшного разрушения. А так как мы в Новом Афоне почти не испытали ужасов войны, эти картины по дороге в Москву явились для меня единственным впечатлением от войны и до сих пор стоят перед глазами. Отдельные разрушения в Москве были уже подчищены и не особенно заметны.

Несмотря на то, что моя квартира была забронирована ГКО, она была разорена. «Нижние» соседи, военком и заместитель начальника отделения милиции нашего района распространили слух, что я, как жена репрессированного, перешла к немцам и в Москву не вернусь. Поэтому в домоуправлении одну из комнат отдали печнику, а в другой селились домоуправы. Их было несколько, сменявших друг друга за время войны, и каждый считал нужным поселиться в одной из моих комнат. Все вещи были разворованы.

Еще в конце 1943 года в Москву с фронта приехал дальний родственник Бабеля Михаил Львович Порецкий. Он зашел в наше домоуправление, объяснил им, что я в командировке и скоро возвращаюсь, добился освобождения одной комнаты. Когда очередной домоуправ выехал из комнаты,

Порецкий повесил замок и ключ передал начальнику конструкторского отдела Метропроекта Роберту Августовичу Шейнфайну, встречавшему нас на вокзале. Но в комнате нельзя было оставаться ночевать из-за холода. Маму с Лидой пришлось пристроить к соседям из второй половины дома, а самой уйти ночевать к приятельнице.

У тетки Бабеля в Овчинниковском переулке М. Л. Порецкий оставил для меня немецкую железную печку, и когда я на саночках привезла эту печку домой и мы ее чем-то затопили, в комнате стало возможно жить. Кроме мебели, из вещей наших ничего не сохранилось. Не было никакой посуды, ничего из постельного белья — ни одеял, ни подушек. В шкафу, к великому моему счастью, валялись фотографии, и из них часть фотографий Бабеля.

Но самое главное — в доме не осталось ни одной книги.

Полностью теперь уж разоренный наш дом для своего хотя бы самого необходимого восстановления требовал много денег. Я снова начала работать в Метропроекте, получив для проектирования станцию «Киевская» со всеми относящимися к ней сооружениями и примыкающими перегонами кольцевой линии.

По вечерам я старалась заработать дополнительно, берясь за любую проектную работу. Такой работы сразу после войны предлагалось много, был период восстановления разрушенного.

Прежде всего у одной дамы мне удалось купить неплохую библиотеку, где были однотомники основных классиков русской литературы. Если в букинистических магазинах мне

попадались те книги, которые были у нас с Бабелем, то я их всегда покупала.

Чтобы получить вторую мою комнату, пришлось судиться. Все права были на моей стороне. Квартира была забронирована постановлением ГКО, квартирную плату аккуратно вносил Метропроект. Печник Челноков, занявший мою комнату, также аккуратно платил за свою комнату, из которой домоуправление сделало красный уголок. Тем не менее народный суд мне в иске отказал. Судья Матросов сказал так: «У меня рука не поднимется отдать вторую комнату такой маленькой семье, когда у нас генералы валяются в коридорах». И был он мне невероятно симпатичен за эти слова. Но в то же время я не могла согласиться с тем, чтобы жить втроем в одной комнате. Конечно, городской суд отменил первое решение народного суда и вторую комнату мне возвратили. Челноков благополучно вернулся в свою старую комнату, и мы с ним остались друзьями.

Летом 1944 года я с великим страхом подала обычное заявление в НКВД с просьбой сообщить мне о судьбе Бабеля. Со страхом вот почему. От знакомых я узнала, что обычный ответ на такие заявления гласил: «умер в 1941 г.», «умер в 1942 г.»... Какова была моя радость, когда я получила ответ: «Жив, здоров, содержится в лагерях». Так было и в 1945 и 1946 годах. А на запрос в 1947 году мне сообщили: «Жив, здоров, содержится в лагерях. Будет освобожден в 1948 году». Нашей радости не было границ. Мы с мамой решили, что Бабеля освободят раньше, чем истечет срок приговора.

Решили за этот год отремонтировать квартиру, перебить мягкую мебель и летом 1947 года занимались всем этим, готовясь встретить Бабеля. А летом 1948 года мне снова ответили кратко: «Жив, здоров, содержится в лагерях», и я решила, что начался еще больший произвол и что, наверно, срок еще увеличили. Повсюду тогда ходили слухи об увеличении сроков и всяком произволе в лагерях. После 1948 года я заявлений в НКВД не подавала. Так наступил 1952 год, а Бабеля все не было. Однажды в августе 1952 года мама позвонила мне на работу и сказала, чтобы я немедленно пришла домой. Я схватила такси, надеясь застать Бабеля дома. Но оказалось, к нам приходил человек (совершенный зек, как его описывал впоследствии Солженицын) и рассказал, что вышел из лагеря, расположенного на Колыме, что арестован он был во время войны за сотрудничество с немцами, осужден на 8 лет, отбыл этот срок. Рассказал, что сам он из Бреста и фамилия его Завадский. После какого-то очередного перемещения из одного лагеря в другой он, по его словам, оказался вместе с Бабелем. Письмо от Бабеля он не привез, так как Бабель, когда он уходил из лагеря, был якобы в больнице. Завадский в сапоге привез письмо одной женщине от мужа, которой тот пишет и о Бабеле. Он назвал маме имя этой женщины — Мария Абрамовна — и написал ее телефон. Подождать меня Завадский не мог, спешил на вокзал. Вид его, как рассказала мне мама, был изможденный, цвет лица серый, в сапогах и в плаще каком-то старом. Я в тот же день позвонила Марии Абрамовне, и она пригласила меня зайти. Шла я к ней с опаской, боялась, что за мной следят.

Так мне казалось, и, может быть, поэтому совершенно сейчас не помню, где она жила. Кажется, в одном из переулков между Арбатом и улицей Герцена. Помню, что дом старинный, с высокими массивными дверями и высокими потолками. Дверь отворила женщина с очень красивым лицом. Черные волосы, гладко зачесанные на прямой пробор, с тяжелым узлом сзади. Классически правильные черты лица. Высокая, немного полноватая женщина. Она рассказала, что ее муж (смутно помню, что назвала она его Гришей, а фамилии не помню) был послом или посланником нашим в Америке. Она и две маленькие дочери находились с ним. Вдруг, году, наверное, в 1937 или 38-м, его отозвали в Москву и поселили в роскошной квартире-номере в «Метрополе». Так всегда бывало с работниками посольства: пока им не предоставят квартиру, они живут в номерах «Метрополя». Туда-то и пришли ночью за мужем через несколько дней после возвращения из Америки. Ее арестовали тоже, но в одно ли время с мужем или позднее — не помню. Девочек сначала куда-то увезли, в какой-то детдом, а потом отдали ее родителям. Ей каким-то образом удалось освободиться через год или два. Такое у меня сложилось впечатление. Было удивительно, как ей удалось освободиться, но тогда у меня никакие подозрения не шевельнулись.

Мария Абрамовна рассказала мне, как пришел Завадский — очень боялся, снял сапог и вытащил письмо. Потом она достала это письмо, став на стул, из подвешенного высоко в углу комнаты шкафчика и прочла его мне. Я спросила ее — узнает ли она почерк мужа; она сказала: «И да, и нет.

Как будто его почерк, но написано письмо дрожащей рукой». Я запомнила из этого письма: «Как будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял оказию послать весточку домой», — это дословно, и далее, что он работает счетоводом, сидит в конторке, у них тепло, много пишет. О том, что он в больнице, — как ни о чем особенном, выйдет непременно. Поражало слово «оказия» — это бабелевское слово, в письмах он часто его употреблял. Я расплакалась, и Мария Абрамовна тоже. Так мы поплакали вместе, а сделать все равно ничего не могли.

Больше ни я ей, ни она мне не звонила. Все это случилось в августе 1952 года. Я была уверена, что Бабель жив и находится в лагере на Колыме. Непонятно было только, как человек такого обаяния, как Бабель, не мог из лагеря послать о себе весть. Но объясняла я это, во-первых, строгостью режима лагерей и, во-вторых, нашим отсутствием в Москве в течение почти трех лет.

На всякий случай мы решили послать запрос в Магаданскую область. Кто-то из знакомых узнал адрес, по которому следовало писать. И вот Лида Бабель написала в почтовый ящик № АВ 261, в ведении которого были все лагеря Магадана и Магаданской области, просьбу сообщить, — не у них ли содержится И. Э. Бабель.

В ответ получили уведомление: «На Ваше заявление сообщаем, что Бабель Исаак Эммануилович 1894 по адресу город Магадан, Магаданской области, и/я 261 не значится».

Однажды мне сказали, что писатель К. рассказывал писателю Евгению Рыссу о том, как умер Бабель где-то в лагере

под городом Канском Красноярской области. Я попыталась разыскать Евгения Рысса, но он жил в Ленинграде, и мне это не удалось. А в году 1955-м, уже после реабилитации Бабеля, мне вдруг позвонил сам К. и спросил, не хотела ли бы я узнать подробности смерти Бабеля, и предложил с ним встретиться. Эта встреча произошла на Тверском бульваре напротив дома Герцена. И К. мне рассказал, что его отец был начальником лагеря под Канском. Там была пошивочная мастерская, где работали заключенные. Бабелю сшили там плащ из брезента темно-зеленого цвета, и он в нем ходил. Этот плащ, говорил К., и сейчас хранится у его матери, живущей где-то в Сибири, и если я хочу, он может этот плащ мне привезти. У Бабеля в этом лагере была своя маленькая комнатка; работать его не заставляли, он много писал.

— А я присылал ему бумагу, — рассказывал К. — Сам я тогда работал в газете во Владивостоке. Отец мой очень хорошо относился к Бабелю. Он написал мне, что ему нужна бумага. Вот я и присылал бумагу. Однажды Бабель пошел гулять во двор лагеря в этом своем плаще и долго не возвращался. Все обеспокоились и вышли его искать. Во дворе стояло одинокое дерево, а возле него скамья. Бабеля нашли сидящим на этой скамье, прислонившимся к дереву. Он был мертв.

Итак, лагерь под городом Канском и пошивочная мастерская.

Я не настояла на том, чтобы плащ мне привез К., не потому, что я тогда сразу же не поверила ему, а потому, что мне страшно было иметь его в доме и хранить.

Наверное, через год или два после свидания с К. я на майские праздники поехала с приятельницей отдохнуть в дом композиторов под Рузу. Гуляя, мы зашли в дом творчества писателей и там встретили Евгения Рысса. Когда нас познакомили, я спросила его, рассказывал ли ему К. о смерти Бабеля, и попросила его повторить мне этот рассказ.

К. рассказал Рыссу, что его отец был начальником тюрьмы в городе Канске, где содержался Бабель. Квартира начальника тюрьмы находилась рядом с камерой Бабеля и имела общий с ней балкон. И Бабель по этому балкону часто переходил к родителям, и мать кормила его пирогами. Именно у них в доме на черном клеенчатом диване Бабель однажды умер от разрыва сердца. Тоже говорилось, что Бабель много писал, что К. присылал ему бумагу. Добавлено было, что все написанное Бабелем, после его смерти, забрал в Москву какой-то сотрудник Центрального НКВД.

Примерно за год до ареста Бабеля в нашем доме появился Я. Е. Эльсберг. Когда я застала этого нового знакомого Бабеля, возвратясь с работы, я ничуть не удивилась. Так бывало и прежде, тем более, что Эльсберг работал у Каменева в издательстве «Academia». Эльсберг меня удивлял и даже смешил своей готовностью на всякие услуги. Стоило мне сказать при нем, что нужно в квартире сделать какой-то ремонт, как моментально он приводил маляров. Стоило заикнуться, что неисправен какой-нибудь штепсель, как на другой же день приходил электромонтер, и т. д. А однажды Бабель сказал мне, что на премьеру оперы «Иван Сусанин»

в Большой театр меня будет сопровождать Эльсберг. Билеты были в ложу, и я с удивлением обнаружила, что Эльсберг оперу почти не слушал. Не дожидаясь окончания первого акта, он куда-то исчез, а через некоторое время возвратился с пакетом апельсинов, чтобы меня угощать. В течение второго акта Эльсберг уходил, как оказалось, заказывать машину для отъезда, а не дожидаясь конца третьего акта, ушел из ложи и принес наши пальто.

После окончания премьеры нас ждала шикарная машина черного цвета, на которой Эльсберг отвез меня домой.

Дома я со смехом рассказала Бабелю, как ухаживал за мной Эльсберг в театре, и Бабель очень смеялся.

Я знаю, что Бабеля предупреждали о том, что Эльсберг к нему приставлен, но не знаю, как он к этому относился. Знаю только, что Эльсберг продолжал к нам приходить до самого ареста Бабеля, а после наносил визиты мне регулярно один раз в месяц. Придет, одетый как жених, принесет Лиде детские книжки, выпьет стакан чаю и уйдет. Он не вел со мной никаких провокационных разговоров, не задавал мне никаких вопросов. Эти визиты Эльсберга я называла «визитами вежливости». Каждый раз после его ухода мне хотелось недоуменно пожать плечами.

К концу 1939 года визиты Эльсберга прекратились.

Когда началась реабилитация репрессированных людей, выяснилась роль Эльсберга и был поднят вопрос о привлечении его к ответственности. Чтобы проверить причастность Эльсберга к арестам писателей, создали комиссию, которой разрешили просмотреть дела арестованных. Конечно, с чле-

нов этой комиссии была взята подписка о неразглашении увиденного в делах. Тем не менее кое-какие сведения просочились.

Эльсберга тогда исключили из членов Союза писателей и хотели привлечь к уголовной ответственности, хотя этого не допустили. Однажды, какое-то время спустя после разоблачения Эльсберга, я встретила его в Институте мировой литературы, случайно с ним столкнулась. У него был такой жалкий вид, что я ответила ему на поклон, но не остановилась. Жалкая у него судьба и страшная была жизнь!

О возможности реабилитации заключенных я узнала одной из первых.

Главного инженера Мосметростроя Абрама Григорьевича Танкилевича судили по какому-то выдуманному делу вместе с сотрудниками Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Его не взяли, находился только под домашним арестом и должен был являться на заседания народного суда.

Суд длился долго, так как обвиняемых было много. И вот однажды во время перерыва в судебном заседании Танкилевич случайно подслушал разговор адвокатов между собой, из которого узнал, что создана комиссия под председательством Генерального прокурора СССР Руденко по реабилитации людей, осужденных в годы культа личности Сталина. Это было в январе 1954 года. Танкилевич сейчас же позвонил мне и рассказал о подслушанном разговоре адвокатов. Я ничего не знала о такой комиссии и понятия не имела, как

нужно к ней обращаться, но сейчас же написала заявление такого содержания:

«Мой муж, писатель И. Э. Бабель, был арестован 15 мая 1939 года и осужден на 10 лет без права переписки.

По справкам, получаемым мною ежегодно в справочном бюро МВД СССР, он жив и содержится в лагерях.

Учитывая талантливость И. Э. Бабеля как писателя, а также то обстоятельство, что с момента ареста прошло уже 15 лет, прошу Вас пересмотреть дело И. Э. Бабеля для возможности облегчения его дальнейшей участи.

А. Пирожкова
25.1.54 г.»

В последующем в заявлениях, адресованных Руденко, прямо просили о реабилитации. Мне же тогда это слово было незнакомо.

К нашему удивлению, через 10 дней пришел ответ от Генерального прокурора, в котором сообщалось:

«Ваша жалоба от 5 февраля 1954 г., адресованная Генеральному прокурору СССР по делу Бабеля И. Э., поступила в Главную военную прокуратуру и проверяется.

О результатах Вам будет сообщено».

А через две недели, то есть 19 февраля 1954 г. — снова письмо из Прокуратуры СССР:

«Сообщаю, что Ваша жалоба Прокуратурой СССР проверяется. Результаты проверки будут сообщены дополнительно».

Первое письмо было подписано военным прокурором Главной военной прокуратуры, а второе — прокурором отдела по спецделам.

Но прошло еще несколько месяцев, когда уже летом, быть может, в июне, мне позвонил незнакомый человек, назвался следователем Долженко и пригласил зайти к нему. Отделение прокуратуры, где принимал меня Долженко, помещалось на улице Кирова, недалеко от Кировских ворот.

Это был довольно симпатичный, средних лет человек. Перелистывая какую-то папку, он задавал мне вопросы сначала обо мне, где работаю, какую должность занимаю, какая у меня семья. Узнав, что я работаю главным конструктором в Метрогиптрансе, он сказал:

— Это удивительно при ваших биографических данных.

Вопросы, относящиеся к Бабелю, касались его знакомства с Андре Мальро и с Ежовыми. Я спросила Долженко:

— Вы дело Бабеля видели?

Он ответил:

— Вот оно, передо мной.

— И какое у вас впечатление?

— Дело шито белыми нитками...

И тут я чуть не потеряла сознание. В глазах у меня потемнело, и я чудом не упала со стула, схватившись за край стола. Долженко даже испугался, вскочил, подбежал ко мне, дал стакан воды.

Но скоро я пришла в себя.

Тогда он спросил меня, кто мог бы дать хороший отзыв о Бабеле из его знакомых. Я назвала Екатерину Павловну Пешкову, Эренбурга и Катаева.

Подумать только — «дело шито белыми нитками», а нужны отзывы трех человек, чтобы реабилитировать невиновного!

Потом Долженко мне сказал, что так как сейчас лето и люди, с которыми он хочет поговорить, могут быть в отъезде или на даче, он не обещает мне скоро закончить дело.

Я спросила о судьбе Бабеля, и Долженко сказал, что он занимается только реабилитацией, а на этот вопрос мне ответят в другом месте, когда он закончит рассмотрение дела.

От Долженко я пошла сразу же к Екатерине Павловне Пешковой, которая жила на улице Чаплыгина, то есть очень близко от Кировских ворот, где я была. Никогда прежде я не приходила к ней без звонка, и Екатерина Павловна очень удивилась моему приходу. Но вид у меня был такой, что она сразу же меня обняла, привела в столовую и, посадив на диван, села рядом. Я не сразу могла говорить. Потом я рассказала ей о моем разговоре с Долженко и предупредила о возможном его визите. В тот же день вечером я позвонила Эренбургу и узнала: он на даче, а машина туда пойдет через день утром. Когда я приехала на дачу, оказалось, что Долженко уже у них был. Любовь Михайловна рассказала, как заставила его гулять в саду более двух часов (Эренбург был занят).

— Если бы знала, что дело касается Бабеля, пустила бы его к Илье Григорьевичу немедленно.

Эренбург мне рассказал о разговоре с Долженко, которому он сказал, что с Андре Мальро Бабеля познакомил в Париже сам, а знакомство с Ежовым объяснил профессиональным любопытством писателя к людям всякого ранга, в той же мере к Ежову, как, например, к наездникам ипподрома.

Я спросила Эренбурга, какое у него впечатление о судьбе Бабеля. Он ответил:

— О деле — хорошее, о судьбе — плохое.

И я расплакалась, как ни старалась сдержаться. Эренбург тотчас же стал уверять меня, что Долженко ему ничего определенного не сказал, просто у него такое впечатление. Схватил меня за руку и потащил показывать свой цветник, где были цветы необыкновенные, нам незнакомые, семена которых он привозил из-за границы.

Предупреждать Катаева о визите следователя я не стала, но знаю, что разговор между ними состоялся.

С Екатериной Павловной Долженко встретился на другой же день после моего к нему визита. Она рассказала ему, как Горький и она любили Бабеля, считали его умнейшим человеком и талантливым писателем.

Долженко повторил ей свое удивление по поводу моего «высокого служебного положения» при таких неблагоприятных биографических данных.

Уже зимой, в декабре, мне позвонил Долженко и сказал, что дело Бабеля окончено и что я могу получить справку о реабилитации в военной коллегии Верховного суда СССР на улице Воровского.

Там мне выдали справку такого содержания:

«Дело по обвинению Бабеля Исаака Эммануиловича пересмотрено Военной Коллегией Верховного суда СССР 18 декабря 1954 года.

Приговор Военной Коллегии от 26 января 1940 года в отношении Бабеля И. Э. по вновь открывшимся обстоятельствам

отменен и дело о нем за отсутствием состава преступления прекращено».

Я прочла эту справку и спросила о судьбе Бабеля. И человек, который выдал мне справку, взял ручку и на полях лежавшей на столе газеты написал: «Умер 17 марта 1941 года от паралича сердца» — и дал мне это прочесть. А потом оторвал от газеты эту запись и порвал ее, сказав, что в загсе своего района я получу свидетельство о смерти.

Я вышла от него почти спокойной. Я не верила этому! Если бы было написано: «Умер в 1952, в 1953 г. и т. д.», я бы поверила, но в августе 1952 года приходил из заключения Завадский, привез письмо, в котором было написано: «Как будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял оказию послать весточку домой». Я верила в то, что до августа 1952 года Бабель был жив и содержался в лагере на Средней Колыме, как говорил Завадский. Я решила, что арестованных была такая масса, что в НКВД не могут теперь разобраться, кто где находится, и кинулась хлопотать о поисках Бабеля.

Я написала письмо председателю военной коллегии Верховного суда СССР Чепцову, за чьей подписью была выдана мне справка о реабилитации Бабеля, и одновременно председателю Комитета государственной безопасности Серову.

Я писала:

«23-го декабря 1954 года мне вручили в приемной Верховного суда Союза ССР за №4н-011441/54 о прекращении производством за отсутствием состава преступления дела моего мужа писателя Бабеля Исаака Эммануиловича.

Одновременно мне сообщили, что 17 марта 1941 года муж мой — Бабель И. Э. умер от паралича сердца.

Считаю, что это сообщение не соответствует действительности, так как наша семья до 1948 года получала официальные устные ответы на наши заявления в справочном бюро МГБ — Кузнецкий мост, 24, что Бабель «жив и содержится в лагерях». Такая последовательность ответов из года в год, свидетельствующая, что Бабель жив, полностью исключает достоверность сделанного мне 23 декабря с. г. сообщения о смерти Бабеля И. Э. в 1941 году.

Кроме того, летом 1952 года меня разыскал освобожденный из лагеря Средней Колымы человек и сообщил мне, что Бабель жив и здоров.

Таким образом, для меня совершенно несомненно, что до лета 1952 года Бабель был жив и сообщение о его смерти в 1941 году является ошибочным.

Прошу Вас принять все зависящие от Вас меры к розыску Бабеля Исаака Эммануиловича и, указав мне место его пребывания, разрешить мне выехать за ним».

Не получив ответа на мои заявления, я написала письмо писателю Фадееву:

«Уважаемый Александр Александрович!

Обращаюсь к Вам по совету Ильи Григорьевича Эренбурга, от которого Вы, вероятно, уже знаете о полной реабилитации моего мужа И. Э. Бабеля.

Одновременно со справкой о реабилитации я получила устное сообщение о смерти Бабеля в 1941 году. Это сообщение является ошибочным, так как я достоверно знаю, что

Бабель был жив еще летом 1952 года. В августе 1952 года меня нашел в Москве освобожденный из лагеря Средней Колымы человек, который три года (с 1950 по 1952) находился вместе с И. Э. Бабелем, и сообщил мне о нем факты, не вызывающие никакого сомнения в их достоверности.

Поэтому я чрезвычайно встревожена создавшимся положением, в силу которого военная коллегия Верховного суда, оправдавшая Бабеля, не разыскивает его, считая погибшим.

Я подала заявление с опровержением факта смерти Бабеля в 1941 году в МГБ, но боюсь, что проверка моего заявления будет затяжной и формальной. Поэтому было бы необходимо добиться распоряжения об индивидуальном и срочном розыске Бабеля от кого-нибудь из членов правительства, например, от Ворошилова, который, безусловно, знает и помнит Бабеля.

Мне самой трудно было бы добиться приема у Ворошилова, и поэтому я хочу узнать у Вас, могли бы Вы или Союз советских писателей помочь мне в этом.

Прошу Вас сообщить мне о возможности Вашего участия в судьбе Бабеля».

После получения моего письма Фадеев однажды позвонил мне домой; меня дома не было, и он сказал Лиде, что хотел бы поговорить со мной, но сейчас он уезжает в санаторий в Барвиху, а когда вернется оттуда, позвонит мне.

Но звонка Фадеева я не дождалась и написала письмо Ворошилову.

Через какое-то время мне позвонили из приемной Ворошилова:

— Климент Ефремович просит передать вам, чтобы вы поверили в смерть Бабеля. Если бы он был жив, он давно был бы дома.

И только после этого, все еще сомневаясь, я пошла в районное отделение загса за свидетельством о смерти Бабеля. Более страшный документ трудно себе представить! «Место смерти — Z, причина смерти — Z».

Документ подтверждал смерть Бабеля 17 марта 1941 года в возрасте 47 лет.

Можно ли было поверить этой дате? Если приговор был подписан 26 января 1940 года и означал расстрел, то приведение приговора в исполнение не могло быть отложено более чем на год.

Я не верила этой дате и оказалась права. В 1984 году Политиздат выпустил отрывной календарь, где на странице 13 июля было написано: «Девяностолетие со дня рождения И. Э. Бабеля (1894–1940)». Когда мы позвонили в Политиздат и спросили, почему они указали год смерти Бабеля 1940, когда справка дает год 1941, нам спокойно ответили:

— Мы получили этот год из официальных источников...

Зачем понадобилось отодвинуть дату смерти Бабеля более чем на год? Кому понадобилось столько лет вводить меня в заблуждение справками о том, что он «жив и содержится в лагерях»? Кто подослал ко мне Завадского, а потом и

заставил писателя К. распространять ложные слухи о естественной смерти Бабеля, о более или менее сносном его существовании в лагере или в тюрьме?

И только когда в 1961 году в Советский Союз впервые приехала родная сестра Бабеля, жившая в Брюсселе, и спросила меня: «Как умер мой брат?», я поняла, как чудовищно, немыслимо сказать ей: «Он расстрелян». И я повторила ей одну из версий, придуманных К., о смерти в лагере на скамье возле дерева.

Верить в смерть Бабеля не хотелось, но мои хлопоты о розыске его с тех пор прекратились.

Теперь мы знаем, что Бабель испытал пытки на следствии и продержался, все отрицая, три дня. Мужественные люди могли вынести и пытки, и были такие примеры, но когда заключенному говорили, что сейчас приведут сюда вашу жену и маленького ребенка и будут их мучить на ваших глазах, то вряд ли кто мог это вынести. И чтобы этого избежать, соглашался подписать любые обвинения, а значит, и свой смертный приговор.

Бабель был обречен, как выдающаяся личность, как писатель, неспособный к сделке с правительством, и не нужны были его муки даже в течение трех дней.

Писать об этом для меня очень трудно. Горечь утраты не оставляет меня никогда, и мысль о том, что за восемь месяцев в НКВД он должен был испытать массу унижений и оскорблений, пытки, а свой последний день пережить как день перед смертью после приговора, разрывает мне сердце.

Умирают все, но в другом возрасте или от болезни, часто неожиданной. Бабелю не было и 46 лет, он был здоров, любил жизнь, любил свою работу и даже в НКВД просил следователя дать ему рукописи, чтобы их еще поправить, но и этого ему не разрешили.

Я попыталась разыскать рукописи. Но на мое заявление в МГБ меня вызвали в какое-то подвальное помещение, и сотрудник органов в чине майора сказал:

— Да, в описи вещей, изъятых у Бабеля, числится пять папок с рукописями, но я сам лично их искал и не нашел.

Тут же майор дал мне какую-то бумагу в финансовый отдел Госбанка для получения денег за конфискованные вещи.

Ни вещи, ни деньги за них не имели для меня никакого значения, но рукописи...

И тогда впервые, год спустя после реабилитации Бабеля, я обратилась в Союз писателей, к А. Суркову. Я просила его хлопотать от имени Союза о розыске рукописей Бабеля.

Председателю Комитета государственной безопасности генералу армии Серову было направлено письмо:

«В 1939 году органами безопасности был арестован, а затем осужден известный советский писатель тов. Бабель Исаак Эммануилович.

В 1954 году И. Э. Бабель посмертно реабилитирован Верховным судом СССР.

При аресте у писателя были изъяты рукописи, личный архив, переписка, фотографии и т. п., представляющие значительную литературную ценность.

Среди изъятых рукописей, в частности, находились в пяти папках: сборник “Новые рассказы”, повесть “Коля Топуз”, переводы рассказов Шолом-Алейхема, дневники и т. п.

Попытка вдовы писателя — Пирожковой А. Н. получить из архивов упомянутые рукописи оказалась безуспешной.

Прошу вас дать указание о производстве тщательных розысков для обнаружения материалов писателя И. Э. Бабеля.

Секретарь правления Союза писателей СССР

(А. Сурков)».

На это письмо очень быстро пришел ответ, что рукописи не найдены. Ответ — того же содержания, что был дан и мне, а быстрота, с которой он был получен, говорит о том, что никаких тщательных розысков и не производилось.

Я стала подозревать, что рукописи Бабеля были сожжены, и органам безопасности это хорошо известно. Однако есть случаи, когда ответ об изъятых бумагах гласит: «Рукописи сожжены. Акт о сожжении № такой-то». Так, например, ответили Борису Ефимову на запрос о рукописях его брата Михаила Кольцова.

Однажды, уже году в 1970-м, ко мне пришла молоденькая сотрудница ЦГАЛИ, куда я решила дать кое-что из рукописей Бабеля. Она мне рассказала, что рукописи арестованных писателей все же находятся, иногда поступают от частных лиц, а иногда из архивов КГБ. Быть может, когда-нибудь найдутся и рукописи Бабеля.

Я сказала:

— Если бы мне разрешили искать их в архивах КГБ, то я потратила бы на это остаток своей жизни.

— И я тоже! — с жаром воскликнула она.

И было так трогательно слышать это от совсем молодой девушки из ЦГАЛИ.

Но надежды на то, что рукописи уцелели, теперь уж нет.

В 1987 году, надеясь на изменившуюся ситуацию в стране, я снова подала заявление с просьбой о поиске рукописей Бабеля в подвалах КГБ.

В ответ на мою просьбу ко мне домой пришли два сотрудника этого учреждения и сказали, что рукописи сожжены.

— Вы пришли ко мне сами, чтобы не давать письменного ответа на мою просьбу? — спросила я.

— Нет, мы пришли, чтобы выразить вам свое сочувствие, мы же понимаем, как драгоценны рукописи Бабеля.

Когда в Союзе писателей была создана комиссия по литературному наследию И. Э. Бабеля, то мне стали передавать и присылать кое-что из рукописных ранних произведений Бабеля, а также первые издания его книг.

Фотографические и машинописные копии публикаций из журналов и газет я получила из Ленинской и Исторической библиотек. Часть из них я нашла сама, большее же число их мне передали те молодые люди, которые сейчас же после реабилитации Бабеля начали работать над диссертациями по его произведениям. Первым таким молодым человеком был Израиль Абрамович Смирин, затем Сергей Николаевич Поварцов, Янина Салайчик из Польши и другие.

Военный дневник Бабеля 1920 года, наброски планов рассказов, записную книжку, автографы начатых рассказов

«У бабушки», «Три часа дня», «Их было девять» мне из Киева переслала Татьяна Осиповна Стах, получив их у М. Я. Овруцкой, у которой Бабель останавливался иногда, бывая в Киеве.

Рукописи рассказов «Мой первый гонорар» и «Колывушка» до сих пор находятся в Ленинграде, теперь у сына Ольги Ильиничны Бродской, которой Бабель их подарил.

Так мало-помалу образовался небольшой архив Бабеля, с которым все годы работало много людей из разных стран мира.

В комиссию по литературному наследию Бабеля входили: К. А. Федин, Л. М. Леонов, И. Г. Эренбург, Л. И. Славин, Г. Н. Мунблит, С. Г. Гехт и я.

С первых же дней после создания этой комиссии выяснилось, что ни Федин, ни Леонов участвовать в работе не хотят. Все письма с вопросами о Бабеле, приходившие к Федину как к председателю комиссии, он, не читая, переадресовывал мне.

Роль председателя выполнял Илья Григорьевич Эренбург. К нему я обращалась за советами, особенно тогда, когда возник вопрос об издании произведений Бабеля, не печатавшихся с 1936 года. Встречались мы довольно часто, пока велись переговоры по поводу однотомника «Избранное», для которого Эренбург написал предисловие.

Когда нас пригласили в издательство «Художественная литература» для встречи с редактором сборника, мы должны были собраться у заместителя главного редактора. Мы — это Эренбург, Мунблит, Гехт, Славин и я. В ожидании, пока все соберутся, Эренбург, Мунблит и я сидели на диванчике перед лестницей на 2-й этаж издательства. Пришел Гехт и

вслед за ним Славин. И Славин сообщил нам о самоубийстве Фадеева.

Я посмотрела на Эренбурга, он даже не взволновался, а потом говорит:

— У Фадеева было безвыходное положение, осаждали возвращающиеся заключенные и их жены. Они спрашивали: как могло случиться, что письма, которые я писал вам лично, оказались на столе у следователя при моем допросе? Действительно, как? Ведь Фадеев арестован не был, обыска и изъятий бумаг у него не было. Значит, передал сам? — продолжал Эренбург.

Меня поразило то спокойствие и даже равнодушие, с которым это известие было встречено членами нашей комиссии. Как будто никого это не удивило и уж вовсе не огорчило.

Когда настало назначенное нам время, мы поднялись наверх в кабинет заместителя главного редактора. Последний, рассадив нас, пригласил зайти в кабинет редактора книги Бабеля. Через некоторое время дверь отворилась и вошла женщина, высокая, полноватая, с высокой грудью и с хорошим русским лицом. Длинные серьги в ушах побрякивали, рукава белой блузки были засучены. Я взглянула на Эренбурга. Он застыл с таким изумленным выражением лица, что мы, переглянувшись с Мунблитом, еле сдержались, чтобы не рассмеяться. Не над женщиной, конечно, а над Эренбургом. После того, как нас познакомили и мы поговорили о составе сборника, Эренбург уже на улице сказал:

— Если бы такая женщина внесла в комнату кипящий самовар, я бы ничуть не удивился, но... редактор Бабеля?

Позже Г. Н. Мунблит, составивший комментарии к этому изданию, мне говорил: «У меня становится горько во рту, когда я с ней разговариваю».

Мои же отношения с редактором сложились вполне нормально и только однажды, когда она мне сказала: «Давайте выбросим из “Конармии” “Кладбище в Козине” — маленькая вещь, ничего не дает», — я чуть не сорвалась, но сдержалась и как-то уговорила ее оставить этот удивительный маленький шедевр. В этот сборник отказались взять рассказы «Мой первый гонорар», «Гапа Гужва», «Иван-да-Марья» и «Колывушка», предлагаемые нами. Эренбург, злясь на это, говорил: «Будет время, напечатают все, а сейчас хорошо, что выйдет хоть такой сборник».

Помогал мне советами Илья Григорьевич и при составлении другого сборника произведений Бабеля, вышедшего в 1966 году. В него удалось включить несколько рассказов, не вошедших в сборник 1957 года, но снова отклонили рассказы «Мой первый гонорар», «Гапа Гужва» и «Колывушка». Удалось включить статьи Бабеля, его воспоминания и выступления, а также небольшое число писем.

Однажды мне позвонили из журнала «Кругозор» и просили дать что-нибудь из публикаций Бабеля. Эренбург посоветовал дать одну или две статьи из газеты «Заря Востока» 1922 года. Выбрали «Без родины» и «В доме отдыха». Тогда редакция журнала попросила меня уговорить Эренбурга написать маленькое предисловие. Илья Григорьевич мне говорит: «Хорошо, я напишу им, что с этих публикаций начался

писатель Бабель, а как он получил свой первый гонорар, читатели журнала узнают из рассказа Бабеля “Мой первый гонорар”». В это время этот рассказ никто не хотел публиковать.

Году в 1957-м мне позвонила Любовь Михайловна и сказала, что Илья Григорьевич хотел бы познакомиться с моей дочерью Лидой, и просила к ним прийти. Лиде было тогда 20 лет и она училась в архитектурном институте. Познакомившись с ней, Эренбург сказал: «По правде говоря, когда мне говорили, что Лида похожа на Бабеля, я ужасался. У Бабеля было хорошее лицо для известного писателя средних лет, но чтобы девушка была на него похожа… А тут — и похожа на Бабеля, и хорошенькая…» Эренбург усадил нас и сел напротив в большое кресло рядом с Любовью Михайловной и тут же, обращаясь к Лиде, стал ей рассказывать об ее отце, о встречах с ним в Париже. Иногда его перебивала Любовь Михайловна, и тогда Эренбург на нее сердился.

Если же Эренбург, вспомнив что-то, перебивал Любовь Михайловну, то сердилась она. И Лида, отличаясь бабелевской проницательностью, очень хорошо это подметила. А также после визита подробно мне описала, какой у Эренбурга был пиджак, какой галстук и какие носки с искоркой.

А когда Эренбург уже в 1961 году праздновал свое 70-летие, он захотел, чтобы я пришла с Лидой. «Хочу, чтобы среди моих гостей было хоть одно молодое лицо». С гордостью знакомил ее с гостями, среди которых были Каверин, Козловский, Сарра Лебедева, Слуцкий и много других.

В 1964 году отмечалось 70-летие Бабеля. Комиссия по литературному наследию, по инициативе Эренбурга, решила обратиться в ЦК к Д. А. Поликарпову с письмом такого содержания:

«Секретариат Союза писателей принял решение отметить 70-летие И. Э. Бабеля, и одним из пунктов этого решения является организация вечера памяти писателя в Доме литераторов. Зал дома может вместить только некоторую часть московских писателей. Между тем интерес читателей к творчеству Бабеля настолько велик, что, по нашему мнению, не следует ограничиваться этой аудиторией. Мы просим вас помочь нам получить разрешение на устройство — помимо вечера в Доме литераторов — открытого вечера в Политехническом музее, где будут читаться произведения Бабеля и где люди, знавшие Бабеля, расскажут о нем. Мы уверены, что в этом деле вы пойдете нам навстречу».

Илья Григорьевич предложил, чтобы письмо подписал также Федин, числившийся председателем комиссии по литературному наследию Бабеля. Для этого Эренбург отправил Федину письмо следующего содержания:

«Дорогой Константин Александрович, я посылаю Вам текст письма, с которым комиссия по литературному наследию И. Э. Бабеля решила обратиться к Д. А. Поликарпову. Обращаюсь к Вам и как к председателю комиссии, и как к Константину Александровичу Федину с просьбой поставить впереди наших подписей Вашу. Я убежден, что Вы это сделаете.

Эренбург».

Федин письма не подписал и ответил, что не считает нужным устраивать вечер Бабеля в Политехническом музее. Ответ Федина привел Эренбурга в такой гнев, какого я за ним не знала. А наше предположение, что зал Дома литераторов не вместит всех желающих, оправдалось. Улица Герцена, где расположен этот дом, перед началом вечера была запружена народом. Мне пришлось сопровождать на вечер Екатерину Павловну Пешкову, и, несмотря на то, что приехали заранее, мы еле пробились к двери. Зал был набит битком, фойе заполнено тоже. Все двери из зала в фойе были открыты настежь, чтобы люди, не вошедшие в зал, могли что-то услышать. Позже Николай Робертович Эрдман говорил мне, что стоял весь вечер в фойе.

Первоначально предполагалось, что председателем на вечере памяти И. Э. Бабеля будет Эренбург. Но Союз писателей распорядился иначе — председателем был назначен Федин. Все члены комиссии по литнаследию Бабеля были возмущены и расстроены.

Кроме того, было не ясно, как к этому отнесется Эренбург. А вдруг совсем не придет на вечер? Эренбург пришел, но сел не в президиум на сцену, а в первый ряд в зале. Отказалась сесть в президиум и я.

Вечер открыл своим выступлением Федин, потом выступили писатели Никулин, Бондарин, Славин, Лидин, Мунблит.

Эренбург выступал последним. Я привожу здесь отдельные фрагменты его речи из стенограммы:

«Я не мог не выступить, хотя здесь многие хорошо рассказали об Исааке Эммануиловиче и хотя я писал о нем. Это

самый большой друг, которого я имел в жизни. Он был моложе меня на три с половиной года, но я шутя называл его "мудрый ребе", потому что он был мудрым человеком. Он не был умным человеком, он не был эрудированным человеком — он был мудрым человеком. Он удивительно глубоко смотрел в жизнь.

...Он был очень добрым и хорошим человеком не в том обывательском смысле, как говорят, а по-настоящему, и то, что говорили, что он не верил в удачу писателей душевно-небрежных, это очень выражает всю природу Исаака Эммануиловича. Когда он раз дожидался меня, он перечел маленький рассказ Чехова у меня на квартире в Париже, и когда я пришел (я запоздал), он мне сказал: "Знаете, что удивительно? Чехов был очень добрым человеком". И он ругался с французами, которые смели критиковать то или другое в Мопассане, говорил, что Мопассан безупречен, но в одном из последних разговоров со мной он сказал: "Все у Мопассана хорошо, но сердца не хватает". Он вдруг почувствовал эту стихию страшного одиночества и отъединенности Мопассана.

...Бабель умел быть очень осторожным. Его никак нельзя назвать человеком, который лез напролом. Он знал, что он не должен ходить в дом Ежова, но ему было интересно понять разгадку нашей жизни и смерти. В одну из последних встреч... он, наклонившись ко мне, шепотом сказал: "Ежов только исполнитель". Это было после длительных посещений дома, бесед с женой Ежова, которую он знал давно. Это была единственная мудрая фраза, которую я вспоминаю из

всего, что я слышал в то время. Бабель больше нас видел и разбирался в людях...

Он был сформирован революцией, и трагична была судьба человека, который сейчас перед нами (показывая на портрет). Он был одним из самых преданных революции писателей, и он верил в прогресс. Он верил, что все пойдет к лучшему. И вот его убили...

Если бы он жил, если бы он был бездарен, то уже десять раз его собрание сочинений бы переиздали. Не думайте, что я кричу впустую. Я хочу, чтобы наконец мы, писатели, вмешались в это дело. Чтобы мы заявили издательству, что нужно переиздать Бабеля, чтобы мы добились устройства вечеров <...>. Я не знаю, что он писал дальше. Он говорил, правда, что он ищет простоты. Его простота была не той, которая требовалась, она была простотой после сложности. Но я хочу сказать одно, ведь это большой писатель. Я говорю это не потому, что я люблю его до сих пор. Если говорить языком литературоведов, объективно — это гордость советской литературы... Я хотел бы, чтобы все писатели помогли в осуществлении одного: чтобы Бабеля мог почитать наш народ. Мало бумаги — одну книжку издать? Это не будет собрание его сочинений, да еще длиннейшее. Должна найтись на это бумага...

Я тронут был речами всех знавших Исаака Эммануиловича и тем, как слушали, и, видимо, не только этот зал, но и его окрестности, коридоры и на улице. Я рад за Исаака Эммануиловича.

Я рад, что здесь Антонина Николаевна и дочка Бабеля — Лида — услышали и увидели, как любят Бабеля».

Эренбургу много и горячо аплодировали во время речи и по окончании ее.

После выступлений артист Московского Художественного театра Н. В. Пеньков великолепно прочитал рассказ Бабеля «Мой первый гусь», и затем Дмитрий Николаевич Журавлев, как всегда, блестяще выступил с двумя рассказами: «Начало» и «Ди Грассо».

На сцене стоял большой портрет улыбающегося Бабеля, отлично выполненный фотографом Дома литераторов.

Однако с тех пор ни 80-летие, ни 90-летие Бабеля Союз писателей не отмечал: слишком был напуган стечением такой массы народа!

В феврале 1967 года родился мой внук Андрей, и весной нужно было снимать дачу под Москвой. Эренбурги хотели, чтобы мы поселились в том же дачном поселке, в котором был их загородный дом, в Новом Иерусалиме. У вдовы одного профессора я сняла там нижний этаж дома из трех комнат и открытой террасы.

К тому времени я уже была на пенсии и могла провести все лето за городом.

С Эренбургами мы встречались часто и, если я уезжала по делам в Москву, то возвращалась на дачу, как правило, вместе с ними, на их машине.

Как-то я пришла к ним на дачу. Любови Михайловны нигде нет, а Илья Григорьевич в своей комнате стучит на пишу-

щей машинке. Я села в холле на диван и жду, когда кто-то из хозяев появится. И вдруг дверь кабинета открывается, и Эренбург удивленно говорит:

— Что же Вы не зашли ко мне?

— Я не хотела Вам мешать.

— А я так рад бы был, чтобы мне помешали, работать ведь не хочется...

В другой раз за обедом Эренбург мне говорит: «Представьте себе, Борис Полевой уверял иностранцев, которые у меня сегодня были, что Бабель в нашей стране издается миллионными тиражами». Любовь Михайловна возмутилась: «Когда они наконец перестанут врать!» и Эренбург спокойно отвечает: «Они только начинают».

Когда во французской газете «Le Mond» в июле 1967 года появился целый разворот о Бабеле, Эренбург позвал меня в кабинет и больше часа переводил мне содержание публикаций. Там была и его статья под заголовком «Революционер, но гуманист», что мне очень понравилось. Эта статья заканчивалась так: «Исаак Бабель погиб преждевременно, но он успел много сделать для молодой советской литературы. Будучи революционером, он оставался гуманистом, а это было нелегко».

Разворот о Бабеле в газете «Le Mond» содержал целый ряд статей, и, например, статью Пьера Доммерга о влиянии творчества Бабеля на американских писателей. Он писал, что американские писатели, поклонявшиеся прежде Флоберу и Мопассану — своим учителям стиля, вот уже 10 лет как повернулись лицом к Селину, Арто и, главным образом,

к Бабелю. Автор называет таких американских писателей, как Беллоу, Мейлер и Маламуд, герои произведений которых удивительно напоминают Лютова из «Конармии»; та же неспособность приспособиться к насилию, та же ирония как защита от неотвратимого. «Нежность, жестокость, лиризм, выраженные одновременно сдержанно и юмористически — таковы некоторые “точки соприкосновения” американской литературы и творчества Бабеля», — писал Пьер Доммерг.

Другой автор статьи о Бабеле в газете «Le Mond» Петр Равич пишет: «Пытаться разложить бриллиант на его первичные элементы — абсурдная попытка; самое большее, что можно сделать — это исследовать его спектр. То же и с громадным талантом Исаака Бабеля». И дальше он пишет: «Умертвив в 47 лет наибольшего еврея из евреев среди русских писателей, человека, который умел, как никто, может быть, со времени Гоголя, заставить своих читателей смеяться, уничтожив интеллигента, склонного к глубоким размышлениям, но обожавшего лошадей и казачью силу, власти его страны совершили непоправимое преступление против русской литературы».

Третий автор газеты «Le Mond» пишет, что Бабеля Франция вновь открыла в 1959 году после издания его произведений у Галлимара. В статье сказано: «Как в капле воды может отразиться мир, так в маленьком рассказе или в короткой фразе Бабеля отражается, как через увеличительное стекло, как в фокусе, библейский мир и казачья эпопея, традиции, различные культуры, вся подспудность жизни, с ослепительным разнообразием и богатством. Но его чувство меры оста-

ется секретом мастерства. И это мастерство Бабеля является как бы вызовом писателям: “Попробуйте сказать столько, с таким блеском и с таким малым количеством слов...”»

Я была очень благодарна Эренбургу за подробный перевод всех статей и кое-что записала.

Лето 1967 года было для меня единственным временем, когда общение с Эренбургом было постоянным, но, к сожалению, последним! Осенью этого года Эренбург умер от инфаркта.

Все, что связано с Бабелем, всегда было дорого для меня, в доме все годы после ареста царил его культ. Я собирала вокруг себя людей, которые были близки Бабелю, встречалась с его одесскими приятельницами — Лидией Моисеевной Варковицкой — ее муж одновременно с Бабелем закончил Коммерческий институт, и с Ольгой Ильиничной Бродской, когда-то в Одессе дружившей с сестрой Бабеля. Ближайшими моими друзьями стали Исаак Леопольдович Лившиц, друг Бабеля, начиная со школьных лет, его жена, Людмила Николаевна, и их дочь Таня.

Встречались не часто, но переписывались постоянно с Татьяной Осиповной Стах, жившей в Киеве; она и ее муж Борис были верными друзьями Бабеля с давних, еще одесских времен. Их дочь Софья (Беба) знала Бабеля в своем детстве.

Неизменными моими друзьями были Юрий Карлович Олеша, Николай Робертович Эрдман, Вениамин Наумович Рыскинд и Семен Григорьевич Гехт. Из писательской среды эти

четверо были единственными, приходившими в мой «зачумленный дом» задолго до реабилитации Бабеля. Со многими людьми я никогда не встречалась при его жизни, а после со всеми познакомилась: мне захотелось их видеть, чтобы о нем говорить.

С сыном Бабеля Мишей увиделась сначала моя дочь Лида. Поэт Евтушенко встретился с Мишей на юге и сказал ему, что он знаком с его сестрой Лидией Бабель. Миша взял у Евтушенко наш телефон, позвонил Лиде и условился с ней о встрече. Лида мне рассказала, что Миша — художник и рисует пейзажи Москвы.

Поэтому, когда однажды зимой я увидела из окна нашей квартиры, выходившей на Яузский бульвар, какого-то художника с мольбертом, я попросила Лиду посмотреть в окно — не Миша ли рисует напротив нашего дома? Оказалось — это был Миша. Тогда Лида пошла к нему и сказала, что он может у нас погреться, пообедать с нами и оставлять свои мольберт и краски. Так я познакомилась с Мишей. Он принес мне показать свидетельство о своем рождении, принес напечатанный впервые в «Литературной газете» рассказ Бабеля «Закат» и несколько его фотографий, хранившихся в их доме. Миша мне очень понравился, и хоть у него нет прямого сходства с Бабелем, но я вижу много черточек и во внешности, и в манере держаться, напоминающих мне Бабеля. Мы редко встречаемся, но нежность к нему всегда со мной. Он — художник-пейзажист, известный в Москве, и главной темой его картин является город. Он рисовал множество уголков Москвы, части из которых уже не существует.

С дочерью Бабеля Наташей я познакомилась в 1961 году. В это время в Москве проходила французская выставка картин, и Наташа со своей подругой Таней Парен приехали гидами этой выставки. Обе знали русский язык и специально учились на курсах гидов по живописи. Наташе было около 30 лет, она, закончив Сорбонну, преподавала курс французской литературы в Париже. Я нашла ее очаровательной, веселой, остроумной и назвала в душе своей старшей дочерью. Сестры же подружились так, что готовы были все сделать друг для друга.

Сестра Бабеля Мери, приехавшая в это же время в Москву, чтобы повидаться с нами, очень удивлялась такой дружбе Лиды и Наташи и говорила, что сказалось кровное родство.

В Москве из родственников Бабеля жила только тетя Катя, родная сестра его матери. Она была замужем за Иосифом Моисеевичем Ляхецким, и они жили вместе с братом и сестрой Ляхецкими в одной квартире в Овчинниковском переулке.

С этой семьей мы постоянно общались после ареста Бабеля. Во время этой войны Иосиф Моисеевич умер, а после войны в этой квартире еще поселился приехавший с фронта племянник тети Кати по мужу Михаил Львович Порецкий с женой Асей. И я, и Лида всегда считали эту семью родными нам людьми и испытывали постоянное с их стороны дружеское расположение.

Идея воспоминаний современников о Бабеле принадлежит Льву Яковлевичу Лившицу, литературному критику из Харькова. Это был очень симпатичный молодой человек,

до самозабвения влюбленный в творчество Бабеля. Он появился как-то совсем неожиданно в Москве и впервые пришел ко мне в 1963 году. В ноябре 1964 года он принял участие в конференции «Литературная Одесса 20-х годов», выступил на ней с докладом о Бабеле, написал несколько хороших статей о нем и собирался заняться темой «Бабель в кино». Нравился без исключения всем, с кем я его знакомила, и совершенно неожиданно умер от разрыва сердца совсем молодым. Это была большая потеря не только для родных и всех его знакомых, но и для литературы. Вместе с ним мы успели составить только предварительный список тех, кто мог бы написать воспоминания о Бабеле, и мне пришлось продолжить эту работу. Я обращалась с просьбой написать о Бабеле к его друзьям и знакомым, и многие воспоминания были написаны. Некоторые из них к тому времени были уже опубликованы в журналах, большую часть их мне помогли собрать Г. Н. Мунблит и его жена, Н. Н. Юргенева, ставшая вместе со мной составителем сборника. Когда все воспоминания были собраны и мною прочитаны, стало ясно, что мне надо написать о Бабеле то, что я о нем знаю, чтобы его образ был более полным.

Писала каждый раз о том, что вспоминалось, не соблюдая никакой последовательности. Когда все напечатала и перечитала, начала работать с ножницами и клеем. Хронологической записи не получалось, и я поняла, что надо располагать материал в основном по людям, окружавшим Бабеля от знакомства с ними и до конца встреч с ними или до конца их жизни. Мои мемуары вошли в сборник воспоми-

наний современников, первое издание которого вышло в 1972 году с большими сокращениями. В издательстве «Советский писатель» редакторы тогда из моих воспоминаний выбрасывали все крамольные по тем временам места, не разрешили мне даже упомянуть об аресте Бабеля. Воспоминания всех других авторов также подвергались цензурным изъятиям, но если я для второго издания сборника в 1989 году могла все восстановить, многие другие авторы, умершие к тому времени, ничего исправить уже не могли. Для всех последующих изданий моих воспоминаний я дополнила их некоторыми штрихами к образу Бабеля, к его судьбе, а также сведениями о моей работе над изданиями его произведений.

Самым главным своим делом я считала составление двухтомника сочинений Бабеля, в который вошли бы все его произведения, оставшиеся после ареста рукописей, все то, что было опубликовано при его жизни хотя бы один раз, а также все найденные старые рукописи. Эту работу я начала почти сразу после реабилитации Бабеля. В состав двухтомника должны были войти все рассказы, начиная с 1913 года, пьесы, киносценарии, вся публицистика, письма, воспоминания, выступления и конармейский дневник 1920 года.

Комиссия по литературному наследию Бабеля обращалась в издательства и в Союз писателей много раз; во-первых, с просьбой об издании двухтомника, во-вторых, с просьбой оказать содействие. Нам много лет отвечали, что нет бумаги, что план выпуска изданий уже сверстан, и переносили нашу заявку из одной пятилетки в другую. Наконец,

в 1986 году, 20 лет спустя после издания последнего однотомника Бабеля в 1966 году, двухтомник был включен в план издательства «Художественная литература» и вышел тиражом 100 тысяч экземпляров только в январе 1990 года.

Почти одновременно с двухтомником в Москве вышли два составленных мною однотомника большими тиражами: один как приложение к журналу «Знамя», включивший и конармейский дневник Бабеля, и другой, объединивший наиболее известные произведения писателя и часть воспоминаний о нем. Кроме того, однотомники небольшими тиражами, уже без моего участия, выходили во многих городах нашей страны. Таким образом, только теперь, через полвека после гибели автора, творчество писателя И. Э. Бабеля, известное всему миру, приходит к широкому читателю на его родине.

Когда в 70-е годы я писала мои воспоминания о Бабеле, я старалась дать как можно больше фактов из его жизни, проходившей у меня на глазах. О моих личных впечатлениях о Бабеле как о писателе и человеке я писать не смела, считая, что мои оценки никого интересовать не могут.

И все же теперь, когда прошло так много лет после его чудовищного, ничем не оправданного убийства, прошли годы, на протяжении которых я так много думала о нем, мне захотелось кое-что добавить к тому, что я уже написала о нем.

Многие исследователи произведений Бабеля пытаются догадаться, у кого из писателей он что-то заимствовал, кто на него влиял, кто был его учителем. Один пишет, что Ба-

бель взял все у Гоголя, что Гоголь был его главным учителем, другие считают, что Мопассан и Флобер были теми писателями, которые оказали на творчество Бабеля влияние. Отмечали воздействие на него Хемингуэя. Кто-то находил у Бабеля отдельные фразы Булгакова, Зощенко и даже Платонова. На мой взгляд, Бабель родился писателем, а не учился им быть.

Он родился с чувствами чрезвычайно обостренными: зрение, слух, обоняние, осязание — все чувства были у него не как у нормальных людей, а удивительно острыми. И я это знала.

Однажды в Кабардино-Балкарии мы сидели за большим праздничным столом в разных его концах, далеко друг от друга. Бабель был окружен журналистами и поклонниками и о чем-то оживленно с ними разговаривал. А меня в это время мой сосед схватил под столом за руку. Я пытаюсь освободить руку и думаю: «Хорошо, что Бабель так далеко и занят разговором и этого не видит». А после ужина он мне говорит: «Я видел, как журналист из газеты “Правда” схватил Вас за руку и какое у Вас было сердитое лицо».

В другой раз я слышу, что Бабель вышел из своей комнаты и может зайти ко мне. Если у меня творится какой-то беспорядок, я хватаю брошенную на кровать или кресло вещь и прячу в ящик шкафа куда попало. Бабель войдет, походит по комнате, а потом подойдет к шкафу и откроет дверцу именно того ящика, куда я эту вещь положила. Он ничего не скажет, но улыбнется и уйдет.

Необычайная зоркость Бабеля сказывалась, по-моему, и на красочности его рассказов. В рассказах он употреблял

много красок, и особенно красный цвет со множеством его оттенков. В одной только «Конармии» я насчитала пятнадцать различных оттенков красного цвета. Из других цветов чаще всего встречаются у Бабеля желтый и синий. И совсем редко белый и черный. Художники, с которыми мне приходилось говорить об этом, считают, что у Бабеля при этом нет пестроты, все очень строго, без нарушения художественного вкуса. И я считаю, что все это за счет остроты его зрения, Бабель именно таким видел мир.

Такой же обостренный был у Бабеля слух, он мог услышать тихий шепот, различить тишайшие звуки.

Запахи он воспринимал также обостренно, он не нюхал, как все люди, а как бы впитывал в себя запахи. И не только приятные, но и отвратительные. Его осязание тоже было необычным. Он трогал что-нибудь как-то особенно долго и с сосредоточенным выражением лица и переставал трогать, только поняв что-то про себя. Я несколько раз наблюдала за ним, когда он трогал материю и, особенно, тельце ребенка.

Может быть, от этой остроты чувств рождались его метафоры.

С такими свойствами всех чувств, в сочетании с могучим талантом, Бабель не мог быть писателем, кому-то подражавшим, у кого-то обучающимся. Он был самобытен, таких, как он, больше не было. И вряд ли будут!

Бабель был очень целомудренным человеком. Несмотря на то, что в его «Конармии» он описывает много всяких жизненных ситуаций, ни одного нецензурного слова или фразы

в этом произведении нет. В молодости он писал, как говорили, эротические рассказы, хотя я их эротическими не считаю; он никогда не произносил ни дома, ни в гостях нескромных слов или ругательств. В то время, как, впрочем, и сейчас, в писательской и актерской среде в выражениях не стеснялись, это было принято и даже модно. Бабель никогда этого не одобрял.

И если кто-нибудь из наших гостей позволял себе рассказать фривольный анекдот, Бабель морщился и мог сказать ему: «Ваши анекдоты не поднимаются выше бельэтажа человеческого тела».

И когда такую фразу скажет Бабель, человек запомнит ее надолго потому, что такие фразы Бабеля быстро распространялись среди его окружения и даже вне его.

С утра он был ежедневно побрит, одет в домашнюю куртку и брюки и не любил ходить дома в халате или пижаме, а тем более работать не вполне одетым.

Бабель называл себя суеверным человеком, но я не могла бы точно сказать, был ли он по-настоящему суеверным или только любил играть суеверного человека. Дома на перилах лестницы всегда висела подкова на счастье, многие рассказывали мне, что он сейчас же возвратится домой, если черная кошка перебежит ему дорогу или кто-нибудь из домашних спросит, куда он идет. Свидетельницей таких возвращений я не была.

В декабре 33-го года Бабель написал мне из Кабардино-Балкарии, что он человек суеверный и хотел бы Новый год встретить вместе со мной, он пригласил меня приехать к

нему в Донбасс, в Горловку, 31 декабря. Об этой встрече Нового года я написала в своих воспоминаниях.

В марте 1934 года я поступила на работу в Метропроект, и поэтому мне не полагался отпуск ни летом, ни осенью, а только зимой, в декабре. Бабель достал мне путевку в дом отдыха работников искусств (РАБИС) под Москвой, проводил меня на поезде до железнодорожной станции, от которой я на лошади в санях добралась к месту назначения вместе с другими приехавшими отдыхать. Меня поселили в комнате вместе с молодой милой женщиной, которая оказалась дочерью профессора, историка искусства.

Я и она познакомились с нашими соседями по столу и образовали компанию, чтобы вместе проводить время. Когда настал день 31 декабря, ничего не обещавший мне заранее Бабель совершенно неожиданно приехал ко мне, нагруженный шампанским, конфетами и апельсинами.

Мы встречали Новый год в нашей комнате, пригласив туда своих новых знакомых. До наступления Нового года мы затеяли очень веселую игру, в которую охотно играли и раньше, чтобы посмеяться. Кто-нибудь сочинял рассказ без прилагательных, а потом по очереди назывались какие угодно прилагательные, и автор рассказа подставлял их к очередному существительному, затем этот рассказ зачитывался вслух под смех участников игры — так как прилагательные никак не подходили к существительным, а часто были и сами по себе очень смешными.

Бабель с удовольствием принял участие в этой игре, и его прилагательные были самыми смешными и изобретательными. Встретив Новый год, все пошли гулять на улицу, после чего Бабель ушел в комнату, предоставленную ему для ночлега: кажется, это был кабинет врача. Утром после завтрака Бабель уехал в Москву.

Такой была наша встреча Нового 1935 года. А вот как мы встречали 1936 год, я совсем не помню. По-моему, Бабель был в это время в Москве, никуда не уезжал, и если бы он ушел куда-нибудь встречать Новый год один, я бы ушла к кому-нибудь из моих друзей и запомнила бы это. Какой-то провал в памяти! 1937 год мы встречали дома вдвоем, так как я ждала ребенка, родившегося 18 января.

Зимой 1937 года Бабель уехал в Киев, чтобы работать над сценарием фильма «Как закалялась сталь» по Н. Островскому. Сценарий такой был кем-то уже написан, но Бабель говорил, что он был так плох, что нельзя было ничем из него воспользоваться. Так как режиссером этого фильма должна была быть жена А. П. Довженко Юлия Ипполитовна Солнцева, то она пригласила Бабеля работать и жить в их квартире. Александра Петровича Довженко дома не было, он снимал свой фильм где-то на Украине.

Бабель начал работать над этим сценарием еще в Москве, работал мучительно, работа эта ему не давалась, и он жаловался мне на роман Н. Островского, по которому трудно сделать хороший сценарий. Тем не менее, зимой уже 1938 года этот сценарий был закончен, и Бабель считал себя

его автором; успел даже два небольших отрывка из него напечатать в газете.

После ареста Бабеля авторство сценария «Как закалялась сталь» оспаривалось в судебном порядке между Ю. И. Солнцевой и автором первоначального забракованного сценария. Суд установил авторство Солнцевой, присвоившей себе работу Бабеля, фамилия которого не упоминалась вовсе.

Позже мне говорили, что этот сценарий был сдан Солнцевой в архив (быть может, ЦГАЛИ) вместе с другими ее бумагами с тем, чтобы его не показывать никому без ее разрешения.

Из-за работы над сценарием «Как закалялась сталь» Бабель должен был задержаться в Киеве до середины января. Следуя своему суеверию, он позвонил мне и просил приехать к нему для встречи Нового года.

Не так-то легко было это сделать! Я пошла к начальнику конструкторского отдела Метропроекта с просьбой отпустить меня с работы на три дня. Работы, как всегда, в отделе было много, и начальник мне отказал.

Огорченная, я вернулась в свою комнату и пожаловалась руководителю группы. В этой группе я была старшим инженером. И руководитель группы вдруг говорит: «Хотите, я вам это устрою. У меня с начальником отдела такие отношения, что, скажи я что-нибудь, он непременно будет против». И он пошел к начальнику и возмущенно сказал ему: «Подумайте, Антонина Николаевна захотела поехать к мужу в Киев встречать Новый год! Тут с работой не справляемся, а ей, видите ли, захотелось прогуляться в Киев! Я категорически про-

тив!» И тут начальник отдела вдруг говорит: «А почему бы ей не поехать?» Руководитель группы кипятится: «Не могу я ее отпустить!» И чем больше он кричал против, тем увереннее начальник отдела говорил, что он отпускает меня. Придя в комнату, руководитель сказал: «Ну, дело сделано, Вы можете ехать».

В купе поезда я оказалась вместе с матерью актера Вахтанговского театра Кузы; в Нежине купила маленький бочонок удивительно мелких нежинских огурчиков, очень вкусных и слабо засоленных. Город Нежин славился тогда своими огурчиками.

В Киеве мы встречали Новый 1938 год с Юлей Ипполитовной и Рыскиндом, пришедшим к нам в гости. А где появлялся Вениамин Наумович Рыскинд, там всегда был смех.

Он был проказник и рассказывал, как ему чем-то досадил один из его знакомых, и тогда Рыскинд взял и опечатал его комнату, когда хозяина не было дома. Для этого достал сургуч, растопил его, а печатью послужил обыкновенный медный пятак. Представляете состояние человека, вернувшегося домой и увидевшего еще издали, что его комната опечатана! Бедняга не знал, что делать, он бегал по своим друзьям, ночевал у них, пока не пришел к Рыскинду. Тот согласился пойти с ним домой, и когда они пришли, то сорвал печать, показав ему отпечаток медного пятака. Хозяин так и не узнал, кто над ним так жестоко подшутил, а я была возмущена поступком Рыскинда. Бабель меня успокаивал, говоря, что Рыскинд мог все это придумать. Звучало и еще много рассказов Рыскинда, более веселых и смешных. Бабель был

молчаливее, чем обычно, сам ничего не рассказывал, но смеялся над историями Рыскинда.

1939 год мы также встречали дома одни. Нашей дочери Лиде было почти два года, и она спала в соседней комнате. В двенадцать часов ночи она вдруг проснулась. Бабель принес ее к нам и посадил в детское креслице, а потом налил ей в рюмку шампанского, с наперсток, не более. Лида выпила с удовольствием и вдруг развеселилась, стала хохотать, размахивать руками, все швырять на пол. Мы смеялись вместе с ней до тех пор, пока она вдруг не заснула тут же, в кресле, и Бабель отнес ее в кровать.

Так мы встретили Новый 1939 год, мой последний Новый год с Бабелем.

Моя жизнь с Бабелем была очень счастливой. Мне нравилось в нем все, шарм его был неотразим. В его поведении, походке, жестикуляции была какая-то элегантность. На него приятно было смотреть, его интересно было слушать; словами он меня просто завораживал, и не только меня, а всех, кто с ним общался. Женщины были в него влюблены и говорили: «С Бабелем хоть на край света!» Бабель познакомил меня со многими мужчинами-писателями, поэтами, кинорежиссерами, актерами, наездниками, но никто из них не мог сравниться с Бабелем.

Подкупало его отношение к женщинам, желание женщину возвысить, как бы поставить на пьедестал. И я не думаю, что это относилось только ко мне. Его первая жена Евгения Борисовна, жившая во Франции начиная с 1926 года, так и

не вышла замуж второй раз, несмотря на то, что была красивой женщиной.

А как много я знала браков, где муж постоянно унижал свою жену, старался сказать про нее какую-нибудь дерзость. Один из знакомых нам писателей всем говорил про свою жену, что вытащил ее из-под японского посла; она в ответ била его по физиономии при всех, и он делал вид, что ему это очень нравится. Однажды, когда эти супруги обедали у нас, жене очень понравился квас, и она сказала, что хотела бы научиться делать такой. На это я ей сказала, что надо только пойти на кухню к Марье Николаевне и записать рецепт, на что муж сказал: «Так надо еще уметь писать».

Другой писатель, женившись в очередной раз на милой актрисе балета, бывало, не пропустит случая, когда его жена скажет что-то не совсем умное, чтобы не пожать в недоумении плечами и не сделать удивленное лицо, как бы говоря: «Ну что с нее взять, с этой дуры!»

Еще один писатель, когда мы с Бабелем были у него в гостях, при своей молодой жене, родившей ему двух дочерей-близняшек, позволил себе сказать: «Ну что можно ожидать от дочки дворника!» — в ответ на какой-то пустяк. Первой женой этого писателя была аристократка, но он расстался с ней и женился на дочери дворника. Так как же можно было унижать ее презрительными замечаниями! Это было отвратительно. И Бабель тут же ставил мужа на место своими ироническими замечаниями, а к жене относился подчеркнуто уважительно.

Мы с Бабелем жили каждый своей жизнью, в квартире у нас не было общей спальни, а были отдельные для каждого комнаты. Так как я работала, режим моего дня отличался от режима дня Бабеля. У нас были свои друзья и свой круг знакомых. Я могла пригласить в дом кого захочу, и Бабель никогда не сделал мне замечания, а иногда мог сказать: «Пригласите такого-то; пока Вы будете поить его чаем, я на его машине съезжу по делам в издательство». Так как я всегда дорожила общением с Бабелем, своих друзей и знакомых я старалась приглашать, когда он куда-нибудь уезжал или вечером уходил из дома один. Всегда спрашивал: «Ну, кто Вас сегодня провожал домой?» И мог предложить мне: «Доведите его до объяснения в любви, мне очень интересно знать, как инженеры в любви объясняются».

Я могла рассказывать ему и о моих успехах и неудачах по работе, а также о том, что мне кто-то сказал комплимент или объяснился в любви. И Бабель будет объяснять мне, почему я нравлюсь, перечисляя все мои достоинства. Никаких сцен ревности никогда не было, и только однажды, когда он зимой очень простуженным вернулся из Киева (или Успенского) и сказал, что я виновата в его простуде, я удивилась. «Ночью представил себе Вас в чьих-то объятиях, и это было так ужасно, что я выскочил из купе и выбежал в тамбур вагона, где стоял, пока не остыл».

Разыгрывать сцену ревности с применением невообразимых упреков он иногда себе позволял, но при этом было много смеха, и сам он в конце концов хохотал.

Наверное, пытаясь вызвать у меня ревность, Бабель однажды мне рассказал, что гулял по парку с молодой девицей, разговаривая с ней о всяких московских новостях. Потом долгое молчание, после чего: «Не Вы!» — Это мог быть и комплимент в стиле Бабеля. Встретив меня на вокзале, когда я приехала в Горловку, не сразу, но позже сказал: «Когда Вы сошли с поезда, у Вас было лицо Анны Карениной». Это вместо обычного комплимента.

Часто он заставлял меня петь сибирские песни и городские романсы, которые пели в Сибири. Теперь я уже все их забыла, так как без Бабеля никогда вообще больше не пела, но одна песня начиналась:

Когда будешь большая, отдадут тебя замуж:
Да в деревню большую, да в деревню чужую.
В той деревне дерутся, топорами секутся,
А как с вечера дождь идет,
а как с утра все дождь и дождь... и т. д.

Вспоминаю начало одного романса, который я очень любила, но никогда позже его нигде не слышала:

Ни небо лазурное,
Ни солнышко красное,
Что ярко блестит по весне,
Не радуют молодца,
Тоскою убитого.
Ах, можно ль о ней не грустить,

Хоть слезы все выплакал,
А плакать все хочется
И хочется больше любить... и т. д.

Этот романс Бабелю почему-то очень нравился.

Очень интересно было слушать, как Бабель спасал меня от писательских жен, которые хотели бы привлечь меня для участия в каких-нибудь мероприятиях. При Союзе писателей всегда создавался женский комитет, где жены писателей вели разную общественную работу. Если ко мне в Доме литераторов обращались при Бабеле, а я смущалась и не знала, как отказаться, то он сейчас же вмешивался: «Она инженер, работает с утра до вечера и не может приходить на ваши заседания», — и уводил меня поспешно. И вообще не хотел, чтобы я общалась с женами писателей. Говорил: «Вы окружены гораздо более чистой моральной атмосферой, чем наша писательская среда. Жены писателей чаще всего фальшивы, перед зеркалом делают лицо, с которым надо выходить из дома, знают, когда надо ругать Есенина и хвалить Маяковского, а когда — наоборот. Ужасно обращаются со своими мужьями, вмешиваются в их творчество и изменяют им».

У Бабеля было еще то, с детства привычное чувство, что мужчина в семье должен быть добытчиком денег. В его семье никогда не работала мать, тогда это и не было принято, не работала жена Евгения Борисовна и сестра Мера.

Оставаясь в доме, сам вел хозяйственные дела, отдавал распоряжения домашней работнице, всегда сам расплачи-

вался за квартиру, газ и электричество, любил это делать через сберкассу. Не представлял себе жизни без домашних работниц, сам их нанимал и платил им жалованье. И даже меня часто спрашивал, не нужны ли мне деньги. Я говорила: «Нет», и он жаловался: «У меня какая-то ненормальная жена! Другие жены у своих мужей просят денег, клянчат, заискивают. Можно было бы сказать: “Нате, ешьте, ешьте, съедайте меня живьем!”» — и он, засучив рукав, подносил локоть к моему лицу. У меня денег он никогда не брал и не просил, но когда я возвращалась домой, получив заработную плату, он встречал меня с лукавым видом: «Миленькая, дорогая, зарплатку получила», — и вдруг выхватит мою сумку, прижмет ее к груди, поскачет на одной ноге к себе в комнату и закроется там на ключ. Потом, конечно, вернет мне сумку с деньгами. Я спрашивала его, не нужны ли ему деньги, но он всегда говорил: «Нет!» Когда он уезжал в Киев, Одессу или еще куда-нибудь, он всегда хотел оставить мне денег на хозяйство, но тут уж я могла сказать, что деньги мне не нужны, что они у меня есть. Я сама распоряжалась своими деньгами, помогала матери и братьям, жившим и учившимся в Томске, могла купить себе, что хотела, и принести в дом сладости и фрукты. Хозяйственные заботы меня не касались. И я только много позже узнала, как часто он нуждался в деньгах. От меня это скрывалось. И только однажды, когда объявили, что можно продать облигации государственного займа за десять процентов их стоимости, он потащил меня в сберкассу и сдал и свои, и мои облигации. Был очень доволен, а я была удивлена.

Рассердился на меня Бабель только однажды, когда я на полчаса опоздала домой покормить ребенка. У начальника Метростроя было важное совещание, и я не могла уйти вовремя, а когда оно кончилось, я, понимая, что опаздываю, приняла предложение одного архитектора довезти меня до дома. В машине я сказала ему, что должна кормить дочку, и он довольно быстро довез меня домой. Кричащую Лиду я услышала, уже отпирая дверь, а поднявшись по лестнице, увидела Бабеля с девочкой на руках, шагавшего из угла в угол по комнате. Он встретил меня словами: «Ну зачем вам понадобился этот ребенок? Чтобы мучить его?» А когда Лида была уже накормлена и тут же уснула, накричавшись, Бабель, успокоившись, сказал: «Хотите, проползу на коленях от дома до Метропроекта, только бросьте работать».

Но это было несерьезно, он очень гордился моей работой, уважительно и с интересом к ней относился. А также хорошо знал, что я никогда не брошу работать.

Бабель очень боялся, что наша девочка унаследует от него слабую носоглотку, поэтому старался закаливать дочь. На даче в Переделкино не пропускал ни одного летнего дождя, чтобы не раздеть Лиду донага и не отправить ее под дождь во двор. Лида, конечно, была в полном восторге, прыгала под дождем по лужам, брызгалась, подбегала даже под струю в водосточной трубе, при этом визжала, кричала, хохотала. И как я ни упрашивала забрать девочку домой, Бабель не соглашался. И уже тогда, когда у девочки синели губки, я хватала ее, вытирала и закутывала в теплое.

И, наверное, Бабелю удалось все же закалить Лиду, потому что она и в детстве, и потом простужалась очень редко.

Сам же Бабель простужался часто, и насморк у него был просто катастрофический. И продолжалось это до тех пор, пока он не сделал прокол гаймеровой полости у профессора Шапиро, знаменитого в Москве ларинголога.

Бабель очень увлекался людьми, но часто быстро в них разочаровывался. Однажды он мне говорит: «Здесь гостит один мой знакомый француз, он влюбился в нашу балерину, и чтобы они могли поговорить, я пригласил их на воскресенье к обеду». Когда пришли гости, мы с Бабелем сразу же влюбились в балерину. Она была очень мила и в то же время скромна, особенно хороши были ее синие глаза. Француз не говорил по-русски, балерина — по-французски, Бабель переводил, и, тем не менее, после обеда мы удалились, чтобы дать им возможность посидеть за столом и как-то объясниться.

Но Бабеля охватило волнение: «Такая девушка! Ни за что нельзя отдавать ее французам, самим пригодится! Я скажу ей, чтобы не выходила замуж за этого болвана!» — Он никак не мог успокоиться.

Они приходили к нам еще несколько раз. И вдруг, после их очередного визита, Бабель, совершенно забыв, что говорил мне раньше, произносит: «Нет, скажу Жоржу, чтобы он на этой дуре не женился!» Так наступило разочарование, и очень скоро.

Бывали случаи, что Бабель знакомился с кем-нибудь и приходил в восторг от этого человека — актера, наездника, певца или еще кого-нибудь. Дружба заходила так далеко, что целыми днями они не расставались. Все домашние получали распоряжение — для такого-то я всегда дома. Но проходило какое-то время, и отдавалось новое распоряжение: для такого-то меня никогда нет дома.

Отрезвление наступало, человек ему надоедал, или он в нем разочаровывался. Но это непостоянство не относилось ко всем без исключения. У Бабеля были привязанности и на всю жизнь.

Известно, что Бабель был великолепный рассказчик, но интересно то, что он был рассказчиком совсем не такого типа, как известные в то время в Москве рассказчики, как, например, Михоэлс, Утесов или Ардов. Все они были остроумны и блестяще имитировали любой разговор, любую интонацию. И Бабель восхищался этим их умением, но сам он рассказывал иначе, ровным голосом, без акцентов и никому не подражая.

Его устные рассказы были интересны и часто очень смешны, но за счет или смешных ситуаций, которые Бабель придумывал, или за счет совершенно невероятных оборотов речи. Особенностью Бабеля-рассказчика было и то, что иногда перед смешными местами рассказа он сам начинал смеяться, да так заразительно, что невозможно было не смеяться тем, кто его слушал.

В некоторых воспоминаниях о Бабеле пишут, что он говорил с южным акцентом, или пришепетывая, или с одес-

ским акцентом. Все это совершенно неверно. Голос Бабеля был ясным, без малейшего изъяна, речь безо всякого акцента. Даже пересказывая слова Горького, он никогда не позволял себе окать — только скажет, что Горький произнес это с ударением на «о», но сам повторял слова Горького без этого оканья.

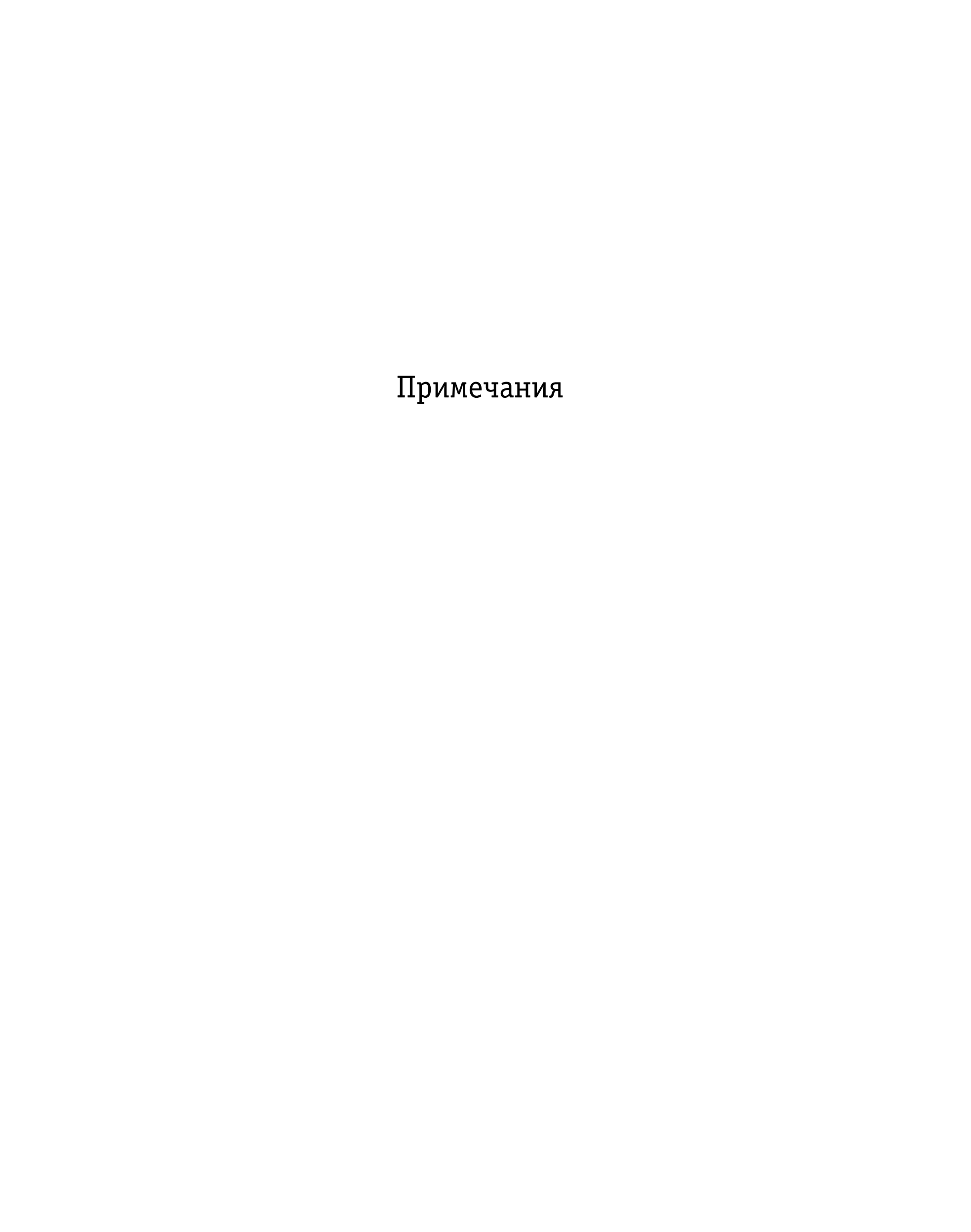
Бабель любил жизнь во всех ее проявлениях, поэтому любил и вкусно поесть. Ел очень мало, но всегда наслаждался едой. Очень любил картофельный салат с зеленым луком, постным маслом и уксусом, от салата из помидор выпивал даже сок, когда салат заканчивался. Любил сам поджаривать репчатый лук ломтями и ел хлеб с таким луком, как бутерброд; мог зажарить и бифштекс, но это бывало редко — в те дни, когда домашняя работница была выходная и когда уже не было Штайнера. При Штайнере у нас была венская кухня, отличавшаяся тем, что едят много теста. К жаркому из мяса подавались не овощи, а кнели (крупные клецки) в подливе. Часто делался мясной пирог, но не печеный, а сваренный на пару, пирог был сделан как рулет, разрезался ломтями и поливался растопленным сливочным маслом. На десерт готовились макароны, посыпались молотыми грецкими орехами и сахарным песком и поливались маслом.

Когда нас кто-нибудь из друзей Бабеля приглашал на еврейский пасхальный седер, где всегда были фаршированная рыба и куриный бульон с кнейдлах (клецками) из мацовой муки, Бабель говорил: «От этого обеда ожидоветь можно!» Курил Бабель немного; работая, не курил вообще. А когда приходили гости, он угощал мужчин гаванскими сигарами и

закуривал сам. Сигары в деревянной коробке с надписью «Gavana» были у Бабеля всегда и лежали на отдельном столике. У кого-нибудь в гостях он закуривал и папиросу.

Пить вино, и особенно водку, Бабель почти не мог, но когда уж очень угощали и заставляли, то Бабель как-то сразу становился бледным, и я понимала, что больше пить ему нельзя, и вмешивалась.

Бабель погиб в самом расцвете своих творческих сил. Сколько прекрасных произведений он мог бы еще создать! Для этого все было подготовлено, собран весь необходимый материал. Мне нестерпимо больно сознавать, что расстрелян не только мой муж, но и выдающийся писатель и очаровательный человек.



Примечания

Письма

В первом томе двухтомного собрания И. Бабеля 1990 года было напечатано 211 писем, несколько десятков — впервые, правда, также несколько десятков — в отрывках. Через два года появилась почти такая же по объему публикация (171 №, однако 15 номеров пропущено: 22 апреля 1925 — 11 декабря 1928 г.) с подробными мемуарными дополнениями и комментариями адресата: Иванова Тамара. Глава из жизни. Воспоминания. Письма И. Бабеля // Октябрь. 1992. № 5. С. 183–207; № 6. С. 183–207; № 7. С. 161–186. Ранее из этих писем были известны лишь цитаты, воспроизведенные в мемуарах Т. В. Ивановой.

В настоящем издании эти два блока впервые объединены. В результате количество одновременно публикуемых бабелевских писем возросло почти в два раза. Некоторый перекос в бабелевском эпистолярии, возникающий в результате такого объединения (получается, что главным корреспондентом автора «Конармии» оказывается молодая женщина, его несостоявшаяся жена, а наиболее документированы в его биографии 1925–1928 гг., когда он писал едва ли не каждый день) компенсируется богатством новых фактов и редкой в бабелевских письмах откровенностью общения.

Письма публикуются в хронологическом порядке. Курсивом в правом верхнем углу даются редакторские датировки, которые, как правило, являются полной расшифровкой датировок автора.

1. А. Г. Слоним (с. 5)

Слоним Анна Григорьевна (1887–1954), *Слоним* Лев Ильич (1883–1945) — друзья писателя; в 1916 г. Бабель жил в Петрограде на их квартире.

Сторицын (настоящая фамилия Коган) Петр Ильич (?–1941) — писатель-дилетант, меценат, см. о нем в воспоминаниях А. Н. Пирожковой.

Илюша — Илья Львович Слоним (1906–1973), скульптор, сын Слонимов.

2. В редакцию газеты «Красный кавалерист» (с. 6)

Впервые: Красный кавалерист, 1920, № 231, 11 сентября, рубрика: Экспедиция, подтянись!

Зданевич В. (псевдонимы: В. Дарский, Артем Кубанец (?–1922)) — редактор газеты «Красный кавалерист», его ответ Бабелю опубликован в том же номере газеты.

3. И. Л. Лившицу (с. 7)

Лившиц Исаак Леопольдович (1892–1979) — товарищ Бабеля по одесскому коммерческому училищу (1906–1911), издательский работник.

Ингулов Сергей Борисович (1893–1939) — партийный работник, журналист, критик, в 1920 г. секретарь Одесского губкома КП(б)У, с 1922 г. заведующий пресс-бюро ЦК ВКП(б).

Полянский (настоящая фамилия Лебедев) Павел Иванович (1881/1882–1948) — критик и литературовед, видный большевик, в 1918–1920 гг. председатель Пролеткульта, позднее редактор многих изданий и начальник Главлита (1921–1930).

Нарбут Владимир Иванович (1888–1944) — русский советский поэт, редактор, директор издательства «ЗИФ».

Генерал Дитятин — герой рассказа писателя и актера И. Ф. Горбунова (1831–1895) «Тост генерала Дитятина».

Мери — сестра писателя Мария Эммануиловна Шапошникова (1897–1987), с 1924 г. жила в Бельгии.

Женя — первая жена Бабеля, Евгения Борисовна Гронфайн (?–1957).

Гехт Семен Григорьевич (1903–1963) — прозаик и очеркист, уроженец Одессы, позднее — член комиссии по литературному наследию Бабеля и автор воспоминаний; см. о нем в заметке <В Одессе каждый юноша…>, т. 3.

Бондарин Сергей Александрович (1903–1978) — писатель, уроженец Одессы, автор воспоминаний о Бабеле.

4. В. И. Нарбуту (с. 9)

Вот два бесшабашных парня. — Речь идет о Гехте и Бондарине (см. предыдущее письмо).

5. И. Л. Лившицу (с. 9)

Люся — Людмила Николаевна Лившиц, жена И. Л. Лившица.

6. В редакцию журнала «Октябрь» (с. 10)

Впервые: Октябрь, 1924, № 4. Одновременно: Красная звезда, 1924, № 265, 21 ноября; авторская датировка: 19 ноября 1924 г.

Бабель отвечает на статью С. Буденного «Бабизм Бабеля из “Красной нови”» (Октябрь, 1924, № 3).

7. Д. А. Фурманову (с. 11)

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891–1926) — писатель, автор романа «Чапаев» (1923), редактор отдела художественной литературы в Госиздате.

8. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 11)

«Красная новь» — первый советский «толстый» литературно-художественный и научно-публицистический журнал (1921–1942), в 1920-е гг. его редактировал А. К. Воронский.

…я с нетерпением жду корректуры… — речь идет о рассказах «История моей голубятни» либо «Первая любовь».

9. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 12)

Охотников Яков Осипович — военный, друг Бабеля, расстрелян по делу Тухачевского.

Шмидт Дмитрий Аркадьевич (1895–1937) — в период Гражданской войны командир дивизии, друг Бабеля, см. о нем в мемуарах А. Н. Пирожковой. Рассказ Бабеля «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча» в первой публикации имел посвящение: «Мите Шмидту, начдиву второй червонной»; в «Конармии» оно было снято.

Больная старуха совсем безумна… — Речь идет о Б. Д. Гронфайн, матери первой жены Бабеля.

Я очень радуюсь эрдмановскому успеху… — Имеется в виду премьера спектакля по пьесе Николая Эрдмана «Мандат», которая состоялась 20 апреля 1925 г. в театре им. Вс. Мейерхольда.

Правдухин Валерьян Павлович (1892–1937) — драматург и критик, муж и соавтор Л. Н. Сейфуллиной.

Сейфуллина Лидия Николаевна (1889–1954) — писательница, автор популярной в 1920-е гг. повести «Виринея» (1924), хорошая знакомая Бабеля и Т. В. Кашириной (Ивановой).

10. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 14)

Лойтер Наум Борисович (1891–1968) — до 1925 года режиссер-лаборант у В. Э. Мейерхольда.

…Харьков, равнодушнейшая эта столица… — Харьков был столицей Украинской ССР в 1918–1934 гг.

11. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 15)

О каком гитаристе Вы пишете, я ничего не понял… — В спектакле «Лес», поставленном Вс. Мейерхольдом в 1924 г. по пьесе А. Н. Островского, за сценой играл гитарист, фотограф-любитель.

12. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 17)

…я принялся за злосчастный мой сценарий. — Имеется в виду киносценарий «Беня Крик».

…я хлопочу об снижении арендной платы за «наш» дом, я отчаянно стучусь в Иностранный отдел Исполкома… — Бабель занимался имущественными делами родителей жены и хлопотал об отправке их за границу.

…Александр Константинович обещал мне дать возможность прочитать корректуру трижды. — Воронский Александр Константинович (1884–1937) — критик, редактор журнала «Красная новь» (1921–1927); речь идет о рассказе «История моей голубятни» (см. след. письмо).

18. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 22)

Приятельница ваша, актриса Ксения… — Гольцева Ксения Ивановна (1898–1943), актриса, ученица В. Э. Мейерхольда.

19. М. Э. Шапошниковой (с. 22)

…когда я хожу в генералах… — Справедливость этой характеристики подтверждается многими источниками. Соратник Бабеля по южнорусской школе вспоминал: «Он сразу же и первый среди нас прославился и был признан лучшим прозаиком не только правыми, но и левыми. “Леф” напечатал его рассказ “Соль”, и сам Командор <Маяковский — *И. С.*> на своих поэтических вечерах читал этот рассказ наизусть и своим баритональным басом прославлял его автора перед аудиторией Политехнического музея, что воспринималось как высшая литературная почесть, вроде Нобелевской премии.

Конармеец стал невероятно знаменит. На него писали пародии и рисовали шаржи, где он неизменно изображался в шубе с меховым воротником, в круглых очках местечкового интеллигента, но в буденновском шлеме с красной звездой и большой автоматической ручкой вместо винтовки.

Он, так же как и многие из нас, приехал с юга, с той лишь разницей, что ему не надо было добывать себе славу. Слава опередила его. <…> Алексей Максимович <Горький — *И. С.*> души не чаял в будущем конармейце, пророча ему блестящую будущность, что отчасти оправдалось.

В Москве он появился уже признанной знаменитостью» (Катаев В. П. Алмазный мой венец. М., 1981. С. 210).

20. Д. А. Фурманову (с. 23)

Ответ на письмо Фурманова, который надеялся, что Бабель отрецензирует роман «Чапаев».

21. И. В. Евдокимову (с. 23)

Евдокимов Иван Васильевич (1887–1941) — советский писатель, заведующий отделом художественной литературы Государственного издательства, в котором выходили бабелевские книги.

22. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 23)

В пятницу, т. е. на следующий после Вашего отъезда день, я встретил Сережу Есенина, мы провели с ним весь день. — Бабель и Есенин встретились в Госиздате в пятницу 12 июня 1925 года. Отношения прозаика и поэта были близкими, товарищескими. Бабель ценил есенинские стихи. Об одной из предшествующих подобных встреч см.: Гехт С. У стены Страстного монастыря в летний день 1924 года // Воспоминания о Бабеле. М., 1989. С. 54–60.

Сценарий, я почувствовал сегодня… — Речь идет о киносценарии «Беня Крик».

23. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 26)

Мать — Бабель Фаня Ароновна (1864–1942); после смерти мужа вместе с женой и сестрой Бабеля она жила в Сергиевом Посаде до отъезда за границу.

Аннушка — домработница в доме матери Бабеля в Сергиевом Посаде.

Работпрос — точнее, Рабпрос, профсоюз работников просвещения.

24. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 27)

Завтра, в субботу, из шести частей будут готовы четыре, а в воскресенье я поеду получать от Вас письма и читать сценарий Эйзенштейну. — Речь идет о сценарии «Беня Крик», который первоначально предполагал ставить С. М. Эйзенштейн (см. т. 1); Бабель был на даче у Эйзенштейна во вторник и среду, 23–24 июня 1925 г.

26. А. М. Горькому (с. 30)

Но теперь Вы знаете, что я не обленился, не забросил писания, не забыл слов, сказанных Вами мне в первый раз в кабинете «Летописи», на Монетной улице. — Об этой встрече Бабель вспоминал и в мемуарном очерке «Начало» (см. т. 1)

С рассказом, посвященным Вам и напечатанным в предпоследнем № «Красной нови», вышло недоразумение. По причинам, от меня не зависящим, рассказ оборван на половине. Вторая половина появится в альманахе «Красная новь», выходящем на днях. — Речь идет о рассказах «История моей голубятни» (с посвящением Горькому) и «Первая любовь»; они воспринимаются Бабелем как единое целое.

27. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 32)

Вознесенские — вероятно, Вознесенский Александр Сергеевич (1880–1939), поэт, киносценарист; письмо Бабеля к нему см. далее.

Зозуля Ефим Давидович (1891–1941) — журналист, долгие годы работавший в журнале «Огонек»; корреспондент Бабеля.

28. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 34)

Он будет снимать там две картины. — Речь идет о кинофильмах «1905 год» (в процессе работы превратился в «Бронено-

сец “Потемкин”») и «Беня Крик» (поставлен другим режиссером; см. т. 1).

Фрейман — военный, знакомый Т. В. Кашириной.

…кстати, говорят, что Фрейман — это ничего не обозначающий псевдоним, а на самом деле он написал «Юрия Милославского»… — Шуточная реминисценция из гоголевского «Ревизора». Завравшийся Хлестаков приписывает себе сочинение «Юрия Милославского». На замечание Марьи Антоновны, что этот роман — сочинение господина Загоскина, он отвечает: «Ах, да, это правда, это точно Загоскина, а есть другой “Юрий Милославский”, так тот уж мой» (действие 3, явл. 6).

Давыдов Владимир Николаевич (настоящие фамилия и имя Иван Николаевич Горелов, 1849–1925) — знаменитый актер Александринского театра, герой одного из устных рассказов Бабеля (см.: Савич О. Два устных рассказа Бабеля // Воспоминания о Бабеле. М., 1989. С. 73–75).

29. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 37)

Наркомзем — Народный комиссариат земледелия.

30. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 38)

Только что (теперь третий час утра) дописал проклятущий мой сценарий. — Киносценарий «Беня Крик».

32. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 40)

Капчинский Михаил Яковлевич — в 1924–1925 гг. директор Московской кинофабрики Госкино.

35. Д. А. Фурманову (с. 42)

Я справлялся на Госкинофабрике о судьбе Чапаева. — Имеется в виду киносценарий «Чапаев», написанный Фурмановым по предложению Пролеткино; фильм был поставлен по другому сценарию много позднее, уже после смерти Фурманова.

Блиох Я. М. (1895–1957) — советский кинорежиссер, в годы гражданской войны военком 1-й Конной.

41. Т. В. Ивановой (Кашириной) (с. 45)

Грановский Алексей Михайлович (1890–1935) — кинорежиссер, Бабель делал надписи для его фильма «Еврейское счастье» (1925).

Сабинский Чеслав Генрихович (1885–1941) — кинорежиссер и художник.

47. Т. В. Ивановой (Кашириной) (с. 48)

Лишин Михаил Ефимович (1892–1960) — актер, режиссер, педагог, работал в разных московских театрах.

Треплев Авраам Давыдович (1891–1955) — режиссер, учился в Одессе, в 1925–1926 гг. работал в Театре Революции.

Цекубу — Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

50. Д. А. Фурманову (с. 50)

Посылаю «Конармию» в исправленном виде. — Речь идет о подготовке первого книжного издания «Конармии», в процессе которого шла правка газетных и журнальных публикаций.

«Сиверко» — повесть И. Евдокимова.

Анна Никитична — Анна Никитична Фурманова (1897–1941), жена Д. А. Фурманова.

51. В. А. Дынник (с. 51)

Валентина Александровна Дынник (1898–1979) — литературовед и переводчик, работавшая совместно с Бабелем над трехтомным собранием сочинений Мопассана: с этой работой связано это и следующие письма ей и ее мужу Ю. М. Соколову.

Очень прошу вас прислать мне статью… — Речь идет о вступительной статье к собранию сочинений Мопассана; она будет помещена в первом томе.

54. Ю. М. Соколову (с. 53)

Юрий Матвеевич Соколов (1889–1941) — известный фольклорист, муж В. А. Дынник.

…первый должен открыться статьей В. А. о Мопассане. — См. предшествующее письмо В. А. Дынник.

56. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 54)

Вуфку — Всеукраинское фотокиноуправление.

57. В. А. Дынник (с. 56)

…прошу вас вручить подательнице сего том, где есть Le mal d'André. — Новелла «Болезнь Андре» в бабелевском переводе опубликована во втором томе собрания сочинений Мопассана; см. раздел «Переводы» в т. 3.

Переведете ли вы — Верхом? — Переведенная В. А. Дынник новелла «Верхом» («A cheval») также напечатана во втором томе собрания сочинений Мопассана.

58. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 57)

Рита Райт (псевдоним Раисы Яковлевны Райт-Ковалевой, 1898–1989) — переводчица, по образованию врач.

…пойдем сегодня на негритянскую оперетту. — Негритянская труппа из США «Шоколадные ребята» гастролировала в СССР с одноименной опереттой.

61. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 59)

Посылаю тебе книжицу, изданную «Землей и Фабрикой». — «История моей голубятни», М.; Л.: Земля и фабрика, 1926.

Я просмотрел уже корректуру «Конармии». Она выходит в апреле на русском и немецком яз. Из Берлина получил мои «Одесские рассказы» на немец. яз. — Речь идет об изданиях: Конармия. М.; Л.: Госиздат, 1926; Конармия. Берлин: Малик Ферлаг, 1926; Одесские рассказы. Берлин: Малик Ферлаг, 1926. О последней книге Бабель резко отзывается в публикуемом выше письме И. В. Евдокимову.

62. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 60)

Очень неприятна история со старухой. — Хозяйка квартиры, которую за высокую плату снимала Т. В. Каширина; Бабель хотел, чтобы плата вносилась в домоуправление.

64. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 63)

Марья Потаповна — Окунева Марья Потаповна (1870–1955), мать Т. В. Кашириной.

67. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 68)

Ближайшие три-четыре дня будут у меня заняты приспособлением текста для печати. — О судьбе сценария «Беня Крик» см. в т. 1.

69. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 70)

Откомхоз — Отдел коммунального хозяйства.

70. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 71)

Послать цветы — это не составило бы для меня труда, очень жалею, что не вышло. — Имеется в виду просьба Т. В. Кашириной послать цветы ее матери в день рождения.

71. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 72)

Воронский принял к напечатанию в «Кр<асной> Нови» сценарий. — Киносценарий «Беня Крик» опубликован: Красная новь, 1926, № 6.

76. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 78)

Главрепетком (правильно — Главрепертком) — Главный репертуарный комитет, государственный орган при Народном комиссариате просвещения, выполнявший контрольно-цензурные функции в театре.

«Блуждающие звезды» — киносценарий по роману Шолом-Алейхема (о его истории см. т. 1 и следующие письма).

Прочел начало новой повести Сейфуллиной. — О каком произведении идет речь, неясно; в 1926 г. Сейфуллиной была написана повесть «Каин-кабак».

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) — писатель, ставший с 1928 г. мужем Т. В. Кашириной и усыновивший рожденного от Бабеля сына Михаила.

77. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 80)

...мать лучше всего пристегнуть к ним, оседлым, тихим, сравнительно обеспеченным. — Сестра Бабеля Мария Эммануиловна Шапошникова (1897 или 1898–1987) с 1924 г. жила в Бельгии.

79. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 84)

...вчера нагрянула Ита... — Ита Климентьевна Ахрап, одесская знакомая Бабеля.

В режиссеры они прочат Грановского... — Фильм, в конце концов, снял другой режиссер Г. Гричер-Чериковер (см. т. 1 и след. письма).

Таиров Александр Яковлевич (1885–1950) — создатель и режиссер Камерного театра.

Репrиманд (*франц.*) — упрек, выговор.

81. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 86)

Рабис — профсоюз работников искусства.

82. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 88)

Приехал в Москву благополучно. — Письмо написано после короткой поездки в Ленинград и ссоры с Т. В. Кашириной.

98. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 97)

Ты что-то сгоряча написала о судах. — Имеется в виду попытка обмена московской жилплощади на ленинградскую.

99. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 98)

...силой воли, сказал Эдгар По, можно победить даже смерть... — Имеется в виду мысль, высказанная в новелле Эдгара Алана По (1809–1849) «Лигейя» (1845): «И заложена там воля, ей же нет смерти. Кто ведает тайны воли и силу ея? Понеже Бог — всемогущая воля, что проникает во все сущее мощию Своею. Человек не предается до конца ангелам, ниже́ само́й смерти, но лишь по немощи слабыя воли своея» (перевод В. Рогова). По приписывает ее английскому священнику и философу Джозефу Гленвиллу (1636–1680), однако комментаторами По источник цитаты не установлен.

101. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 100)

Кроме того, я редактирую и перевожу последние томы Мопассана и Ш. Алейхема... — Переводы Бабеля для редактируемых им сочинений Гюи де Мопассана в трех томах (М.; Л., 1926–1927) см. в т. 3; судьба переводов Шолом-Алейхема (наст. имя и фамилия Шолом Нохумович Рабинович, 1859–1916), которыми Бабель занимался много лет, неизвестна (см. о них в воспоминаниях А. Н. Пирожковой).

103. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 103)

Относительно Зинаиды я немедленно предприму шаги у Примакова, который назначен в Ленинград командиром корпуса, и у Чагина. — Речь идет о сестре Т. В. Кашириной, которая, переехав в Ленинград, оказалась без работы.

Примаков Виталий Маркович (1897–1937) — военачальник, хороший знакомый Бабеля.

Чагин (наст. фамилия Болдовкин) Петр Иванович (1898–1967) — издательский работник, в 1926–1929 гг. ответственный редактор ленинградской «Красной газеты».

Думаю, что надо нажать на Лид<ию> Ник<олаевну>. — Сейфуллину.

...когда вся «история» уляжется. — Речь идет о приближающихся родах Т. В. Кашириной.

104. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 103)

Поздравляю Пишите спешно — Ответ на известие о рождении 13 июля сына Михаила.

107. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 105)

Ксения — К. И. Гольцева.

109. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 107)

Завтра высокоторжественный день Дерби. — Всероссийские скачки трех- и четырехлетних лошадей; на московском ипподроме проводились с 1886 г.

110. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 108)

...ужинал с Виктором Андреевичем Щекиным, приехавшим на Дерби в Москву. Еще приехал Калинин, Сергей Иванович. — Знакомые Бабеля по Хреновскому конному хозяйству.

111. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 109)

...сообщили о смерти Дзержинского... — Феликс Эдмундович Дзержинский (1877–1926) умер 20 июля после заседания Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), на котором он выступил с речью против троцкистов.

114. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 112)

Я заключил договор на второе издание. — «Конармия». Изд. 2-е. М.; Л.: Госиздат, 1927.

116. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 113)

Гилевич — управдом, помогавший Бабелю в различных делах.

Ольге Ефремовне я написал. — Знакомая Бабеля, банковский работник; вероятно речь идет о просьбе взять на работу сестру Т. В. Кашириной.

Я решил попробовать себя. Это будет серьезная проба. — Речь идет о задуманной пьесе «Закат».

117. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 115)

Ю. З. Ж. Д. — Юго-западной железной дороги.

Очень я захвачен сейчас коммерческим делом. — Работа над драмой «Закат», которую Бабель рассматривал и с этой точки зрения.

120. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 120)

Ссориться с Л<идией> Ник<олаевной> — не стоит, глупо. — Речь идет о письме Л. Н. Сейфуллиной, которая предупреждала, что будет уговаривать Т. В. Каширину порвать с Бабелем.

125. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 125)

Пьеса моя произвела на слушателей (Марков, Воронский и несколько актеров Художеств <енного> театра) благоприятное впечатление, но мы условились, что я сделаю кое-какие дополнения. — Речь идет о чтении пьесы «Закат».

Марков Павел Александрович (1897–1980) — критик, в 1925–1949 гг. заведующий литературной частью МХАТа.

Матери я не звонил... — Марии Потаповне, матери Т. В. Кашириной.

127. П. И. Чагину (с. 127)

...первый написанный мной рассказ будет послан в «Кр[асную] газ[ету]». — В 1925–1926 гг. Бабель несколько раз публиковался в «Красной газете»; более поздние публикации неизвестны.

128. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 127)

Кольцов (наст. фамилия Фридлянд) Михаил Ефимович (1898–1940) — писатель, журналист, редактор нескольких советских журналов.

Ольшевец Марк Осипович — журналист, редактор одесских периодических изданий, впоследствии работал в журнале «Новый мир».

130. А. Г. Слоним (с. 129)

Здесь идут картины, сделанные по моим сценариям — сделанные бездарно, пошло, ужасно. — Речь идет о фильмах «Блуждающие звезды», «Кафе Фанкони», «Беня Крик».

134. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 132)

Старик очень плох. — Б. В. Гронфайн, отец Евгении Борисовны, первой жены Бабеля.

135. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 132)

Анна Григорьевна — Слоним.

Сережа — радиотехник.

136. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 133)

Старик умер 7-го. — Б. В. Гронфайн.

Полонский (наст. фамилия Гусин) Вячеслав Павлович (1886–1932) — историк литературы, критик, редактор журналов «Печать и революция» (1921–1929) и «Новый мир» (1926–1931).

137. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 135)

Бляхин Павел Андреевич (1886–1961) — писатель, киносценарист, с 1926 г. руководил производственно-художественным отделом «Совкино».

141. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 138)

Зачем ты сообщаешь мне вздор об Анне Павловне… — А. П. Иванова-Веснина (?–1972) — писательница, жена Вс. Иванова в 1922–1927 гг.

Очень жалею, что не удалось мне повидать Виктора Андреевича. — Щекина.

145. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 144)

…квартиру укажут Черниковы. — Братья-дворники, жившие с Бабелем в одной квартире.

Вчера читал пьесу. — «Закат».

Посылаю тебе рецензию. — К письму приложена вырезка из газеты «Вечерний Киев» (1927, 26 марта) со статьей С. Пакентрейгера «Вечер писателя И. Э. Бабеля, “Закат” (И. Э. Бабель)».

С Митей сущая неразбериха. — Речь идет о Д. А. Шмидте.

Виктор Андреевич — Щекин.

151. А. Г. Слоним (с. 147)

Вчера вечером вернулся из «поездки» по южным городам. — Бабель выступал в Одессе и Виннице.

«Я все писал о браке, о браке, о браке, а мне навстречу шла смерть, смерть, смерть...» (Розанов). — Цитата из книги «Уединенное» (1912) русского журналиста и мыслителя Василия Васильевича Розанова (1856–1919).

152. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 148)

Корректуру «Короля» пришли. — Вероятно, имеется в виду книга «Король» (М.; Л.: Госиздат, 1927).

153. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 149)

Я написал Шубину… — Председателю домового комитета.

Передай Эйзеншт<ейну> прилагаемую заметку. — К письму приложена вырезка из газеты «Вечерний Киев» со статьей за подписью Ур. «Театр и кино. И. Э. Бабель о новой картине С. Эйзенштейна», в которой идет речь о кинофильме «Генеральная линия». Бабель смотрел материал к фильму в феврале 1927 г.

Правда ли, что Воронского окончательно сняли? — А. К. Воронский был отстранен от должности редактора журнала «Красная новь».

154. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 151)

В корректуре сделал незначительные изменения в порядке рассказов и написал на титульном листе «третье издание». — Речь идет о книге: Конармия. Изд. 3-е, исправленное. М.; Л.: Госиздат, 1928.

Получил от Маркова телеграмму об отсылке моей «части». — Речь идет об эксперименте МХАТа: Бабелю, Вс. Иванову, Ю. Олеше, Л. Леонову было предложено написать драматические фрагменты с целью создать коллективную пьесу к десятилетию Октябрьской революции. В результате МХАТ поставил инсценировку повести Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69» (1927).

155. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 152)

Госниипром — Государственный научно-исследовательский институт промышленности.

158. В. П. Полонскому (с. 154)

Посылаю пьесу. — «Закат».

160. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 155)

В Париже нас встретила Е<вгения> Б<орисовна>. — Бабель приехал в Париж 24 июля.

В Киеве в книжном киоске я видел второе издание моих рассказов. — Речь идет о книге: Бабель И. Рассказы. М.; Л.: Госиздат, 1926. (Серия «Универсальная библиотека», № 22.)

161. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 157)

Да, не запретили злосчастную эту пьесу, как сделали со Всеволодом. — Речь идет о временном запрещении реперткомом пьесы Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69» и о собственной драме «Закат».

162. В. П. Полонскому (с. 159)

Крклиц Густав — известный хорватский поэт, автор воспоминаний о Бабеле.

163. Б. Б. Сосинскому (с. 159)

Сосинский Бронислав Брониславович (1900–1987) — в 1920-е гг. начинающий писатель-эмигрант, впоследствии участник французского Сопротивления, в 1960 г. вернулся в СССР.

166. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 161)

Я надеюсь, что закончу к 1 января книгу. — Речь идет о книге «История моей голубятни», над которой Бабель работал до последних дней, но так и не успел опубликовать.

Берсенев Иван Николаевич (1889–1951) — актер и режиссер, в 1924–1938 гг. служил во МХАТе 2-м, с 1928 г. художественный руководитель театра; в «Закате» исполнял роль Бени Крика.

Альтман Натан Исаевич (1889–1970) — художник и скульптор.

168. В. П. Полонскому (с. 165)

Бакунина Вы мне так-таки и не прислали. — Вероятно, имеется в виду книга В. П. Полонского «Жизнь Михаила Бакунина» (1926).

Членов — сотрудник советского полпредства во Франции.

169. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 166)

Серебрякова Галина Иосифовна (1905–1980) — писательница, жена Г. Я. Сокольникова.

Сокольников Григорий Яковлевич (настоящие имя и фамилия Гирш Яковлевич Бриллиант (1888–1939)) — видный большевик, в 1920-е гг. нарком финансов, в 1930-е гг. работал в наркоматах иностранных дел и лесной промышленности, арестован в 1937 г., убит в тюрьме сокамерниками.

Чехов Михаил Александрович (1891–1955) — актер, режиссер, в 1924–1927 гг. художественный руководитель МХАТа 2-го.

170. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 167)

Рассчитываю осуществить мечту мою — поехать в Марсель. — Бабель был в Марселе в октябре — ноябре 1927 г.

172. А. Г. Слоним (с. 169)

С пьесой, как и следовало ожидать, неприятности. — Речь идет о драме «Закат».

174. В. П. Полонскому (с. 172)

Сообщение о «Перевале» привело меня в полное недоумение. — Возможно, речь идет об анонсе альманаха «Перевал»; в шестом сборнике «Перевала» (1928) появятся три бабелевских рассказа: «Ходя», «В щелочку», «Старательная женщина».

Рассказы, которые я Вам буду посылать, являются частью большого целого. — Речь идет о книге «История моей голубятни».

Я мечтаю о том времени, когда бестрепетно смогу я «поднять очи на кредиторов моей совести...». Когтистый зверь, скребущий душу, — совесть!.. — Перефразированная цитата из маленькой трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» (1830): «Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, Незваный гость, докучный собеседник, Заимодавец грубый…» (Сцена II).

175. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 173)

МОДПиК — Московское общество драматических писателей и композиторов.

Напиши мне еще, Тамара, о пьесах Всеволода и Леонова, как они выглядели со сцены, имеют ли успех? Что получилось у Эйзенштейна? — Речь идет о постановках по пьесам В. В. Иванова «Бронепоезд 14-69» во МХАТе, Леонида Максимовича Леонова (1899–1994) «Барсуки» в театре имени Вахтангова и кинофильме С. М. Эйзен-

штейна «Генеральная линия», который был завершен в 1929 г. под новым заглавием «Старое и новое».

176. А. Г. Слоним (с. 176)

В Одессе и Баку представления уже идут, как идут — не знаю. — Премьера «Заката» в Баку состоялась 23 октября 1927 г., в Одессе — 25 октября 1927 г.

178. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 178)

В существовании моем недавно произошел перелом к лучшему, я придумал себе побочную литературную работу, которую нигде, кроме как в Париже, сделать нельзя. — Бабель работал с архивными документами по истории Французской революции.

179. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 179)

Аш Шолом (1880–1957) — еврейский писатель, в 1920-е гг. живший в США.

183. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 186)

Есть ли надежда, что «комсомольский» фильм увидит экран? — Речь идет о сценарии «Китайская мельница (Пробная мобилизация)», написанном на сюжет, взятый из фельетона газеты «Комсомольская правда» (см. т. 3).

184. Е. Д. Зозуле (с. 188)

«Прожектор» (1923–1935) — иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал, в котором работал Е. Зозуля.

Нортклиф А. (1865–1922) — один из крупнейших английских газетных магнатов.

187. А. Г. Слоним (с. 191)

Послал Вам: Линдберга «Mon avion et moi» и Воронова «Conquete de la vie». — Речь идет о книгах американского летчика Чарльза Линдберга (1902–1974) и французского врача-хирурга С. Воронова.

Отзыв Ваш о «Бронепоезде»... — Речь идет о спектакле МХАТа по пьесе Вс. Иванова.

188. И. Л. Лившицу (с. 193)

Книжный магазин сообщил мне, что задержка вышла из-за того, что никак нельзя было достать книгу Valery. — Речь идет о какой-то книге французского поэта-модерниста и теоретика искусства Поля Валери (1871–1945).

190. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 194)

В Центросоюз написал. — Бабель задолжал Центросоюзу, в связи с чем имущество Т. В. Кашириной было описано.

191. И. Л. Лившицу (с. 195)

Бескин Осип Мартынович (1892–1969) — литературный критик и публицист.

«Круг» — книжное издательство «Артели писателей» в Москве.

Кокто Жан (1889–1963) — французский поэт, художник и кинорежиссер.

193. А. Г. Слоним (с. 198)

...не послала Вам книги Charmian London... — Биографическая книга «Джек Лондон», написанная женой писателя Чармиан Лондон.

...и скандальную книгу Бруссона... — Возможно, имеются в виду записки бывшего литературного секретаря А. Франса Ж. Ж. Бруссона «Анатоль Франс в халате».

...биографию Диккенса, написанную Честертоном... — Речь идет о книге английского писателя и эссеиста Гилберта Кийта Честертона (1874–1936) «Чарльз Диккенс» (1909), которую называли «лучшей из всех книг, написанных о Диккенсе»; ее русский перевод появился в 1929 г.

194. Л. В. Никулину (с. 200)

Никулин Лев Вениаминович (1891–1967) — советский писатель, адресат бабелевских писем.

Безыменский Александр Ильич (1898–1973) — советский поэт.

Жуткин — ироническое прозвище поэтов Александра Алексеевича Жарова (1904–1984) и Иосифа Павловича Уткина (1903–1944).

201. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 207)

Мое доверенное (в материальном смысле) лицо — Анна Григорьевна. — Слоним.

202. Л. В. Никулину (с. 209)

...Ваш прелестный, действительно прелестный очерк... — Речь идет об очерке Л. Никулина «Воображаемые прогулки» (Новый мир, 1928, № 3).

204. А. М. Горькому (с. 212)

...по поводу Вашего юбилея... — 60-летие Горького отмечалось в марте 1928 г.

205. А. Г. Слоним (с. 212)

Карко Франсис (наст. фамилия Каркопино-Тюзоли; 1886–1958) — французский писатель.

...с романом Бенуа? — Вероятно, речь идет о французском писателе Пьере Бенуа (1886–1962).

206. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 214)

История с мебелью чудовищна. — Мебель Т. В. Кашириной была описана за долги.

209. Ф. А. Бабель (с. 218)

...сборник статей обо мне. — Речь идет о книге: И. Э. Бабель. Статьи и материалы / Сборник под ред. Б. В. Казанского и Ю. Н. Тынянова. Л.: Academia, 1928. 104 с. (Серия «Мастера современной литературы»). Помимо «Автобиографии» Бабеля, в книге были опубликованы статьи: Степанов Н. Новелла Бабеля; Новицкий П. Бабель; Гуковский Г. «Закат». Степанов и Гуковский — известные советские литературоведы.

210. А. Г. Слоним (с. 219)

Муссолини Бенито (1883–1945) — глава итальянской фашистской партии и фашистского правительства в Италии в 1922–1943 гг.

...вышли мемуары Айседоры Дункан... — Дункан Айседора (1878–1927) — американская танцовщица. В русском переводе автобиография Дункан «Моя жизнь» появилась в 1930 г. По степени откровенности ее сравнивают с «Исповедью» Жана Жака Руссо.

211. Е. Д. Зозуле (с. 220)

Шмидт Лазарь — журналист, сотрудник журнала «Прожектор».

213. А. Г. Слоним (с. 222)

Ищу теперь только что вышедшую (или, может, она выйдет через день-два) книжку о знаменитом загадочном мультимиллионере Базиле Захарове... — Базиль Захаров (1848–1936) — грек по происхождению (Захариос), жизнь которого окружена многочисленными легендами; акционер многих французских военных и сталелитейных заводов, имевший прозвище «король оружия». До революции принадлежащая Захарову компания «Виккерс» выполняла множество военных заказов в России. О какой книге идет речь, неизвестно.

214. Ю. П. Анненкову (с. 223)

Анненков Юрий Павлович (1889–1974) — русский график и живописец, с 1924 г. жил во Франции, автор воспоминаний о Бабеле.

219. А. Г. Слоним (с. 229)

Получили ли вы книгу Лоуренса? — Речь идет о книге английского разведчика на Ближнем и Среднем Востоке Томаса Эдуарда Лоуренса (1888–1935) «Семь столпов мудрости» (1926).

221. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 233)

У меня нет основания думать, что просьба моя будет уважена. — Речь идет о предоставлении справки о командировке Бабеля; без нее его могли выписать с занимаемой жилплощади.

224. Л. В. Никулину (с. 235)

Рабинович Исаак Моисеевич (1894–1961) — театральный художник.

Никитин Николай Николаевич (1895–1963) — писатель.

Лашевич Михаил Михайлович (1884–1928) — старый большевик, в 1926–1928 гг. ответственный работник КВЖД.

225. И. Л. Лившицу (с. 236)

Очень жалко Надежду Израилевну… — Верцнер Н. И. — мать жены Лившица.

231. В. П. Полонскому (с. 243)

Урин Дмитрий Эрихович (1905–1934) — писатель.

236. А. Г. Слоним (с. 246)

Да, совсем забыл — читайте Правду! В каждой цивилизованной стране такая критика стоит нового издания — т. е. 1100 рублей… — Речь идет о продолжении спора вокруг «Конармии», начатого еще в 1924 году.

В статье «Рабселькорам и военкорам о том, как я учился писать» М. Горький возражал С. М. Буденному: «Товарищ Буденный охаял “Конармию” Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов,

но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри, и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев» (Правда, 1928, 30 сентября).

В «Открытом письме Максиму Горькому» Буденный возражал: «Бабель так “украсил изнутри” бойцов 1-й Конной армии, что я до сего времени получаю письма с самым категорическим протестом против явной, грубой, я бы сказал, сверхнахальной бабелевской клеветы на Конную армию» (Правда, 1928, 26 октября).

241. Т. В. Кашириной (Ивановой) (с. 250)

Поступок Ник<олая> Вас<ильевича>... — Николай Васильевич Неврев (1892 — конец 1940 гг.), первый муж Т. В. Кашириной, настаивал на получении от него алиментов на дочь Таню.

243. В. П. Полонскому (с. 253)

Анонс Ваш на 29 год будет выполнен. — Еще в 1927 г. «Новый мир» анонсировал рассказ Бабеля «Мария Антуанетта», он не был опубликован и, вероятно, не сохранился.

244. А. Г. Слоним (с. 254)

Прочитайте ответ Горького. — «Читатель внимательный, — писал Горький, — я не нахожу в книге Бабеля ничего “карикатурно-пасквильного”, наоборот: его книга возбудила у меня к бойцам “Конармии” и любовь, и уважение, показав мне их действительно героями, — бесстрашные, они глубоко чувствуют величие своей борьбы» (Правда, 1928, 27 ноября).

В черновике Горький был более резок: «Т. Буденный, разрешите сказать Вам, что резким и неоправданным тоном вашего

письма Вы <нрзб.> наносите оскорбление, не заслуженное им, но Вы можете физически уничтожить его, возбуждая ваших бойцов против человека, оружие которого только перо». И другой вариант, заменяющий зачеркнутую вторую часть предыдущего предложения: «Въехав в литературу на коне и с высоты коня критикуя ее, Вы уподобляете себя тем бесшабашным критикам, которые разъезжают по литературе в телегах плохо усвоенной теории, а для правильной и полезной критики необходимо, чтоб критик был или культурно выше литератора или — по крайней мере — стоял на одном уровне культуры с ним» (ИМЛИ, архив Горького, ПГ-рл-7-5-1).

Члены редколлегии «Правды» А. Халатов и Г. Крумин обратились к Горькому с просьбой смягчить этот абзац, поскольку он мог быть воспринят «как личное оскорбление»: «Те товарищи, с которыми советовались, придерживаются такого же мнения. Поэтому мы задержали печатание Вашего письма на несколько дней с тем, чтобы просить Вас согласиться внести некоторые изменения редакционного, по преимуществу, порядка, касающиеся конца письма. Можно было бы сформулировать последнее предложение примерно так: “Критика полезна при том условии, если критик объективен и внимателен к молодым растущим силам”» (ИМЛИ, КГП 83-а-1-27).

Настоящим автором письма, подписанного Буденным, был бывший секретарь Реввоенсовета 1-й Конной С. Орловский (1891–1935). Его статья «На задворках “Конармии”», почти полностью совпадающая с письмом Буденного, сохранилась в архиве

В. А. Регинина (см.: Бабель И. Сочинения. Т. 1. М., 1990. С. 456. Примечание С. Н. Поварцова).

Есть версия, что к борьбе вокруг бабелевской книги Буденный пытался привлечь и В. И. Ленина. 2 мая 1953 г. Чуковский записывает в дневнике : «Встретил генерала Вас. Степ. Попова. Он рассказал, как чествовали тов. Буденного. Мы сложились и поднесли ему вазу с рисунком Грекова. За ужином зашел разговор о том, что Конармия до сих пор никем не воспета. “Не только не воспета, но оклеветана Бабелем”, — сказал кто-то. — Я ходил к Горькому, — сказал Б[уденный]. — Но Горький мне не помог. Он встал на сторону Бабеля. Я пошел к Ленину. Ленин сказал: Делами литературы ведает у нас Горький. Предоставим ему это дело. Не стоит с ним ссориться…» (Чуковский К. И. Дневник. 1930–1969. М., 1995. С. 199).

247. И. Л. Лившицу (с. 257)

Падам до нуг (*польск.*) — припадаю к ногам.

Длигач Лев Михайлович (1904–1949) — поэт и журналист, сотрудник киевских и московских изданий, знакомый О. Э. Мандельштама.

249. И. Л. Лившицу (с. 259)

Сандомирский Г. Б. (1882–1937) — заведующий литературно-художественным отделом ГИЗа.

252. В. П. Полонскому (с. 262)

…прет роман страниц на триста. — Бабель, как утверждают мемуаристы, много лет писал роман о Чека, его судьба неизвестна.

257. В. П. Полонскому (с. 269)

Халатов Арташес Багратович (1894–1938) — партийный и государственный деятель, в 1927–1932 гг. председатель правления Госиздата.

258. А. Г. Слоним (с. 270)

Я согласен… — Имеется в виду подписание договоров в Государственном издательстве художественной литературы на 4-е издание «Конармии» и книгу рассказов «История моей голубятни».

259. Н. А. Головкину (с. 271)

Головкин Н. А. — заведующий редакцией литературно-художественного отдела издательства «ЗИФ» («Земля и фабрика»).

Ионов (наст. фамилия Бернштейн) Илья Ионович (1887–1942) — в 1926–1929 гг. зав. издательством «ЗИФ».

260. В. П. Полонскому (с. 271)

Как бы там ни было, сквозь магический кристалл кое-что я начинаю различать. — Реминисценция из «Евгения Онегина»: «И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще неясно различал» (глава 8, строфа L).

267. А. Г. Слоним (с. 277)

Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885–1938) — писатель.

268. Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой (с. 280)

…смерть Владимира Маяковского… — Поэт покончил с собой 14 апреля 1930 г.

269. М. Э. Шапошниковой (с. 280)

...я все больше любуюсь Наташей... — Наталья Исааковна Бабель (род. в 1929) — дочь Бабеля от первого брака.

270. В редакцию «Литературной газеты» (с. 282)

Письмо опубликовано в «Литературной газете» 15 июля 1930 г. Оно написано в связи с появившейся в той же «Литературной газете» статьей Бруно Ясенского «Наши на Ривьере» (1930, № 28, 10 июля), в которой сообщалось об интервью Бабеля, будто бы данном польскому журналисту А. Дану для еженедельника «Литературные ведомости». Выступление Бабеля по этому поводу на секретариате ФОСПа см. в т. 3.

271. В. П. Полонскому (с. 283)

...вещи, предназначенные для «Нового мира»... — В журнале (1931, № 10) были опубликованы рассказы «В подвале» и «Гапа Гужва». На 1932 г. журнал анонсировал рассказы «Иван-да-Марья», «У Троицы», «Медь», «Весна», «Адриан Маринец». «Иван-да-Марья» напечатан в журнале «30 дней» (1932, № 4). Судьба остальных текстов неизвестна.

275. Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой (с. 286)

Только что мне сообщили из Госиздата, что последнее издание «Конармии» разошлось в рекордный и небывалый срок, чуть ли не в семь дней — и требуется новое переиздание, за которое полагается новый гонорар... — Речь идет о четвертом издании (М., 1930). Следующее издание, обозначенное как «исправленное V–VI», появилось в 1931 г.

276. Л. Н. Лившиц (с. 287)

Надо послать Мери несколько хороших новых книг — Петра I, может быть, Веру Инбер и другое — по вашему усмотрению. — «Петр I» (Книга 1, 1929–1930) — исторический роман Алексея Николаевича Толстого (1883–1945); Инбер Вера Михайловна (1890–1972) — поэт и очеркист, на рубеже 1920–1930-х гг. выпустила несколько сборников стихов и прозы.

278. Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой (с. 288)

…хочу еще побывать в приснопамятной Великой Старице, оставившей во мне одно из самых резких воспоминаний за всю жизнь. — Эти воспоминания стали основой для рассказов из книги «Великая Криница» (см. т. 3).

279. А. Г. Слоним (с. 289)

…заехал к Макотинским… — Макотинские — киевские друзья Бабеля.

286. Ф. А. Бабель (с. 293)

…слова твоего Слонима… — Имеется в виду критик-эмигрант Марк Львович Слоним (1894–1976), постоянный сотрудник газеты «Воля России», автор книги «Портреты советских писателей» (Париж, 1933), с большой симпатией относившийся к советской литературе.

290. В. П. Полонскому (с. 295)

Только что дописал рассказ для «дебюта» в «Новом мире». — Из следующего письма Полонскому следует, что это рассказ «Гапа

Гужва» (Новый мир, 1931, № 10). Однако его авторская датировка: весна 1930 г.

291. В. А. Регинину (с. 295)

Регинин Василий Александрович (1883–1952) —журналист, один из создателей журнала «30 дней».

Посылаю выправленную рукопись. — Рассказ «Дорога».

293. Ф. А. Бабель (с. 297)

Перед отъездом я просил Катю послать вам и Жене по номеру журнала «Молодая Гвардия». Я там дебютировал после нескольких лет молчания маленьким отрывком из книги, которая будет объединена общим заглавием «История моей голубятни». — Рассказ «Пробуждение» с подзаголовком «История моей голубятни» опубликован: Молодая гвардия, 1931, № 17–18.

В этом же месяце появятся два рассказа в «Новом мире» — один из той же серии, другой деревенский. — Речь идет о рассказах «В подвале» и «Гапа Гужва» (Новый мир, 1931, № 10).

294. С. М. Михоэлсу (с. 298)

Михоэлс (настоящая фамилия Вовси) Соломон Михайлович (1890–1948) — актер и режиссер, с 1929 г. руководитель ГОСЕТа (Государственного еврейского театра).

Замерзшая пьеса лежит... — Драма «Мария».

296. Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой (с. 300)

Неужели вы до сих пор не получили октябрьской книжки «Нового мира»? Лит. журнал «Звезда» вам выслан. Обязательно надо

было послать «Молодую Гвардию» Жене… — Речь идет о журнальных номерах, в которых печатались рассказы Бабеля.

299. Т. Н. Тэсс (с. 301)

Тэсс (наст. фамилия Сосюра) Татьяна Николаевна (1906–1983) — писательница и журналистка.

305. А. Г. Слоним (с. 305)

Штайнер Бруно (?–1942) — австрийский инженер, сосед Бабеля по московской квартире; подробнее о нем см. в воспоминаниях А. Н. Пирожковой.

306. Л. В. Никулину (с. 307)

Эренбург богат — американцы в который раз купили у него «Жанну Ней» для фильма. — И. Эренбург вспоминает, что американский режиссер русского происхождения Люис Майльстоун («Леня Мильштейн из Кишинева») в 1933 г. заказал ему сценарий по другому роману, «Жизнь и гибель Николая Курбова» (1923). Постановка не состоялась, но гонорар сценаристу и художнику Н. Альтману был выплачен (см.: Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Т. 2. М., 1990. С. 6–7).

308. А. М. Горькому (с. 308)

…сделали предложение кинематографические фирмы… — По свидетельству секретаря А. М. Горького М. И. Будберг, французы предложили Бабелю написать сценарий по «Конармии», однако эта работа не была осуществлена.

310. Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой (с. 309)

...не советуют посылать пьесу... — Имеется в виду «Мария».

Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964) — поэт и переводчик.

А. М. взял у меня для альманаха три новых рассказа. Один из них мне действительно удался, только бы цензура пропустила. — Речь идет о рассказах «Нефть», «Улица Данте» и «Фроим Грач», предполагавшихся к публикации в альманахе «Год XVI». Удавшимся Бабель, вероятно, считал последний. Рассказы были отвергнуты редколлегией альманаха (см. прим. к «Фроиму Грачу», т. 1).

314. А. М. Горькому (с. 312)

Яковлев Владимир Николаевич (1893–1953) —художник, в 1932–1933 гг. жил у Горького в Сорренто.

317. М. Э. Шапошниковой (с. 315)

В газетах переврали... — Речь идет о публикации: Бабель И. На Западе // Вечерняя Москва, 1933, 16 сентября.

В гостях у нас отличный инженер из Вены. — Речь идет о Бруно Штайнере.

319. Л. М. Варковицкой (с. 317)

Варковицкая Лидия Моисеевна — сотрудница ленинградского Госиздата, жена однокашника Бабеля по Киевскому коммерческому институту.

320. Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой (с. 318)

Евдокимов Ефим Георгиевич (1891–1940) — чекист, хороший знакомый Бабеля; с января 1920 г. — зам. начальника Особого

Отдела Юго-Западного и Южного фронтов, позднее — начальник Секретно-политического отдела ГПУ — ОГПУ, занимавшегося борьбой с политическими противниками, в начале 1930-х гг. занимал крупные посты на Кавказе, с 1934 г. — член ЦК ВКП(б); арестован 9 ноября 1938 г., расстрелян 2 февраля 1940 г.

Калмыков Бетал Эдыкович (1893–1939) — участник гражданской войны на Северном Кавказе, позже первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома; подробнее о нем см. в воспоминаниях А. Н. Пирожковой.

324. О. Г. и А. Я. Савич (с. 321)

Савич Овидий Герцович (1896–1967) — писатель и переводчик, автор воспоминаний о Бабеле.

326. И. Л. Лившицу (с. 323)

Получил от Партиздата предложение написать брошюру срочно об МТС или колхозах. Я этим занимаюсь сейчас и сижу здесь для этого. Постараюсь сделать, но срок мне нужен — не несколько дней, как телеграфирует Шеломович, а несколько месяцев. — Этот замысел не был осуществлен.

328. М. Э. Шапошниковой (с. 325)

Могу доложить, что закончил пьесу. В ближайшие дни перепишу ее и пошлю в Москву. Самое замечательное в этом казусе, что я начал уже и другую — и похоже, на какой-то чистый ключ набрел, научился на прежних работах. — Речь идет о пьесе «Мария»; судьба «другой» пьесы неизвестна, это могло быть задуманное продолжение (см. прим. к «Марии» в т. 3).

331. А. Н. Афиногенову (с. 328)

Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941) — драматург.

Предложение, конечно, принимаю. — Вероятно, речь идет о предложении Афиногенова, редактора журнала «Театр и драматургия», опубликовать пьесу. Публикация состоялась: Театр и драматургия, 1935, № 3.

334. М. Э. Шапошниковой (с. 329)

Похоронили сегодня Багрицкого, старинного моего земляка, друга, замечательного поэта. — Багрицкий Эдуард Григорьевич (1895–1934) — поэт южнорусской школы, умер 16 февраля 1934 г.; см. воспоминания Бабеля о нем в т. 3.

Написанная уже пьеса будет поставлена одновременно в двух театрах — у Вахтангова и в Еврейском, под режиссерством Михоэлса. — Эти постановки не состоялись.

335. Т. О. Стах (с. 330)

Стах Татьяна Осиповна — переводчица, киевская знакомая Бабеля.

Работаю над сценарием по поэме Багрицкого... — Сценарий Бабеля не сохранился.

336. Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой (с. 331)

Вчера хоронили Максима Пешкова, чудовищная смерть. Он чувствовал себя неважно, несмотря на это выкупался в Москве-реке, молниеносное воспаление легких. — Пешков Максим Алексеевич (1897–1934) — сын Горького.

338. М. Э. Шапошниковой (с. 332)

Б. Д., Лёва — мать и брат Е. Б. Гронфайн.

342. Ф. А. Бабель (с. 336)

Новость: решились напечатать «Марию» — она появится в мартовском или апрельском номере журнала. — Пьеса опубликована в мартовском номере журнала «Театр и драматургия» (1935, № 3).

343. Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой (с. 336)

Конгресс закончился, собственно, вчера. — Международный конгресс писателей в защиту культуры состоялся в Париже с 21 по 26 июня 1935 г.

...имела у французов успех. — О речи Бабеля на конгрессе И. Эренбург писал: «Люди смеялись, и в то же время они понимали, что все это очень серьезно и глубоко, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры» (Эренбург И. Письмо с конгресса. Последнее заседание // Известия, 1935, 27 июня, № 149).

344. Т. Н. Тэсс (с. 337)

...достойно комической поэмы. — О совместной поездке Бабеля и Пастернака на конгресс см. в воспоминаниях А. Н. Пирожковой.

345. А. Г. Слоним (с. 337)

...один день 14 июля чего стоит. — 14 июля — день взятия Бастилии, национальный праздник французов.

346. Л. Г. Багрицкой (с. 338)

Багрицкая Лидия Густавовна — жена поэта Э. Багрицкого.

Олеша Юрий Карлович (1899–1960) — советский писатель.

Сева — Багрицкий Всеволод Эдуардович (1922–1942) — сын Багрицких, поэт.

Ольга Густавовна — сестра Л. Г. Багрицкой, жена Ю. Олеши.

348. С. И. Вашенцеву (с. 339)

Вашенцев Сергей Иванович (1897–1970) — писатель, ответственный секретарь редакции журнала «Знамя».

Стиль Жида в этой книге... — Роман французского писателя Андре Жида (1869–1951) «Новая пища» в переводе Б. Загорского опубликован в № 1 журн. «Знамя» за 1936 г. Автор романа просил Бабеля (через Эренбурга) отредактировать перевод.

Мунблит Георгий Николаевич (1904–?) — советский писатель, автор воспоминаний о Бабеле.

355. И. Л. Лившицу (с. 342)

Послезавтра уезжаю в Ялту к Эйзенштейну. — Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948) — советский режиссер и теоретик кино, о его совместной работе с Бабелем см. следующие письма.

Поздравь Николая Романовича... — Семичев, наездник, приятель Бабеля.

356. С. М. Эйзенштейну (с. 343)

Антонина Николаевна — Антонина Николаевна Пирожкова, жена Бабеля.

Пера — Пера Моисеевна Аташева — первая жена Эйзенштейна.

357. С. М. Эйзенштейну (с. 343)

Письмо связано с совместной работой с С. М. Эйзенштейном над сценарием «Бежин луг». Первоначальный вариант, в котором соединялись мотивы тургеневского очерка «Бежин луг» и актуальный материал (убийство пионера Павлика Морозова, донесшего на своего отца) написал кинодраматург А. Ржешевский. Потом, после остановки съемок, к работе подключился Бабель, сочинивший диалоги к фильму (они обсуждаются в письме и в значительной части вошли в текст сценария). По приказу Главного управления кинематографии 17 марта 1937 г. работа над картиной была прекращена, а отснятый материал смыт; от него осталось лишь несколько десятков фотографий-срезов.

Текст режиссерского сценария опубликован: Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6 т. Т. 6. М., 1971. С. 129–152 (на обороте титульного листа «Бежина луга» примечание: «Совместно с И. Бабелем. По мотивам сценария А. Ржешевского).

...и письмо Е. К. — письмо заместителя директора Мосфильма Е. К. Соколовской.

...по поводу новой Гришиной поэмы. — Иронический отзыв о фильме Григория Васильевича Александрова (наст. фамилия Мормоненко, 1903–1983) «Цирк» (1936). Бабель принимал некоторое участие в работе над сценарием.

Тиссэ Эдуард Казимирович (1897–1961) — советский кинооператор, ближайший сотрудник Эйзенштейна.

359. В редакцию газеты «Заря Востока» (с. 349)

С первыми номерами «Зари Востока» связана счастливая пора моей жизни в Тифлисе и начало литературной работы. — В ию-

не — декабре 1922 г. в газете «Заря Востока» было опубликовано несколько бабелевских статей (см. т. 3).

360. Новиковой (с. 349)

Письмо — ответом на вопрос читательницы о молчании Бабеля. Впервые опубликовано в многотиражной газете «Натиск» (1937, 5 августа). В том же номере С. Урицкий писал: «Когда тов. Новикова задавала Бабелю вопрос, почему он ничего не пишет, ее устами спрашивали тысячи людей нашей страны. И Бабель это понял, потому что, придя ко мне, он был очень взволнован. Он сказал мне, что вопрос Полины Новиковой его потряс».

361. Н. Огневу <*Розанову М. Г.*> (с. 350)

Огнев Николай (наст. фамилия и имя Розанов Михаил Григорьевич; 1888–1938) — писатель.

362. А. Г. Слоним (с. 350)

Работы здесь оказалось много... — Бабель работал над сценарием по роману Н. Островского «Как закалялась сталь» в квартире кинорежиссера Александра Петровича Довженко (1894–1956). Фрагменты сценария см. в т. 3.

364. А. П. Большеменникову (с. 351)

Большеменников А. П. — зам. директора Гослитиздата.

За долг Академии... — В январе 1936 г. издательство «Academia» предложило Бабелю и И. Феферу сделать перевод и отредактировать сборник рассказов Шолом-Алейхема. В феврале был заключен договор и Бабелю выплачен аванс в размере двух тысяч рублей.

К 1-му января 1937 г. писатель вместо перевода представил лишь план книги. В мае издательство расторгло договор и потребовало возвращения аванса.

Лифшиц Михаил Александрович (1905–1983) — философ, в то время главный редактор издательства «Academia».

369. Ф. А. Бабель (с. 355)

...сочинил в двадцать дней сценарий. — «Старая площадь, 4» (см. т. 3).

371. Ф. А. Бабель и М. Э. Шапошниковой (с. 356)

...заканчиваю последнюю работу кинематографическую (это будет фильм о Горьком) и скоро приступаю к окончательной отделке заветного труда — рассчитываю сдать его к осени. — Речь идет о сценарии по книге Горького «Детство» и книге «История моей голубятни».

Приложение

Антонина Пирожкова. Семь лет с Исааком Бабелем (с. 357)

Печатается по: Пирожкова Антонина. Семь лет с Исааком Бабелем. Воспоминания жены. New York, 2001 — с незначительными исправлениями и дополнениями.

Ранние варианты воспоминаний публиковались: И. Бабель. Воспоминания современников. М., 1972, заглавие «Бабель в 1932–1939 годах»; Воспоминания о Бабеле. М., 1989, заглавие «Го-

ды, прошедшие рядом (1932–1939)»; Литературное обозрение, 1995, № 1–3, заглавие то же.

Американское издание — наиболее полный вариант.

...получил разрешение на поездку к семье во Францию. — Разрешение было получено в мае 1932 г.; Бабель провел за границей около года (сентябрь 1932 — сентябрь 1933).

Принцесса Турандот — героиня пьесы-сказки итальянского драматурга Карло Гоцци (1720–1806) «Турандот» (1762), китайская принцесса, отличающаяся гордым нравом, умом и красотой. Актуальность образа объясняется тем, что в 1922 г. замечательную постановку пьесы осуществил режиссер Евгений Багратионович Вахтангов (1883–1922).

Эрдман Николай Робертович (1902–1970) — драматург, автор трагикомедий «Мандат» (1925) и «Самоубийца» (1930); последняя была запрещена в Театре Мейерхольда сразу после генеральной репетиции (октябрь 1932 г.).

«Шахтинское дело» — сфабрикованный судебный процесс над старой технической интеллигенцией, специалистами и инженерами, которые обвинялись во вредительстве в угледобывающей промышленности города Шахты (1928).

Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) — один из основателей партии эсеров, ставший провокатором; после разоблачения в 1908 г. бежал за границу. Бабель работал над сценарием об Азефе в Париже в 1933 г. по предложению режиссера А. М. Грановского; судьба сценария неизвестна.

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) — политический деятель, один из основателей партии эсеров, с 1920 г. в эмиграции.

«Веселые ребята» (1934) — музыкальная комедия режиссера Георгия Александрова по сценарию Николая Робертовича Эрдмана и Владимира Захаровича Масса (1896–1979); после ареста сценаристов в 1933 г. их имена были убраны из титров завершенного фильма.

Утесов Леонид Осипович (1895–1982) — артист и эстрадный певец, родом из Одессы, в «Веселых ребятах» играл одну из главных ролей; в 1939 г. Бабель написал предисловие к его книге «Записки актера» (см. т. 3); позднее Утесов написал воспоминания о Бабеле «Мы родились по соседству».

Тихонов (Серебров) Александр Николаевич (1880–1956) — писатель, издательский работник.

НКВД — Народный Комиссариат внутренних дел, министерство государственной безопасности в тогдашнем СССР.

Орлова Любовь Петровна (1902–1975) — исполнительница одной из главных ролей в фильме «Веселые ребята».

Сусанин Иван (?–1613) — русский крестьянин, который, спасая жизнь новоизбранному царю Михаилу Романову, завел поляков в непроходимые леса и был убит; достоверность этой истории вызывает сомнения, но имя Сусанина стало нарицательным.

Ардов Виктор Ефимович (1900–1976) — писатель-юморист.

Лакоба Нестор Аполлонович (1893–1936) — в 1930–1936 председатель Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) Абхазской АССР; репрессирован и расстрелян.

Берия Лаврентий Павлович (1899–1953) — глава НКВД в 1939–1953 годы, один из главных организаторов сталинских репрессий.

Роом Абрам Матвеевич (1894–1976) — кинорежиссер, в его фильмах часто исполняла главные роли жена Ольга Жизнева.

…голод на Украине… — возник в 1931 г. в результате политики «сплошной коллективизации»; этим событиям посвящены новеллы из книги «Великая Криница» (см. т. 3).

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) — один из руководителей Первой конной армии, в описываемое время — Народный комиссар обороны.

Седьмого ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции 25 октября (7 ноября) 1917 г., главный государственный праздник в СССР.

Фурер Вениамин Яковлевич (?–1936) — первый секретарь Горловского горкома ВКП(б), переведен на работу в Москву, застрелился, оставив пятнадцатистраничное письмо на имя Сталина.

Есенин Сергей Александрович (1895–1925) — один из самых популярных поэтов советской эпохи, стихи которого вызвали множество подражаний.

*Каганови*ч Лазарь Моисеевич (1893–1991) — в описываемые годы Первый секретарь Московского Комитета ВКП(б).

Туполев Андрей Николаевич (1887–1972) — авиаконструктор, создатель модели ТУ, в 1937–1941 гг. находился в лагере, позднее вернулся к своей профессии.

Дункан Айседора (1878–1927) — танцовщица, преобразовавшая традиционные формы классического танца.

Геродот (между 490 и 480 — около 425 до н. э.) — древнегреческий историк, «отец истории».

Тит Лукреций Кар (I в. до н. э.) — римский поэт и философ, автор философской поэмы «О природе вещей».

Светоний Гай Транквилл (около 70 — около 140) — римский историк и писатель, автор «Жизни двенадцати цезарей».

Эразм Роттердамский (1469–1536) — гуманист эпохи Возрождения, писатель и богослов, автор сатирического трактата «Похвала глупости» (1509).

Свифт Джонатан (1667–1745) — английский писатель-сатирик. Автор гротескного романа «Путешествия Гулливера» (1726).

Рабле Франсуа (1494–1553) — французский писатель-гуманист, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» (книги 1–4, 1533–1552, книга 5 опубликована в 1564), который называют энциклопедией французской культуры эпохи Возрождения.

Костер Шарль де (1827–1879) — бельгийский писатель, автор романа «Легенда об Уленшпигеле» (1867).

Стендаль (псевдоним Анри Мари Бейля, 1783–1842) — французский писатель-реалист.

Мериме Проспер (1803–1870) — французский писатель-новеллист, автор статей о русских писателях.

Флобер Гюстав (1821–1880) — французский писатель-реалист, имеющий репутацию блестящего стилиста, ученик Мопассана; Бабеля иногда сравнивают не только с Мопассаном, но и с Флобером.

Фабр Жан Анри (1823–1915) — французский энтомолог, автор «Энтомологических воспоминаний» (Т. 1–10, 1879–1907).

…на «Мертвые души» в Художественный ходил каждый сезон. — Премьера спектакля МХАТа по поэме Н. В. Гоголя состоялась 28 ноября 1932 года; автором инсценировки, существенно измененной в процессе сценической реализации, был М. А. Булгаков, режиссером — К. С. Станиславский, в спектакле участвовали лучшие актеры театра.

...когда Бабель возвратился после читки своей пьесы «Мария»... — Пьеса была опубликована в 1935 г., но на сцене при жизни писателя так и не появилась.

«Волки и овцы» (1875) — пьеса А. Н. Островского, поставлена в московском Малом театре в 1935 г.

Енукидзе Авель Сафронович (1877–1937) — в 1922–1935 гг. секретарь Президиума Центрального Исполнительного Комитета ВКП(б).

Димитров Георгий (1898–1949) — болгарский коммунист, после Лейпцигского процесса по делу о поджоге Рейхстага (1933) прилетел в СССР, где оставался до 1945 г.

Макатинский Михаил Яковлевич — киевский друг Бабеля.

Фильм «Чапаев»... — кинокартина по одноименному роману Дмитрия Александровича Фурманова (1891–1926) была поставлена режиссерами Васильевыми в 1934 г.

Мальро Андре (1901–1976) — французский писатель и общественный деятель.

Уэллс Герберт Джордж (1866–1946) — английский писатель, в последний раз приезжал в СССР в 1934 г.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) — поэт, прозаик, лауреат Нобелевской премии (1958).

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) — писатель, ставший с 1928 г. мужем Т. В. Кашириной и усыновивший рожденного от Бабеля сына Михаила (см. об этом далее).

Дидро Дени (1713–1784) — французский писатель и философ, организатор и редактор «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел» (1751–1780), крупнейшего энциклопедического труда эпохи Просвещения.

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — советский партийный и государственный деятель, имевший репутацию одного из самых образованных марксистов; в описываемое время — редактор газеты «Известия».

Джойс Джеймс (1882–1941) — ирландский писатель, считающийся одним из основоположников модернистской литературы XX века.

Шостакович Дмитрий Михайлович (1906–1975) — русский композитор, критика его творчества развернулась после публикации в газете «Правда» (1936) санкционированной Сталиным редакционной статьи «Сумбур вместо музыки».

...во время испанских событий... — речь идет о гражданской войне в Испании (июль 1934–1939), в которой на стороне будущего победителя, генерала Франко, участвовала фашистская Германия, а на стороне республиканцев — Советский Союз и люди левых убеждений со всего мира.

«Зори Парижа» (1937) — кинокартина режиссера Григория Львовича Рошаля.

Постышев Павел Петрович (1887–1939) — секретарь ЦК компартии Украины, позднее репрессирован.

Якир Иона Эммануилович (1896–1937) — военачальник, командующий военного округа, позднее репрессирован.

«Рабочая оппозиция» — оппозиционное течение внутри РКП(б) в начале 1920-х гг., члены которого выступали за предоставление больших прав профессиональным союзам.

Олеша Юрий Карлович (1899–1960) — писатель, уроженец Одессы, о котором Бабель отзывался с большой симпатией.

«Беня Крик» (1926) — кинофильм режиссера В. Вильнера; сценарий см. в т. 1.

Славин Лев Исаевич (1896–1984) — писатель, автор воспоминаний о Бабеле.

Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938) — с 1935 г. генеральный комиссар госбезопасности, в 1934–1936 гг. — нарком внутренних дел СССР во время широкомасштабных репрессий; позднее сам арестован и расстрелян.

«Дума про Опанаса»... — сценарий по одноименной поэме Багрицкого (1926), над которым Бабель работал в 1934 г.

Ежов Николай Иванович (1895–1940) — в 1936–1938 гг. нарком внутренних дел и генеральный Комиссар государственной безопасности, его именем — «ежовщина» — названа эпоха массовых репрессий, время «большого террора»; позднее разделил судьбу своего предшественника Ягоды.

Жид Андре (1869–1951) — французский писатель, хороший знакомый Бабеля.

Когда умер сын Горького Максим, да еще разбился самолет его имени… — Сын Горького умер 11 мая 1934 г., самолет «Максим Горький» (АНТ-20) разбился 18 мая 1935 г.

Пешкова Екатерина Павловна (1878–1965) — первая жена Горького, мать Максима Пешкова, с 1920-х гг. возглавляла российское отделение Красного Креста, помогавшее многим политическим заключенным.

Андреева Мария Федоровна (1868–1953) — вторая жена Горького, актриса МХТ, активный член большевистской партии, с 1931 г. руководила московским Домом ученых.

Крючков Петр Петрович (1889–1938) — большевик, секретарь Горького с середины 1920-х гг., одновременно осуществлял надзор за ним по заданию НКВД, позднее арестован и расстрелян по ложному обвинению как один из убийц Горького.

Пешкова Надежда Алексеевна (1900–1971) — жена сына Горького Максима.

Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) — писатель, автор воспоминаний о Бабеле.

Абдулов Осип Наумович (1900–1953) — актер и режиссер.

Бучма Амвросий Максимилианович (1891–1957) — украинский актер и режиссер.

Потоцкая Анастасия Павловна (? — после 1980) — биолог, с 1934 г. жена С. М. Михоэлса.

«Путешествие Вениамина III» (1927) — спектакль ГОСЕТа по одноименной повести (1878) еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима (псевдоним Якова Абрамовича Шолома, 1835/1836–1917).

«Тевье-молочник» (1938) — спектакль ГОСЕТа, по мотивам одноименного цикла новелл (1894–1914) Шолом Алейхема (псевдоним Шолома Нохумовича Рабиновича, 1859–1916).

Летом 1936 года мы с Бабелем уговорились, что он уедет в Одессу, а потом — в Ялту для работы с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном над картиной «Бежин луг» — см. письмо С. Эйзенштейну 14 ноября 1936 г. и примечания к нему.

МТС — Машинно-тракторная станция, предоставлявшая технику колхозам.

Степок — главный герой фильма «Бежин луг», охраняющий колхозное поле мальчик, которого убивает кулак-отец.

Мэй Лань-Фан (1894–1961) — знаменитый китайский актер, гастролировавший в СССР в 1935 г.; накануне этих гастролей Эйзенштейн написал статью «Чародею грушевого сада».

Чаплин Чарльз Спенсер (1889–1977) — американский режиссер и киноактер, Эйзенштейн встречался с ним во время работы в Америке.

«Деньги» (1891) — роман французского писателя-натуралиста Эмиля Золя (1840–1902), одного из любимых авторов Эйзенштейна.

Де Рибас Осип (Иосиф) Михайлович (1749–1800) — русский адмирал, по национальности испанец, участвовал в строительстве Одессы (1794–1797), в его честь главная улица города названа Дерибасовской.

Цакни Анна Николаевна (1879–1963) — первая жена И. А Бунина (1870–1953) в 1898–1900 гг.

«Тихий Дон» — четыре книги романа Михаила Александровича Шолохова (1905–1984) публиковались в 1928–1940 гг.

Сторицын Петр Ильич — см прим. к письму 1.

Эми Сяо (1896–1983) — китайский писатель и общественный деятель.

...чанкайшистский Китай... — руководитель национальной партии (Гоминьдана) Чан Кайши (1887–1975), правил в Китае с 1927 до 1949 г.

Катаев Валентин Петрович (1897–1986) — советский прозаик; в поздней мемуарно-художественной книге «Алмазный мой венец» (1975–1977) изобразил Бабеля под прозвищем конармеец.

ЮГРОСТА — Южное отделение Российского телеграфного агентства — РОСТА (1918–1935).

Фейхтвангер Лион (1884–1958) — немецкий писатель, побывал в СССР в 1934 г. и написал об этой поездке книгу «Москва, 1934», в которой весьма лестно отзывался о Сталине; роман «Успех» вышел в 1930 г.

Эль Лисицкий (псевдоним Лазаря Марковича Лисицкого, 1890–1941) — художник, архитектор, теоретик конструктивизма.

Муссинак Леон (1890–1964) — французский писатель и историк кино.

Граф Оскар Мария (1894–1967) — немецкий писатель.

Эррио Эдуар (1872–1957) — французский политический деятель, в 1932 г. премьер-министр Франции.

Эренбург Любовь Михайловна (1900–1970) — художница, жена писателя И. Г. Эренбурга, сестра кинорежиссера Г. М. Козинцева.

Роллан Ромэн (1866–1944) — французский писатель.

Циммервальдская программа — программа Циммервальдского объединения левых партий (1915), выработанная после начала первой мировой войны и предполагавшая интернациональное объединение антивоенных сил.

Лившиц Яков Абрамович (1896–1937) — видный большевик, с 1919 г. в органах ВЧК — ОГПУ, в 1930-е гг. — заместитель наркома путей сообщения, арестован и расстрелян.

Ежова Евгения Соломоновна (1904–1938) — в 1920-е гг. находилась в близких отношениях с Бабелем; позднее — редактор журнала «СССР на стройке», в котором сотрудничал Бабель.

Груздев Илья Александрович (1892–1960) — писатель, литературовед, биограф М. Горького.

Донской Марк Семенович (1901–1981) — кинорежиссер, поставил фильмы по автобиографической трилогии М. Горького «Детство Горького» (1938), «В людях» (1939), «Мои университеты» (1940).

Мильман Валентина Ароновна (1900–1968) — секретарь И. Г. Эренбурга в 1932–1949 гг.

…Эренбург писал «День второй»… — роман И. Г. Эренбурга о Кузнецкстрое опубликован в 1934 г.

Шейнин Лев Романович (1906–1967) — писатель, ранее служил в органах НКВД.

Есенина Татьяна Сергеевна (род. в 1918) — дочь Есенина и Зинаиды Николаевны Райх (1894–1939), усыновленная Вс. Э. Мейерхольдом (1874–1940), журналист и литератор.

Порецкий Михаил Львович — дальний родственник Бабеля.

Рысс Евгений Самойлович (1908–1973) — киносценарист и писатель, автор приключенческих повестей для детей.

Эльсберг Яков Ефимович (1901–1972) — литературовед.

Каменев Лев Борисович (1883–1936) — партийный и советский государственный деятель, в первой половине 1930-х гг. снятый с высоких постов, работал в издательстве «Academia».

Руденко Роман Андреевич (1907–1981) — юрист, Генеральный прокурор СССР с 1953 г.

Фадеев Александр Александрович (1901–1956) — в 1930–1950-е гг. — руководитель Союза советских писателей.

Сурков Алексей Александрович (1899–1983) — поэт, в описываемое время — Первый секретарь Союза писателей.

Ефимов Борис Ефимович (род. в 1900 г.) — художник-карикатурист, брат журналиста М. Е. Кольцова.

Федин Константин Александрович (1892–1977) — писатель, в то время Председатель правления Союза писателей СССР.

Леонов Леонид Максимович (1899–1994) — писатель.

…по поводу однотомника «Избранное», для которого Эренбург написал предисловие. — Бабель И. Избранное. М.: Гослитиздат, 1957; первый после реабилитации Бабеля сборник его произведений.

…другого сборника произведений, вышедшего в 1966 году… — Бабель И. Избранное. М.: Художественная литература, 1966.

Каверин Вениамин Александрович (1902–1989) — писатель.

Козловский Иван Семенович (1900–1993) — певец.

Лебедева Сара Дмитриевна (1892–1967) — скульптор.

Слуцкий Борис Абрамович (1919 –1986) — поэт.

Никулин Лев Васильевич (1891–1967) — писатель, адресат бабелевских писем, автор воспоминаний о Бабеле.

Лидин Владимир Германович (1894–1979) — писатель.

Журавлев Дмитрий Николаевич (1900–1991) — чтец.

Полевой Борис Николаевич (1908–1981) — писатель.

Селин (настоящая фамилия Детуш) Луи Фердинанд (1894–1961) — французский писатель, автор знаменитого военного романа «Путешествие на край ночи» (1932, рус. пер. 1934).

Арто Антонен (наст. фамилия и имя Антуан Мари Жозеф, 1896–1948) — французский теоретик театра, режиссер и актер, создатель теории так называемого «театра жестокости», должного производить на зрителя шоковое впечатление.

Беллоу Сол (1915–2005) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1976).

Мейлер Норман (род. 1923) — американский писатель и публицист.

Маламуд Бернард (1914–1986) — американский писатель, родившийся в еврейской семье иммигрантов.

…работать над сценарием «Как закалялась сталь» по Н. Островскому… — Роман Николая Алексеевича Островского (1904–1936) был опубликован в 1932–1934 гг.; фрагменты бабелевского сценария см. в т. 3.

Довженко Александр Петрович (1894–1956) — кинорежиссер.

Солнцева Юлия Ипполитовна (1901–1989) — актриса, кинорежиссер.

Содержание

ПИСЬМА

Приложение

Исаак Бабель

Собрание сочинений
Том 4

Редактирование и корректура
Елена Кузьменок

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Подписано в печать 09.08.2006. Формат 70×108[1]/32.
Бумага для ВХИ. Печать офсетная. Усл. печ. л. 28,0.
Тираж 3000 экз. Заказ № 672.

"Время"
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25.
Телефон: (495) 231 1864, (495) 959 4967
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@vremya.ru

Отпечатано в ОАО "ИПП "Уральский рабочий"
620219 Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
e-mail: book@uralprint.ru

ISBN 5-9691-0153-2

9 785969 101531

том 4

*собрание
сочинений*